К 80-летию Ю.А. Левады

УДК 316.2Левада+929Левада
ББК 60.51-81Левада
В77

В77 **Воспоминания и дискуссии о Юрии Александровиче Леваде** / [сост. Т. В. Левада]. – Москва : Издатель Карпов Е.В., 2010. – 471 с. : ил.
ISBN 978-5-9598-0130-4

Книга подготовлена к 80-летию Ю.А. Левады (1930–2006 гг.). Он был автором первого учебного курса эмпирической социологии, прочитанного в МГУ в конце шестидесятых. В 90-е годы – руководил Всероссийским центром изучения общественного мнения, потом Левада-Центром.

Книга включает личные воспоминания людей, знавших Ю.А. Леваду, статьи, исследующие его жизнь и научное творчество, несколько работ самого Ю.А. Левады. Ряд материалов печатается впервые. Книга, отражающая жизнь и работу ученых в условиях исторического перелома, может быть интересна как специалистам, так и широкому читателю.

УДК 316.2Левада+929Левада
ББК 60.51-81Левада

ISBN 978-5-9598-0130-4 © Левада Т.В., составление, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 9

Часть I

Ю.А. Левада
Интервью Саше Канноне 13

Л. Ярославский
Некоторые отрывочные воспоминания о Юрии Леваде 22

В. Чертихин
Несколько эпизодов… 33

А. Павлов
С Юрием Левадой я учился на одном курсе… 38

В. Стороженко
Штрихи к портрету 40

А. Ракитов
Мой друг Юра 42

В. Долгий
Три года спустя. О Юрии Александровиче 49

Т. Левада
50 лет рядом с человеком удивительным 52

В. Колбановский
Социологи-шестидесятники и Ю.А. Левада 74

Н. Лапин
Большая добрая Левада 81

А. Алексеев
Человек естественный 87

А. Гофман
О Леваде. Мемуарные заметки 92

А. Ковалёв
Воспоминания о Леваде 102

Г. Осипов
В огне брода нет 108

Ю. Левада
Из выступления на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук при ЦК КПСС и Высшей партийной школы при ЦК КПСС 115

Отзвуки научной жизни. *Из семейного архива* 123

А. Вишневский
Жук в муравейнике 126

В. Шляпентох
Звездное время Юрия Левады: история одного экзистенциального выбора 128

А. Олейник
Трагедия личности 140

Г. Сапов
Немного о Леваде 142

И. Прусс
Как опальные ученые журнал спасали 144

Ю. Левада
Почему дороги ведут в Рим 147

А. Назимова, В. Шейнис
Главное в облике нашего друга 151

Е. Добрынина
Он из тех ученых и мыслителей, которые были плеядой… 167

А. Левинсон
Уроки Левады 171

Л. Седов
Область ответа на вопросы… 184

С. Макаров
Мой Левада 191

Т. Заславская
Воспоминания о Леваде 205
Т. Шанин
Способность созидать умным словом 212
И. Кон
Воспоминания о Юрии Леваде 213
В. Русинов (Левада)
В самом конце его последней зимы 219
В. Ядов
Прости меня, Юра 228
Я. Кузьминов, А. Шохин, Е. Ясин
Юрий Левада – крупнейший русский социолог 234
Отец Георгий Кочетков
Интервью Анне Алиевой 236
Е. Петренко
Памяти Ю.А. Левады 239
А. Ослон
В любом деле есть авторитеты 243
Слова памяти, отклики в Интернете (из Живого журнала) ... 244
Е. Головаха
Социолог Юрий Левада: Легенда. Личность. Лидер.
Взгляд из Украины 251

Часть II

Б. Фирсов
Жизнь, наполненная бескорыстными духовными
интересами 263
Б. Докторов
Наследие Левады: это надолго 274
Д. Шалин
Человек общественный: гарвардское интервью
с Юрием Левадой..... 283

Ю. Левада
Гарвардское интервью 308

М. Габович
К дискуссии о теоретическом наследии Юрия Левады 340

Л. Гудков
Проблемы социологии Юрия Левады 367

Б. Дубин
От традиции к игре: культура в социологическом проекте Юрия Левады 420

А. Здравомыслов
Фрагменты из книги «Социология российского кризиса» 439

Ю. Левада
Общественное мнение у горизонта столетий 451

Авторы книги 465

Юрий Александрович Левада (1930–2006 г.)
Биографическая справка 468

Предисловие

Юрий Александрович Левада – один из тех, кто реанимировал эмпирическую социологию в СССР в 60-е годы. Он первым прочитал её учебный курс (в Московском университете) за что и поплатился.

Объективно – судьба его трагична: восемнадцать лет (с 1970 по 1988 г., то есть со своего сорокалетия до пятьдесят девятого года жизни) Левада не мог ни преподавать, ни публиковаться в печати. А с 1972 г. – даже работать в коллективе профессиональных социологов. Но он не признавал в этом трагедии. Принципиально не признавал, полагая, что человек может и должен делать избранное им дело в любых условиях.

Работая в институтах экономического профиля, он вёл в Москве открытый культурологический семинар, имевший широкую популярность. А в 1988 г. смог, наконец, вернуться в коллектив социологов (во ВЦИОМ). И, что называется «взахлёб», отработал свои последние восемнадцать лет.

Эта книга посвящена жизни и работе Юрия Александровича. Первый раздел включает мемуарные материалы, второй – аналитические, в том числе – авторские. Некоторые материалы даются с сокращениями.

Семья Ю.А. Левады благодарит всех авторов, принявших участие в создании этой книги, а также референта Ю.А. Левады Макарова С.В., оказавшего помощь в сборе материала и фотографа Новикову М.А., работающую с семейным фотоархивом.

Т. Левада

Часть I

Ю.А. Левада

ИНТЕРВЬЮ САШЕ КАННОНЕ

Отец российской социологии? Юрий Левада всячески открещивается от этого звания. Человек команды, он привык делить заслуги с коллегами и не создавать лишнего шума вокруг ежедневной и кропотливой работы.

– Вас называют российским Гэллапом. Вы согласны с таким уподоблением?

– Это неверно совершенно. Во-первых, не меня называли, а сам центр. Во-вторых, было это во времена, когда другие еще не появились. Кроме того, в России есть институт, принадлежащий к сети Гэллапа, а мы никогда к ней отношения не имели.

– И все-таки сравнение уместно? Насколько наша социология и их совпадают?

– По методам работы они одинаковы.

– На Западе социология развивалась в условиях демократии и как один из предвыборных механизмов, а у нас нет. Разные отправные точки изначально ориентировали социологов на Западе и в России в разные стороны.

– У нас поначалу ее хотели сделать механизмом пропаганды, но мы от этого ушли. И пропаганда исчезла, и идеологии не стало. В старые времена и даже в горбачевские считалось, что опросы должны показывать, как люди приветствуют кого надо и что надо. А когда оказалось, что не очень, стали пытаться с их же помощью выяснять, почему.

– Наши социологи научились объективно замерять настроения общества?

– Прямой пропаганды сейчас немного. Сейчас и избирательный механизм у нас есть, и опросы, как часть этого механизма, – тоже. Хотя в целом функции у разных опросов различные. Политики хотят видеть в них свое зеркало, ученые – понять, в чем дело, производители – как продвигать свой товар.

– В какой из этих областей картина выходит наименее искаженной? В маркетинге?

– Пожалуй, да, но не всегда так было.

– И никто не следит за тем, не подтасовываются ли результаты пулов, насколько корректно формулируются вопросы?

– Прямой подтасовки я не видел. А вот косвенно? Я с этим не сталкивался, у нас такого не было.

– Проект «Советский человек» – из наиболее значимых, программных и трудоемких инициатив ВЦИОМа. Начавшись в 1989 году, он продолжается по сей день. Почему вы оставили прежнее название?

– Сначала мы думали заменить человека «советского» на, скажем, «российского» или «постсоветского». А потом присмотрелись к его существу внимательнее и поняли, что в основном он такой же, как был. Поэтому и сейчас проект можно называть «советский», имея в виду и отличия, которые мы набрали по дороге.

– Какие отличия?

– Стали жить на мировом рынке (и рынке вообще), но остались такими же. Появились свобода слова и открытое общество (точнее, приоткрытое), но ничего из этого не последовало. Перемены воспринимались, как что-то новое, были потрясением, но общество приоткрылось, да люди закрыты.

– Но ведь 20 лет прошло, есть в стране хоть кто-то, кто от этого корня оторвался? Может, новое поколение?

– Они, конечно, другие, но это не значит, что они умеют переоценивать. Они очень легко ловятся на старые крючки.

– Как это проявляется?

– Как? они любят власть больше, чем старшие, и любят великодержавную патриотику.

– Но ведь и американцы – патриоты. Квасные!

– У них это имеет другой смысл. США – страна индивидуалистов. И это сочетается с их флажками и прочей патриотической атрибутикой. У них своя игра, у нас такой нет. У нас страна людей, которые сами себя ценить не научились.

– И даже тинэйджеры, которые танцуют брейк-данс и красятся в красный цвет?

– И в полоску! Но от этого они не становятся взрослыми и умными. Это массовуха.

– Себя вы тоже определяете как советского?

– В каком-то смысле, наверное, да.

– В чем это проявляется?

– Много в чем. Я к себе не восторженно отношусь.

– Прошлое-то у вас точно советское. Откуда вы, из какой семьи?

– Родился в Виннице, в провинциальной интеллигентной семье. Мать журналист, отец литератор. А что у меня осталось от тех времен – это любовь к большой библиотеке. Она была у деда, в ней я и вырос. И это было важно.

– Кем был ваш дед?

– Известным человеком в городе. Он был ученым, медиком, интересовался философией. Но он умер, когда я был маленьким. Я не много с ним общался.

– Вы поступили в университет не дома, а в Москве. Смелый шаг для мальчика из провинции.

– Ну, это у нас было нормой. Считалось престижным учиться в столицах. Почти все мои одноклассники разъехались, кто в Москву, кто в Ленинград. Самые неудачливые – поближе, в Одессу, и лишь те, кто вовсе «никуда не годился», – в местный пединститут. Что касается меня, то я легко учился. Был отличником и школу окончил с золотой медалью, тогда с этим считались. Приехал и поступил. Вот только жить негде было.

– И что вы делали?

– Снимал углы в разных местах. Тогда не квартиры сдавали, и не комнаты даже, а часть комнаты – углы. Потом пробился в общежитие на Стромынке: большая радость была.

– Почему сразу не дали?

– При поступлении я написал: «В общежитии не нуждаюсь». Все так делали. Иначе не хотели оформлять.

– А дальше?

– А дальше я честно и серьезно учился, пока не понял, что

все это ерунда. Я поступил на философский факультет, потому что думал, что это то место, где объясняют, что к чему. А оказалось, что ничего не объясняют, а только мешают.

– Поняв, вы учиться не бросили. Почему?

– Интересно было учиться.

– Или потому, что в те годы без диплома – никуда и высшее образование нужно было любой ценой?

– Ну да, считалось, что без него человек как бы потерпел неудачу. Огорчает родственников. Наверное, и для меня это было важно. И хотя хорошие плотники всегда были в почете, для образованного класса образование – ценность. Диплом – это признак социальной ступеньки, и тогда, и сейчас.

– Я слышала, что с самого начала вы увлекались социологией и только поэтому поступали на филфак. Но как это было возможно, если ее у нас не было как таковой?

– Из того, чему нас учили, больше всего я интересовался общественными науками. Потом получилось так, что в руки начали попадать разные книжки – английские, польские. Русских тогда действительно не было, они появились позже. Поняв, что хочу заниматься социологией, докторскую диссертацию я писал по социологии религии. По тем временам это называлось «Социальные проблемы критики религии». Отсюда я и пошел в науку социологию.

– А разве она не была запрещена, как информатика и генетика?

– К концу 1960-х годов о ней уже можно было говорить. А в 1968 году был создан Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ). Мне там дали отдел теории. Я им руководил, набрал людей, которых это интересовало и с которыми до сих пор работаю. Они приходили отовсюду. Борис Грушин был моим однокурсником, кто-то учился в аспирантуре ИКСИ и так там и остался, кого-то к тому времени я уже знал как самостоятельных ученых. Не я набирал – сами набирались.

– Свой первый опрос помните?

– Во времена ИКСИ опросы проводил Грушин, а я ими занимаюсь только с 1988 года, уже во ВЦИОМе. К самому пер-

вому я не имел прямого отношения. А тот опрос, который готовил мой отдел и который был для нас первым и важным, касался Нового года, итогов 1988-го. Мы его проводили через газету: напечатали в «Литературке» вопросы и нам присылали ответы. Это было заметно, потому что был большой интерес. Об этом мы, кстати, сделали коллективную книжку «Есть мнение!». Она вышла в 1990 году. Самым любопытным в этом во всем был массовый интерес. Мы получили примерно 200 тыс. ответов, и как с ними разбирались – это особый вопрос. Из них надо было выбрать часть, потому что все даже прочитать было невозможно. Огромные мешки приносили с почты. Мы думали, придет несколько сотен, ну, тысяча ответов. Столько у нас никогда не бывало. И разбираться в этом было очень интересно. Сегодня опросы – вещь обычная и так на них не откликаются.

– Насколько упал интерес к опросам сегодня?

– Трудно сказать. Тот опрос шел через газету, сейчас мы таких не проводим. Но что на пулы реагируют меньше – очевидно. Былого восторга по их поводу нет, хотя почти нет и страха.

– Почти?

– Немножко он все-таки присутствует. Последние год-другой признаки осторожности появляются.

– В конце 1980-х в театре Ермоловой шел спектакль «Говори». В финале участники выстраивались в один плотный ряд и угрожающе двигались на зал, повторяя, как заклинание: «Говори!»

– Сейчас такого спектакля быть не может.

– Почему?

– Поняли, что это не имеет особого значения.

– Работая в ИКСИ, параллельно вы читали лекции по социологии на журфаке МГУ. Почему вас тогда уволили?

– Да потому что лекции напечатали, и было много шума. Устраивали обсуждения в разных местах, главным образом в партийных заведениях, с целью выяснить, является ли социология отдельной наукой или нет. Я считал, что является, и сейчас все так считают. Дико сомневаться в этом. А тогда было непривычно и скандально. Сначала мы просто подрались –

словесно, я имею в виду. На меня нападали, я отбивался. Потом пришлось бросить университет.

– Наверное, не «пришлось бросить», а вам запретили работать?

– Не мне запретили, начальству тамошнему. Институт еще был жив, мы работали, но волна росла. ИКСИ стали «зачищать», и очень многим пришлось оттуда уйти. Это было уже начало 1970-х годов.

– Кому это было нужно?

– Тогдашнему партийно-идеологическому начальству, которое считало, что это опасное вольнодумство и влияние Запада. Я перешел в Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ), где проработал 16 лет, пока не попал во ВЦИОМ. У его истоков стояли Борис Грушин и Татьяна Заславская, которая в 1987 году приехала из Новосибирска, где занималась общественными науками. Но это уже была перестройка, было либеральное начальство – или казалось, что было. Это дало мне возможность вернуться к социологии и собрать людей, с которыми я работал.

– Насколько я понимаю, ВЦИОМ возник как прикладной институт, для проведения конкретных социологических исследований.

– Да, но у меня был отдел теории. Не все во ВЦИОМе делалось с моим участием. Центр организовал Грушин, у него был большой опыт, он его запустил, мне оставалось только катить его дальше.

– Чем сейчас занимаются основатели ВЦИОМа?

– Грушин открыл собственную фирму Vox Populi. Сейчас он занимается историей исследований прошлых лет и публикует результат этой работы – книгу «Четыре жизни России в опросах общественного мнения». Вышло уже полтора тома. Татьяна Ивановна Заславская ушла в Интерцентр, он же Московская высшая школа социальных наук. Но она является председателем редакционного совета нашего журнала, председателем правления нашей фирмы и близко с нами связана, как, впрочем, и Грушин.

– Во ВЦИОМе вы долгое время руководили отделом теории. Практика вас не интересовала?

– Для нас ничто не может быть более практичного, чем опросы. Меня интересует и то и другое, но моей задачей было разрабатывать методологию. Этим я занимался раньше и сейчас.

– До 1991 года вы проводили опросы, цель которых – выявить состояние общества в целом. С начала 1990-х обратились к политическим и участвуете в избирательных кампаниях.

– Политикой мы занимаемся с 1989-го. Но ведь и она относится к обществу в целом. Вопрос, как ее понимать. Это наш девиз: «От мнений – к пониманию» и то направление, которого я придерживался тогда и сейчас.

– Это был чей-то заказ или ваша инициатива?

– Вначале мы работали, как госучреждение, получали зарплату, и заказчик особого значения не имел. Им было государство, и все, что мы делали, мы делали по своей инициативе.

– Политика появилась вместе с необходимостью зарабатывать деньги?

– Она появилась вместе с гласностью и многопартийностью в нашей стране, возможностью обсуждать и выбирать. Но зарабатывать на ней деньги мы начали только года через три. Политика не кормит.

– Сейчас, после отмены губернаторских выборов?

– И тогда тоже. Исследования такого рода требуют многих усилий, дают не много и , как, правило, не окупаются.

– Всегда ли корректно и этично обнародовать результаты тех или иных опросов? К примеру, когда в стране взрывоопасная ситуация, итоги пула могут подтолкнуть ее развитие в ту или другую сторону.

– Не результаты опросов определяют реальность, а наоборот. Но публиковать или нет – это определяет заказчик. Он может согласиться или нет. Это его боль.

– Со временем деятельность ВЦИОМа менялась. От чего к чему он развивался?

– Стал работать более разнообразно. Со временем мы занялись исследованиями, которые сначала не проводились: маркетинговые, выполненные при помощи так называемых «качественных методов», фокус-групп, углубленных интервью.

– С приходом Ельцина что-то изменилось или смена лидеров не отразилась на вашей деятельности?

– И с первым, и со вторым нам было спокойно работать, но Горбачев иногда на нас обижался, когда, по итогам опросов, он оказывался не самым хорошим человеком. Принимал это близко к сердцу и очень искренне переживал. Однажды даже звонил нам. Ельцин – тот был попроще. Он вообще критику терпел и поношения сносил. И связей с его администрацией было больше.

– Лично вы общались?

– Да. Даже был членом президентского совета.

– Одно время во власть пошли ученые, гуманитарии, те, кого принято именовать интеллигенцией. А потом вдруг ее покинули.

– Они были не во власти, а около власти. А потом перестали быть нужны. И то и другое закономерно. Они приблизились, потому что власти нужно было поиграть. Такую рокировку сделали.

– Ваше имя известное, уважаемое и ни в каких историях не фигурировавшее. Вас не пытались привлекать в партии и подписанты, общественные организации, комиссии?

– В разное время приглашали, но я на это не шел. Как специалист в своем деле в каком-то качестве я мог быть около политики: представлял материал, где-то выступал, что-то писал. Но политикой как таковой никогда не занимался.

– В какие периоды социальная и политическая ситуация в стране наиболее благоприятствовала деятельности ВЦИОМа?

– Всегда были свои сложности. Было время, когда никто не вмешивался в дела, но деньги надо было зарабатывать. Я говорю о 1990-х годах.

– У вас лично остались неосуществленные планы?

– Мой план состоит в том, чтобы жить дальше и кое-что еще сделать.

– «Советский человек» по Леваде превратится когда-нибудь в «российского»? С тех пор, как проект запущен, выросло новое поколение.

– Поколение-то выросло, но оно не научилось самостоятельно мыслить и самостоятельно определяться. Когда-нибудь превратится, но не скоро.

– А сам Левада расстанется со своей «советскостью»?

– Для меня, кроме каких-то привычек и какой-то ограниченности, «советскость» – это иллюзии. В частности, упование на то, что можно жить в хорошем обществе. Но общество – это сложный винегрет, в котором всякое есть. Хорошее общество – это утопия, его нет в природе. Оно есть и будет всякое, и надо в нем жить, и работать, и добиваться чего-то приличного.

«Прямые инвестиции» № 6 (38). 2005

Л. Ярославский

НЕКОТОРЫЕ ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ЮРИИ ЛЕВАДЕ

Юрий Александрович Левада, а для меня просто Юрка, был моим лучшим другом детства. Но за почти 70 лет нашей дружбы время близкого общения с ним было крайне ограничено отдельными периодами – так уж сложилась наша жизнь.

Познакомился я с Юркой в 1937 году (мне тогда было 8 лет, а Юрке 7) в г. Виннице (Украина), куда я переехал с родителями из г. Сталино (ныне Донецк). Видя, что на новом месте у меня нет друзей и знакомых и я скучаю в одиночестве, наша домработница привела меня в Юркину семью, жившую через дом, и мы с ним очень быстро сблизились, поскольку обладали схожими характерами. Нас сблизили общие интересы: склонность к сидячим занятиям и чтению (к тому времени мы с ним были для своего возраста довольно начитанны), к длительным прогулкам и представлениям кукольного театра в соседнем сквере.

Увлекались приключениями индейцев, делали луки и стрелы, пытались строить вигвамы. Летом часто ходили с родителями на реку (р. Южный Буг подковой окружала центр города и до реки отовсюду было близко). Увлекались греблей, беря лодки напрокат. Лазали по старым каменоломням, в которых вдоль берегов реки добывали гранит взрывным способом. Вода, заполнявшая бывшие карьеры, зарастала камышом и осокой и становилась местом обитания лягушек, закатывавших удивительные концерты. Иногда устаивали и более дальние походы до так называемых скал украинского писателя Коцюбинского, где он любил отдыхать над рекой.

Но особый восторг вызывали у нас весенние ледоходы (тогда еще не была построена плотина ниже по течению у села Сабаров, и течение не было зарегулировано). Зрелище ледохода завораживало: льдины плыли, натыкаясь друг на друга, вздымаясь в торосы, потом под напором льда эти препоны с

огромным треском рушились, и движение льда возобновлялось. Иногда на льдинах оказывались собаки. Некоторые прибрежные улицы затоплялись и людей поселяли в приготовленные помещения.

Особая опасность создавалась для мостов, иногда под напором льда некоторые пролеты рушились. Поэтому заблаговременно выше мостов лед взрывали, а во время ледохода то и дело саперы на лодках подплывали к особо крупным льдинам, бурили в них шурфы, взрывали и раскалывали на более мелкие, могущие пройти между опорами мостов. Так что во время ледоходов над городом стоял гул канонады. Предупрежденное заранее население заклеивало окна бумажными лентами крестнакрест, чтобы не вылетели от взрывной волны.

Наша школа №18 стояла на высоком берегу над рекой, так что во время ледохода классы пустели и учителя не могли загнать нас в здание, поскольку все высыпали на высокий берег реки и часами наблюдали это великолепное и величественное зрелище.

Хотя я родился на Украине, но, живя в Донбассе, до 8 лет не сталкивался с украинским языком. И только познакомившись с Юркой, я стал от него перенимать украинский язык. Его мама, Наталья Львовна, работала журналисткой в областной газете «Більшовицька правда» и свободно говорила и писала свои статьи по-украински. Дед Юры, фармацевт или химик по образованию, был одним из основателей Винницкого мединститута в 1935 году. Но в 1936-1937 годах, т.е. в годы ежовщины, прошли аресты ряда преподавателей и студентов института, обвиняемых в разных грехах, и в том числе в шпионаже в пользу Японии. Однажды ночью пришли и за дедушкой Юры, но тот лежал в постели, умирая от злокачественной опухоли. И его оставили в покое. Похороны его, как подозреваемого врага народа прошли негласно. Мы с Юркой с моего балкона наблюдали катафалк, за которым шла лишь кучка близких.

Нельзя не отметить, что мать Юры, Наталья Львовна, была незаурядной женщиной, широко образованной, обладающей, очевидно, разносторонними талантами. Когда я приезжал в

Винницу и навещал ее, она всегда заводила разговоры на разные политические и литературные темы, стараясь понять интеллектуальный уровень собеседника. Конечно, она оказала огромное влияние на развитие своих сыновей.

В 1937 году мы поступили в школу: Юра – в украинскую, а я – в первую в городе с русским языком обучения. Но со второго класса Юра тоже перешел в мою школу и мы сидели с ним до 4-го класса за одной партой. Все внешкольное время мы проводили с ним только вдвоем. Но по любому поводу часто ссорились, переставая даже разговаривать друг с другом. Тогда одноклассники пытались нас помирить, толкая навстречу одного другому. Иногда в дело примирения вмешивалась даже пионервожатая.

Вскоре к нашей паре присоединился еще один мальчик – Горик Барабашев, сын папиной сотрудницы. Он был старше нас на год и очень начитан, его мысли опережали возможность их высказать, и он трещал как пулемет. И физически он был более развит, чем мы с Юркой, довольно упитанные, так что нас называли кабасями. Лет десять тому назад Горик умер, заведуя кафедрой гражданского права МГУ.

Все трое учились мы хорошо и охотно.

Наше совместное времяпровождение вне учебы состояло в строительстве моделей из конструктора, что-то мастерили из дерева, а вне дома любили бродить по окрестностям города. Ну и, конечно, играли в индейцев и мушкетеров, вытачивая из дерева мечи и сабли, играли в ножички и т.п. Летом – река и лодка (конечно, с родителями), зимой – лыжи. Горику подарили пару белых крыс и мы с ними играли, устраивая цирковые представления. Ну, конечно же, чтение, кино, изредка театр (в городе был неплохой оперный театр). Зимой в школе, на работе у родителей, даже в домоуправлениях устраивали новогодние елки. Елки разрешили благодаря секретарю ЦК КПУ Постышеву и мы на всех елках кричали: «Спасибо т. Постышеву за новогоднюю елку». Однажды во дворце пионеров еще в г. Сталино я прочитал «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!» и я громко спросил папу: «А причем тут Сталин, а не

Постышев?». Папа цыкнул на меня и поскорее увел домой. Это было в 1934-35 году.

Нам всегда недоставало книг, в детской библиотеке выбор был очень скудный, полки книжных магазинов были еще беднее. Доставали у знакомых, сохранивших дореволюционные библиотеки: Майн Рида, Жюль Верна, о Тарзане. По большому блату папа выписывал для меня журналы «Пионер» и «Костер». Однажды Юрке пришла в голову идея устроить кукольный театр и поставить пьесу «Любовь к трем апельсинам». Юрка талантливо лепил из пластилина головки кукол, с их помощью мы делали эти головки из папье-маше, шили платья из лоскутов. Но настал июнь 1941 года…

Вообще мы политикой интересовались и кое-что понимали. Понимали, почему в нашем подъезде исчезли три семьи, а квартиры их опечатали. Понимали, что творится в Прибалтике и за взрослыми повторяли «Каунас пока у нас» и радовались, что эти страны стали советскими. Особую радость испытали 17 сентября 1939 года, повторяя «Пани Польши нету больше» и т.п. Весело встретили 1 мая 1941 года. 20 июня наш преподаватель истории собрал все четвертые (вернее, уже пятые) классы и стал организовывать большую военную игру. На 23 июня дал каждому задание что-то приготовить.

Любимым летним занятием для нас были походы в ближайший лес. 22 июня отправились в лес за земляникой, которой уродилось немало в том году. Дом, где жил Горик, стоял на краю города у рощи, которая круто обрывалась к долине с огородами. С нами пошли несколько мальчиков, что жили в доме Горика. Пройдя эту долину, углубились в лес, который неплохо знали, и бродили по его тропкам много часов, играя и лакомясь земляникой. Вернулись домой только к вечеру и, когда поднялись из долины в рощу, были удивлены, что нас встретили рыдающие женщины, матери тех мальчиков, что пошли с нами. От них узнали, что началась война с Германией, что Киев горит и они думали, что нас уже нет в живых.

Наверное, не все поняли серьезность ситуации. Так, на другой день Юрка с Александром Степановичем отправились в

магазин и купили большую карту СССР, очевидно, чтобы отмечать ход боевых действий. А мы вечером, включив приемник, услышали, как немцы «пустились наутек от метких выстрелов наших солдат». Вечером по квартирам ходили солдаты из соседнего военкомата, требуя светомаскировки.

На другой день привычно, как накануне ледохода, заклеили окна полосками бумаги, а из нас, подростков, организовали команды для рытья траншей-убежищ. Я рыл на своем дворе, Юрка – на своем. В этих недорытых на нужную глубину траншеях и пережили первый авианалет. А когда через неделю началась эвакуация, разъехались, даже не простившись. Горика с его мамой случайно встретили на станции Ясиноватая и взяли их координаты для переписки.

Юрку я вновь увидел только в сентябре 1944 года, спустя полгода после освобождения Винницы. Он вернулся с Натальей Львовной и редакцией газеты сразу после освобождения города. Чуть позже него вернулся Филя (Филипп Григорьевич Рутберг) с госпиталем, в котором служила его мать. До моего возвращения они с Юркой успели подружиться и теперь мы дружили втроем (Филя был на год младше нас), теперь он возглавляет какой-то НИИ АН России и сам является член-корреспондентом Академии наук. Нашей радости не было предела, мы долго бродили по пустынным знакомым улицам, обезображенным войной, по известным местам, а потом пошли в уцелевший кинотеатр им. Коцюбинского на фильм «Багдадский вор».

Дом, где мы прежде жили, уцелел, но квартира пока была занята другими людьми, а Юркина бабушка пережила всю оккупацию и сохранила богатую библиотеку дедушки. Сгорело и прекрасное, незадолго перед войной построенное здание нашей прежней школы, как и многих других. Нам отвели небольшое здание начальной школы с выбитыми окнами. Но директор школы, не взятый в армию из-за дефекта зрения, Тимофей Павлович Камарницкий, очень строгий человек, но неплохой организатор, сумел отремонтировать здание и оборудовать классы досчатыми столами, по 3-4 в класс. А каждого записавшегося

обязал приносить с собой по стулу. Так что сидели мы вокруг этих столов на своих стульях. Наша школа получила №4.

Отопление было печное, но зимой в классах было тепло. Время от времени от каждого класса отряжали группу учеников на пилку и колку дров. Учебу в этой школе мы начали с 8-ого класса, а мальчики, пережившие оккупацию, пропустили год учебы и были старше нас на год. Преподавательский состав по всем предметам был не просто хорошим, а превосходным. Но условия учебы были не просто тяжелыми: не хватало тетрадей (писали на чем угодно, в том числе на немецких бланках и афишах), учебников не хватало и давали по одному учебнику на 3-4 ученика и мы бегали друг к другу, чтобы готовить уроки по очереди. К этому добавлялись и бытовые трудности жизни в городе, перенесшем оккупацию и разрушения. Однако, все ученики были нацелены только на одно, на успешное окончание школы. Поэтому все до одного поступили впоследствии в ВУЗы, в том числе столичные. В сочиненном кем-то гимне школы были такие слова: «…что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов 4-ая МСШ рождать». И Юрка Левада и Филипп Рутберг одни из них.

Среди учителей особенно выделялась Ольга Васильевна Щербо, преподававшая русский язык и литературу, и пришедший из армии уже после Победы Лев Моисеевич Шмуленсон, преподававший математику. Своей приверженностью русской культуре и знанием литературы Ольга Васильевна оставила в своих учениках светлую память на многие годы. А Шмуленсон своей строгостью и требовательностью вынудил несколько учеников даже перейти в другую школу. Оценку «отлично» имел у него только один ученик – Юра Левада, остальные перебивались с тройки на четверку, но даже последний троечник на вступительных экзаменах в институты не получал меньше пятерки! Таков это был блестящий педагог.

Осенью 1944 года, пока не начались занятия в школе, т.е. до 1 октября, мы увлеклись кролиководством, достав у знакомых ребят несколько кроликов. Из досок, отрываемых от полуразрушенного кафе, сколотили клетки в подвале Филиного дома.

Пока была еще зеленая травка, проблем с кормом не было, но с приходом зимы трава пожухла, школьные и домашние дела (вода, дрова, очереди и т.п.) забирали все свободное время, и с кроликами пришлось расстаться.

С началом занятий в школе Юрка быстро сошелся с одним из учеников – с Борисом Федоришиным и его другом Игорем Данкевичем, с которыми подружился и я. Вчетвером мы организовали группу друзей, которую в классе называли эскадроном. Наш «эскадрон» занимал две последние парты (с 9 класса столы были заменены нормальными партами), сидя за которыми за спинами других учеников, мы во время неинтересных уроков занимались, чем хотели. Внимательно слушали учителей математики и физики, астрономии, а остальных – от случая к случаю. В «свободное» время читали книги, выбирая настолько потрепанные (например, «Дневник Кости Рябцева»), что они легко разбирались по листикам, мы их разбирали и передавали по очереди отдельными частями. Увлекались буриме, а потом и английским.

В школе изучали немецкий язык. Но однажды Юра нашел в шкафах дедушки самоучитель английского, изданный в виде отдельных поурочных тетрадок. Юрка стал самостоятельно изучать английский и заразил этим всех четверых. Английский показался нам настолько легким, что по примеру Юры тоже стали изучать его по тетрадкам этого самоучителя, не оставляя школьного немецкого. В 10 классе я немецкий бросил, а Юрка продолжал параллельно изучать два языка, и пожелал сдавать на выпускных экзаменах оба языка, и в аттестате зрелости у него значились два языка.

А в начале 1945 года, когда война кончалась, в Великобритании в результате парламентских выборов победила партия лейбористов во главе с Эттли. Консерваторы проиграли. Считая лейбористов прогрессивной (рабочей!) партией, а консерваторов во главе с Черчиллем нашими недоброжелателями, которые неискренне сотрудничали с нами во время войны, Юрка подбил нас поздравить главу лейбористов Эттли с его избранием на пост премьера. Такое письмо мы написали и в Юркином

переводе отослали. Судьба письма нам, конечно, осталась неизвестной.

Все годы учебы Юра показывал самые лучшие результаты по всем предметам. В 9 и 10 классах он был единственным, кто имел отличные оценки по математике. Его сочинениями заслушивались ученики, когда Ольга Васильевна читала их классу. Его работы отличала нестандартность мышления, образность выражений и четкость определений. Наряду с этим даже задания по черчению отличались аккуратностью и особой тщательностью исполнения. О его абсолютной грамотности как русской, так и украинской, не стоит и говорить. Но при этом Юрке не было свойственно высокомерие и чувство превосходства над другими. Наоборот, он всегда охотно помогал тем, кто чего-то не понял, терпеливо разъясняя трудные места.

И в учебе и в житейских делах он проявлял настойчивость и упорство. Помню случай, когда перетаскивая лодку через плотину из набросанных камней, мы уронили в воду уключину. Стали нырять, чтобы ее найти. Двоим из нас это вскоре надоело и мы хотели возвращаться без уключины. Но Юрка настоял продолжать поиски и вскоре мы ее нашли.

Конечно, в школе было много так называемой общественной работы. При выборе кандидатуры для того или иного поручения, как правило, первым называли фамилию Левада. Хотя Юрка протестовал («что я вам, козел отпущения, что ли?»), но не всегда мог отстоять себя. Ему удавалось успешно сочетать учебу с общественной работой. Он один из первых в классе вступил в комсомол, а потом выполнял поручения райкома. Ездил по окрестным селам с лекциями, хотя из-за бендеровцев в районе было неспокойно.

Так мы окончили 8-ой класс и наступил великий день 9 мая. Уже с вечера не выключали радио, а когда Левитан объявил о капитуляции Германии, чуть не до рассвета носились по городу с воплями радости и песнями. А утром, как по команде, собрались в школе и пошли на демонстрацию, чеканя шаг, как нас учили на уроках военной подготовки, проходя мимо трибун, установленных еще к 1 мая.

К этому времени мы познакомились с тремя девочками из женской школы и все вместе много гуляли и по городу и на речке и в любимом лесу. Вернулись уцелевшие родители, пришли в школу демобилизованные учителя. Учеба продолжалась.

В 9 классе у Юрки появилась идея выпускать инкогнито стенную газету. Назвали ее «ИКС» и печатали статьи на машинке, которую мой отец привез из Германии. В газете высмеивали как учеников, так и отдельных преподавателей, отражали школьные события. Вечером скрытно проникали в школу и в наш класс, не занятый второй сменой, и вывешивали ее на видном месте. Утром, придя в школу, никто не мог понять, как и откуда появилась эта газета. После третьего или четвертого выпуска разразился скандал и директор лично запретил ее. Только потом мы поняли, с каким огнем играли в то время сталинской подозрительности и репрессий. Но, помоему, никто так и не узнал, кто выпускал эту газету.

Наконец, приблизился день выпускных экзаменов и прощания со школой и школьными товарищами. Выпускное сочинение по русскому языку и литературе писали, как в угаре, не слыша даже сильнейшую грозу за окнами. А выпускной вечер нам устроили роскошный – в здании Облисполкома, председателем которого был в то время отец одного из наших выпускников. Гремел оркестр, огромный зал был уставлен столами с закусками, тортами и напитками: только что очередной голод, пронесшийся по Украине, благодаря усилиям наших родителей совершенно на торжественных столах не отразился. Каждый из нас, кроме родителей, мог пригласить кого-то из близких или подругу.

Первым огласили фамилию Левада и директор вручил Юрке золотую медаль – единственному выпускнику, получившему эту награду, и аттестат. А потом вызывали всех по очереди к столу, где сидели все преподаватели, и под звуки оркестра «туш» директор поздравлял каждого и вручал аттестат.

А потом все разъехались. Юрка поступил на философский факультет МГУ, я в строительный институт тоже в Москве, а наши друзья Борис и Игорь – в Ленинград, тоже на философ-

ский факультет ЛГУ. Годом раньше в МГУ поступил и Горик на юридический факультет. Так, с 1947 года наши пути стали расходиться, хотя ежегодно снова проводили вместе зимние и летние каникулы. В Москве время от времени встречались, но регулярно Юра и Горик не забывали о моем дне рождения и приезжали ко мне с поздравлениями. Примерно на 3-ем или 4-ом курсе у Юры появилась любовь – Лия.

Иногда я приезжал к ним в общежитие на Стромынке или в Лианозово (тогда еще зеленый пригород Москвы).

Когда Юра стал аспирантом, они поселились в общежитии на Ленинских горах, и я иногда навещал их там. Тогда мы много гуляли по зеленым склонам, а однажды уже вечером забрались на самый верх трамплина и еле оттуда слезли вниз. Особенно часто я виделся с Юркой, когда он стал подрабатывать в редакции общества «Знание» в здании Политехнического музея, каждый раз, бывая в центре, я заходил в редакцию. Но все это были эпизодические встречи и прошлой близости уже не было: у каждого появились иные профессиональные интересы и свой круг общения.

Когда Лия ждала ребенка, они сняли комнату на Гоголевском бульваре. Вскоре я пришел к ним, чтобы поздравить с первенцем, а хозяйка сообщила, что они пошли в ЗАГС зарегистрировать сына. Я дождался их возвращения и первым моим вопросом был, как назвали сына, Юрка ответил: «Именем самого великого философа». Поскольку я не знал имени ни Гегеля, ни Фейербаха, я решил, что мальчика назвали Карл в честь Маркса. Но Юрка меня удивил, сказав, что самым великим философом был Ленин, и сына назвали Володя. Я мало знал об их семейной жизни, но однажды Юрка пришел ко мне и сказал, что расстался с Лией. Мне настолько тяжело было это услышать, что я попросил его не рассказывать мне ничего об этом сейчас, оставив на потом. Но потом случай узнать все не представился, и я до сих пор не знаю причину их развода.

Вскоре в Юркиной жизни появилась Тамара, очень милая и интеллигентная женщина, но мне не представилось случая близко ее узнать. Близко узнала Тамару моя жена, поскольку с

моими маленькими сыновьями она несколько лет выезжала летом в Винницу, где близко познакомилась с Тамарой, которая тоже вывозила туда своего сына Федю. Выросших сыновей Юры, Володю и Федю, я совершенно не знал и никогда не видел, но со слов Юры знал, что у него растут талантливые дети. Поэтому трагедия с Федей остро переживалась и нами, поскольку совпала и с нашей бедой.

Так пролетела жизнь. Поредели ряды свидетелей нашей прежней жизни, оставляя нам только память о них. И я рад, что в моей жизни был такой друг, как Юрий Александрович Левада, и что моя память сохранит его светлый образ, сколь это будет возможным.

P.S. Юрий Александрович Левада, начиная со школьных лет, был авторитетом не только для своих друзей и товарищей, но и для всех, кто узнавал его образ мышления и поведения в жизни.

Когда же по праву возглавил ВЦИОМ, а потом и аналитический центр, получивший известность по его имени, он стал признанным авторитетом не только лично для меня, но и для множества россиян и жителей зарубежья, куда только доходили его взгляды и оценки различных событий текущих лет и различных политических деятелей.

Его мнение лично для меня было окончательной инстанцией и я то и дело звонил ему, получая четкие оценки и характеристики тех или иных событий.

«Центр Левады» получил доверие людей разного положения и я надеюсь, что сотрудники Центра на многие годы закрепят это уважение всех, кто его знал и для кого его мнение было ценным. Аналитический Центр Юрия Левады – это лучший итог жизни моего Друга.

В. Чертихин

НЕСКОЛЬКО ЭПИЗОДОВ…

Наш курс был довольно-таки сильным, на нем учились Борис Грушин, который своими работами привлечет внимание к роли общественного мнения, Толя Ракитов, который переполошит многих методологов науки, в Лондоне будет читать лекции Александр Пятигорский и также наделает достаточно много шума среди буддолгов. Тем не менее, украшением курса, конечно, был Юрий Левада. Хотя, может быть, не очень правильно называть его Юра, но никогда я не звал его Юрий Александрович, а он меня Владимир Елисеевич, и, хотя мы не были очень близки, но когда встречались, то называли друг друга по старой студенческой привычке только по имени.

Мне трудно, не будучи специалистом в области социологии, давать ему оценку как социологу. Думаю, что это лучше сделают его коллеги, профессионалы. Поэтому я хотел бы остановиться на некоторых эпизодах, жизненных ситуациях, которые с моей точки зрения в значительной степени дают представление о характере Юры и о той атмосфере, в которой он формировался и закалялся. Вот несколько таких эпизодов.

Еще на первом курсе, когда он стал главным редактором нашей курсовой стенной газеты, то как-то около ее стенда мы обсуждали очередной номер. Я сказал ему, что в школе выпускал нелегальную газету. Он меня отвел в сторону и очень серьезно сказал: «А вот об этом никому говорить не надо».

А потом уже где-то на курсе третьем на какое-то время мы попали с ним одну группу. Началась борьба с космополитизмом и я попал в разряд космополитов. За несколько дней до комсомольского группового собрания со мной беседовала наш комсорг Света Кубяк, которая задавала мне вопросы: Какую литературу я люблю? Советскую или классическую? Нравится ли мне «Буря» Эренбурга, удостоенная сталинской премии? Не чувствуя подвоха, я откровенно отвечал, что предпочитаю классику современной литературе, Эренбурга ценю как публи-

циста, роман «Буря» не считаю сильным, пожалуй, там только один образ – это образ Мадо, а все остальные герои выписаны невыразительно. «Как же так, - воскликнула Света, - ведь роман получил Сталинскую премию?» «Ну, - ответил я, - Сталинская премия Сталинской премией, а мое отношение к этому роману – это мое отношение». Я не придал значения этому разговору, но когда началось комсомольское собрание, Света сказала, что, к сожалению, в наших рядах есть космополиты и таковым является Володя Чертихин, который во-первых не любит советскую литературу, предпочитая ей классику, во-вторых не любит роман «Буря», который получил Сталинскую премию, и мы должны в этом разобраться.

Тогда порядок был такой – круговая порука, почти каждый должен был выступить и сдать злостного космополита. Началась проработка. Голоса Юры в этой разборке я не услышал, он камня в презренного космополита не бросил. Решение принято было такое – перенести вопрос на курсовое комсомольское бюро, т.е. сама группа не давала никаких наказаний, она только отбирала кандидатов для более высоких инстанций.

Я к этому времени был уже не очень наивен и понимал, что разбор на комсомольском бюро может закончиться исключением из комсомола и последующим отчислением из университета. Поэтому я приехал на Стромынку в общежитие в довольно мрачном настроении и в коридоре встретил секретаря курсового бюро Леву Пристанского. С перекошенным лицом он меня спросил: «Что у вас творится в группе?». Откровенно говоря, я чуть не повалился на стену, потому что, если буквально через полчаса секретарь знает, что у нас происходит в группе, то дело серьезное. И вдруг Лева Пристанский объяснил мне всю суть проблемы с космополитами. Прижав меня к стене, он грозно сказал: «Как это ты, русский, и космополит! Ты не любишь роман Эренбурга и ты космополит. У вас в группе космополит это Левада. Ты посмотри, у него в общежитии над кроватью висят портреты двух евреев-философов, Маркса и Спинозы. У вас космополит Долгий…». И еще он перечислил целый ряд однокурсников, которые все были как-то отягощены

пятым пунктом.

На следующий день, когда я приехал на занятия, Света Кубяк объявила, что сегодня опять будет комсомольское собрание, и после лекций оно началось. Света сказала, что мы вчера вечером критиковали Володю Чертихина, у него, конечно, есть ошибки, но он не космополит, а космополитами в группе являются Юра Левада, Владимир Долгий и далее она перечислила те фамилии, которые мне назвал Лев Пристанский. И все началось по-новому, все дружно навалились на космополитов. Молчал, пожалуй, один только я, потому что по собственному опыту знал, как это больно, когда тебя топчут ногами.

Тогда эта история для Юры кончилась достаточно легко, потому что на курсе нашлись более яркие космополиты, например, Карл Кантор. Возможно, что из обвинительного заключения был изъят еврей Маркс, а одного Спинозы было недостаточно. Но уже этот эпизод говорил о том, что на людей выделяющихся и ярких смотрели с подозрением и старались их причесать под одну гребенку. Ясно было и то, что Юра Левада взят на заметку.

Этот случай сделал для меня понятным и другие неприятности, которые пережил Юра Левада. За яркость ему придется много раз платить дорогой ценой. Еще один эпизод я знаю уже со слов покойного Глезермана. Это уже после окончания университета я работал в Институте общественных наук при ЦК КПСС. Приходилось контактировать с Академией общественных наук, где проректором был Глезерман.

В это время Юра опубликовал книгу по социологии на основе своих университетских лекций на филологическом факультете. Это была одна из первых книг по социологии как самостоятельной науке. Ее сразу же приняли в штыки. Его лишили присвоенного уже звания профессора, в «Коммунисте» Глезерман и Момджан опубликовали разгромную статью, доказывая, что только исторический материализм является подлинно научной социологией. Краснопресненский райком КПСС начал персональное дело Юры Левады, поводом для которого была упомянутая статья.

И вот во время одной из встреч с Глезерманом я довольно-таки сознательно упомянул, что мы с Юрой были не только однокурсниками, но даже в какой-то период одногруппниками. Смущенный Глезерман рассказал мне следующее. Когда они с Момджаном узнали, что против Юры затевается персональное дело, они помчались в Краснопресненский райком, добились встречи с секретарем и пытались его убедить в том, что это научная дискуссия, что они высказываются против этой книги с чисто научной позиции, не соглашаются с какими-то положениями автора и поэтому для персонального дела нет никаких оснований. На что секретарь райкома им сказал: «Это ваша личная точка зрения, и ее высказали в своей статье, но статья опубликована в центральном органе партии. Следовательно, это уже мнение руководящих органов партии и поэтому мы должны на это реагировать и мы на это отреагируем».

Отреагировали, Юра получил строгача. Правда, потом произошел трагикомичный эпизод. Начался обмен партбилетов, а для этого надо было снять все выговора. Когда Юре предложили написать заявление с просьбой снять с него выговор, он категорически отказался, заявив, что он не считает свою позицию неправильной, вины за собой не чувствует и поэтому ему не в чем каяться. Но партбилет надо было выдавать, и ему сняли этот выговор несмотря на то, что он не написал никакого покаянного заявления.

Мне представляется, что эти эпизоды в какой-то степени характеризуют и самого Юру Леваду и, в особенности, ту обстановку, ту эпоху, ту атмосферу, в которой ему приходилось пробиваться. Понятны и дальнейшие неприятности, когда был разгромлен ВЦИОМ. Но талант, интеллектуальная мощь Юры были таковы, что он создал свой собственный независимый Центр, который в очень смутное время говорил правду. И не просто говорил правду, а настолько фактологически обосновал эту правду, что даже его противники вынуждены были либо ее признавать, либо, по крайней мере, замалчивать.

И в заключении все-таки не могу удержаться от общей оценки научного творчества Юры Левады. Хотя, повторяю,

может быть его коллеги об этом скажут более авторитетно и более основательно. Если прибегать к аналогиям, то работы самого Юры Левады и его Центра я бы сравнил с работами выдающегося социолога XX века Питирима Сорокина, который настолько мощно фактологически обосновал свои теоретические концепции, что даже его противники, не соглашаясь с самой концепцией, не могли противопоставить ей каких-то серьезных аргументов. Так вот и Юра Левада в своих книгах, статьях фактологически настолько всесторонне обосновал свои выводы, что их вынуждены были признавать его противники.

Хочется надеяться, что его Центр, руководствуясь теми методологическими разработками, которые заложил Юра Левада, будет и дальше в наше сложное время оставаться голосом правды, и правды, обоснованной социологическими законами. Хорошо бы издать аналитические статьи Левады – получился бы основательный социологический портрет нашего общества.

А. Павлов

С ЮРИЕМ ЛЕВАДОЙ Я УЧИЛСЯ НА ОДНОМ КУРСЕ…

С Юрием Левадой я учился на одном курсе, было нас, «школьников», на курсе примерно половина состава, остальные были фронтовики, которые смотрели на нас, семнадцатилетних, как на неоперившихся птенцов. Разница между нами в 4-6 лет воспринималась как разница между поколениями. И, действительно, жизненный опыт прошедших фронт, закаленных в боях молодых людей и нас, бывших недавних школьников, был, конечно, несопоставим. Однако, Юра Левада, несмотря на то, что он был самым младшим из «школьников», (он родился в 1930 году, а почти все остальные бывшие школьники с нашего курса были 1928-1929 годов рождения), как-то выделялся из нашей «школьной» массы своей серьезностью. Его, уже в те годы сутулившаяся крупная фигура невольно вызывала уважение. Он был медлителен и солиден во всем. На устах его блуждала слегка ироническая снисходительная улыбка, которая как бы свидетельствовала о том, что он знает нечто, о чем другие не догадываются. Он не был активным общественником, не увлекался спортом и поэтому в студенческие годы я с ним мало общался. Мое внимание он привлек уже после окончания университета, когда пошли разговоры о его очень интересных лекциях по социологии. В то время социология еще не вошла в моду и официально рассматривалась как «буржуазная наука», ибо марксистской социологией считался исторический материализм и все, что выходило за рамки исторического материализма, трактовалось как отклонение от марксизма. Не случайно академический институт, занимавшийся социальными исследованиями, назывался Институтом конкретных социальных исследований, а не Институтом социологии. Изданные в двух томах лекции по социологии Ю.А. Левады вызвали большой интерес и сразу же подверглись суровой критике. В ноябре 1969 года было организованно их обсуждение в Академии общественных наук при ЦК КПСС, которое приоб-

рело все черты огульного осуждения. (Я на обсуждении не был и сужу о нем по опубликованному в 1979 году обзору в «Научных докладах высшей школы. Философские науки»). Судя по обзору, только Борис Грушин, наш однокурсник, попытался как-то защитить Леваду от нападок и обвинений в отходе от «исторического материализма», «от социально-философских основ марксизма», в «непростительных уступках буржуазной социологии» и прочих смертных грехах. Репрессии последовали незамедлительно. Вопреки всем законам и правилам его лишили профессорского звания и запретили преподавать. И он вынужден был устраиваться на работу не по специальности, как мне помнится, в Экономико-математический институт АН СССР. Только перестройка в эпоху М.С. Горбачева позволила ему вернуться к любимому делу и результаты не замедлили сказаться. Он стал признанным лидером в области социологических исследований общественного мнения и совершенно закономерно исследовательский Центр его имени является ныне самым авторитетным учреждением в этой области деятельности. Жаль, что такие люди уходят из жизни раньше других своих ровесников.

В. Стороженко

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

С Юрой Левадой мне посчастливилось пару лет учиться в одной группе на философском факультете МГУ. Юра, парень активный, думающий, пишущий, стал редактором нашей настенной курсовой газеты. Однажды, газета не понравилась «старшим товарищам». Наутро газеты не было на стене на привычном месте. Левада возмутился, на обсуждении на комсомольском бюро сказал: «Газету, как корова языком слизнула». Тут на него набросились: не корова, а партбюро решило… а то – корова… за это можно из комсомола исключить… корова! Незрелому Леваде, по-моему, тогда поставили «на вид». Симпатии и сочувствие наше с этого эпизода были всегда на стороне Левады.

* * *

Когда меня, однажды, сентябрьской ночью 49 года забрали, жену мою, однокурсницу Лену Серебряную, выставили на улицу. Чемодан и два узла, ни жилья, ни родственников в Москве. Позвонили о случившемся ребятам с курса. Кто приехал? Юра Левада, да Володя Чертихин. Взяли, помогли, успокоили сколько можно, отвезли, устроили на время у однокурсницы.

* * *

В дальнейшем пересекался я с Юрой изредка, не по долгу, но всегда по интересному и достойному поводу. Например, мы встречались в «Московской трибуне» – в ее славные года, когда ею руководили Сахаров, Афанасьев, Сагдеев, Старовойтова… Или, например, в «Интерцентре», организованном Татьяной Заславской и Теодором Шаниным, собиравшим думающий «народ» на ежегодный симпозиум на вечную тему: «Куда идет Россия?» Левада выступал, любил поспорить, его сила была не только в сборе фактов, но в умении осмыслить, обобщить их. В левадовском ВЦИОМе это особенно ярко проявилось, было

зафиксировано во множестве публикаций.

Научная честность, бескомпромиссность были органически присущи Леваде. Однажды я сказал ему: «Юра, результаты ваших опросов удручают. Оказывается, люди агрессивны, никому и ни во что не верят, лишены исторической памяти, иной раз преобладают оценки просто пугающие. А ведь из психологии известно, что черного кобеля можно выдать за белого, если сто раз твердить человеку, что кобель белый. Не совершаете ли вы ошибку, публикуя такие результаты опросов? Не захочется ли «простому» читателю присоединиться к большинству, как это часто бывает в толпе, в стае? Не лучше ли подправить результаты опросов, не обязательно фальсифицировать, можно умалчивать нежелательные, выпячивать «нужные» оценки?..»

Юра замкнулся. Без слов был понятен его ответ. Левада всегда стоял за правду, какой бы она ни была.

* * *

Однажды Александр Пятигорский после долгого отсутствия приехал из Лондона и пришел к нам в гости. На вопрос, кого пригласить, с кем встретиться, кого бы он хотел увидеть прежде всего, – Пятигорский ответил не задумываясь: Юру Леваду.

* * *

До сих пор путают два ВЦИОМа. Но Леваду не спутаешь ни с кем. Есть немало достойных ученых-социологов, сочиняющих статьи и книги, создающих научные школы. Но Левада, выражаясь современным языком, – «бренд» нашей социологии. Попросите кого-нибудь из списка в 10 социологов отметить одного наиболее известного и уважаемого. Им будет Левада!

А. Ракитов

МОЙ ДРУГ ЮРА

Я никогда не звал Юру Леваду Юрием Александровичем. Мы с ним почти ровесники. Разница в возрасте (не могу ручаться за точность) от одного до двух лет. Так как мы были однокурсниками (когда учились на философском факультете МГУ им. Ломоносова), то я привык звать его по имени. В студенческие годы мы учились в разных группах. К тому же тогда я не стремился поддерживать обширные знакомства и приятельские связи. Поэтому у нас практически не было никаких контактов. Завязались и были в каком-то смысле уже тесными они позже, во время аспирантского обучения и после него.

Как и во всем обществе на нашем факультете (и, может быть, больше, чем в других организациях и учреждениях) было развито стукачество и предательство. Стоило как-то неправильно чихнуть или косо посмотреть на кого-то из старших, партийных «товарищей», своих сокурсников, а тем более, вышестоящих, так тут же следовали репрессивные меры. Некоторые мои однокурсники загремели в ГУЛАГ и вышли оттуда только после смерти «отца народов». Одна из самых привлекательных черт Левады заключалась в том, что в нем не было никаких признаков, никаких следов предательства, склонности к доносительству, стукачеству или сведению счетов с кем бы то ни было при помощи партийных товарищей. Вообще и в те далекие страшные, и в более поздние либеральные времена он отличался исключительной честностью и таким, почти вымершим в наше время свойством, как глубокая человеческая порядочность.

Он был умен, образован, открыт для дружеского общения, честен с собой и с другими и отличался большой доброжелательностью и открытостью. Он вообще хорошо относился к людям, даже к тем, которые не всегда этого заслуживали. Эти свойства я ценил в нем больше всего.

Я познакомился с Юрой на одном из аспирантских семина-

ров, когда я впервые услышал его выступление в порядке дискуссии по поводу кем-то зачитанного доклада. Но действительно тесные отношения у нас установились, когда мы оказались участниками Методологического семинара, который вел довольно популярный в то время молодой философ Юра Щедровицкий (Георгий Петрович). Мы с Левадой к нему хорошо относились, но всегда с некоторым чувством иронии. Надо сказать, что легкая ироничность, жизнерадостная и веселая, незлобная, совершенно лишенная привкуса завистливости, столь характерного для большинства неудачников, была присуща Леваде и порождалась его ясным пониманием того, как нелепо и натужно выглядят так называемые «взгляды» и «убеждения» многих наших ровесников, стремившихся сделать карьеру, главным образом, рассчитывая на свои идеологические «заслуги».

Еще одной важной отличительной чертой Юры была уверенность в своей правоте и способность до конца защищать свои убеждения, независимо от возможных последствий такой позиции. На моей памяти это наиболее ярко проявилось в трех случаях. Первый был связан с защитой его докторской диссертации, которая была посвящена социологии религии. Эта диссертация, лишенная флера вульгарного атеизма, очень не нравилась руководящим «товарищам». Вокруг нее развернулась какая-то противная некрасивая возня, особенно в высшей аттестационной комиссии, экспертный совет которой был укомплектован идеологически безупречными авгурами партийных установок. От Юры требовали изменить основные выводы диссертации и ее содержание. Но он не сдал ни одной позиции. И я до сих пор удивляюсь тому, что ВАК в его тогдашнем составе все-таки утвердил эту докторскую степень, несмотря на противодействие защитников идеологических устоев.

Другой эпизод связан с опубликованием Курса лекций по социологии, который Юра в конце 60 гг. читал, кажется, на журналистском факультете МГУ. Особенность этого курса заключалась в том, что он содержал первую, я бы сказал, реально просочившуюся через железный занавес информацию о совре-

менной западной социологии. Естественно, что это вызвало бурное негодование официальных защитников и лидеров исторического материализма, который считался единственно правильной социологией, а именно социологией марксизма-ленинизма. Не помню сейчас уже точно, но в начале или в середине 1969 г. в главном теоретическом органе ЦК КПСС журнале «Коммунист» появилась разгромная статья Г.Е. Глезермана, который обвинял Леваду во всех возможных и невозможных смертных и идеологических грехах. Осенью того же года в Академии общественных наук при ЦК КПСС было организованно обсуждение статьи Глезермана и курса лекций Левады. Председательствовал на этом обсуждении, если мне не изменяет память, заведующий кафедрой философии АОН профессор Момджан. Обсуждение, конечно, проходило по формуле «обвинить, разоблачить и заклеймить». Из единомышленников Левады, выступавших в его защиту, слово дали только Б.А. Грушину. Остальных на трибуну не выпустили. Зато обличителей, разоблачителей и критиков Юры было более чем достаточно. Как ни странно, даже среди работников ЦК КПСС были люди, сочувствовавшие Леваде и возмущавшиеся характером развернувшейся дискуссии. Но активно вмешиваться в ее проведение никто не решался. Один из инструкторов ЦК КПСС, сидевший рядом со мной в зале, передал организаторам обсуждения мою записку с просьбой предоставить мне слово. Естественно, что мне возможности выступить не предоставили. Во время перерыва, между первой и второй частью дискуссии, я проходил по коридору мимо одного из наших однокурсников, работавших в то время в АОН. До моего слуха донеслись его слова: «Я так и вижу, как Левада и его дружки в полосатых робах катают тачки за колючей проволокой». Это, между прочим, была не угроза, а некое предчувствие очень правдоподобной и реальной ситуации, которой могла закончиться дискуссия. К счастью, дело до этого не дошло.

Но самое важное опять-таки заключалось в том, что, отвечая своим оппонентам, Левада и на этот раз не дрогнул, не сдал своих позиций, не раскаялся, не повинился. Он был человек

гордый, независимый, исполненный чувства собственного человеческого достоинства. В те времена это были свойства редкие, часто скрываемые, и платить за них зачастую приходилось очень высокой ценой.

Третий эпизод, о котором я упомяну вкратце, произошел уже в наши, извините за выражение, демократические времена, когда Леваду отстранили от руководства Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), потому что Центр этот публиковал наиболее правдоподобные и нефальсифицированные результаты социологических опросов, сделанные на высоком профессиональном уровне и содержавшие информацию о том, что действительно думает население страны о самых животрепещущих проблемах нашего общества. Кого-то в демократическом руководстве независимая и правдивая информация не устраивала. И здесь произошел один из самых, может быть, интересных эпизодов в жизни Левады и его учеников, из которых состоял тогдашний ВЦИОМ. Если я не ошибаюсь, практически 100% сотрудников уволились из ВЦИОМа и вскоре создали новый социологический центр, получивший название «Левада-центр». Вскоре информация этого Центра снова стала появляться в наших СМИ. А сам Центр, руководимый после смерти Левады его учениками, продолжает работать до сегодняшнего дня и, я надеюсь, будет успешно работать в будущем.

Еще несколько слов о политических позициях Юры или, точнее, о его способности глядеть правде в глаза и не дрожать перед лицом возможных угроз. В 60 гг., когда у нас над всей интеллектуальной жизнью царил «главлит», самое грозное цензурное учреждение России, большинство интеллигентов шестидесятников и семидесятников возмущались нашим застойным бытием, холодной войной и духовным закабалением нации, в основном, в кухнях своих малогабаритных квартир, да и то говорили шепотом. В конце концов, это надоело. Мы, включая Леваду и еще несколько человек, решили все-таки сказать вслух то, что мы думаем и подписали письмо с протестом против процесса над Ю. Даниелем и А. Синявским, которым озна-

меновалось начало долгого брежневского периода застоя. Письмо это мы отправили через одного итальянского журналиста для опубликования в одной, по тем временам прогрессивной, итальянской газете. Посредником и устроителем этого дела была наша однокурсница, впоследствии известный кинорежиссер Инна Туманян. Но в самый канун отправки письма за рубеж самые радикальные критики застоя и духовного зажима дрогнули. Мой (в то время близкий) приятель, вот уже 30 с лишним лет проживающий в Америке, считающий себя российским патриотом, насмерть перепуганный явился ко мне в 3 часа ночи и попросил вычеркнуть его фамилию из списка «подписанцев». Недавно он опубликовал двухтомные воспоминания, в которых подробно описал свои тогдашние колебания и перемену во взглядах. Но факт заключается в том, что он струсил. И был он в этом отношении не одинок. Что касается Юры Левады, то он не только в этом, но и в других известных мне конфликтных ситуациях с властями подписей своих не снимал, от убеждений не отказывался и тяжких последствий не боялся, хотя они были постоянной каждодневной реальностью.

Другой эпизод говорит о его высокой политической проницательности. В бытность свою советником первого президента РФ я однажды по делу зашел в кремлевский кабинет тогдашнего госсекретаря Г.Э. Бурбулиса и застал его беседующим с Юрой Левадой и Борисом Грушиным. Это было, по-моему, в начале 1992 года, когда конфликт между реваншистами и демократами только назревал. Бурбулис допытывался, возможен ли, по мнению ведущих социологов, кровавый вариант развития событий или же можно найти бескровный путь разрешения конфликта. Левада утверждал, что поскольку в его основе лежит неуемная жажда власти лидеров конфликтующих сторон, то кровавый вариант практически неизбежен. Грушин придерживался, если мне не изменяет память, такого же мнения. К сожалению, оба они оказались правы и знаменитые события осени 1993 года это полностью подтвердили.

В заключение несколько слов о чисто человеческих чертах характера Юры. Всю жизнь я очень любил собак. Когда, нако-

нец, я смог купить отдельную кооперативную квартиру, то первым делом завел щенка, чистокровного ньюфаундленда. Поскольку в Российской Федерации их не было, то мне привезли щенка из Эстонии. Через пару лет он превратился в отличного выносливого пса, умного, доброжелательного, с которым я иногда, как это ни смешно может показаться, беседовал более откровенно, чем с некоторыми близкими людьми. Пес был отлично отдрессирован в школе для собак-поводырей для слепых. Он водил меня гулять, в магазины за покупками, сопровождал на остановку городского транспорта и далее до места работы. Юра тоже очень любил собак. Он часто бывал у меня дома, приносил подарки детям и не забывал побеседовать с моим псом Церабусом, почесать его за ухом, дать какое-нибудь лакомство. Пес относился к нему очень дружелюбно. Юру он встречал как закадычного друга, становился на задние лапы, старался лизнуть его в лицо. В этой позиции, кстати, они были одного роста. Любопытно, что двух моих друзей: Сашу Зиновьева и Юру Гастева, также больших любителей собак – он почему-то всегда облаивал. Когда у Церабуса появился первый щенок от чистокровной ньюфаундлендки по имени Фекла, принадлежавшей Мстиславу Растроповичу, я подарил этого щенка Юре. Щенок тот, в силу какого-то несчастья, заразился чумкой, и у него отнялись задние ноги. Большинство владельцев собак в подобных случаях стараются избавиться от своих питомцев. Но Юра возился с ним как лучшая няня: выгуливал, кормил, вычесывал, проводил с ним много времени и очень любил своего пса. Так длилось до естественной кончины этой собаки. Видя, как переживает Юра кончину своего друга, я подарил ему второго щенка, с которым, по воле случая, приключилось такое же несчастье. И нужно сказать, что с таким же стоическим терпением Юра выхаживал и вторую собаку. Для меня такое отношение к животным является очень высоким показателем человечности. Многие не понимали, почему Левада столько возится с больными собаками, но я это не только понимаю, но и высоко ценю. Трафаретная формула «собака – друг человека» наполнена гораздо более глубоким смыслом,

чем многие думают. И отношение Левады к своим четвероногим друзьям говорит об очень важной черте его характера: искренней доброте, надежности и умении сохранять свои глубинные привязанности. В наше время черты эти довольно редкие. Всеобщее торжество рубля и доллара поменяло многое в человеческих ценностях. Однако, вспоминая о Юре Леваде, я могу со всей определенностью сказать, что он в этом торжестве не участвовал. Он был хорошим другом, хорошим человеком и хорошим исследователем, могущим послужить эталоном научной добросовестности. И в этом непреходящая ценность его как человека и ученого.

В. Долгий

ТРИ ГОДА СПУСТЯ. О ЮРИИ АЛЕКСАНДРОВИЧЕ

Я растерян. Прошло 62 года с тех пор как мы оказались на одном факультете МГУ и в одном общежитии на Стромынке. Прошла почти вся сознательная жизнь. Что и как выделить из прожитого.

Юра – студент. Это 47-52 годы. Не лучшее время, мягко скажу, для философии, да и для человеческого становления вообще. Но это понято не тогда… Да и времена не выбирают…

Поступали мы в один год, но на вступительных экзаменах я с ним не встречался – он был золотой медалист. Сблизились по совместной жизни в общежитии на Стромынке.

Олег Лапшин, живущий в одной комнате общежития с нами, или мы с ним, говорит мне и Юре, – вы не очень языки распускайте, надо понимать в какое время мы живем… Олега мы любим и очень уважаем. Ещё бы – он старше нас лет на 7-10, он – фронтовик, майор. Не пьет, не матерится. Интеллигент. Порядочный человек. Настоящий коммунист. Всерьез увлекался учением о языке Н.Я. Марра.

Где-то в 60-е годы Левада ездил в Горький хоронить Олега Лапшина, умершего от белой горячки.

После университета наши пути надолго разошлись – он в аспирантуру, я – туда-сюда. Когда я жил в Братске получил несколько писем от него «Не пропусти в «Новом мире» Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Прислал самиздатское «Открытое письмо Федора Раскольникова». Первый самиздат, который я читал. Помню еще один документ, присланный Юрой – «Устав нрава». Автор Скурлатов, и вышел сей полуфашистский документ из недр Цека комсомола.

В 66-ом я вернулся в Москву, и судьбы и дружба переплелись тесней. Юрий Александрович – признанный социологический авторитет. Его «Социология религии» – для меня, – для моей, всю жизнь складывающейся, системы взглядов – очень значима.

Трудно было бы теперь упрекнуть нас в непонимании времени… Разгон сектора Левады, обсуждение в Академии общественных наук при ЦК КПСС его лекций – изгнание из МГУ, – превращение вчерашнего авторитета в гонимого властью.

Эпизод из потока этого времени.

Обсуждение лекций по социологии в АОН. Обсуждение, вернее осуждение, ведет Константинов. Думаю, главный грех для властей упоминание в тексте лекций ТАНКОВ. Лекции писались до августа 68 года, но тут накатился август, обсуждение идет после Чехословакии, после появления на Западе понятия «танковый социализм». Кроме бульдогов советской пропаганды, на обсуждении присутствуют аспиранты-коммунисты из стран Восточной Европы. Хоть они и коммунисты, но все же не бульдоги, хоть из Восточной, но все же из Европы. У них есть некоторое сочувствие к автору лекций. Один из них в перерыве подходит к Леваде и признается, что лекции ему понравились. Но он хочет предостеречь. Нужна сдержанность, осторожность… Безмерная критичность, как это было в Венгрии в 56 году, да и в Чехословакии, ведет к непредвиденным последствиям. Юра внимательно слушает этот коктейль из страха, прикрываемого сочувствием, и спрашивает – не понимаю, о чем вы беспокоитесь? Вас тревожит, что у Советского Союза не хватит танков?

Левада в моих глазах неразрывен с его социо-культурологическим семинаром. Григорий Померанц, молодая Мариэтта Чудакова, Сергей Аверинцев, Мираб Мамардашвили, Лев Копелев, Александр Анчишкин – среди выступавших. Эти замечательные, мыслящие люди охотно шли к Леваде. Семинар из официального превращался в полуофициальный и совсем неофициальный, но существовал все годы гонения на живую мысль и свободное слово.

Ловлю себя на том, что нет моего особенного видения, или рассказа о том, чего бы не знали многие современники Юрия Александровича.

Левада был настоящий человек и это главное. Необыкновенно умный, способный и работящий. Но главное он был на-

стоящий человек, а настоящих мало. От общения с таким камертоном, душа крепчает. Нет места лжи и приспособленчеству. А те, кто многие годы с ним работали и тесно общались сначала во ВЦИОМе, а потом в Левада-центре – им можно по-хорошему позавидовать.

Т. Левада

50 ЛЕТ РЯДОМ С ЧЕЛОВЕКОМ УДИВИТЕЛЬНЫМ

Я знала Юрия Александровича Леваду почти 60 лет. Без одного года 60. И 50 лет прожила с ним рядом, была его женой. Но ни сотрудницей Левады, ни его ученицей я не была. У меня другая специальность. Не могу, однако, не сказать несколько слов о Леваде-ученом.

Он был социологом. Становление конкретной социологии в СССР и последующее ее развитие в постсоветской России явилось результатом усилий ряда ученых. Каждый из них занимает особое место в истории российского обществознания. Место и роль Ю.А. Левады определяется, на мой взгляд, двумя моментами.

Прежде всего тем, что он первым в СССР прочитал в МГУ курс конкретной социологии, этой непризнанной тогда у нас науки. Первый полный и системный курс. Публично и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Этим курсом конкретная социология открыто заявила о своем праве на общественное признание.

Кстати. Заключительная часть курса была рассыпана в типографии и, если где-то сохранились эти материалы, я бы очень просила прислать их мне.

После изгнания из МГУ и лишения звания профессора, Левада продолжал обучение социологов. Организовал переводы зарубежных трудов на русский язык (печатали их ротапринтом). На открытых семинарах ставил и обсуждал различные проблемы, имея целью обозначить широкое и многофакторное поле культуры, экономики, политики, в котором живет и действует личность, функционирует малая группа – предмет изучения конкретной социологии.

Второй момент – летопись исторического перелома, ознаменованного крушением СССР. Действительный масштаб этого явления еще не осознан. А это была цивилизационная катастрофа. Начальный ее этап. И независимо от того, солидарны

или не согласны с оценками Ю.А. Левады будут исследователи этого феномена, сочтут ли они правомерными или недостаточными вопросы, которые он ставил современникам и участникам этих событий, все равно специалист найдет в этих опросах эксклюзивный и достоверный материал. Потому что Левада-исследователь был всегда предельно честен, не допускал малейшей недобросовестности в работе.

А фиксированная им и его научным коллективом катастрофа – это только первый звонок. И второй не за горами. А потому в этой российской трагедии полезно поглубже разобраться не только русским, но и зарубежным социологам.

На этом я закончу о значении Левады-ученого. Тем более, что Юрий Александрович отрицательно относился к семейственности в работе. И в свои профессиональные проблемы меня не посвящал. Я расскажу о том, как мы жили.

Мы познакомились в 1947 году, на 1 курсе философского факультета МГУ. Меня приняли на отделение психологии, Юру, без экзаменов (золотой медалист) – на отделение логики. На отделение философии принимали только членов партии, в основном фронтовиков.

Юра не был похож ни на кого из нас. Семнадцатилетний мальчик, он уже знал большую часть из того, чему мы, будучи постарше, только еще собирались учиться. Долговязый и неловкий, он никогда не смущался этим и на занятиях по физподготовке настойчиво отрабатывал упражнения. Удивительно немногословный – был внимательным, всегда заинтересованным собеседником. Он умел и любил общаться, а на студенческие вечеринки не ходил. И хотя владел учебным материалом еще до того, как нас знакомили с ним преподаватели, никто не сидел в читальном зале Ленинки так долго, как Левада. Ходила байка, что будто по закрытии библиотеки Левада, купив буханку хлеба, топал пешком с Моховой на Стромынку в общежитие, съедая хлеб по дороге и тем закрепляя проглоченную информацию. Он действительно помнил все. Со слов мужа, учившегося с Юрой в одной группе, я знала о впечатлении, которое он производил на товарищей: вундеркинд.

Я видела Леваду и в другом ракурсе. Ему поручили редактировать курсовую газету, а мне – работу фотографа в ней. И вот мой редактор, ужасно длинный, тощий, с длиннющими руками, которыми часто обнимает себя за плечи, задумчиво смотрит на меня сверху вниз. На макушку мне смотрит и молчит, и я поднимаю лицо. Тогда он говорит примерно так: «Поехать (пойти) надо туда-то к такому-то часу. Заснять то-то (того-то) – 9 на 12 (или 6 на 9, или 13 на 18 – размер фотографии). Газету вывесим тогда-то». И умолкает. Если я не вдруг разворачиваюсь уходить, в узких его глазах появляется любопытство. Но я вопросов не задаю, предложений не делаю. Знаю, если что-то отсниму не совсем удачно, редактор сумеет замаскировать промах. Мальчик был и впрямь удивительный. Я не знала тогда, что он еще школьником сотрудничал в областной газете, где работала его мама. Сотрудничал и в студенческие и в аспирантские годы. А заканчивая учебу, будет работать уже в издательстве «Знание» в Москве.

На каникулы Юра уезжал раньше всех. Досрочно сдав экзамены (всегда на пятерки), спешил домой, в Винницу. Но и в московском своем доме, в общежитии, выполнял массу дел и поручений.

Если на младших курсах Левада пользовался общим расположением студентов и преподавателей, то на старших ситуация изменилась. Приближение выпуска породило конкуренцию, и студенческое сообщество раскололось. Одни, как мы с мужем, остались верны своей симпатии, другие изменили ей. Мы, правда, были москвичами. Конкуренция же стала особенно острой среди иногородних. Тем более, что отделения логики и философии объединили в одно.

А тут произошло еще событие: Юра влюбился. Разговаривая с ним в коридоре и глядя вверх на Юру, прислонившегося к стене, я вдруг увидела, что его узкие серо-голубые глаза расширились, смотрят поверх моей головы и, главное, из них хлынул синий, такой чисто синий свет, что я испугалась. Я знала, что это значит: человек теряет сознание. Мгновение, и все прошло. Только по коридору пробежала девчонка с младшего

курса. Хорошая девчонка. Легко так пробежала.

Муж на мои слова усмехнулся: «Тоже мне новость. Все уже знают, влюбился Юрка. Это Лика, живет в комнате с Раисой, за которой парень с юрфака ухлестывает». Преуспели оба. Юрист женился на Раисе. А у Юры с Ликой к началу наших государственных экзаменов, родился сын Володя. Потом Юра учился в аспирантуре, Лика заканчивала университетский курс, Володя жил в семье ее родителей. Мы с мужем работали, дочку нашу растили тоже дедушки-бабушки.

А в 1956 году мой муж, уже бывший, встретил Юру в библиотеке и спросил о возможности работы для меня. Юра ответил, что у них, в редакции журнала «Наука и жизнь», место есть, но временно: в отпуск по семейным обстоятельствам ушла завотделом биологии и медицины Рада Аджубей. Вот тогда мы снова встретились.

Юра, как всегда лаконично, перечислил мне обязанности, а потом вдруг объявил: «Мы с Ликой тоже разошлись». Причину не назвал, да я и не спрашивала. У самой был опыт. По одной причине, чаще всего, ломались молодые семьи. Не было у них своего, отдельного от родителей, угла. А Юра с Ликой еще из разных городов, и с ребенком… Трудно, очень трудно. Но теперь у нас с дочкой была своя комната на улице Кирова. А Юра работал и жил в Москве на птичьих правах. И я немедленно предложила ему фиктивный брак ради прописки. Услуга за услугу. Юра обнял себя за плечи, посмотрел сначала на меня, потом повыше. И сказал жестким, неприятным голосом: «Нет». Потом прищурился и уже помягче, шутливо: «Бросишь курить – женюсь. Но не фиктивно, а всерьез». Это не входило в мои планы. Все же я познакомила его с моим отцом – инженером-строителем, тогда доцентом строительного института. Отец, который очень любил меня и внучку, сказал: «Если решишь выйти за него, тебе, скорее всего, придется туго. Ведь главное – не помешать ему. Не следует ему мешать ни при каких обстоятельствах».

Так мы поженились. Ни обручальных колец, ни свадьбы не было. Зарегистрировали брак, сообщили об этом родителям.

Юра велел мне уволиться из журнала (семейственность!). Мой отец подарил нам кухонный стол и нашел ему место в общей кухне. На этом официальная часть окончилась.

Не было для меня неожиданностью, что Юра однолюб. Лика была и осталась единственной его любовью. Позже, когда она погибла, что-то в нем погасло. Но с дочкой, которую он переоформил на свое имя, со своим первенцем Володей и с нашим сынишкой, который родился в 1957 году, он был бесконечно нежен, заботлив и великий выдумщик на всякие сюрпризы.

А со мной установились у него теплые отношения, чуть насмешливые с его стороны, похожие на те первоначальные, студенческие. Я же все 50 лет старалась не помешать ему и блюсти дом. Это была единственная, доступная мне форма поддержки мужа. Свою работу, круг своих сотрудников он отгородил от меня твердо, раз и навсегда.

Видно, где-то я допустила ошибку: небрежно или неуважительно отнеслась к тому, чем он дорожил. А ведь могла бы и поостеречься. Был у меня опыт, почти сразу столкнулась я с жесткой, даже чересчур жесткой Юриной бескомпромиссностью.

Только Юра ко мне переехал, как нас, без предупреждения, навестил свекор, Александр Степанович, который после фронта не вернулся к семье. Юра как сидел за работой спиной к вошедшему, так и не повернулся, не поздоровался. Тот вручил мне презент и поспешил проститься. Юра не шелохнулся. А ведь любил батьку. Искал в магазинах и покупал его сочинения. Переживал, когда тот оказался в зоне Чернобыльской аварии. Но не простил.

Со мной до такого не дошло, но профессиональное сотрудничество было исключено полностью. С дочерью, которая закончила истфак МГУ, они порой что-то обсуждали. Со мной – никогда.

Летом 1958 года Юра отвез нас на родину, в Винницу, к своей маме и бабушке.

Бабця оказалась очень высокой, очень строгой, но лежачей

больной. Свекруша работала как конь ломовой, моталась по области с тяжелым корреспондентским магнитофоном. Младший брат Женя проходил практику на местном радио и выпустил в эфир пленку с песнями Булата Окуджавы, что вызвало скандал. А Юра был главой этой семьи, ее старшим мужчиной.

Обе женщины, и бабця, и свекруша, были людьми книжными. Не только в том отношении, что знали, любили и берегли книгу. Но, главное, в том, что видели в героях художественной литературы, в их поступках, образец для прямого подражания. И когда я однажды напомнила свекрови-бабушке, что сказка – ложь, в ней лишь намек, старая дама обиделась, а я пожалела о сказанном. Но таким книжным людям на самом деле трудно живется. У Юры это тоже было.

Семья, как и все семьи, жившие в период социального перелома, не афишировала свою генеалогию. Мне это было понятно: родителям моим досталось и за то, что московский мой дед был причетником в храме ап. Иакова в Яковлевском переулке, и за то, что деревенский мой дед вышел на хутор по Столыпинской реформе. В 1930 г. семью сочли кулацкой, хотя дед-комбедчик был убит в 1923 г., а дети в тот же год, оставив усадьбу в пользу ветеринарной лечебницы, уехали в Москву. Учиться и строить новую жизнь.

Семью Левады тоже ударила смена ценностных ориентаций, присущая перелому. И когда бабця вспоминала молодость, свекруша решительно обрывала эти воспоминания. Я уяснила себе (причем больше от соседей, «просветителей» добровольных, но настойчивых), что бабця Казимира Оттоновна – голубых кровей и об этом лучше молчать. А покойный ее супруг, Юрин дед Лев Константинович, во-первых, из выкрестов, что осуждалось местной общественностью. Во-вторых, его фамилия (значит – члены семьи) фигурирует в списках боевого крыла «Народной воли», что осуждалось еще больше. Одобрялось, правда, то, что дед со товарищи создали в Виннице очень авторитетное высшее учебное заведение – Медицинский институт. И еще то, что Лев Константинович, страдавший раком, умер в тот момент, когда власть решила его арестовать. Его заподоз-

рили в шпионаже: в семье говорили не только по-русски и по-украински, но и по-польски. А на книжных полках стояла литература на всех европейских языках.

Что до меня, то эта генеалогия, а, главное, отношение к ней ближайшего окружения, во многом объясняли Юрин характер, в том числе и жесткую его бескомпромиссность.

Он приехал к концу лета. А до приезда они с моим отцом корчевали лес на подмосковном участке, только что полученном моими родителями. Поставили там садовый домик. Отец прямо-таки прикипел душой к зятю. Тот, оказывается, знал и плотницкую работу и столярку, удивил отца физической силой и, главное, поразил эрудицией и интеллектом.

Приехав в Винницу, Юра принялся с детским нетерпением показывать нам город. Роскошный парк с фонтаном и каштановыми деревьями. Кумбары – пляж на реке Южный Буг: слева дуга железнодорожного моста, справа – паром, на другом берегу, невдалеке, приток и село Вишенки, поместье легендарного хирурга Пирогова с его усыпальницей. А у нас – прекрасный пляж и великолепное купание. И все это мы наизусть знали, каждый день там гуляли. Но Юра знал и показывал то, чего мы не заметили, и это было самым интересным.

Парк был разбит на месте старого кладбища, откуда переносили на новое прах удивительно интересных людей. Фонтан был самый большой в республике, а каштаны – разных пород. Паром оказался моторно-весельным и мы им теперь воспользовались. Юра, вдвоем с паромщиком, перевез нас на другой берег и обратно. Посетили мы и музей Коцюбинского, где прошло Юрино младенчество. И камень Коцюбинского – скалу, на которой любил отдыхать писатель. Под скалой, на урезе воды, Юра подозвал нас, приложив палец к губам, показал: «Тихо!» и тоненько свистнул. Сделал паузу – все смотрели туда, куда и он смотрел – в воду, край камня. Там, вдоль скалы поднялась цепочка мелких пузырьков. Юра опять свистнул, да так нежно, просительно. Тогда из-под скалы показалась усатая мордочка и выплыла большая водяная крыса. Юра опять показал: «Тихо!» и уронил в воду какой-то заранее припасенный гостинец. Кры-

са взяла его лапками, словно ручками. Тут ребятишки не выдержали, запрыгали, зашумели. Зверек развернулся и нырнул. Юра сказал очень серьезно: «Директор музея. Видели усы?» Это звучало убедительно.

За музеем поднималась гора. На горе – грабовый лес. В нем грибы. Ни такого леса, ни таких грибов (польский гриб) мы раньше не видели. Юра неожиданно ловко передвигался в этом непривычном мне, но родном ему лесу. И я не столько поняла, сколько почувствовала, как же глубоко и нежно любит он свою родину. Как легко ему здесь. И как трудно, наверное, жить подолгу вдали от нее.

Ходили мы и на новое кладбище, куда перенесли прах Юриного деда. Здесь над могилами буйно утверждали жизнь плодущие груши. Нарядные сапежанки висели на ветвях, падали на землю. Их не собирали. Юра набрал для нас груш с другого дерева, недалеко от городского театра.

Следующим летом жили в Евпатории. Поправляли здоровье малыша, переболевшего тяжелым гриппом. Юра опять побыл с нами недолго. Но его присутствие сразу преображало жизнь. И бухточку для купания нашли удобную. Не то, что в курзале, где надо место с рассвета занимать. И на экскурсионном катерочке под аккомпанемент «Ландышей» сплавали. И дендрарий посетили, даже материал для журнала сделали. Морского конька банкой изловили, полюбовались и выпустили. Гуляли в сумерках по пустырю, совсем не боясь летучих мышей, рассекавших воздух у самой головы.

Юра как-то всем существом, телом и душой, просто и радостно любил жизнь. И заражал окружающих своей любовью. А ведь был немногословен, даже молчалив. Не жестикулировал. И мимика у него была минимальная: две маски – спокойно-приветливая и насмешливая. Но свои переживания и впечатления он мгновенно транслировал окружающим. И такой способ передачи (без слов), прекрасно воспринимали дети и животные. Взрослые тоже это чувствовали, но не всем подобная беззвучность была комфортна.

В Виннице и на Черном море мы были еще один раз. Встре-

тились там с Сашей Зиновьевым, тоже выпускником нашего факультета. В тот период он работал над нелинейной логикой. Впоследствии эмигрировал и получил широкую известность как писатель-сатирик и публицист.

Последующие годы, летом, мы жили на садовом участке. Там Юра с моим отцом посадили плодовые деревья и кусты, клубнику и даже цветы. На высокий ясень повесили скворечник. Построили сарай, при нем, снаружи – верстак. Юра собственноручно сделал всю мебель. И был подручным у старенького мастера-печника.

Но сад, по его мнению, не обеспечивал полного набора летних радостей. Весной 61 года Юра решил приобщить детей к туризму. Водному. В один прекрасный день наш папа не смог пройти во входную дверь: на его спине был не то мешок, не то рюкзак непомерной величины. В мешке помещалась лодка. Разборный деревянный скелет плюс брезентовая обтяжка. Какой восторг вызвало это чудо техники! И больше всех ему радовался Юра. С одинаковым общим упоением моя семейка приступила к сборке, никто не хотел слушать об ужине, о том, что отец устал… Собрали. Лодка оказалась б/у, но целая, двойка. Ребятишки сразу забрались в нее, а Юра держал, и на лице его было написано безграничное удовольствие. Потом, с видимым сожалением разбирая плавсредство, он объявил: «Пойдем по реке втроем».

Идеям и планам домашних я стараюсь не возражать. Тем более, главе семьи. Но в этот раз я сказала: «Нет». Дочка только оправилась от болезни, сыну едва сравнялось четыре года. «Нет» – сказала я. Удар был неожиданный и болезненный. Все три физиономии просто окаменели. И мое сердце не выдержало. «Доченька, ведь ты уже большая, пойми, сейчас тебе нельзя на реку. Поживи в саду со стариками». И на вопро-сительный Юрин взгляд – «Ну, хочешь, я с вами двумя поеду?» Нельзя сказать, что мое предложение возродило угасшую радость. Дочка, тихо плача, ушла к себе. Сын с вытянутой рожицей провожал ее взглядом (привык к постоянному контакту со старшей сестренкой). Расстроенный Юра наверное мысленно

взвешивал меня: я была раза в три тяжелее своей хрупкой дочурки, а лодка-то была рассчитана на двоих. Потом, без энтузиазма, с холодной уверенностью сказал: «Хорошо». Отступать он не любил. И пошел утешать дочку, которую прозвал Афина-Котяда. Ужинали без аппетита. Перед сном ребятишки тихонько говорили о чем-то. А Юра все прислушивался, озабоченный и грустный. Мне тоже было не по себе. Жалела всех троих и досадовала, что Юра предварительно не посоветовался со мной. Но он никогда этого не делал, любил сюрпризы. А я никогда ни в чем его не упрекала, и в тот раз тоже. Потом он отвез дочку к моим родителям, собрал походный скарб, и мы двинулись.

Все в коротеньком этом путешествии было мне огорчительно. И обида дочки. И чудовищный груз, который Юра тащил на себе до вокзала, а при возвращении – до дома. И первая ночевка в палатке на крошечном островке посреди нормального современного города. И дальнейший путь по реке, по берегам которой, за исключением Приокского заповедника, шли почти сплошные постройки, отгороженные, правда, полосой приречных ив. Несуразным казалось мне разжигать вечером костерок на узенькой песчаной косе и варить ужин из концентратов, когда наверху, в 20-минутах ходу, столовые и кафе. Но виду я не подавала – мои мужчины играли в путешествие так самозабвенно! Старший обучал младшего самым удивительным образом: не объяснял, а спрашивал. Вместе они собирали валежник, обсуждая достоинства каждого прута лаконично, но по существу. Вместе сооружали основание костра, причем старший так же лаконично и абсолютно серьезно советовался с младшим.

Эта характерная для Юры лаконичность была восстановлена им, как только сын заговорил бегло. Все остальные, по инерции, общались с парнишкой как с немовлятком: слишком многословно и с особой интонацией. А Юра щупал намокший конец валежины и произносил негромко, вопросительно: «Сыроват?» Сынишка, тоже не по возрасту длинный, но все же очень маленький рядом с отцом, тянул руку, щупал палку на некотором протяжении и отвечал как взрослый, без выражения:

«Уложим». Потом, то поддувая, то затаив дыхание, они вместе ловили момент, когда огонек, собрав силенки, вдруг вспыхнув, превращается в огонь. И две головы, одна темноволосая, другая пшеничная враз откидывались от костра и вверх.

Или коровы, ну что в них удивительного? Но когда нам пришлось обходить пришедшее на водопой стадо, разные «черты лица» пьющих животных и разные их выражения удивили даже меня. А сын с отцом замерли, и, не говоря ни слова, только переглядываясь, делились впечатлениями. И коровы – надо же! – тоже примолкли, тоже молча переглядывались между собой и с нами. Они тоже участвовали в этом немом разговоре. А звуки стада мы услышали лишь довольно далеко за спиной.

Рыболовством мы не занимались. Но мальков приманивали крошками и с увлечением считали малюсеньких рыбешек. Рыбье население распределялось неравномерно, и мужчины искали объяснение этому в окружающих флоре и фауне. Таких обычных и невзрачных, но таких интересных и удивительных, если разобраться в них внимательно. Юра знал этот секрет и открывал его сыну. Мне думалось, что численность мальков уменьшают лягушки, единственная местная достопримечательность. Зеленые и крупные. Я не брезгую земноводными, и лягушек одобряла. Мужчины предпочитали соблюдать с ними дистанцию. И однажды случилась накладка.

В нашей посудине мы размещались нестандартно. Юра сидел на корме, на веслах. Его ногам нужно было место. Они упирались в снаряжение, которое занимало и первую скамейку. Сверху, на всем этом хозяйстве, – я, отвечающая за равновесие суденышка. Перед первой скамейкой, на мягком барахле, сидел сынишка, ноги его были в затянутом брезентом носу лодки. Утром мы заняли свои места и только-только двинулись, как мальчонка говорит: «Мама, у меня на ноге лягушка, холодная». И голосок у него напряженный. Но и равновесие нашей посудины слабое. «Что ты, – отвечаю – это мыльница, остыла, небось, за ночь». Парнишка замолчал, но сидит натянутый как струна. И тут я вижу, как прямо по нему на брезент, закрывавший лодочный нос, выползает огромная лягушища. Прямо-таки

сказочно большая, прямо Василиса – красавица. Оценив ситуацию, она изящным движением сжалась, оттолкнулась и невероятно длинным и красивым прыжком ушла в воду. «Мыльница!» – горестно и с упреком воскликнул сынишка. «Ось яка-а» – восторженно выдохнул Юра, видевший красотку только в полете. Я промолчала, не зная, каким будет результат этого контакта. То ли сынишка перестанет брезговать лягушками, то ли испытанное опасливое отвращение останется с ним на всю жизнь. Не осталось. Возможно, благодаря Юриной реакции. Позже, когда мы приносили из леса и поселяли в саду жаб, сын действовал осторожно и заботливо, словно взрослый. Обращал мое внимание на индивидуальные особенности новосела одним – двумя словами.

Для меня по-настоящему прекрасным был только один день, проведенный в заповеднике. А потом – короткий переход по Оке, и – город, вокзал, возвращение. Это путешествие, казавшееся мне нелепым, сын воспринял как огромное счастливое событие. Завершилось оно подарком для всех четверых. Юра принес толстенный справочник – определитель растений средней полосы. Неподдельный интерес еще неграмотного младшего привлек к нему внимание дочки, что сделало ее лауреатом очередной школьной олимпиады по ботанике. А справочник – фаворитом нашей библиотеки. Любовь к лодочному туризму осталась у сына на всю жизнь. Маршруты, конечно, стали другими. И лодка другая. Надувная резиновая сменила деревянную старушку, предоставив ей скучать на суше, в саду. Но все это будет потом. А сначала походы были коротенькие. Начиная со второго – без меня. Отдыхали же мы на садовом участке.

Территория, которую выделили нашему товариществу, принадлежала раньше министерству обороны. Поэтому лес, луга, родники сохранились там в девственной нетронутости. Грибы и дикая малина вылезали на участках и улицах. Зайцы самым наглым образом, на глазах садоводов объедали и грядки и саженцы. Заходили и кабаны. В паре участков от нас, в овраге, жила лисица с семейством. По садовым дорожкам, которые

Юра старательно трамбовал, бегала всякая мелочь: ласки и ежи, полевки и землеройки. Все это вызывало восторженный интерес ребятишек и совершенно такую же радость Юры. Он овладевал велосипедом – мой отец считал эту машину оптимальным видом транспорта.

Но габариты велосипеда не были рассчитаны на длинные Юрины ноги. Получалось не очень уверенно, и однажды он задавил землеройку. Юра прислонил машину к коленям и двумя руками, молча сжал голову. Я попыталась обратить ситуацию в шутку – не вышло. Пешком, с машинами «на поводу» мы вернулись домой. На велосипед Юра больше не сел. Никогда не сел.

В пятницу был санитарный день. Я мыла детей в корыте перед вытопленной печкой. Потом мыла полы, убиралась в комнатах. Дети инспектировали сад: что-то пололи, что-то подвязывали. Если ягоды поспели, собирали клубнику. И не кидали ее, как обычно, в рот. Юре собирали. Он так заразительно радовался, увидев полную и очень красивую миску с клубникой. Смородину и крыжовник он предпочитал брать с куста. А в клубничные грядки, с узкими междурядьями, заходить опасался.

В субботу спешили к шоссе, на автобусную остановку. Встречать. Юра вываливался из битком набитого автобуса: на спине рюкзачище, в руках портфель и средних размеров чемодан. Дети срывались с места: «Папа!». В ответ: «Ага, кучамала» и взрыв общего громкого смеха. Не потому, что навьюченный, мокрый от пота Юра был комичен. Нет. То была радость встречи. Если я напоминала, что надо здороваться, меня не понимали.

В рюкзаке приезжали продукты (в местном ларьке был только хлеб). В портфеле – Юрина работа и газеты за неделю. Он был убежден, что без газет я страдаю, а ночь на даче без работы – nonsens. В чемодане – детские журналы и книги. В будни, после обеда, я читала эту литературу вслух ребятишкам нашей улицы. Своим и соседским. Под деревом у калитки их собиралось человек 10-15.

А в воскресенье – пара остановок на автобусе – на озеро. Дивно хорошо было это Торбеево озеро, об одном, почти круглом зеркале, с громадной стаей чаек. С одной стороны – лес. С другой, на высокой пологой горе – деревня. Вода поверху теплая, как парное молоко, а чуть ниже – студеная, родники. Пляж травяной. Купающихся немного. За исключением одного часа, когда строем приходили пионеры. Кое-где обосновались рыбаки. В мелкой бухточке, в иле, можно было увидеть кабанье семейство. Юра отлично плавал, научил и сына. Они двигались бесшумно, не тревожа чаек, на расстоянии обходя рыбаков и кабанов. Мы с дочкой тоже не отставали. На озере я поняла, почему Юра молчун: только так, при полном молчании становилась видна и слышна красота окружающей человека природной жизни. Мы и на берегу не шумели. Юра показывал интересную букашку-таракашку в траве, и ребята ползали, отслеживая ее путь и находили массу интересного уже сами.

Однажды попали под веселый летний ливень. В купальниках и плавках вернулись на шоссе, а до автобуса еще час. Решили идти пешком в том же виде (машины тогда были редки). Пошли, затопали босиком по теплому, мокрому асфальту. А ливень щедрый, купает – лучше некуда, остановишься – продрогнешь. Дорога впереди бежит то вверх, то вниз и видно впереди границу дождя. Близко она, граница. Просто-таки рядом, метрах в 20. Солнце там светит-сияет. Но мы вперед и граница вперед. Тут Юра песню негромко скандировать стал, про картошку-тошку-тошку. И ребята сразу стали вторить. Так с песней, с солнцем впереди и ливнем над головой притопали домой. Пел Юра редко и всегда в экстремальной ситуации. Например, качая на руках больного ребенка, скандировал «Вихри враждебные».

События, пусть небольшие, но радостные, случались в те годы с нами часто. Юра звал их подарками. Однажды вдвоем шли низом оврага за грибами. Справа, на крутом коротком склоне, густая лещина. Юра, высокий, длиннорукий шел впереди. Вдруг нагнулся к кустам и вынул подосиновик. Да какой! Толстенная ножка сантиметров на 18 в высоту. На ней нераз-

вернувшаяся шляпка с чайную чашку. По грибнику и грибок! А Юра опять нагнулся – и еще один, такой же. А потом еще и еще… Минут за 15 мы наполнили корзины, я еще в подол набрала, а в траве под лещинами словно бы и не убавилось грибов. Полчище! Раз в жизни такое увидишь.

А то – мираж на озере. Перед закатом солнца было. Купальщиков нет. Отплыли мы метров 30, оглянулись, а сумка с одеждой к воде ползет. Вот–те раз. Берег-то высокий и сумку мы оставили на самом верху, не на склоне, а она ползет и довольно резво. Невозможно! А сумка уже в воде. Пригляделись, а глинистый береговой обрыв, трава под сумкой и даже куст по соседству – тоже в воде. Догадались: мираж.

А какие там родники! Самый известный – Гремячий. Это единственный водопад в Московской области. Высоченный обрыв, по нему свисает хлипкая лесенка из веревок и досочек, а наверху бьет вода. Именно бьет, а не течет. Бьет и стекает вниз, в аккуратную ямку – купель. Оттуда – в речку. А по сторонам от водопада, в редком лесочке заросли дикой лунарии. Высокий многолетник, лист крупный, нарядный, сиреневые цветочки невзрачны, но ароматны, а к осени плоды-стручки освободятся от семян и перламутровые створки затрепещут на ветру. Вот уж краса, природы совершенство!

Огромный наш папа на удивление ловко влезал наверх. За лесенку он только придерживался, а двигался прямо по обрыву, босиком, конечно. Воду нам с самого верху доставал. И выкопал кустик лунарии, в саду посадил. Она и сейчас у нас живет, напоминает о первозданной красоте, которую сегодня уже не увидишь: цивилизация добралась и до Гремячего.

Но этот родник не близко, с час дороги. А есть и поблизости. Туда Юра ходил за водой, пока водопровода не было. На велосипед он навьючивал 4 канистры, пятую (в одеяле) – в рюкзак и, ведя машину «на поводу», привозил питьевой воды на всю неделю. А утром в понедельник пустой рюкзак и полный портфель – в чемодан и на 6-часовой автобус, на вокзал, на работу. Отпуск старался использовать для общения с первенцем, с мамой. На мои вопросы о парнишке отвечал скупо:

«Нормально». Свекруша-то и сама приезжала. Живала в саду неделю-другую. Сынишка же оставался в семье матери, с моими ребятами не контактировал, и это было всегдашней Юриной болью.

Летом 62 года кончились у нас дрова. Те стволы, что росли прежде на участке, высоким штабелем лежали против домика, казалось, конца ему не будет. Летом мы топили немного, зимой – недолго жили. Печь – классная, с большой отдачей. И отец мой, и мастер-печник были профессионалами. Юра ревностно за ней ухаживал, чистил. Но все когда-нибудь кончается. Кончились и наши дрова. Юра пошел в лесничество. Оказалось: и нам, и деревенским дрова привезут не за деньги, а за работу. Надо вырубить и расчистить просек под газопровод. Хвойные хлысты очистить и оставить лесхозу, а остальное – себе. Сложить поленницу, а потом лесхоз привезет прямо домой. Юра записался, закрепил за нами участок.

Осенью, отправив дочку в школу и под опеку бабушке, мы приступили к делу. Немало народу работало на этом «лесоповале». Но мы приходили по выходным, когда приезжал Юра. В эти дни народу не было. Только мы втроем. Техника у нас была ручная: топоры да двуручная пила. Но сталь какая! И топор для очистки стволов особый, ассиметричный. А еще Юра умел точить весь этот инструмент. Хоть в дуб, хоть в клен – как в масло шла пила. Одна трудность: снимать стволы надо было низко, как можно ближе к земле. Чтобы техника (тогдашняя техника!) могла пройти. Длинный Юра чуть не ложился набок. Боялась я очень. Деревенские обогнали нас в работе. Просек уже обозначился, и ветер сразу его нащупал, гуляет. Рванет, поведет дерево не так, как Юра подрубил, не отскочишь – убить может.

А еще и сынишка с нами. Бродит в лесу, край просека. Там интересного много, вдруг выскочит, где не след: «Папа, это что?» Нервотрепка словом. Юра это чувствовал и чуть пораньше заканчивал, под предлогом, чтоб и грибов набрать. Освещение к вечеру, конечно, не то. Да и какие грибы в эту пору? Все больше вешенки. Но пока до дому дойдем – наберем.

Заработанные дрова привезли нам с первым снегом.

Много радости доставлял участок и зимой. Юра привозил нас на каникулы, прихватив день-другой от учебной четверти. Приезжали и соседи. Топили печи. Наряжали елку в саду. Украшали дом. Природный Дед Мороз расписывал оконные стекла, свидетельствуя свое присутствие. При свечах встречали Новый Год. А утром на лыжах шли в овраг к Елке-бабушке. Даже Юрина голова не доставала до нижних ветвей ее гигантского шатра. Там, под Елкой и около, праздновали. Делали игрушки из шишек и снега, старались пристроить их на ее ветви. Падали в мягкий снег игрушки и дети. Сколько было смеху!

Лесную скульптуру Юра очень любил и умел увидеть. Разнообразные корни, причудливые ветви, всевозможные плоды, грибы-трутовики служили материалом для чисто художественных, а то и практически полезных дизайнерских изделий. Их любили, во множестве держали в садовом доме и московской квартире, дарили друзьям.

Под Елью было, конечно, другое: детское творчество экспромтом, игрушки-однодневки. Потом разбирали следы лесных обитателей, катались на лыжах со склонов оврагов.

Гвоздем программы был, разумеется, Дед Мороз с подарками. Обычно эту роль исполнял Юра и, как всегда, вносил в нее свое, интересное и удивительное. Подарки были покупные, родители детей знали, чем обрадуют чадо, и действовали соответственно. Но Юра-Дед Мороз прилагал к подарку конверт, а в нем смешные картинки, стихи, адресованные конкретному получателю, зашифрованные послания, загадки. Содержимое этих конвертов занимало ребятишек все каникулы. Часто и потом, в Москве, они все еще отгадывали головоломки, показывали одноклассникам шаржи и стихи.

Московская наша жизнь тоже полна была событиями. Я не представляла свою профессиональную работу – преподавание марксистско-ленинской философии – в сложившейся политической обстановке и стала домохозяйкой. Весьма полезная деятельность, дающая, помимо контакта с детьми, большую экономию денег.

Помогали мне и родители. Отец учел опыт крушения первой моей семьи. Обменял свою с мамой комнату плюс нашу комнатенку на большую (44 кв м!), перегороженную на двое комнатищу в Замоскворечье. В большой коммунальной квартире, на первом этаже некогда роскошного купеческого особняка. Весь этот простор он оставил нам, а сам с мамой отправился в длительную командировку, в Воронеж. Вернувшись, они купили кооперативную двушку. А наш особняк был поставлен на ремонт с выселением жильцов. Нам светила отдельная квартира и уже давали смотровые ордера.

Между тем обстоятельства складывались против Юры. Работа в Институте китаеведения (он и диплом и кандидатскую делал по Китаю) стала бесперспективной. Испортились отношения между странами, исчезла возможность контактов, поездок, серьезных исследований текущих процессов – того, чем занимался Юра.

В 1960 году он перешел в Институт философии АН СССР. Докторскую делал, используя информацию по социологии, накопленную в ходе увлеченного самообразования и свой первый «производственный» опыт: работу по научному атеизму (только там держали молодого специалиста без московской прописки). Разумеется, не атеизм, а социальная природа религии стала предметом диссертации. В результате он потерял поддержку своих прежних шефов, атеистов. А монополисты в исследовании всех других общественных явлений, специалисты по историческому материализму с недоверием встретили молодого конкурента, применяющего методы западной социологии.

В 1966 году защита все же состоялась. Но Юрий Александрович чувствовал, что ступил на зыбкую почву и решил, что дети подросли и мне пора возобновить работу. Я начала преподавать философию в техническом ВУЗе.

А Юрий Александрович, убедившись, что я с детьми достаточно самостоятельна, отбросил осторожность. Во время выборов в Академию наук позволил опубликовать свое имя в числе претендентов на звание члена-корреспондента. Шансов у него не было никаких, и он это знал. Но лишнее имя укрепляло ав-

торитет избранной им науки, что должно было помочь другим кандидатам-социологам.

Сначала все это сошло ему с рук. И докторская с западным уклоном, и статусная бесцеремонность, хотя никуда его, разумеется, не выбрали. Мэтры ждали, что еще выкинет сей молодой, да ранний. Товарищи – когда отважный Левада прорвет линию обороны мэтров. Институт философии дипломатично дистанцировался и в 1968 году Левада переведен в Институт конкретных социальных исследований. В тот же год он начал читать курс конкретной социологии на факультете журналистики МГУ. Ему позволили дочитать до конца. 26 сентября 1969 года официально известили о присвоении звания профессора. Даже ордер на квартиру дали в ведомственном доме АН СССР.

Но когда опубликовали 2 выпуска лекций (третий был в наборе), грянул гром. Левада зарвался, в этом была согласна элита отечественных обществоведов. И началось избиение.

Профессорское звание отобрали. Третий выпуск лекций рассыпали. Пошли обсуждения на всех уровнях с целью изгнать Леваду из партии, из науки (тогда это было связано), из Москвы.

Последнее оказалось невозможным: квартира нам полагалась не в поощрение заслуг, а за выселением. Ответственным съемщиком была я. К тому же и некоторые люди с положением замолвили, видно, слово. В 1970 году квартиру дали вместе со строгим выговором по партийной линии.

Растоптав Леваду, принялись за ИКСИ. Его «чистили» в соответствии с отчаянной конкуренцией, которая царила в этот период не только в общественных науках. В средствах не стеснялись. Но история стремительно меняла политический климат. В идейно-теоретический пролом, пробитый легальным университетским курсом, хлынули многочисленные приверженцы новой для России науки. А Левада остался – невыездной, непубликуемый, но бескомпромиссный. Множество коллег поддерживало его морально: в домашней библиотеке до сотни книг этого периода с соответствующими дарственными

подписями. Но организационно они были бессильны… А он, удивительный человек, был доволен. Не карьера, а дело было для него важным. Дело он делал и видел его результат.

Приютил его Центральный экономико-математический институт. Левада был здесь непрофильным специалистом, единственным социологом (читай – в полном профессиональном одиночестве).

Но ведь надо знать Леваду. Он учится. Ему чрезвычайно интересно. Дома появляется куча книг и даже вузовские учебники. Как в юности, сидит он ночами, жадно хватает новую информацию. Сопоставляет ее со своей наукой, с процессами, текущими в стране.

Организует неформальный (не путать с нелегальным!) открытый семинар, где все желающие дискутируют по самым разным социально-культурным проблемам. Это необходимо социологу, считает он. Так же, как и переводы на русский язык трудов западных корифеев. Их печатали самиздатом.

Он обустраивает новую квартиру – столярничает, переделывает старую мебель и делает новую из упаковочных контейнерных досок.

А чуткий друг и сокурсник Толя Ракитов дарит нам щенка, черного ньюфаундленда. Теперь, когда дети выросли, собака в доме – это то, что нужно. Но пес погибает, не дожив до года. Ракитов дарит второго. Назвали – Царь, так выходило по племенной книге. В обращении было другое имя – Цапа. Этот прожил долгий для собаки век, и сыграл в нашей жизни роль домового – хранил и берег дом и его обитателей. Любил нас, как это дано только собаке. Но больше всех – главного, Юру. С появлением Цапы обращение к Юре «папа» было вытеснено другим – «старик».

Время, между тем, бежит. Левада освоился с новым материалом. Появляются публикации. Правда, редкие, в специальных журналах, часто в соавторстве. Тогда его опять переводят – в Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса. Новый ракурс, новая специфика. Самообразование начинается вновь.

Только в 1988 году он попадает, наконец, в свою специальность. Его берут завотделом во Всесоюзный Центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который создан в 1987 году. Здесь друзья и доброжелательные коллеги. Сюда он возьмет прежних сотрудников. Здесь есть фундамент, отечественная научная традиция: работы академика Т. Заславской, Таганрогский проект Б. Грушина, нашего однокурсника и основного «толкача», пробившего создание ВЦИОМа.

Неопубликованные наработки прошлых лет подождут. А ВЦИОМ – это опросы, таблицы, обобщающий комментарий, оперативная публикация материалов в своем журнале «Мониторинг». В сад Левада больше не ездит. Работает без выходных и отпусков. Идет перестройка. Процесс, который надо отследить как можно тщательнее.

1992 год. Юрий Александрович – директор ВЦИОМа. Работы еще больше.

Умирает наш Цапа. И, беда не приходит одна, в 1995 году Левада попадает в больницу, а домашний компьютер вместе с наработками – в руки воров: квартиру обокрали.

Но, выйдя из больницы, Юрий Александрович продолжает работать на износ. В 1996 году, через 27 лет после первого присвоения, ему дали аттестат профессора. Научная общественность уверилась, что он уже не конкурент. И намекает на пенсию. Он намека не понимает и в сентябре 2003 года профессор Ю.А. Левада уволен. Это единственная подобная запись в его трудовой книжке. Прежде и били, и гнали, но в приказе писали: перевод. А здесь – уволен.

За ним, однако, уволились его ближайшие сотрудники. И он проработал в созданном ими «Левада-Центре» еще 3 года. На работе и умер.

Годы в новой квартире были трудными годами нашей жизни. Уходили дорогие и близкие нам люди. Одни закономерно, как свекровь-бабушка, свекор, как мои старенькие родители. Другие – неожиданно, нелепо, как свекруша, не дожившая до 60 лет. Как Лика, погибшая в автокатастрофе, как младший брат Юрия Александровича Евгений, погибший так же. Траги-

чески погиб и уехавший в Соединенные Штаты любимый ученик – Д.Б. Зильберман. Левада видел в нем огромный талант, соединенный с большой работоспособностью и тяжело переживал его гибель.

Сам Старик в эти годы преодолевал почти 20-летнюю полосу отчуждения от своего дела. Потом зондировал нежизнеспособный, вошедший в саморазрушение социум. Просеивал его осколки в поисках ключа к выходу. Поиски затягивались. Но Старик оставался все тем же удивительным человеком. Он работал с уверенностью, что «блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Он жил не для себя, а для людей в самом широком смысле слова, а конкретно – для своей науки и ее приверженцев. Личными горестями ни с кем не делился и как раз в этом выражался вес и значение для него этих потерь. А внешне он становился все массивнее, чуть упрямее, чуть насмешливее к себе и снисходительнее к людским слабостям. И жизнь, которую он так любил, не оставила его без награды.

В семье первенца Левады, Владимира Юрьевича, выросли сыновья, родилась внучка. Правнучка удивительного мальчишки Юры и его возлюбленной Лики, легконогой девчонки, которой не суждено было постареть.

Встреча с малюткой была последним подарком судьбы. Она пришла в мир в марте, а он ушел в ноябре 2006 года, и я не сумела помешать его уходу. Ушел человек удивительный.

В. Колбановский

СОЦИОЛОГИ-ШЕСТИДЕСЯТНИКИ И Ю.А. ЛЕВАДА

На переломе 40-50 годов в философской аспирантуре и на студенческих скамьях вырастали люди иного склада, чем матерые марксистские ортодоксы. В аспирантуре Института философии учились в это время Э. Араб-Оглы, В. Витюк, Б. Григорян, А. Субботин, А. Харчев, философский факультет оканчивали Ю. Левада, Г. Андреева, Э. Ильенков, Б. Грушин, А. Зиновьев, Н. Лапин, М. Мамардашвили, Г. Щедровицкий, в Ленинграде – И. Кон, А. Здравомыслов, В. Ядов, О. Шкаратан. К этой же плеяде необходимо причислить А. Гулыгу, О. Дробницкого, И. Блауберга, Э. Соловьева, новосибирскую школу: Т. Заславскую, Р. Рывкину, Ф. Бородкина, З. Файнбурга (Пермь), Н. Аитова (Уфа), Л. Когана (Свердловск). Этот перечень, конечно, может быть пополнен еще многими именами, но уже названные представляют действительно оригинально и плодотворно мыслящих философов и социологов, каждый из которых отличался «лица необщим выражением», и каждый из которых внес вклад в отечественную науку.

В российской социологии можно выделить следующие генерации:

Первая – дореволюционная, представленная именами Б.И. Чичерина, М.М. Ковалевского, П.А. Сорокина, Н.К. Михайловского, «веховцев» Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и собственно марксистов Г.В. Плеханова и В.И. Ленина.

Вторая – пореволюционная С.Г. Струмилин, А.К. Гастев, А.В. Чаянов, В.С. Немчинов – действовавшая в 20 гг. и изничтоженная в 30 гг. Период 30-50 гг. знаменовавший, говоря словами Жданова, «торжество марксизма в нашей стране» не был отмечен ни одной сколько-нибудь серьезной социологической или даже социально-статистической работой. (Кстати сказать, социальная статистика и демография были так же выкорчеваны в 30 гг., как и социология).

Третья генерация – это социологи – «шестидесятники», ос-

мелившиеся усомниться в том, что истмат есть «единственная научная социология» и начавшие нелегкий труд по высвобождению этой науки «из под глыб» ортодоксального марксизма. Одним из самых энергичных и ярких «движителей» этого процесса, несомненно, был Юрий Александрович Левада.

«Как же нас будут называть?» Этот вопрос задал Ю.А. Левада с трибуны общего собрания сотрудников института, посвященного официальному открытию ИКСИ АН СССР (октябрь 1969 г.), и сам же дал ответ: «Когда-то были ифлийцы[1]. Может быть, нас будут называть «иксийцы».

Я воспользуюсь этим термином для обозначения того социологического сообщества, которое спонтанно образовалось первоначально из центров Москвы (сектор Г.В. Осипова) и Ленинграда (лаборатория В.А. Ядова), затем сконцентрировалась в отделе КСИ при Институте философии (знаменитый «подвал» на Писцовой улице!), а в 68-69 гг. обособилось от Института философии и окончательно реорганизовалось в ИКСИ АН СССР. Организационная заслуга в этом обособлении, бесспорно, принадлежит Г.В. Осипову и Н.И. Лапину (как его заместителю). Что же касается содержательной стороны дела, то каждый из наших ведущих социологов внес сюда свою посильную лепту: это и Б.А. Грушин с его постоянно действующим семинаром по изучению общественного мнения и сборниками «47 пятниц»; и В.А. Ядов активно осваивающий и предпочитающий «азы» грамотного социологического исследования, изложенные им в первом методическом пособии «Методология и процедуры социологического исследования» (1968 г.); и Н.И. Лапин, глубоко и скрупулезно разрабатывающий проект «Социальная организация промышленного предприятия»; и это, конечно же, Ю.А. Левада и его семинар по теории социологии (и смежных наук), постоянно действовавший с 1966 г. до середины 80 гг. На моей памяти гостями на этом семинаре был литературовед Юрий Карякин, поэт Наум Коржавин, лингвист

[1] Студенты легендарного Московского Института истории, философии, литературы. См. Шарапов Ю.П. Лицей в Сокольниках. – М.: АЙРО – XX. 1995; Бирюков Б.В. Трудные времена философии. – М.: URSS. 2005.

В.В. Иванов, политолог А.А. Галкин, философ Г.П. Щедровицкий. Продолженный в ЦЭМИ , этот семинар заслушивал доклады М. Мамардашвили, А. Гуревича, С. Лема, Т. Парсонса, М. Чудаковой, Д. Сегала, Л. Баткина, С. Аверинцева и др. – т.е. целого созвездия самых различных, но нетривиальных умов второй половины XX в. Ю.А. Левада умел находить такие умы, привлекать их и делиться своей интеллектуальной мощью с окружавшей его научной молодежью. Это говорит только о том, что вышеупомянутые мастера культуры воспринимали Ю.А. Леваду как равного себе и интересного для себя социального мыслителя. Сам Ю.А. Левада вспоминал; «Практически, все наши заседания рано или поздно приводили к тому, что я спорил со всеми докладчиками. Это была атмосфера всеобщих споров. Но было интересно и никто не обижался… Была атмосфера свободного разговора на любые темы»

Сила неравнодушной и нестандартной научной мысли – вот первый вклад, который внес Ю.А. Левада в социологическое сообщество.

Второй вклад – это высота нравственного поведения и поступка. Категория «научной честности» наиболее применима к Ю.А. Леваде.

В самом деле, философы-истматчики не имели в своем распоряжении никаких достоверных эмпирических материалов, поэтому они были вынуждены подгонять советскую действительность под догматы и формулы марксистской теории, а не выводить теорию из действительности (как призывали сами Маркс и Энгельс). Молодые социологи – и в первую голову Ю.А. Левада – провозгласили стратегию эмпирического изучения действительности, ее количественного измерения, ее математического моделирования для того, чтобы делать теоретические обобщения разного уровня, для того, чтобы не навязывать, а выводить теорию из всей совокупности факторов без единого исключения и только таким – недогматическим и несхоластическим путем – создавать и развивать теоретическое знание. Именно такая позиция и есть позиция подлинной научной честности и добросовестности, и она полностью совпадает с по-

зицией настоящих ученых в естественных и гуманитарных науках, с их пониманием соотношения эмпирии, эксперимента и теории.

Я держу в руках томики «Лекций по социологии», изданные под моей редакцией и подписанные в печать весной 1969 года. В этих лекциях – с поразительной для того времени смелостью Ю.А. Левада утверждает: «социология – это эмпирическая социальная дисциплина, изучающая общественные системы в их функционировании и развитии»[2] и поясняет далее: «Социология – это эмпирическая наука, т.е. такая наука, которая во всем опирается на опытные исследования действительности, отдельных ее сторон, на эксперимент, систематические наблюдения разных типов»[3]. Ю.А. Левада подчеркивает, что рамки социологического знания ограничены возможностями нынешнего состояния самих методов социологии» «социология видит в обществе далеко не все – и не должна видеть все, она видит то, что доступно ее эмпирическим щупальцам, систематическому наблюдению, современным формам социального эксперимента»[4].

У социологии, как у всякой конкретной науки есть своя теория, гипотезы, схемы, но они проверяются на наблюдении и эксперименте, поэтому это – эмпирическая теория. Ю.А. Левада не отрицал существование всемирно-исторических законов, которые также проходят проверку практикой, но это – всемирно-историческая практика. Он писал: «У нас нет единого ключа, при помощи которого можно сразу открыть все механизмы общественной жизни, единого принципа, из которого их можно вывести. Существует, конечно, проверенный философский принцип примата общественного бытия по отношению к общественному сознанию, но для нужд анализа механизма общественной жизни этого недостаточно, т.к. то, что подтверждается в масштабах огромных социальных пространств, не всегда под-

[2] *Ю.А. Левада* «Лекции по социологии». Инф. бюллетень. 20. С. 5.

[3] Там же. С. 8-9.

[4] *Ю.А. Левада* «Лекции по социологии». Инф. Бюллетень. 20. С. 9.

утверждается в рамках отдельно взятого механизма социальных изменений». Вывод Ю.А. Левады «Теории, которые существуют в социологической науке, носят *частный* характер, пригодный для отдельных ее областей»[5].

Сегодня все сказанное Ю.А. Левадой в его фактически первом в стране учебнике общей социологии есть «азы», которые знает и интериорезирует любой первокурсник бесчисленных ныне социологических факультетов и кафедр. Но тогда, в конце шестидесятых, на переходе от «оттепели» к новым «заморозкам» это было явной и откровенной *ересью* с точки зрения ортодоксального марксизма. Ветераны и неофиты истмата и научного коммунизма с фанатичной уверенностью и непреклонностью полагали, что ключ ко всем явлениям прошлого, настоящего и будущего как раз и находится у них в кармане, коль скоро они владеют «оружием марксизма», т.е. умением подгонять действительность под соответствующие цитаты. Сказать им, что социологическая теория – не высшее откровение, а лишь эмпирическое знание, не всеобщая и универсальная отмычка, а лишь частный ключ и только к отдельным явлениям действительности, так как это сказал Ю.А. Левада – это все равно, что попытаться заставить ревностного христианина усомниться в единосущной троице, правоверного мусульманина – во всевластной воле Аллаха, истового буддиста – в реинкарнации души и перевоплощениях самого Будды.

Ю.А. Левада осмелился еретически замахнуться на священный и неприкосновенный догмат о «единственно-научной» социологии, как универсального теоретического знания, ниспосланного с небес марксистско-ленинского Синая. Так мог поступить только подлинный и бесстрашный ученый, для которого истина дороже любых профессорских регалий. «Какой дурак дал ему профессора?» вопросил генсек Брежнев, когда дело о «ереси» Ю.А. Левады докатилось до высот партийного Олимпа. Естественно, Ученый Совет факультета журналистики МГУ, присвоивший Ю.А. Леваде это звание, ответствовал «бу-

[5] Там же. С. 11

сделано!» и немедля это профессорское звание дезавуировал. А как же может быть иначе в обществе поголовного интеллектуального и нравственного рабства и раболепия? «Внутренне свободный» человек в это общество не интегрировался, да и не имел охоты интегрироваться…

Хотелось бы отметить третий (на мой взгляд, очень существенный) вклад Ю.А. Левады в социологическое сообщество – это его удивительный юмор, тонкая ирония и по отношению к самой сложной научной проблематике, и по отношению к самому себе, это его веселые сентенции, реплики, обобщения, которые он высказывал с непередаваемой прелестью мягкого южно-русского говора. Новая наука создавалась не только всерьез, на твердой почве фактов, выборок, количественного измерения и моделирования, она создавалась поистине *весело*, остроумно, с метким словом и застольной (отнюдь не «радиокомитетской») песней.

Философы-истматчики предшествующего поколения отличались какой-то *звериной* серьезностью. Еще бы! Они были жрецами марксизма, хранителями священного огня, свои мысли они не излагали, а изрекали, и у них не было и тени сомнения в железобетонной правильности, незыблемости и вечности изрекаемого. Эта серьезность должна была компенсировать один компонент, обязательный в каждой науке: у них не было никакой собственной эмпирической базы, за ними была пустота, в которой нет ничего окромя решений очередных и внеочередных «исторических» съездов партии и Пленумов ЦК КПСС… Поэтому к молодым социологам тянулись, с ними дружили и сотрудничали такие немногие, поистине редчайшие, талантливые и критически настроенные философы, как Владислав Келле, Эвальд Ильенков, Мераб Мамардашвили, Игорь Блауберг, Эрих Соловьев, Нелли Мотрошилова, Эрик Юдин.

Константин Паустовский приводит хорошую тукменскую пословицу, смысл которой: эпоха расцвета рождает героев и поэтов, эпоха заката – пыль и много Начальства. Шестидесятые годы относятся к первой фазе, последующие («застой») – ко второй. В день рождения молодой науки была и своя героика

(противостояние идеологическому Начальству), и своя веселая поэзия полета свободной мысли, освоения еще не паханных в нашей стране теоретических и эмпирических пространств. Трудно сейчас воскресить и передать ту атмосферу, которая царила на Левадинских семинарах – атмосферу совместного поиска и выработки истины, доброжелательного выслушивания мнений других и права отстаивания собственного мнения. Ю.А. Левада никогда не вел себя в качестве этакого «мэтра», или как говаривал Маяковский «академика с большим задом». Он вел себя «на равных» со своей аудиторией, в чем-то сомневался, что-то осмеивал, в чем-то находил смысл и рациональность. Но Ю.А. Леваду постоянно окружала особая аура – аура человека, который больше других читал, думал, анализировал, переосмысливал и поэтому имеет права на парадоксальные высказывания, на отрицание общепринятых прописных истин, даже на еретические – с точки зрения господствующей ортодоксии – взгляды. Так он вел себя сам и этому учил своих последователей. Он создал собственную школу в социологии, а это дается только большому ученому!

Мне думается что Левада дальше, чем кто-либо другой, прошел путь к «внутренней свободе» - для него Маркс был не «единственным», а одним из великих социологов. Путь такого рода духовной эмансипации раньше или позже предстояло пройти каждому из нас.

При всей внешней мягкости, доброте и толерантности Ю.А. Левада всегда сохраняет целостность человека, внутренне глубоко убежденного в своих взглядах, хотя и не навязывает их другим. Он принципиален в лучшем смысле этого слова, и убедительно доказал это, когда попал под огонь «партийной» критики и в партийную опалу: он не изменил свои позиции ни на йоту.

Н. Лапин

БОЛЬШАЯ ДОБРАЯ ЛЕВАДА

Большая добрая Левада – так между собой величали Юрия Александровича его друзья и многие сотрудники Института конкретных социальных исследований АН СССР, Института в годы его становления. Действительно, комплекция Ю.А. Левады воспринималась как очевидный масштаб его души, интеллекта, роли в судьбе российской социологии.

С Юрием Левадой, до конца дней просто Юрой, я познакомился в 1949 году, когда поступил на философский факультет МГУ. Он был всего на год старше меня, но я изначально воспринимал его как человека, который сразу и точно осмысливал суть происходящего, особенно сложных событий. Обстоятельность и проницательность его ума, надежность его характера ощущались чисто физически – даже когда он просто шел по узким коридорчикам философского факультета в старом здании МГУ, на Манеже. Нередко он останавливался у двери аудитории, в которой шли занятия нашей 2-й группы, – в ожидании конца занятий.

А останавливался он неспроста: в нашей группе училась Лия Русинова, которая вскоре стала женой Юрия. Это была внешне неброская, умная, серьезная, скромно державшаяся девушка, родом из Ярославля. Как и Юра, она жила в общежитии на Стромынке. Подчас их там видели играющими в шахматы. Нетрудно представить удивление и великодушие влюбленного молодого интеллектуала по отношению к своей изящной партнерше за шахматной доской…

Они стали снимать жилье, у них родился сын – Володя; впоследствии он жил с матерью и взял ее фамилию. После успешного окончания факультета Лия вернулась в Ярославль, а Юра остался в Москве. Их отношения осложнились, состоялся развод. Потом случилось непоправимое: Лия погибла в автокатастрофе, она была за рулем… И в новом браке Юра до конца

своей жизни сохранил глубокое уважение и память о Лие Русиновой.

Так случилось, что некоторое время я жил в одном доме с Юрой и иногда заглядывал к нему. И всегда в его комнате была большая лохматая собака, очень похожая на него самого – воплощенное понимание. Юра долго грустил после кончины понимающего друга.

Наши пути с Юрием Левадой тесно соприкоснулись в ИКСИ. Он был одним из активнейших участников создания первого в стране института социологии. Я посещал его лекции, которые он читал в Институте, еще до курса лекций на факультете журналистики. Уже тогда Юрий Александрович глубоко осмыслил предмет и структуру социологии как науки, которая соединяет эмпирию, теорию, методологию и от которой поэтому многого ждут. В опубликованных «Лекциях» он обосновал масштаб и границы социологии как науки о человеке и обществе в их взаимосвязи. И предъявил к властям свой счет: прислушиваться к выводам этой науки. Уже тогда многие из нас воспринимали Леваду как лидера воссоздававшейся отечественной теоретической социологии. Таким он остался навсегда.

Удар сверху (со стороны Московского горкома партии, АОН при ЦК КПСС и Отдела науки ЦК КПСС) по «Лекциям» Левады стал ударом в спину всей нашей теоретической социологии того времени. И ударом по всему ИКСИ, прежде всего по его директору и вице-президенту АН СССР академику А.Н. Румянцеву, а также по партийной организации Института, секретарем которой был «товарищ Левада». Мне пришлось сменить его на этом посту (он сам назвал мою кандидатуру) и содействовать тому, чтобы предотвратить его исключение из партии. Первый секретарь Черемушкинского райкома КПСС города Москвы Б.Н. Чаплин воспринял такой мой аргумент: на партсобрании Института предложение об исключении Ю.А. Левады из партии не получит необходимого числа голосов. В результате Ю.А. Леваде был вынесен строгий выговор, но он не был исключен из партии. Остался он и в должности заведующего сектором социологической теории ИКСИ. Из плана

изданий Института не были изъяты труды сектора под редакцией Ю.А. Левады. В декабре 1971 г. я как временно исполняющий обязанности директора Института докладывал на общем собрании Отделения философии и права о состоянии дел в Институте; председательствовавший академик Ф.В. Константинов с угрозой в голосе спросил, почему Левада по-прежнему руководит сектором. После назначения М.Н. Руткевича директором Института Ю.А. Левада был вынужден покинуть сектор и Институт.

Работая затем в ЦЭМИ, Юрий Александрович в течение ряда лет практически не мог печатать научные работы, хотя официального запрета не было, – «просто боялись»[1]. С 1979 г. известный ежегодник «Системные исследования» стал издаваться на базе ВНИИ системных исследований. Как член редколлегии я предложил заказать статью Ю.А. Леваде. Предложение активно поддержал зам. главного редактора В.Н. Садовский (фактический организатор издания) и не возражал главный редактор, директор ВНИИСИ Д.М. Гвишиани. Когда я пришел домой к Юрию Александровичу, чтобы поговорить о теме его статьи, он был удивлен и сначала с недоверием отнесся к такой возможности. Но после напоминаний он принес статью «О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)», которая и была помещена в первом же выпуске ежегодника под грифом ВНИИСИ.

Тема позволяла Юрию Александровичу обобщить ряд результатов, полученных за несколько лет работы в ЦЭМИ. В статье он предложил методологию построения модели социокультурной системы как репродуктивной. Механизм такой модели он представил в виде двух взаимосвязанных типов программ: «программы культуры», обеспечивающей поддержание определенного типа образца; и «программы опыта», позволяющей осуществлять выбор стратегии (оптимизация) по определенному критерию. Левада особо рассмотрел проблему мо-

[1] Ю.А. Левада. «Научная жизнь – была семинарская жизнь» // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. Отв. ред. Г.С. Батыгин. СПб, Изд-во РХГУ, 1980. – С. 88.

делирования памяти такой системы, в том числе вопрос о множественности временных шкал в системе социокультурного времени, и ряд других. Он использовал структурно-функциональные подходы и одновременно переосмысливал их для более глубокого понимания тенденций советского общества как репродуктивной системы.[2] Некоторые аспекты этой работы присутствуют в его поздних публикациях.

В 1988 г. Ю.А. Левада перешел работать в наконец-то созданный Всесоюзный центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Вскоре возникли расхождения с Б.А. Грушиным о предмете изучения: общественное мнение или массовое сознание в недемократической стране? Судя по публикациям, Ю.А. Левада не отрицал различия этих понятий, но и не склонен был акцентировать их. Он активно поддержал предложение Т.И. Заславской о мониторинговом характере опросов ВЦИОМ. После ухода сначала Грушина, затем и Заславской со своих постов во ВЦИОМ Ю.А. Левада стал руководителем этой сложной службы, требовавшей полной отдачи всех способностей, времени, сил. Как-то поздно вечером мы встретились в метро по пути домой. Я поинтересовался, как он чувствует себя в роли директора. «Смешно это», – ответил Юрий Александрович с грустной самоиронией. И спросил, почему я не прихожу на годичные конференции ВЦИОМ. Я ответил, что не имел приглашений. С тех пор я получал приглашения и каждая конференция давала мне заряд новых идей.

Полтора десятилетия продолжалась деятельность Ю.А. Левады как повседневного лидера ВЦИОМ – Левада-Центра: он стал тем интеллектуальным мотором, который обеспечивал систематическое движение значительной части населения российского общества «от мнений к пониманию» и который заставил власти считаться с понимающим общественным мнением.

---

[2] Ю.А. Левада. О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата) // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник 1979. М., Наука, 1980. С. 180-190.
Заметим, что в 1973-1979 годах появились лишь 4 публикации Ю.А.Левады, а все 5 его публикаций 1980-1983 годов помещены в изданиях ВНИИСИ.

Прежде всего, он определял круг проблем, вокруг которых концентрировалась общественно значимая тематика ВЦИОМ. Из всего их многообразия отмечу три.

Во-первых, это – исследование полюсов эволюции социокультурной системы: с одной стороны, изучение граней эволюции общества как целого, его структур и процессов, а на этапе «авторитарной стабилизации» особое внимание Ю.А. Левады стали привлекать воспроизводственные процессы общества, включая структуры его памяти; с другой стороны – выявление направлений, особенностей эволюции самого человека, его координат (способов идентификации, ценностных ориентаций и адаптации): от поисков новых состояний и характеристик человека трансформирующегося общества (в духе Диогенового «ищу человека») до реконструкции советского архетипа; в последние годы Юрия Александровича заинтересовали особенности обыкновенного состояния индивидов и масс в отличие от возбужденных их состояний.

Во-вторых, это – бескомпромиссная диагностика проблем власти, политического порядка, умонастроений масс и политического потенциала элит как активных сил социальной эволюции, их сращенности со структурами власти, роли «реверсивных сил» и т.д.

В-третьих, это – раскрытие природы общественного мнения, его особенностей в современном российском обществе, факторов и ресурсов, структуры и процессов, уровень протестного потенциала и его пределы, демонстративный характер и реальное содержание, механизмы памяти и исторические рамки будущего, парадоксы и смыслы «рейтингов» и др.

О постановке этих проблем и об интерпретации получаемой информации мы узнавали из статей Юрия Александровича, которыми открывался каждый номер «Мониторинга», затем «Вестника», и имели возможность обсуждать эти материалы на ежегодных конференциях ВЦИОМ – Левада-Центра. А более основательно осмыслить эти материалы мы могли по их систематизированным собраниям, издававшимся в виде книг; важнейшими из них я считаю: «От мнений к пониманию. Социоло-

гические очерки. 1993-2000» и «Ищем человека. Социологические очерки. 2000-2005».

Чем больше лет добавляется после кончины Юрия Левады, тем острее не хватает нам его регулярных аналитических посланий гражданам и властям страны. С его посланиями каждый их читатель сверял свое социальное время.

Юрий Александрович сам создал для себя этот гражданский, научный, нравственный пост «дежурного по России» аналитика и оставался на этом посту до последней минуты жизни. Он не был участником военных сражений и вообще был против войн, но он совершил поистине ратный гражданский подвиг. И тем заслужил уважение и благодарную память его друзей и учеников, многих граждан России.

Нам остается чаще обращаться к его трудам и извлекать из них знания о себе и нашем обществе. Для этого **следует издать собрание произведений Ю.А. Левады**.

А. Алексеев

ЧЕЛОВЕК ЕСТЕСТВЕННЫЙ

В отличие от людей, близко его знавших, для меня Ю.А. Левада был фигурой скорее легендарной, чем из плоти и крови… На двух встречах социологов в Кяярику, Эстония (1966 и 1967 гг.), он выступал с докладами о массовой коммуникации. Для начинающего социолога, недавнего журналиста, участие в этих встречах было, понятно, событием. Я даже что-то возражал Леваде, который, как мне показалось, недооценил роль массовой коммуникации в обществе…

Но в чем я был с ним уже тогда безусловно согласен, – это в том, что следует «попытаться из характера коммуникаций сделать определенные выводы о характере общественных отношений» [1, с. 140][*]. Впоследствии это стало одной из ключевых идей моих собственных «масс-коммуникативных» штудий. Об этом Ю.А. вряд ли знал. Сам же он – к какому бы частному предмету ни обращался, все время выходил на глубинные закономерности социума.

А после – лишь пара мимолетных встреч уже в постперестроечные годы. Физически почти не пересекались наши жизненные пути, а только «виртуально». То есть не гожусь я в мемуаристы.

Но уж коли назвался груздем, полезу в кузов. Скажу, по крайней мере, о том, что для меня особенно дорого и значимо в Ю.А. Леваде-человеке (про науку сейчас не говорю). А это как раз то, что он и сам, как явствует из интервью 1990 г., вполне про себя знал, – его замечательная способность к естественному поведению в противоестественных условиях. *Естественное поведение* – не вообще, а для него таковое. Для Левады были естественны (органичны): и его некатегоричность в научных

[*] [1] – Материалы встречи социологов «Методологические проблемы исследования массовой коммуникации». Кяярику – 1966 / Гл. ред. Ю. Вооглайд. ТАРТУ: Тартусский государственный университет. 1967.

выводах, и искусство создавать вокруг себя творческую среду («семинарская жизнь»), и ненавязчивое научное лидерство, и вроде «попутные» теоретические прозрения, и роль неординарного партсекретаря (1960-х гг.), и отсутствие «идеологической выправки» (как сказал бы известный проф. Парыгин), и нравственное самостояние (именно самостояние, а не противостояние…).

Как мне кажется, Ю.А. – не только в своих крамольных «Лекциях по социологии» 1969 г., но и во всех других своих жизненных проявлениях – не делал вызовов Системе. «Я не хотел и не хочу торчать…» – его слова. Система сама усмотрела в нем для себя угрозу, а также, как отмечает Ю.А., использовала это как подходящий повод для открытия «охоты на ведьм», в частности, в социологии. Он же «всего лишь» не уступил давлению: не начал «идеологически разоружаться», но не стал и диссидентом в общепринятом смысле (что было бы для него… просто неестественно).

«…Меня никто не заставлял делать то, что я не хочу, и я думаю, что я никогда не стал бы это делать, но и делать что-либо нарочитое я не стал бы…» [2, с. 158][*].

При этом он был настолько самокритичен в отношении своего труда (тех самых «Лекций», которые искренно считал «сырыми»), что сумел благополучно игнорировать идеологические обвинения, не ввязываться во вненаучные споры. Тем самым он, пожалуй, способствовал тому, чтобы не оказаться исключенным из партии (тогда его судьба на ближайшие 10-15 лет сложилась бы куда более драматично).

Ю.А. подчеркивает в беседе с Д. Шалиным различие общественных ситуаций конца 1930-х, конца 1950-х и, скажем, конца 1970-х гг. Страха лишиться жизни и погубить своих близких на рубеже 1960-1970-х гг. уже не было. Открывалась некоторая возможность морального, экзистенциального выбора. И Левада эту возможность использовал в полной мере. Он сохранял не-

[*] [2] – Левада Ю. «Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе» // Социологический журнал. 2008 № 1. С. 155-174.

возмутимое *достоинство*.

Это становится очевидным не только из известных фактов биографии и воспоминаний коллег, но и из документов тех лет, опубликованных, в частности, в книге «Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах». Обратившись сегодня к протоколам «проработки» Левады с записью и его собственных выступлений на заседаниях партийного бюро Института социологических исследований и на общественно-научных собраниях, придирчивый и пристрастный современный читатель не найдет в них ни одного высказывания Ю.А., которого тот мог бы потом не то что стыдиться – стесняться. Притом, что «всю принципиальную (и только такую! – *А.А.*), критику, которой подверглась работа, я признаю», – читаем в протоколе 1969 г.

Способность выдержать подобный «наезд» с таким самообладанием и (вроде неуместное слово!) изяществом свидетельствует еще и о высочайшей культуре мысли и речи; это интеллектуальное достижение, а не только нравственная позиция.

Стоит здесь сказать, что пять лет спустя мне довелось оказаться примерно в таком же положении «проштрафившегося» секретаря партбюро (в ленинградском институте), а еще десять лет спустя – и в положении исключенного из партии по идеологическим (политическим) обвинениям. Ох, как мне тогда пригодилась бы эта школа «необходимой и достаточной обороны» Ю.А. Левады, о которой в то время так мало знал! Думаю, что я тогда и «задирался», и «прогибался» больше, чем он. Правда, у меня, разумеется, не было такого запаса научной прочности.

(Вообще, поколение первых послевоенных выпусков гуманитарных факультетов МГУ мне представляется совершенно уникальным по насыщенности будущей научной элитой, не в расхожем смысле этого слова. Достаточно выстроить, навскидку, далеко не полный ряд знакомых имен выпускников МГУ начала 1950-х: Гачев, Грушин, Пятигорский, Щедровицкий; Гордон, Карпинский, Левада, Мамардашвили, Наумова, Юдин, Янов; Лапин… Философы, историки, филологи; здесь только

1929-1931 годы рождения; многих уж нет…).

Очень существенны – в рефлексии Левады 1990 г. – характеристики людей (он, в общем, избегает имен, но иногда Шалин прямо о конкретных людях спрашивает), как тех, кому его поведение казалось слишком «неосторожным», так и тех, кому оно могло показаться, наоборот, недостаточно решительным. Его суждения, как правило, сдержанны. Он толерантен: не судит, а старается понять. Ни эйфория, ни обличительный пафос перестроечных лет его не захватили. Он и тут проходит «по лезвию бритвы» – *естественно*, как жил и раньше, и впредь.

Наверно, Владимир Эммануилович прав, говоря об экзистенциальном выборе Левады в начале 1970-х гг.[1] Вот только вряд ли это был выбор между «быть с властью» и «быть в конфликте с ней», как он пишет. Я склонен трактовать это как выбор в пользу третьего варианта – человеческой и профессиональной независимости (кстати, это может быть труднее всего).

Вспоминается сказанное о другом нашем выдающемся современнике: у него были стилистические разногласия с советской властью. Я бы сказал так и о Леваде. Только эти разногласия не помешали ему так или иначе не выживать, но «уживаться» с властью, чтобы, оставаясь в тени, транслировать и воспроизводить культуру, постигая советское общество и советского человека не «снаружи», а «изнутри».

Впоследствии Ю.А. замечал: «Мне кажется, что в последние годы (речь о первой половине 1990-х. – *А.А.*) мы с давними и недавними коллегами смогли описать и объяснить некоторые тенденции развития общества и человека, используя не только обильные эмпирические данные опросов, но и тот мыслительный, методологический материал, который был проработан «тогда» [3, с. 94][*].

---

[1] Имеется в виду мнение В.Э. Шляпентоха, выраженное им в статье «Звездное время Юрия Левады: история одного экзистенциального выбора» [4]. – *Прим. Ред.*

[*] [3] – Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и автор предисловия Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб. Руссский христианский гуманитарный институт. 1999.

…Я обсуждаю здесь лишь те сюжеты, которые так или иначе были затронуты в интервью Ю.А. 1990 г. Что было потом, от ВЦИОМа до «Левада-Центра» и далее, слишком хорошо известно. При всей его неамбициозности (кстати, как раз амбициозность ныне возводится в ранг одной из первейших добродетелей!..) Юрий Александрович являет собой пример очень крупного *масштаба личности.*

Это уже не просто человеческие или профессиональные качества. Это мера влияния на окружающих, включая опосредованное, при отсутствии личных контактов. Это глубина следа в жизни, обществе, культуре. Это – память о человеке «на все времена».

* * *

P.S. В сборнике материалов первой из кяярикуских встреч содержатся страницы из дневника проф. Полупортянцева (героя фольклора, зародившегося в стенах Института философии АН СССР, периода 1960-х гг.). Автор эпохального труда «Гегели мы» в своем отчете, в частности, о посещении финской бани, описывает «военный порядок следования в баню».

Перечисляются обязанности таких участников этого действа, как Фирсов (командир), сам Полупортянцев (нач. отдела кадров), Столович (замкомандира по эстетической части и моральной чистоте), Ядов (замкомандира по процедуре, методологии и телесной чистоте), Блюм (замкомандира по общесоциологической части, организации и преодолению отчуждения), Ольшанский (замкомандира по семиотике и неформальным межличностным отношениям в бане смешанного типа), Вооглайд (помкомандира по методам исследования массовых коммуникаций и расквартированию), Немцова и Верховская (медсестры).

Упоминается и еще один персонаж: Левада – рядовой. Уж не сам ли Ю.А., работавший тогда в Институте философии, это сочинял?

А. Гофман

О ЛЕВАДЕ. МЕМУАРНЫЕ ЗАМЕТКИ

Впервые я увидел Юрия Александровича Леваду в январе 1968 г. в Ленинградском университете, на защите докторской диссертации В.А. Ядова. Я тогда был студентом пятого курса истфака ЛГПИ им. А.И. Герцена, занимался социологией и пришел посмотреть и послушать; в то время эта защита была событием. Левада был одним из официальных оппонентов (другими были Галина Михайловна Андреева и Анатолий Георгиевич Харчев). Видимо, учитывая официальный характер мероприятия, Юрий Александрович был в пиджаке, что с ним случалось, как я узнал позже, довольно редко; обычно он предпочитал носить свитера.

Конечно, лично познакомиться с ним мне тогда не пришлось. Но я уже был знаком с ним по его трудам: статьям и двум книгам: «Современное христианство и социальный прогресс» (о ней он впоследствии не любил вспоминать и отзывался пренебрежительно) и особенно – «Социальная природа религии» (1965). Его работы выделялись уже тогда, в 60-е годы, из общей массы трудов по общественным наукам необычностью содержания и стиля изложения. Книга «Социальная природа религии», написанная на материале его докторской диссертации, произвела на меня очень сильное впечатление. Она была небольшой по размеру и местами напоминала совокупность не очень связанных между собой фрагментов; чувствовалось и влияние фактора цензуры, суровая необходимость опираться на «единственно правильное учение», особенно в такой важной для советской идеологической системы сфере, как религия. И тем не менее, эта книга была для меня настоящим открытием. Я перечитывал ее снова и снова, фиксировал внимание на отдельных местах и стремился как можно основательней вникнуть в ее содержание. В принципе, соединение социологического и семиотического подходов к анализу религии, осуществленное в этой книге, поразило меня, привыкшего к заунив-

ным или, наоборот, боевым вариациям на тему о классовой природе «опиума народа». В то время я писал дипломную работу о социологии религии Дюркгейма под руководством Игоря Семеновича Кона, и идеи Левады, изложенные в этой книге, оказались для меня чрезвычайно важными в то время, давая точку опоры и помогая сформулировать определенные позиции при анализе дюркгеймовских взглядов. Для меня было существенно то, что, еще не зная Леваду, я увидел в нем человека, которого интересует истина как таковая. А это качество, как справедливо отмечал еще в «Вехах» С.Л. Франк, встречается у нас не так уж часто, будучи подчинено различным утилитарным, в том числе утилитарно-нравственным или утилитарно-политическим мотивам.

Второй раз, по-видимому, я увидел Юрия Александровича осенью того же 1968 года на вступительных экзаменах в аспирантуру Института конкретных социальных исследований АН СССР (сегодня – Институт социологии РАН), где он возглавлял экзаменационную комиссию по специальности. После поступления в аспирантуру я оказался в непосредственной близости от него. Я имею в виду и близость в физическом пространстве, поскольку наши два сектора: методологии исследования социальных процессов, возглавляемый Левадой, и истории немарксистской социологии под руководством Кона, делили одно и то же служебное помещение; кроме того, с самого начала своего пребывания в Москве в 1968 г. я стал довольно часто встречаться с ним в неформальной обстановке. Но самое главное, я оказался в социокультурном пространстве, созданном Левадой. Я стал участником его знаменитого семинара и вошел в круг левадинцев. Сегодня, спустя годы, я могу с уверенностью сказать, что это событие оказало чрезвычайно существенное влияние на мои взгляды, мышление и всю мою жизнь.

Конечно, наиболее явным элементом такого влияния стали левадинские семинары, в которых я участвовал и в качестве слушателя, и выступающего, и докладчика. О семинаре уже сказано немало и, надеюсь, будет сказано еще гораздо больше. Надеюсь также, что он станет объектом специального большо-

го исследования. Надо сказать, что заседания семинара были вполне открытыми, и помимо его ядра, состоявшего главным образом из сотрудников сектора Левады, в нем существовала и периферия: некоторые появлялись на нем время от времени или приходили только на отдельные заседания. В качестве докладчиков Юрий Александрович приглашал далеко не только социологов, но представителей самых разных дисциплин, которые могли представлять интерес с точки зрения целей семинара. Насколько я знаю, особых долгосрочных программ проведения заседаний не было. Тем не менее, они носили довольно регулярный характер, даже тогда, когда сектор Левады был расформирован, и они проходили в самых разных местах.

На семинарах всегда царила атмосфера полной свободы, каждый высказывался так, как считал нужным, не боясь вызвать неудовольствие ведущего или не согласиться с ним. Со своей стороны, Юрий Александрович оставлял за собой право не соглашаться с выступающими или критиковать их, но при этом его критика никогда не была резкой или оскорбительной. Помню только один случай, когда она не носила чисто академический характер. Однажды, после очень туманного и невнятного выступления одного из участников, он сказал: «Кто понял, поднимите руки». Обычно, если он сам не выступал в роли докладчика, он завершал обсуждение темы и подводил итог, оценивая содержание доклада и предыдущих выступлений. Сегодня такой семинар может показаться чем-то само собой разумеющимся. Но в то время эти семинары, притом, что их невозможно рассматривать как диссидентские или оппозиционные, представляли собой настоящий остров научной этики, академической свободы и интеллектуальной честности в море идеологического догматизма, глупости и лжи. Самое забавное, что в начале деятельности семинара он выполнял функции секретаря партийной организации Института. Вероятно, этот факт в течение определенного времени (долго в тех условиях это, конечно, продолжаться не могло) был своего рода защитным механизмом для семинара, или, как теперь принято говорить, служило «крышей» для семинара.

Создание такой атмосферы у Левады происходило как бы само собой. Юрий Александрович, по-моему, вообще никогда специально никого и ничему не учил и тем более никого не воспитывал. При этом он безусловно был учителем: учителем, который учит незаметно и ненавязчиво. Первоначально я несколько робел в его присутствии, но потом это прошло, хотя, видимо, и не полностью. У него всегда было ярко выраженное уважение к личности человека. И я это сразу почувствовал на себе, когда еще был молодым аспирантом. Никогда не слышал, чтобы он повышал голос, даже если он был чем-то возмущен. Он всегда излучал какую-то спокойную и вместе с тем непоколебимую уверенность в том, что говорил и делал. При этом он мог весьма критически, и вполне искренне, высказываться о собственных достижениях и заслугах.

Но я незаметно перешел к другой, повседневной, или неформальной сфере. Кстати, левадинский семинар был явлением вполне неформальным: никто никогда специально не следил за посещением заседаний и не выговаривал за пропуски, если такое случалось. Вообще профессиональная и непрофессиональная области в жизни созданного Левадой сообщества переплетались настолько тесно, что границу между ними в принципе провести невозможно.

Часто вспоминаю наши встречи по разным неформальным поводам. В первую очередь это, конечно, встречи старого Нового года. Впервые я отмечал его вместе с Левадой и левадинцами в 1969 году и с тех пор я пропустил лишь пару раз, когда был в отъезде. Эта традиция существует и сегодня, но, увы, без Левады; не знаю, сколько она еще сохранится. Кроме того, вспоминаются дни рождения Юрия Александровича, которые отмечали в «секторе», как часто продолжали называть левадинскую команду, когда формально сектора собственно уже не было. Особенно мне запомнилось его сорокалетие, которое мы отмечали в 1970 году на квартире у Бориса Юдина. В памяти остались также замечательные июньские поездки в Шугарово, где в течение целого дня мы весело проводили время в местном лесу.

Конечно, состав компании менялся, как и состав «команды» и участников семинара. Кто-то уходил, кто-то приходил. Кто-то уходил из жизни, как незабвенные Вика Чаликова и Юрий Гастев. Среди тех, кто дольше и чаще всего был рядом с Левадой в семинарской и внесеминарской жизни, я не могу не упомянуть таких замечательных и близких мне людей, как Леонид Седов, Алексей Левинсон, Борис Юдин, Лев Гудков, Борис Дубин, Наталья Зоркая, Александр и Марина Ковалевы, Владимир Долгий, Галина Беляева.

В повседневной жизни Юрий Александрович был человеком одновременно закрытым и открытым. Он никогда не рассказывал о своих личных и семейных делах и проблемах, а спрашивать о них самому было неудобно. Даже самые близкие к нему ученики и коллеги почти ничего не знали о подробностях его личной жизни. Вместе с тем, его никак нельзя считать скрытным и необщительным. Наоборот, он всегда был открыт для общения. При встречах со мной он всегда расспрашивал о жизни и делах, принимал в них участие, интересовался ими. И было видно, что интерес этот неподдельный и искренний. Когда я обратился к нему с просьбой выступить в качестве официального оппонента на защите моей докторской диссертации, посвященной социологии моды, он сразу согласился. Если бы он отказался, я бы, конечно, на него нисколько не обиделся и прекрасно его понял, так как знал, как сильно он занят и понимал, что ему тогда было явно не до моды и не до моей диссертации. Тем не менее, он согласился и нашел время для того, чтобы познакомиться с диссертацией и выступить на ее защите. Конечно, я был этим очень тронут и горжусь тем, что он был моим официальным оппонентом.

С одной стороны, он несомненно был человеком от мира сего, вполне земным и не чуждавшимся радостей этой жизни. Но в то же время он не придавал им особого значения, был как бы выше их, в общем относился к ним несколько равнодушно и, можно сказать, философски. Так он относился не только к повседневному потреблению, питанию, одежде и т.п., но и, скажем, к поездкам за границу. Известно, что для советского и

постсоветского человека, даже умного и порядочного, железный занавес выступал как катализатор стремления поехать туда. Впрочем, этот феномен особой прелести поездок за границу для россиянина был зафиксирован еще в досоветскую эпоху, в частности маркизом де Кюстином. Деление на «выездных» и «невыездных» играло важную роль в стратификации деятелей культуры, и советская власть использовала эти поездки, конечно, наряду с другими инструментами, в качестве кнута, запрещая их, и в качестве пряника, разрешая. Левада побывал в обеих «ипостасях»: сначала «выездного», затем, попав в немилость к власти, – «невыездного», затем, в постсоветское время, он снова нередко выезжал за границу. Но при этом во всех случаях он не придавал этому никакого значения. Как-то я встретил его сразу после возвращения из Бразилии и был поражен будничным и скучным выражением лица, с которым он ответил на мой вопрос: «Как там в Бразилии». Никакого блеска в глазах или, тем более, восторга, я не обнаружил; было такое впечатление, что он вернулся не из далекой экзотической страны, а из командировки в Урюпинск, куда поехал исключительно по долгу службы.

И это было отнюдь не показное равнодушие. Году в 1997 мне пришлось встретить его в Париже, в Национальной школе администрации (Ecole Nationale d'Adminisration), на конференции, посвященной актуальным проблемам российского общества, которой он руководил и на которую я пришел специально послушать его. И я обнаружил, что он вел там заседания и выступал точно так же, как на своих московских семинарах, никакого «заграничного» элемента там не было и было такое впечатление, что мы находимся где-нибудь на Ново-Черемушкинской улице или в Старомонетном переулке.

Левада был постоянным посетителем московских библиотек, особенно ИНИОНа (ранее – ФБОНа), и я часто встречал его там, правда, до того, как он возглавил ВЦИОМ (впоследствии – Левада-Центр), когда по очевидным причинам возможности бывать в библиотеках у него совсем не стало. Замечу, что работал он в них и тогда, когда был уже известным ученым,

что в общем случается довольно редко: обычно, когда люди достигают какого-то уровня в науке, им становится некогда ходить в библиотеку (я имею в виду даже доинтернетную эпоху, не говоря уже о нашем времени).

Юрий Александрович хорошо знал зарубежную социологическую литературу и прекрасно разбирался в различных теориях. В то же время он совсем не был научным «модником» и снобом (довольно типичный персонаж на российской социологической сцене), стремящимся с ходу и с энтузиазмом подхватывать и брать на вооружение любые популярные теоретические новинки. Последние он оценивал с присущим ему критицизмом и здоровым скептицизмом, не спеша записываться в их сторонники и пропагандисты. Но он постоянно интересовался новейшими тенденциями в науке, в том числе, разумеется, и в зарубежной, и использовал их в своих трудах и выступлениях.

Одной из отличительных черт Левады, как мне кажется, была терпимость, снисходительность к чужим слабостям и недостаткам. Но сам он в моих глазах и, думаю, в глазах всех знавших его людей, был и остается несомненным воплощением высоких нравственных достоинств, да извинят меня за высокопарность. Среди них, прежде всего, мне бы хотелось отметить такие вроде бы банальные, но весьма редкие и трудно реализуемые в тоталитарных и авторитарных обществах качества, как честность, нонконформизм и принципиальность. Причем эти качества никогда не носили у него демонстративный характер, не выставлялись им напоказ; они выступали как некие само собой разумеющиеся и «естественные» черты личности.

Именно этими достоинствами в значительной мере объясняется тот известный факт, что власть, и советская и постсоветская, относилась к Леваде, мягко выражаясь неважно. Во времена «застоя», после известных партийно-административных решений, связанных с его «Лекциями по социологии», он подвергался травле, преследованиям, и даже ссылки на его работы негласно были запрещены; последнее могу засвидетельствовать, столкнувшись с соответствующим редакторским требованием к своей статье в начале 70-х годов. Он не мог печа-

таться в известных журналах и издательствах. Ему, правда, оставили возможность заниматься научной деятельностью, но при этом он был вытеснен на ее периферию, а точнее, загнан в угол. Фактически его постарались изолировать от научного сообщества и от общества.

Подумаешь, скажет умудренный историческим опытом советский человек или, наоборот, молодой и не обладающий таким опытом постсоветский циник: его же не расстреляли, не посадили в тюрьму, не сослали в дальние края и даже не лишили возможности зарабатывать на жизнь. Сам Левада, кстати, никогда не представлял себя жертвой брежневского режима, и в разговорах, если кто-то затрагивал тему его преследования этим режимом, подчеркивал, что не считает себя особенно пострадавшим. Очевидно, что при этом он сравнивал себя с жертвами сталинизма или участниками диссидентского движения. Конечно, на этом фоне он действительно пострадал не очень сильно. Понятно, что и в данном отношении все относительно. Как пел Владимир Высоцкий (эту песню под гитару часто исполнял на наших дружеских встречах Леонид Седов), «скажи еще спасибо, что живой».

Но надо представить себе, на что шел Левада: ведь наказание не было заранее строго отмерено и вполне могло быть гораздо строже. Впрочем, и те санкции, которым он подвергся, были очень значительны. Это и понижение научного статуса (в частности, он был лишен звания профессора), и невозможность нормально участвовать в научной жизни, ухудшение материального положения, идеологическая травля в печати и на разного рода собраниях и конференциях, и другие формы формального и неформального преследования, хорошо отработанные в советской системе. Немало людей в подобных ситуациях оказывались навсегда сломленными и выброшенными из сферы науки и вообще активной интеллектуальной деятельности.

Юрий Александрович вполне мог покаяться, чего от него ждала власть и что способствовало бы смягчению санкций (а покаяние за идеологические прегрешения – особый жанр советского образа жизни; это хорошо показал Олег Хархордин в

своей книге «Обличать и лицемерить»). Впоследствии он мог бы, как многие в России, сказать что-нибудь вроде того, что «время было такое». Или он мог бы «научно» обосновать приспособление своих взглядов к тогдашним политическим реалиям; думаю, ему несложно было бы это сделать, с тем чтобы рационализировать это приспособление. Такой метод в условиях тоталитарного режима в Германии довольно успешно освоили некоторые известные немецкие социальные ученые и философы, поддержавшие нацизм и пытавшиеся «научно», «теоретически» обосновать свой конформизм, страх, трусость или подлость. Тем не менее, каяться Левада не стал. И тем самым как минимум лишил себя многих благ и создал себе, мягко выражаясь, множество проблем. И все это в то время, когда многие его коллеги энергично ковали свои карьеры, добивались разного рода благ и преимуществ, прославляли власть, лизоблюдствовали перед ней, а иногда и писали доносы на других своих коллег.

В условиях идеологического идиотизма, двоемыслия и морального разложения Советского Союза (а это разложение, вопреки бытующим ныне стереотипам, несомненно предшествовало его политическому распаду, как, впрочем, всегда бывало в истории в подобных случаях), такие люди, как Левада, создавали возможность сохранения России и ее последующего возрождения и развития. Нет ничего удивительного в том, что отношение к нему постсоветской «партии власти» было в общем таким же «неоднозначным», как и советской. По мере того, как эта власть стала воспроизводить советские методы управления, по мере того, как попытки модернизации советской политико-бюрократической системы сменились попытками ее консервации и возрождения, фигура Левады становилась все более и более неудобной и нежелательной для нее. И в той же мере, в какой Россия реально, а не на словах, будет обновляться, его личность и его деятельность будут востребованы.

Своим научным творчеством, своей организационной деятельностью, своей личностью, всей своей жизнью Левада доказал, что и в условиях тоталитарного и авторитарного обществ

можно быть выдающимся ученым, честным, порядочным и свободным человеком. Именно благодаря таким людям общества существуют, сохраняются и развиваются. Вот почему он, на мой взгляд, один из тех немногих, кто может служить для нас и для последующих поколений интеллектуальным и нравственным примером. И если когда-нибудь кто-то захочет сказать, что в советской и постсоветской России не было выдающихся социологов, с высоким чувством нравственной и гражданской ответственности, ему всегда можно будет ответить: «По крайней мере, у нас был Юрий Левада».

А. Ковалёв

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕВАДЕ

Впервые я увидел Юрия Александровича в 1966 году незадолго до окончания философского факультета МГУ, когда посетил Институт философии АН СССР с намерением разведать шансы устройства на работу. Как коренному москвичу мне не очень хотелось уезжать по официальному распределению из родного дома в общежитие провинциального вуза. А тут узнал, что в Институте организуется новый сектор с социологическим уклоном во главе с Левадой, который лично проводит собеседования с кандидатами в будущие сотрудники. Фамилию Левады я знал тогда только по его работе о социальной природе религии. На собеседование я попал очень быстро и удачно вместе с одной сокурсницей благодаря её энергии. Юрий Александрович произвёл на меня чрезвычайно внушительное впечатление просто своей физической фактурой. Большой, солидный, крупногабаритный, с высоким лбом и ясными умными глазами. Потом от более старых сотрудников Института я узнал, что ещё недавно Левада был длинным, худым и резвым и носился по институтским лестницам, перескакивая через несколько ступенек. Но это было довольно трудно представить, когда я сидел перед Ю.А. в первый раз. Помню, что он задавал короткие вопросы (содержание которых я забыл) и редко прерывал мои с перепугу наверное излишне пространные ответы, но не отводил от меня «загадочного», как мне казалось тогда, взгляда. Под давлением этой загадки я «зачастил», перешёл на несвойственный мне быстрый темп речи и, кажется, зарапортовался, сказав что-то пафосное и чрезмерно оптимистичное о перспективах социологии, иначе Ю.А. не отозвался бы словами, которых не помню, но от которых запомнилось ощущение скептического опускания на землю, отрезвляющего обливания холодной водой и т.п. Впоследствии я сам убедился, насколько прав был Ю.А. в своём скепсисе насчёт текущего состояния и возможностей социологии. Здравомысленную трезвость в оценке

реальных возможностей социологии и теоретического потенциала очередных её модных поветрий Ю.А., по моим наблюдениям, сохранил до конца.

Как бы то ни было, с 1967 г. сектор Левады, вскоре переведённый из Института философии в новый Институт конкретных социальных исследований АН СССР (после очередной смены директора и реорганизации переименованный в Институт социологии, существующий поныне), заработал. И несмотря на многие критические сомнения и оговорки, Ю.А. с первых шагов направил работу сектора в сторону «большой» социологии в духе классиков 19-го века, что конечно подразумевало критическое изучение и освоение их опыта. Начались секторские семинары, с докладами на которых кроме сотрудников сектора выступали люди со стороны с очень разным образованием: философским, математическим, филологическим, биолого-медицинским. Такого разнообразия многие не понимали, усматривая в этом проявление чуть ли не праздного любопытства. Помню, как уже после решения о роспуске сектора в 1972 г., я случайно подслушал из смежной с кабинетом нынешнего академика Г.В. Осипова комнаты его слова кому-то в оправдание такого шага, мол, «делом надо заниматься», а не обсуждать на семинарах психологию трансвеститов. Действительно, был у нас доклад на эту тему психиатра Белкина. Но, приглашая его, Ю.А. ставил целью не пощекотать наше любопытство тогда запретной для широкой публики темой, а понять со слов специалиста, как и насколько зависит от социальных факторов казалось бы полностью биологически детерминированное поведение. Люди с синтетическим складом ума, которым было тесно в официальных рамках какой-нибудь одной дисциплины, совершенно иначе оценивали это разнообразие. Так, секторские семинары неоднократно посещал ныне знаменитый покойный культуролог Г.Д. Гачев. Однажды он выступил на обсуждении доклада аспиранта Юрия Александровича А. Голова, математика по образованию, о применимости понятия процесса в конструктивистской логике и математике к уточнению и операционализации понятия общественного раз-

вития. Выступил после всех, возражая критически настроенным ораторам, упрекавшим докладчика в искусственности параллелей и сближений из совершенно разных областей знания и культуры. За давностью лет не помню никакой конкретики в рассуждениях Гачева, но отлично помню, что он употребил слово «дух» и удостоверил его присутствие не только в данном обсуждаемом докладе, но и в других посещённых им семинарах сектора. Это запомнилось потому, что при гачевских разъяснениях сущности настоящей «духовной работы», признаки которой он уловил даже в дилетантских интеллектуальных авантюрах сектора, у меня всплыла ассоциация со словами апостола Иоанна: «Дух веет где хочет...», и я очень тогда приободрился и ещё больше зауважал Юрия Александровича за создание атмосферы интеллектуальной свободы в теоретических изысканиях, потому что по правде сказать до этого случая иногда испытывал-таки «позитивисткие» сомнения насчёт чрезмерной разбросанности и философичности в работе сектора.

Среди приглашённых извне докладчиков на секторских семинарах в самом деле преобладали люди с философским складом ума, в своих методологических размышлениях и социально-философских спекуляциях не очень считавшиеся с нуждами собственно социологии как специальной науки и с более узкими задачами уточнения реальных возможностей и границ социологического познания. Из таких докладчиков помню Мамардашвили, Пятигорского, Померанца, Карякина и некоторых менее известных. Ю.А. неизменно выступал в конце обсуждения с заключительными обобщениями, так же неизменно поражая не одного меня умением прояснить, выразить простым языком и выжать здравый «социологический» сок из самых туманных, по-оракульски загадочных речений. Слушал я, к примеру, совместный доклад Мамардашвили и Пятигорского о понятии и природе сознания. Прославленные краснобаи, помоему привлекавшие слушателей, особенно девиц, глубокомысленной метафизической загадочностью, оставлявшей простор для самых разных толкований, выбираемых слушателями

«по душе», то сменяли друг друга, то дуэтом перекидывались репликами в «междусобойном» диалоге на глазах у собравшейся весьма многочисленной публики. Поначалу я слушал очень внимательно, пока мне не показалось, что по ходу рассуждений докладчики без предупреждения произвольно меняют определения сознания, что и обеспечивает вольный полёт мысли и безответственную свободу их высказываниям. Приученный выступлениями Ю.А. к достаточно строгой дисциплине понятий, я воспринял такие мысленные скачки как издевательство со стороны ораторов и перестал что-либо понимать. Кое-что прояснилось для меня только после заключительного слова Ю.А. Иногда его ясный перевод метафизических красот на более приземлённый и прагматичный язык социологии казался их авторам неадекватным, профанирующим. Так, после обсуждения в секторе своего доклада о превращённых формах, по-видимому, обиделся Мераб Мамардашвили. На месте он больше отмалчивался, но сужу об этом по его словам, услышанным на следующий день в Институте философии и со смешком переданным тогда ещё сотрудником сектора Левады покойным И.В. Блаубергом. Мераб будто бы пожаловался, что он чувствовал себя «облитым позитивистским дерьмом». Левада, как мне кажется, вообще не переносил любой претенциозной выспренности, продиктованной прежде всего жаждой самовыражения. Припоминаю крайне экспрессивную его реакцию на одно выступление. На чьё – не буду намекать даже инициалами докладчика. Ещё когда Ю.А. по традиции произносил заключительное слово, мне показалось, что он не в духе. И говорил он как бы сквозь зубы, и слово было необычно кратким – фактически Ю.А. свернул обсуждение. Уже на улице, когда все расходились после заседания, я улучил момент и полюбопытствовал, мол, вроде вы сердились, а за что – оратор хоть и с апломбом, и немного кокетничал, но как будто говорил по делу. Ю.А. отозвался неожиданно зло и даже грубо (потому и запомнилось через столько лет): «Я… он свои показывал, а не делом занимался!» И разразился небольшой филиппикой, из которой в памяти уцелели два слова: «распад личности», не помню в

какой связи. Такова была острота аллергии Ю.А. на любую примесь самовлюблённой псевдоисповедной лирики в ходе якобы методологической рефлексии. Я думаю, что Левада был сторонником веберовского принципа «свободы от оценок».

После выхода в 1969 году ротапринтных «Лекций по социологии», прочитанных Левадой на факультете журналистики МГУ, мне стал много понятнее источник ясности его анализа в простых словах самых расплывчатых и заумных философских текстов и докладов. У Левады была понятийная база, теоретико-социологическая позиция, выстроенная и оформленная гораздо раньше коллег по профессии. По мере распространения лекций, среди обществоведов тогда стало довольно популярным мнение: вот, де, первый официально заявивший о себе немарксист. Начальство конечно использовало это как один из главных аргументов при обосновании ликвидации сектора. Но и это по существу было недоразумением. Никаких специально антимарксистских теоретических изысканий Левада не проводил. Между прочим, отбиваясь от разных поносных доносов в высшие партийные инстанции, в частности в полемике с академиком Константиновым, Ю.А., по-моему, очень удачно и квалифицированно уличал оппонентов в незнании того самого марксизма, которым они пытались его побить. Но непростительным в глазах ортодоксов было уже и то, что Маркс рассматривался в историческом ряду других мыслителей, что подрывало исключительную монополию «марксистов» на тереотизирование большого стиля о жизни и развитии общества. А главное – лекции Левады сделали очевидным, что несмотря на системный, синтетический характер марксизма (соединение идей философии, политэкономии и социологии), в нём нет сколько-нибудь развитого понятийного аппарата для обозначения и анализа очень многих конкретных структур и процессов в человеческом обществе. Ну, допустим, имеется самая общая, философская, постановка проблемы отношений индивида и общества. Но отсутствуют расчленение индивидуального действия на элементы и переходные понятия, позволяющие связать эти элементы с устойчивыми формами социальных отно-

шений и структурными характеристиками социальных систем. Левада в своих лекциях фактически впервые дал связную систему понятий об основных элементах социального действия и социальной структуры, разъясняя советскому студенчеству что такое «образец поведения», «социальная норма», «институт» и т.д.

Неудивительно, что в этой работе он, а за ним и весь сектор ориентировался на одну из самых полных и систематических схем классификации социологических понятий ведущего американского теоретика Т. Парсонса. К сожалению, сектор не успел выйти тогда из рамок традиционного толкования Парсонса в мировой социологической литературе и осознать, что схемы классификации, даже самые богатые, это ещё не объяснительная социальная теория. Парсонс сам виноват: писал слишком много и неясно. Новые плодотворные интерпретации его теоретических построений появились только в 1990-х гг. после смерти социолога. Сектору не дали времени как следует изучить эволюцию теории действия Парсонса и, возможно, опередить зарубежных исследователей.

После разгона сектора в 1972 г. Левада, спустя какое-то время, перешёл в область «малой социологии», собрав вокруг себя часть прежних сотрудников, составляющих поныне костяк «Центра Левады». Но с этим периодом деятельности Ю.А. по изучению общественного мнения, созданию обобщённого портрета «простого советского человека» и др. я знаком плохо и встречался с Ю.А. лишь эпизодически. Пусть об этом расскажут другие.

Г. Осипов

В ОГНЕ БРОДА НЕТ

Юрий Александрович Левада – самобытный человек, самобытный ученый. Его мировоззрение сформировалось на философском факультете МГУ, что в значительной мере и предопределило его дальнейшее научное и общественное служение.

Сам же процесс формирования личности у студента Левады протекал сложно: он не был пай-мальчиком, послушно воспринимавшим преподносимые преподавателями постулаты специальных и общественных дисциплин через призму доминировавшей тогда в советском обществе марксистко-ленинской идеологии. Все, что довелось услышать на лекциях, обсудить на семинарах, вычитать в тиши библиотеки воспринималось студентом Юрием Левадой исключительно посредством его личности, все подвергалось критическому анализу и осмыслению. Такой подход к овладению знанием являлся типичным для времени перемен, для т.н. «оттепели», которую переживала тогда наша страна.

Мое знакомство с Ю. Левадой сначала произошло заочно: в Институте философии АН СССР, где я трудился научным секретарем, мне дали на ознакомление его докторскую диссертацию по философии и социологии религии. Исследование молодого докторанта привлекло меня живостью мысли, оригинальными, вплоть до парадоксальности, выводами. В диссертации своей Юрий Александрович развивал мысль, что возникновение культа вовсе не обязательно связано с явлениями сверхъестественными, что объектами в процессе создания культа могут выступать вполне традиционные явления и личности, была бы сильна, напориста и правильно акцентирована воля творцов культа.

Такая трактовка вызвала явное неудовольствие некоторых членов диссертационного совета, ибо историческая аллюзия постулата Левады была налицо; в памяти поколения не успели стереться подробности периода культа личности Сталина, лич-

ности хотя и сильной, незаурядной, но вовсе не мистической и сверхъестественной, а вполне земной, в чем-то даже приземленной. По логике Левады следовало, что культ оказавшегося жестоким и коварным «хозяина» страны создали на свою голову мы сами, и винить по большому счету в этом кроме нас самих нам некого. А кому же приятно сознаваться в своей вине перед страной, перед современным поколением, потомками?…

И все же нам – группе сторонников оригинального исследования Ю. Левады – удалось преодолеть негативное отношение к диссертанту и его работе, добиться защиты диссертации на совете. С тех пор за Ю.А. Левадой закрепилось мнение как об ученом, который предпочитает в науке непроторенный путь. Такая характеристика молодого ученого привлекала к нему оригинально мыслящих, по-настоящему творческих коллег. Осторожное и послушное большинство – напротив, настораживала, заставляла сторониться «бунтаря». Такой дуалистический подход еще не единожды сыграет с Юрием Левадой недобрую шутку…

В другой раз мы непосредственно и близко общались с Юрием Александровичем по т.н. «делу лекций Левады».

«Лекции…» представляли собой стенограмму спецкурса по социологии, который Ю.А. Левада читал на факультете журналистики МГУ. По завершении курса он обратился в дирекцию Института конкретных социальных исследований, который в то время возглавлял академик А.М. Румянцев, а я и Ф.М. Бурлацкий являлись его заместителями, соответственно по социологической и политологической тематикам, с предложением опубликовать лекции в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов. Когда я прочитал рукопись, то, признаюсь, почувствовал себя нехорошо. К тому времени уже вышли аналогичные публикации. Например, обстоятельная книга «Элементарные понятия социологии» Яна Щепаньского, с которым у меня сложились тесные деловые и дружеские отношения, а также некоторые переводы трудов американских авторов. Но то иностранцы, а Я. Щепаньский к тому же вице-президент Польской академии наук. Иностранцам позволялось много

больше, чем отечественным ученым, стоило только указать в предисловии или послесловии, что публикатор не разделяет тех или иных спорных постулатов автора. У Левады такой идеологической защиты не было, а стенограмма его лекций содержала немало идеологически уязвимых и просто опасных формулировок. Я, кто издал под грифом Института десятки, если ни сотни научных работ своих коллег, понял это сразу же после первого чтения.

Пригласил автора. Говорю: «Юрий Александрович, я убежден, что сейчас не время публиковать эти лекции. Ты, например, даешь свое определение класса, за которое тебя будут обличать в ревизии марксизма-ленинизма. Или фраза: «Где не срабатывает идеология, там срабатывают танки». Чешские события 68-го года еще свежи в памяти, и ты представляешь, как на книгу набросятся представители «компетентных органов»? Но Ю.А. Левада отвечал: «Да, я все понимаю, но прошу не трусить и издать их». – «Значит, ты берешь ответственность на себя?». – «Конечно, беру в полной мере».

Ничего другого, как идти на риск, мне не оставалось, и я дал санкцию на издание. Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что в общественно-политическом плане «Лекции…» Ю. Левады, как все заметные явления в советской науке об обществе, сразу же по выходе в свет станут причиной, а затем и объектом серьезной борьбы закостеневших ретроградов от науки с молодыми, современно мыслящими учеными-нонконформистами. В какой-то мере я вызывал огонь на себя и своих соратников и единоверцев, а в огне, как известно, брода нет…

Дальнейшее предвидеть было нетрудно: как только «Лекции…» увидели свет, какой-то доброхот накатал письмо в ЦК: вот она, марка Института, смотрите, чем там занимаются под покровительством академика, члена ЦК КПСС А.М. Румянцева!

К тому времени выяснилось, что поводов для доносов на меня хватало. Например, предосудительная любовь к «подпи-

сантам»[1]. Так, я принял в институт Ю.Н. Давыдова, П.П. Гайденко, П. Седова и многих других. Вместе с Э. Г. Юдиным, человеком исключительно одаренным, но в свое время осужденным за пресловутую антисоветскую пропаганду, мы подготовили краткий социологический словник для двухтомника «Социология в СССР». К работе по подготовке этого словника, а также первого в стране социологического словаря был привлечен «подписант» А.П. Огурцов, исключенный из партии.

Итак, на лекции Ю.А. Левады в «инстанции» поступает донос. Дается указание обсудить их в АОН при ЦК КПСС. Туда приходят главные ревнители партийной чистоты: Ф.В. Константинов, Х.Н. Момджян, Ц.А. Степанян. И начинается погром. Выступающие стараются перещеголять друг друга в злобных нападках на автора, благо о социологии они серьезного представления не имеют. Ц.А. Степанян заявляет, что «Лекции по социологии» Ю.А. Левады – ничто иное, как конспект теорий Т. Парсонса (нечего и говорить, что к концепции Парсонса «Лекции…» никакого отношения не имели). Ф.В. Константинов патетически восклицает: «Какую пользу эта книга может принести в борьбе рабочего класса Латинской Америки против засилья империализма»? Тут я не выдержал: «А какое значение, Федор Васильевич, Ваш «Исторический материализм» имеет в борьбе рабочего класса за свержение существующего капиталистического строя»? Молчание. Ф.В. Константинов буквально с кулаками набрасывается на меня. И.Д. Панцхава с трудом разнимает нас.

Таков был первый этап. Следующий переносится в Черемушкинский райком партии. Тогда это была обычная процедура: щекотливые дела сбрасывали на райком КПСС, он принимал решение, которое впоследствии механически утверждалось

[1] Так в те годы в просторечии называли людей, в основном, из среды научной и творческой интеллигенции, кто решился подписать коллективное обращение в государственные или партийные органы в защиту подвергшегося репрессиям того или иного критика советского режима, кто в своем обращении к власти высказывал несогласие с политическим и идеологическим курсом государства. *(Прим. автора).*

вышестоящей инстанцией.

Я быстро собираю группу сотрудников: давайте решать, что делать. Будем до конца защищать Ю.А. Леваду, В.В. Колбановского и других, но это, как вы понимаете, не поможет. Или же попробуем сами предложить резолюцию, осуждающую издание этой книги с тем, чтобы сохранить Ю.А. Леваду в партии (к тому же он скоро должен был получить квартиру). Если вы согласны, то я могу поговорить об этом с первым секретарем Черемушкинского райкома Борисом Чаплиным, с которым я был знаком и до сих пор сохраняю хорошие отношения. К моей радости Б.А. Грушин, В.Н. Шубкин и особенно Н.И. Лапин меня поддержали. Готовим проект решения: осудить издание этой книги, снимаем политические обвинения. Вопрос об исключении из партии Ю.А. Левады и В.В. Колбановского (как ответственного редактора опального издания) рассматривается на бюро райкома. Обсуждение проходит спокойно, фактически принимается наш проект.

Обидно, что впоследствии Юрий Александрович предпочел встать в позу обиженного человека. А ведь если бы мы тогда не пошли на разумный компромисс, его наверняка бы исключили из партии, сломали научную карьеру, да и долгожданной квартиры, которую он получил вскоре, ему не видать. Уверен, что мы тогда его спасли. Иного выхода в сложившейся в то время ситуации не было…

Вдогонку, как это у нас в стране в те времена повелось, была поднята шумная кампания против Ю.А. Левады, одного из наиболее талантливых специалистов по социологии, увы, попавших в опалу. В «Коммунисте» появилась разгромная рецензия на его лекции. Было дано негласное указание изъять тот небольшой их тираж, который мне все-таки удалось напечатать. Что до последующих переизданий, то о них и речи быть не могло.

Так продолжалось вплоть до наших дней, когда в 2008 году я вновь издал «Лекции…» Ю.А. Левады в инициированной возглавляемым мной Институтом социально-политический исследований РАН серии «Вехи отечественной социологии».

Притом, сразу же во втором выпуске серии, вслед за классическим социологическим трудом Бухарина. Предваряя курс лекций Ю.А. Левады, я написал тогда во вступлении: «… курс лекций Юрия Александровича Левады с полным на то основанием можно и нужно отнести к одному из самых ярких и значимых исследований по теории нашей науки, исследованию, сыгравшему значительную роль в деле становления и развитии социологии в СССР, а также в исключительно важном процессе подготовки молодых специалистов-социологов». Так, с перерывом в несколько десятилетий, была восстановлена историческая справедливость в отношении одного из самых ярких отечественных социологов моего поколения.

Тогда же, в застойные гнусные времена, перипетии злосчастного «дела лекций Левады» тяжело сказались на психике, на самочувствии самого Юрия Александровича. Нет, его не сломила несправедливость властей, в отношении власть предержащих мы не питали иллюзий. Скорее всего, его настигли усталость и разочарование, что и послужило поводом в очередной раз сменить вектор научного поиска и предпочесть всегда хлопотным, непредсказуемым теоретическим изысканиям, исследованиям теории и практики предмета более определенное, устоявшееся в формах и технологиях социологическое дело – опросы общественного мнения. Благо Татьяна Заславская очень вовремя предложила ему принять у нее соответствующий исследовательский центр.

Как известно, начинал подобные исследования у нас в стране Борис Грушин, организовав при редакции газеты «Комсомольская правда» Институт по изучению общественного мнения. По объективным причинам (практическое отсутствие штата, мизерный бюджет, отсутствие передовых технологий сбора данных и их обработки и анализа) деятельность общественного института Грушина носила самодеятельный характер. Юрий Левада подхватил дело Грушина, придал ему системность и плановость, добился выделения необходимых материальных и организационных ресурсов, чем укоренил социологические опросы в практику государства.

Считаю, что вклад Грушина и Левады в российскую теорию и практику социологических опросных исследований вполне сравним с тем, что сделали в этом плане для Запада Гэллап и Харрис. А ведь в отношении возможностей американские социологи выглядели в сравнении с нашими товарищами настоящими тяжеловесами. Постоянная поддержка Конгресса США, заказы на все новые и новые опросы, практически неограниченный бюджет, разветвленная сеть филиалов во многих странах – такова завидная реальность Института Гэллапа. И то, что за несопоставимо меньшие средства, к тому же, то и дело отвлекаясь на «заказные» партийные исследования, сумел сделать Центр Левады – воистину дорогого стоит. Убежден, что со временем мою оценку этих замечательных русских социологов поддержит большинство социологического сообщества России.

Несказанно рад, что оба мы – я и Юрий Александрович Левада дожили до времен, когда не нужно изворачиваться ужом, чтобы спасти от жестокого несправедливого разгрома порученное тебе дело, любимую науку, коллегу-товарища. Впрочем, у каждого времени свои резоны и нюансы, и нынешнее никак не назовешь временем наиболее благоприятным для науки и ученых. Но времена не выбирают. В них, как точно заметил поэт, живут и умирают. А между этими пограничными вехами – трудятся на поприще, которое определило твое призвание. В нашем случае – в социологической науке. А каковы окажутся результаты нашего труда – пусть о том беспристрастно выскажется Время…

Ю. Левада

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОБЪЕДИНЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КАФЕДР ФИЛОСОФИИ АКАДЕМИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ПРИ ЦК КПСС И ВЫСШЕЙ ПАРТИЙНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ЦК КПСС

24 ноября 1969 г.

<…> Обсуждение было очень долгим, все устали, но я считаю, что обязан отвечать на принципиальные моменты критики и, не комкая, выразить свое отношение к ней. Если не успею сказать, приложу написанный текст.

В целом дискуссия за эти два вечера содержит много интересного и поучительного. Если бы ее записать и издать, распространить, получился бы ценный материал в помощь изучающим проблемы социологии, может быть, он вызвал бы не меньший интерес, чем «Лекции». Я уже говорил, однако, что не могу отнести тот живой и острый интерес выступавших и слушавших, который здесь проявился, только к моей работе, довольно скромной по замыслу и несовершенной по исполнению, и тем более не к моей личности. Это косвенное, иногда перевернутое отображение того интереса к социологическим проблемам, который существует среди нашей научной общественности. Надеюсь, что сама дискуссия послужит росту этого авторитета.

К сожалению, на дискуссию в этом зале с самого ее начала, с первого дня, повлияли некоторые совершенно посторонние научной атмосфере элементы, налет какого-то сенсационного «разоблачительства», который сказался в ряде выступлений.

Ю.Н. Семенов сказал, что я здесь в качестве «подобсуждаемого». Не согласен с этим, считаю, что обсуждается проблема, способ ее освещения в моей работе. Это значит, что я вправе выражать свое отношение к собственной работе, а также рассматривать тон и качество критики.

Известно, что об уровне критики судят: 1) по ее компетент-

ности (противное – некомпетентности), 2) по ее обоснованности (или поспешности), 3) по ее непредвзятости (противное самоочевидно). Здесь я выслушал разные образцы критики, но считаю долгом поблагодарить всех выступавших, ведь с позиции социолога всякий тип критики – интересный и поучительный социальный феномен.

Но, определяя свое отношение к критическим замечаниям, мне приходится довольно четко разграничивать а) *квалифицированную*, деловую, содержательную критику, с которой тоже не всегда можно согласиться сразу, но которую следует учитывать и обдумывать и б) порой осторожные по форме, а порой и крайне резкие упреки в *идеологических* и едва ли не политических срывах, которые мне приписывали, без должного обоснования, некоторые оппоненты.

Приятнее, хотя и труднее, отвечать на деловую критику: труднее, потому что следует отвечать прежде всего делом, улучшением работы. На упреки второго рода не всегда хочется отвечать, но я все же вынужден начать с них, потому что здесь было довольно много сказано в таком тоне. Как ученый и как коммунист я не могу и не хочу обходить молчанием безосновательные упреки, которые, как мне сейчас кажется, иногда основывались на недоразумениях, но иногда превращались в совершенно недостойные.

Сначала попытаюсь выяснить несколько вопросов общего порядка.

1) О соотношении социологии (как эмпирической, конкретной дисциплины) и исторического материализма в «Лекциях» сказано очень кратко и здесь кое-что можно пояснить. Как и многие другие, я не считаю, что в конкретном исследовании всегда можно непосредственно применять категории исторического материализма (помимо всего прочего, лучшее подтверждение этого тезиса – отсутствие таких исследований). Нужна специфическая разработка категориального и понятийного аппарата в рамках разного типа специально-социологических теорий, которые иногда называют теориями «среднего уровня». В наших условиях этот термин (придуманный для иных задач),

по-моему, относится к тем видам социологической теоретической работы, которые занимают как бы промежуточное место между социально-философскими обобщениями исторического материализма и собственно эмпирическим исследованием. Если исторический материализм – фундамент, то на нем надо строить здание, наподобие того, как строятся целые кварталы зданий исторических, юридических, экономических и пр. наук. На одном «фундаменте» жить нельзя, да и сам он, без «крыши», может начать портиться. Это, конечно, аналогия столь же условная, как всякая иная.

Существует мнение, будто «средняя» по уровню социологическая теория – это теория «среднего» по масштабу явления: скажем, города, личности и пр., а вот если схватывается все общество – это уже непременно «высший», социально-философский, «истматовский» уровень. Это наивно и неверно, даже чисто логически. Уровень, тип теории и «масштаб» предмета – разные вещи. Ведь демография, статистика да и экономика тоже берут «большое» общество, но каждая в своем плане. И личность, и отдельная сторона ее деятельности (скажем, фантазия) могут быть предметами самого высокого, философского анализа. Дело не в масштабе, а в подходе. Поэтому социологические воззрения на общество и культуру, которые изложены в «Лекциях», – тоже «средний» уровень.

Предлагая – без всякой, впрочем, претензии на оригинальность – нечто вроде рабочей схемы «разделения труда» между конкретными социологами и товарищами, работающими (хочу подчеркнуть слово *работающими*, в отличие от «лежащих» и «сидящих») в привычных рамках историко-материалистического анализа, я отнюдь не предлагаю «разрыв», «противопоставление» и пр. Я лишь говорю о потребности в своего рода «органическом» (если использовать этот известный социологический термин) *единстве*, основанном на разделении труда и сотрудничестве. Что тут плохого? Что тут опасного для авторитета нашей единой марксистской науки? В литературе имеются разные точки зрения по этому поводу, их можно обсуждать, и тут нет никаких оснований для монополии и «отлуче-

ния» какого-либо от истины.

2) Некоторые пояснения относительно партийности и классовости в «Лекциях».

Я уже приводил соответствующее место из I ч. «Лекций» (стр. 13) – о роли социологии в идеологической борьбе. Конечно, эта роль велика и учесть ее полностью в одной работе трудно. В разных своих печатных работах мне приходилось заниматься различными аспектами этой сложной проблемы: историей, критикой отдельных концепций, разоблачением фальсификаций, сервилизма и т.д. – и думаю, что все эти способы вполне законны, если, конечно, они используются серьезно, со знанием дела (это важная оговорка). В данном же курсе, как сказано было, я считаю важным дать прежде всего основы положительных знаний, а в связи с этим, где было уместно, высказать критическое отношение. Это тоже законный жанр. Букварь – тоже оружие в идеологической борьбе, если велика неграмотность или малограмотность. А вот крикливые и безграмотные сочинения некоторых наших «профессиональных критиков», неспособных ни одну проблему поставить и разъяснить – вот это, по-моему, образец непартийности, капитулянства, сдачи позиций. Если истина – за нас, то без объективного подхода к проблеме нет и партийности.

Я специально (см. ч. I стр. 28) говорил о необходимости отделять научное от ненаучного и реакционного в методах и результатах социологов США и др. буржуазных стран (это относится, конечно, как к социологам, стоящим на откровенно буржуазных позициях, так и к мелкобуржуазным, социал-демократическим теоретикам, «левым» и «неолевым» критикам капитализма и т.д.).

Правильно, что и к выводам и даже к терминам, взятым из чужих рук, нужно относиться осторожно, критически, проверять, брать лишь стоящее. Это вовсе не значит, что во вводном курсе нужно *излагать*, откуда взят тот или иной термин, как и кто им злоупотребляет. Вспомните Маркса: порядок изложения всегда отличен от порядка исследования. <…>

Сравнивая обсуждение «Лекций» в Исследовательском ко-

митете ССА 30.X. и то, что было здесь в эти два вечера, я должен сделать вывод о заметной разнице в *уровнях*, а не только в позициях, резкости и т.п. То ли здесь так подобрались ораторы, то ли из состава двух уважаемых кафедр их иначе и подобрать нельзя было (хотя выступали и посторонние), но здесь было слишком много таких упреков и доводов, которые говорили об очень невысокой квалификации ораторов в марксистской социологии (на любых ее уровнях). Х.Н. разделил выступавших на тех, кто меня «покрывает», и тех, кто меня «критикует», – это очень странное деление (видимо, уголовного происхождения, поскольку там злодеи покрывают друг друга), и я с ним не согласен совершенно.

Я вынужден проводить совсем иное деление на: а) деловую, квалифицированную критику, б) некомпетентные и необъективные оценки, с которыми выступали люди, не успевшие или не сумевшие сказать что-либо по существу. Не вина, а беда моя сегодня, что я вынужден был так долго говорить о «команде» (по терминологии С. Попова) из «класса Б».

Но я слышал и другую, серьезную критику, в том числе и здесь, хотя и на заседании в ССА и здесь (поначалу) надеялся, что услышу ее больше. Я получил немало устных и письменных замечаний, а кроме того сам имел возможность внимательно перечитать и передумать, что и как написано в «Лекциях». Именно это все вместе взятое никак не позволяет мне обольщаться той сравнительной легкостью, с которой опрокидываются надуманные инсинуации вроде тех, которые я здесь слышал от ряда ораторов. Научный счет – куда серьезнее и по этому счету мне приходится отвечать перед коллегами, товарищами, читателями, да и перед собой тоже.

Я уже говорил и могу повторить, что «Лекции» – всего лишь опыт изложения вводных, элементарных категорий социологического значения. Здесь не было никаких претензий на «открытия», оригинальность и построение целостной и систематической картины этого знания. Поскольку записана лишь половина читавшихся тем, по тексту нельзя составить правильного представления и о том, каким был лекционный курс.

Конечно, эти оговорки никак не устраняют вывода о том, что «Лекции» – несовершенный, во многом неудачный опыт популярного рассказа о социологии: я мог бы выделить три разные типа недостатков этих «Лекций».

1) Те, которые *обязательно* нужно было устранить при подготовке стенограммы к изданию. Это касается не только более тщательной сверки фактов, цифр, цитат, вычиток текста (устранения описок и опечаток и т.п., но и переработок), которая позволила бы раскрыть и развить те или иные положения, примеры, сравнения, снабдить работу должным аппаратом. Сейчас я могу лишь принести извинения перед читателями за то, что не выполнил этой работы. Это тем более непростительно ввиду моего редакторского прошлого.

Ряд выступавших на этих двух обсуждениях обратил внимание на то, что я необоснованно занизил требования к тексту, ссылаясь на ограниченность задач самих лекций перед студентами. С этим я должен согласиться. Я недостаточно учел, что книжка будет восприниматься и оцениваться без всякой связи с условиями университетского образования в 1967 году. И.С. Кон очень убедительно показал, что если в тех лекциях я мог избегать повторения «истматовских» тем, ссылаясь на материал других учебных курсов, в этих «Лекциях» так поступать не следовало, нужно было показать «мосты» между разными подходами к проблеме в марксистской науке. Он отнес это к теме классов, но, видимо, это относится и к ряду иных тем. Сегодняшнее обсуждение показало, что выраженная И.С. Коном тревога в отношении уровня освещения той же темы классов в учебной литературе – более обоснована, чем мне казалось ранее. Тем более нельзя было перекладывать на коллег из «смежных» сфер науки анализ таких важных проблем.

И особенно важно было, не передоверяя никаким ссылкам, никаким «критическим» работам (очень много просто плохих и неграмотных среди них) обстоятельно и ясно раскрыть – на примерах, на разборе идей – место социологического знания и роль отдельных школ в сложной современной идеологической борьбе.

2) Те, которые связаны с наличием разных подходов к отдельным проблемам социологии в нашей стране. Конечно, я не мог и не знаю, кто и когда сможет дать такие определения социологии, которые бы всем понравились. Я попытался слишком легко разделаться с этим трудным вопросом, отослав читателя к литературе, к дискуссионным статьям. На самом же деле нужно было изложить точки зрения, обстоятельно обосновать свою позицию, больше использовать классическую марксистскую литературу и данные советских исследователей (тем более, что как раз за эти два года появилось много очень добротных работ).

3) Третья и, по-моему, главная (хотя на нее сравнительно мало указывали) группа недостатков «Лекций» связана с отсутствием в них *системы* социологического знания. Мне кажется, этот вопрос не сводится к отсутствию некоторых или многих тем (социология политики, искусства, религии, коммуникации, села и др., математические модели, история социологии и характеристика отдельных направлений), – одни из них не были записаны, другие просто не разработаны у меня. Даже собрав все эти темы вместе (что, правда просто трудно сделать одному), мы еще не получим системы знания. Здесь нельзя оправдываться тем, что в традиционных курсах общественных и философских наук, которые у нас читаются и издаются, логическую систему трудно обнаружить, или что разные зарубежные пособия по социологии такой системой не обладают. Систему социологического знания нужно и, вероятно, можно когда-нибудь будет построить: тогда можно будет перейти от малого или большого собрания лекций к стройному курсу. Это требует большой и собственной научной работы. Пока же ее почти нет, а в 1967 г. у меня и подавно не было, и это заставляет меня рассматривать «Лекции» лишь как побочный плод моих научных интересов.

Поэтому-то, должен признаться, несколько неудобно я себя чувствую в ситуации, когда именно эта работа, к тому же обладающая недостатками, отмеченными по пункту 1, послужила поводом для столь шумных дебатов и обострения старых раз-

ногласий. Я предпочел бы спор вокруг другой, собственно научной работы, вокруг каких-то действительно новых соображений. О том, что я предпочитаю сколь угодно острый профессиональный спор – и говорить нечего. Мне кажется, что сейчас определенная «критическая» шумиха поднята зря, она раздувается вовсе не из научных соображений. Я не боюсь никакой критики, я готов слушать все, учитывать деловое и отметать необоснованное, но ведь ясно, что не во всяком споре рождается истина. Прежде всего она рождается в работе и этим я больше всего хочу заниматься.

Я ни на кого не могу и не хочу перекладывать ответственность за недостатки своей работы – хотя я не считаю ее своим вполне «законным» научным детищем. Не советская социология, к которой я себя причисляю, не институт, где я работаю, не Ассоциация, в которой я состою, – а лишь автор отвечает за то, что сделал и чего не сделал.

Прошу всех, кто читал или прочтет «Лекции», переслать мне (или в адрес Института) все замечания, чем больше – тем лучше. Отвечать на них, как я уже сказал, я думаю прежде всего делом, учитывая их в работе, в частности, в дальнейшей работе над «Лекциями».

Благодарю всех, кто принял участие в нынешней столь длинной и поучительной дискуссии, в том числе слушателей, от которых требовалось немало внимания и терпения.

Личный архив Н.И. Лапина. Копия.

Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. – СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.

* * *

Скажи-ка дядя, ведь недаром
Когда-то созданная с жаром
Ассоциация жила?

Ведь были съезды и конгрессы
И, говорят, какая пресса!
Недаром помнит вся Одесса
Про подвиг ССА.

Мы вспоминаем всё с азартом.
Симпозиум в Сухуми, Тарту.
И в эти дни благого старта
Всем брезжил яркий свет.

Какие были бюллетени!
На них еще не пали тени…
Теперь таких уж нет

Лихая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на это Гены воля
Не отдали б Совет.

* * *

Людей особая порода
(Весьма обильная в те годы)
Собою заполняла зал:
«Попы марксистского прихода»,
Как Меринг некогда сказал.

Здесь были граждане, гражданки,
Что мыслят на лихой тачанке
Ворваться с ходу в коммунизм.
Здесь были те огонь-ребята,
Которые на супостата
Найдут ядрёную цитату.
Убийственный пришпилят «изм».

Они витийствовали рьяно
Не потому, чтобы прочли,
Не потому, чтоб Глезермана
Они Леваде предпочли,
Но было сверху указанье
«Ошельмовать и раздолбать!»
И специальное заданье
Они приняли, как призванье,
Как то, что жаждет на закланье
Алтарь марксизма, так сказать

В.В. Колбановский

Отрывок из поэмы «Воспоминания о жизни Института социологии с реминисценциями из поэтической классики».

* * *

А зал ревел, а зал стонал:
Вне всяких правил
Горком профессора лишь снял
Но в партии оставил.

* * *

Но ни «сволочи!», ни «изменники!»
Ни тюрьмы не боясь, ни сумы…
Как гордимся мы, современники,
Что он тихо ушел в ЦЭМИ.

* * *

Посвящается тов. Ягодкину

Социология на спаде:
Побиты волки и орлы.
И на растоптанной Леваде
Пасутся весело ослы.

И все вокруг для них красиво.
Чиста, свежа, сладка еда.
И я б уехал из России
Навек – но только вот куда?

А никуда! Хоть жизни гаже
Нигде я больше не нашел.
Терплю. И кажется мне даже,
Что я и сам теперь осёл.

Н. Коржавин
22 января 1972 г.
(48 лет без Ленина)

А. Вишневский

ЖУК В МУРАВЕЙНИКЕ

Юрий Александрович Левада, один из крупнейших, думаю самый крупный российский социальный мыслитель последних десятилетий.

Его великанское научное наследие еще предстоит осмыслить и оценить. На первых порах его будут дружно называть «социологом», понимая под этим не более чем ремесло изучения общественного мнения с помощью опросов или что-нибудь в этом роде. И это будет правдой, но далеко не всей правдой. Да, он занимался – и очень успешно – изучением общественного мнения, увлекался этим, собрал для этого замечательный коллектив, пользующийся безупречной профессиональной репутацией, все это верно.

И все же истинный масштаб Левады определяется не тем, что он умел профессионально улавливать рокот народного океана, а тем, как много открывалось ему в этом рокоте, кстати сказать, и безо всяких опросов, хотя, само собой, они во многом ему помогали. Но Левада был Левадой и до появления ВЦИОМа. Он и тогда видел насквозь пресловутого «простого советского человека», и ничто, мне кажется, не занимало его внимания больше, чем этот загадочный объект в самых разных его ипостасях. Простой советский, а затем и постсоветский человек для него – это не презрительное «совок», это бесконечно интересный и совсем не простой мир, а что может больше интересовать социального мыслителя?

Он видел очень глубокие пласты общества, в котором жил, – мало кто опускается на такую глубину. Едва ли это общество, равно как и «простые человеки», его составляющие, так уж часто радовали его, обладавшего абсолютным нравственным слухом. Но он был чужд какого бы то ни было высокомерия по отношению к кому бы то ни было. Для него важнее всего было понять, а понять – значит простить.

Профессиональная жизнь такого человека, как Левада, в

среде, где всегда задают тон самоуверенные верхогляды, не могла быть и не была простой. Можно, конечно, сказать, что он сам ее выбрал, но и это будет не полной правдой. Он уродился таким, что был обречен на роль жука в муравейнике, играть другую он не мог. Он и взвалил ее на себя.

Муравьи набегали, пытались брать и числом, и коварством, но муравей – он и есть муравей. А жук – это жук!

Жизнь оборвалась, как и должно была оборваться такая жизнь, – на посту.

Хотя, впрочем, такие жизни не обрываются.

«Мир России». 1.2007 г. XVI с. 177-178

В. Шляпентох

ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА

Возникновение социологии в конце 1950-х – начале 1960-х гг. было революционным событием в советской социальной науке, и новая дисциплина потребовала людей, готовых для ее развития идти на риск, по крайней мере минимальный. Известные перемены начались здесь после 1953 г. Так, математическое направление в экономической науке, возникшее почти одновременно с социологией, оказалось несовместимым с официальной политической экономией и существенно освежило методологию экономических исследований в стране. Лидеры этого направления – Леонид Канторович, открывший оптимальное программирование, а также Николай Федоренко, Абел Аганбегян, Арон Каценелинбойген, Станислав Шаталин – стали известными интеллигенции страны. После 1953 г. происходили позитивные сдвиги в лингвистике, в которой после тридцатилетнего перерыва стала вновь развиваться семиотика и в которой зазвучали новые имена: Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоров, В.А. Успенский, Ю.М. Лотман и Б.М. Гаспаров.

Оба эти направления возникли в условиях относительно спокойного отношения власти к ним, никто из тех, кто начал заниматься семиотикой и тем более математической экономикой, не подвергался риску, принимая решение оставить традиционные области науки. И, что главное, никто из представителей этих направлений не подвергался суровым преследованиям, когда политический курс Кремля сдвинулся назад, в сторону сталинизма.

Иной была судьба социологии. Конфликт между прагматическим знанием и идеологическими ограничениями всегда был в центре советской истории, как, впрочем, истории всех других коммунистических режимов. Лидеры этих режимов в идеале хотели и того и другого – обладать информацией, полезной для укрепления своей власти, и одновременно сохранять незыбле-

мыми основы идеологии. Конфликт между критериями компетентности и идеологическим фанатизмом всегда существовал при выборе аппаратчиков и экспертов в советском обществе, иногда он решался в пользу первого критерия, главным образом когда шла речь о специалистах, но чаще всего, если речь шла о номенклатуре, в пользу второго.

Оба новых направления в советской общественной науке – экономико-математическое и социологическое – возникли потому, что власть ослабила идеологические требования в пользу прагматических, однако далеко не в одинаковой степени для каждого из них. Стремление улучшить экономику, прежде всего для сохранения военного паритета с США, было настолько сильно у руководства страны, а обещания усовершенствовать плановую систему со стороны «оптимальщиков» были так соблазнительны, что партийное начальство практически сняло многие идеологические ограничения для энтузиастов оптимального программирования и, не позволяя им открыто критиковать трудовую теорию стоимости, разрешило свободно рассуждать на экономические темы и печатать книги и статьи, по существу демонстрировавшие обветшалость марксистской политической экономии.

Социология, выступая прежде всего как эмпирическая наука, также обещала высокому начальству помощь в практических делах: прежде всего в пропаганде и формировании общественного мнения, в повышении эффективности экономики за счет исследований текучести рабочей силы, в выборе профессии и стимулировании производительности труда. Однако идеологические издержки социологии были куда более значительными, чем в случае с математической экономикой, не говоря уж о семиотике, где они были ничтожны. Социология с ее ореолом эмпирической науки и союза с ЭВМ (как тогда именовали компьютеры), как бы ее представители ни клялись в верности абстрактным схемам исторического материализма и в лояльности социализму, была несовместима с массой центральных идеологических догм (причем не таких далеких от массового сознания, как теория стоимости, но таких, которые

были известны даже людям, с неполным средним образованием: господствующая роль рабочего класса в обществе, дружба народов, преданность молодежи коммунистическим идеалам, торжество социалистической демократии, ненависть советских людей к Западу и частной собственности). Поэтому если руководство страны, используя формулу cost-benefit analysis (соотношение затрат и полезности), при оценке экономико-математического направления решительно делало акцент на ее второй части (другое дело, что все практические обещания этого направления оказались туфтой), то при оценке социологии оба элемента казались вначале почти одинаковыми, а потом, после чешских событий, первая часть выглядела для ЦК уже намного важнее первой.

Любопытно, что ни высокие чиновники, ни ведущие ученые на Западе, где и родилась эта волшебная по простоте и глубине формула cost-benefit, никак не могли, как я увидел по приезде в США в 1979 г., понять, почему в общем рациональные советские руководители (это демонстрировали переговоры с советскими лидерами, о чем убедительно писал Киссинджер в своих воспоминаниях) не стали активными меценатами своих социологов, обещавших снабдить их всевозможной информацией для принятия важных решений по укреплению существующей системы. У меня сохраняется такое ощущение, что большинство американских политологов и по сей день плохо понимают природу тоталитарного общества, в частности роль в нем власти, страха и идеологии, и поэтому даже предпочитают отрицать реальность такого общества.

Наверное, если бы «пражская весна» наступила лет на десять позже или вообще не свершилась, советская социология, позднее дитя оттепели, могла бы продолжать успешно убеждать власти в том, что выгоды от нее больше, чем вреда, и тогда в социологии по-прежнему бы командовали, как и в экономико-математическом направлении, те, кто хорошо знал дорогу в Центральный комитет и чувствовал себя вполне комфортно в «системе». Юрий Александрович Левада, еще не подозревавший о своей судьбе и своей будущей готовности выбрать край-

не рискованные экзистенциальные решения, продолжал бы работать в созданном в начале 1968 г. Институте конкретных социальных исследований АН СССР и, будучи приглашен в МГУ как абсолютно лояльный к строю ученый, продолжал бы читать на факультете журналистики первый в университете курс социологии.

События в Чехословакии, начавшиеся весной 1968 г., к концу года толкнули власти, лелеявшие идею частичной реталинизации сразу же после изгнания Хрущева в 1964 г., решительно в сторону политической реакции. Вот тогда-то и стали ясными различия в судьбе экономико-математического и социологического направлений. Первое перенесло приход реакции спокойно, практически без потерь. Достаточно сказать, что Станислав Шаталин, один из лидеров направления, получил престижнейшую Государственную премию именно в ужасный 1968 г. В то время как Институту социологии предстояло мамаево побоище. Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) не только остался цел и невредим, но еще смог принять беженцев из ИКСИ, в том числе и Леваду. Даже массовый отъезд в эмиграцию не менее десятка ведущих ученых ЦЭМИ не был использован против института – «партия и правительство» все еще ждали чудес от оптимального программирования и автоматических систем управления.

С социологией, однако, поступили иначе. Идеологические издержки возросли неимоверно; в то время как реальная польза социологии для аппарата была более чем проблематична, вера в будущее математических методов в экономике со стороны таких деятелей, как член Политбюро Андрей Кириленко, слушавший благоговейно доклады математических экономистов, была безграничной. В то время как математические экономисты благоденствовали, практически все ведущие социологи в 1970-х и начале 1980-х гг. подверглись гонениям разной степени тяжести. Владимир Ядов, Борис Грушин, Владимир Шубкин, Борис Фирсов, Юло Вооглайд и др. стали жертвами политической реакции в стране.

Эти репрессии были результатом слияния двух потоков со-

бытий – одного, идущего из времен оттепели, и другого, мощно стимулированного страхом перед «социализмом с человеческим лицом» с хрущевскими реформами. Когда оба потока соединились, судьба советской социологии была поставлена на карту. И только люди, готовые пойти на огромный риск, могли встать на ее публичную защиту.

Среди «отцов-основателей» было много ярких и смелых людей, которые предпочли пуститься в плавание в достаточно рискованные воды социологии – новой и подозрительной науки – вместо того, чтобы делать карьеру в привычных для советского уха дисциплинах, таких как марксистско-ленинская философия, история, изучавшая прошлое в терминах, предписанных истматом, или политическая экономия. «Отцы-основатели» пришли именно из этих наук. Все они чувствовали звериную ненависть бесчисленных преподавателей социальных наук и особенно партийных аппаратчиков всех уровней (с некоторыми исключениями, как, например, в Ленинграде в 1960-е, но не в Новосибирске, где я работал), которые видели в социологах людей, нацеленных на обесценивание и их накопленных идеологических знаний, и, главное, их позиции в обществе. Хотя корифеи-академики из отделения общественных наук, такие, как Федосеев или Константинов, не желая слыть агрессивными ретроградами, обычно не высказывались против прикладных исследований, их глубинное неприятие социологии прорывалось в каждом удобном случае и не оставляло ни у кого из нас ни малейшего сомнения в том, что они наши враги.

Умудренные советским опытом (всем основателям было за тридцать, когда они вступили на социологическую стезю), даже если некоторые из них верили в необратимость решений XX съезда, не могли не понимать, что у их многочисленных недругов есть шансы на реванш. Однако социологи первого поколения, будучи абсолютно советскими учеными и будучи стимулированными интересом к новому и перспективами продвижения в новой области, были готовы идти на определенный риск, полагая, и не без основания, что на самом верху имеются силы, склонные поддерживать либеральные тенденции, и даже точно

знали, кто им покровительствует.

Действительно, наверху был авторитетный партийный деятель, который тоже пошел на немалый риск, решившись поддержать социологию. Это был Алексей Матвеевич Румянцев, фигура не менее колоритная, чем любой из родоначальников социологии. Старый аппаратчик со времен Сталина (еще в 1952 г. он стал заведующим отделом экономических и исторических наук ЦК), в течение двадцати пяти лет влиятельный член ЦК, после 1958 г. редактор «Правды» и журнала «Проблемы мира и социализма», в которых он печатал либеральные статьи, а в момент официального рождения социологии (1968) уже вице-президент Академии наук. И вот любимец Сталина (вождю понравились его верноподданнические комментарии к абсурдным «Экономическим проблемам социализма в СССР») вдруг становится, наверное после XX съезда, ярым, по партийным меркам того времени, либералом, самым близким к идеалам «пражской весны» в ЦК. Именно он с немалым риском для своей партийной карьеры (и, как показало завершение жизни Румянцева в политическом небытии, этот риск был весьма серьезен) поддерживал социологию. Чтобы прикрыть социологию Румянцев, будучи вице-президентом Академии наук, становится в 1968 г. – беспрецедентное событие в истории советской и российской науки – еще и директором им же созданного социологического института. Как бы там ни было, в 1968 г. и даже в 1969-м социологическая гвардия находилась в состоянии эйфории, радуясь своему рискованному решению вступить на новую стезю в науке и все еще полагая, что продолжает жить в атмосфере оттепели. Сейчас, почти сорок лет спустя, трудно понять слепоту социологов, чьи имена уже были известны стране, не видевших и не чувствовавших нарастающей волны политической реакции, зародившейся еще в 1964 г. Единственное, что нас всех извиняет, – это то, что мы не могли знать о начале охоты на Румянцева со стороны тогдашних ястребов из ЦК. В отличие от сталинских времен, когда неугодных ликвидировали мгновенно, она длилась несколько лет, вплоть

до 1972 г., когда Румянцев был снят с должности директора ИКСИ.

Разгром социологии, будучи полной неожиданностью для социологов, поставил их всех перед выбором – избрать либо стратегию выживания любыми средствами, либо стратегию сохранения собственного интеллектуального достоинства. Вот тут-то и произошло разделение на тех, кто был готов рисковать своим положением, и тех, кто не хотел подвергать себя никакому риску и был готов укрыться где угодно от погрома, учиненного социологии Михаилом Руткевичем, заслужившим кличку Бульдозер. Группы были весьма неравны по размеру: в первой был только один человек – Левада, во второй – все остальные, в том числе немало очень достойных людей, которые полагали – и с большим основанием, – что бодаться с советским монстром бессмысленно.

Так получилось, что спусковым механизмом для разгрома социологии стали левадовские «Лекции по социологии». Ротапринтное издание этой книжки в двух выпусках (в первой 116 страниц, во второй – 119), тиражом в 1000 экземпляров, основывалось на лекциях, прочитанных им в 1967 г. на факультете журналистики МГУ. В тот год многое, что было потом поставлено Леваде в вину, звучало вполне невинно.

Перечитывая сейчас в моем офисе в далеком Мичигане эти две книжки, не так просто обнаружить высказывания, способные быть истолкованными – даже с иезуитской манерой советских идеологических ищеек – как крамольные. Но, как Левада вспоминал в 1996 г., там была отыскана фраза о том, «что в наше время личность подвергается разного рода давлениям – со стороны власти, массового общества, рынка, и танками пытаются ее задавить». В 1967 г. эта фраза не имела никакого отношения к подавлению режима Дубчека, но после августа 1968 г. она зазвучала иначе. И поразительно, что ни Левада, ни институтские издатели, ни даже Главлит ничего подрывного не увидели в этом и нескольких других предложениях.

Эта фраза была находкой для тех, кто готовил удар по Румянцеву как символу «хрущевского потока» и по его детищу –

социологии. Лекции Левады волей случая оказались вполне удобными для этой задачи, тем более что их автор был хорошей мишенью – один из родоначальников вредной науки и к тому же секретарь партийной организации румянцевского института – ведь нельзя же было начать атаку на члена ЦК и вице-президента Академии с уничтожения мелкой сошки.

В 1969 г. началась проработка Левады, постепенно становящаяся все более злобной и унизительной, во всех уместных для этого дела учреждениях и, конечно, в печати. Как и в отношении Румянцева, в соответствии с правилами умеренно кровожадного брежневского времени, на изничтожение Левады партия отвела несколько лет (1969–1972), усиливая давление от месяца к месяцу и постепенно превращая Леваду в общественном сознании в «почти диссидента». Но в то же время эта новая тактика давала Леваде немало времени, чтобы одуматься и покаяться. Ведь, как гласит немецкая пословица, «ужасный конец лучше, чем ужас без конца», и можно было полагать, что Левада не выдержит на каком-то этапе напряжения и пойдет в Каноссу.

Началом кампании надо считать собрание в Академии общественных наук при ЦК КПСС в ноябре 1969 г., хотя до этого состоялось сравнительно мягкое обсуждение «Лекций» в Советской социологической ассоциации. Официально эта устрашающая акция, длившаяся два дня – четкий индикатор значимости «мероприятия», – называлась «объединенным заседанием кафедр философии Академии общественных наук и Высшей партийной школы при ЦК КПСС» и напоминала соответствующие мероприятия сталинских времен. В те годы была отлично отработана технология дискредитации человека, и в частности ученого, которая предполагала превращение практически любого высказывания в свидетельство обвинения. Эта технология не была забыта в 1969 г. Хулители Левады на этом шабаше, а потом в печати (было несколько статей против Левады в «Правде» и «Коммунисте», главных печатных органах партии) ставили ему в вину утверждения, которые вряд ли поймет современный читатель, не поднаторевший в идеологи-

ческих играх советской эпохи, вроде того, что Левада смел употребить понятие «теории среднего уровня» или не клясться истмату на каждой странице своих «Лекций», и, уж конечно, его пристрастие к Парсонсу и другим светилам буржуазной, пышущей ненавистью к марксизму и СССР социологии.

Читая сегодня, как Левада отвечал на собрании своим гонителям, не перестаешь восхищаться его мужеством и самообладанием. Он не побоялся издеваться над многими ораторами, характеризуя их как бездельников и невежественных людей, критика которых мотивируется «вовсе не научными соображениями». Это жуткое собрание было только одним из десятков других, на которых Леваду прорабатывали с различной степенью ожесточенности. В результате он был снят с должности секретаря парторганизации института, его отдел был расформирован, и он должен был принять предложение перейти в ЦЭМИ, который был бесконечно далек от его научных интересов. Само собой разумеется, Левада был отстранен от преподавания в МГУ, а предложение университета присвоить ему звание профессора было отозвано.

Хотя перевод Левады в ЦЭМИ, а также сохранение партбилета были огромным облегчением для него и для всех, кто его уважал и любил, а также для всех, кто хотел разгадать, как далеко власть пойдет в репрессиях против социологии, все-таки его дальнейшая судьба была неясна. Брежневский режим показал себя сдержанным после вторжения в Чехословакию (никто бы не удивился, если бы 23 августа начались массовые аресты, чего не произошло), однако немало людей было репрессировано (но никто из их друзей и коллег – как было бы при Сталине), выслано на Восток или Запад. «Лекции» и последующие гонения превратили Леваду в откровенно неблагонадежную фигуру. Как мы теперь знаем, первый секретарь Московского комитета партии Гришин счел необходимым отчитаться перед ЦК о том, что им было предпринято против Левады. Знаем мы и то, что Левада был под постоянным наблюдением КГБ, во всяком случае, его и моих аспирантов вызывали на Лубянку, где расспрашивали о Юрии Александровиче. Левада, конечно, знал об

интересе «органов» к его персоне и его деятельности. Это был немалый риск – игнорировать КГБ и не делать ничего, чтобы продемонстрировать свою лояльность режиму.

Не следует ни на секунду забывать, что в начале 1970 г., когда Левада делал свой экзистенциальный выбор – быть с властью или в конфликте с ней, – политическая реакция была в разгаре (она несколько ослабела только в 1975–1976 гг.), а уж о лидере типа Горбачева никто даже и не мечтал. Верили, что «система» навечно, что мы живем в «тысячелетнем рейхе». В этом были убеждены не только представители номенклатуры, как бы они ни относились скептически к Брежневу, но и такие последовательные критики «системы», как Андрей Дмитриевич Сахаров.

В любом случае до перестройки было целых пятнадцать лет, которые Леваде в цветущем творческом возрасте предстояло прожить вне нормальной профессиональной среды, без аспирантов, публикаций, публичных лекций и, само собой разумеется, без студентов и без поездок за рубеж.

Почти все коллеги Левады в 1970–1985 гг. вели себя иначе и не предпринимали ничего, что могла раздражать начальство. А если они и попадали под жернова ненавистников социологии, то не сопротивлялись и только старались смягчить удар. Решение, принятое Левадой, немало контрастировало с выбором других социологов. Почти одновременно с атакой на «Лекции» была подвергнута такому же разносу книга «Математика и социология», подготовленная Геннадием Осиповым и Эдуардом Андреевым (1970). Однако редакторы и авторы статей, виновные в отходе от марксизма и в «порочной» попытке подменить математикой методологию диалектического материализма, признали свою вину и были освобождены от дальнейших экзекуций.

Вначале несколько социологов защищали Леваду (прежде всего, Борис Грушин на упомянутом собрании в Академии общественных наук), но потом смирились с преследованием своего друга, полагая, и не без оснований, что требовать от них самопожертвования никто не имеет права (а мы, через 40 лет, и

подавно). Немало социологов, и весьма уважаемых, торопились принять активное участие в движении назад, публикуя постыдные тексты. «Nomina sunt odiosa», – говаривал Цицерон, когда не хотел порочить чью-либо репутацию, и я не буду поминать тех социологов.

Левада не только отказался от всяких поисков примирения с властью, от которой он мог ожидать гадости в любой день, но и продолжал вплоть до замечательной весны 1985 г. демонстрировать готовность защищать свое достоинство, каков бы ни был риск. Действительно, вместо того чтобы стараться избегать ситуаций, могущих обострить его положение, Левада, с его высоким престижем у молодых ученых, продолжал дело, которое играло важную роль в его жизни до 1969 г., – семинары, в которых под его руководством обсуждались проблемы философии, социологии, искусства и литературы. Советская власть никогда не терпела никакой самодеятельности, особенно интеллектуальной. Семинар Левады, отверженного социолога, являлся прямым вызовом властям. Было огромной дерзостью даже то, что он менял помещения для его проведения, что только подчеркивало его необычность, где-то похожую на подпольность. Участники семинара (я был на многих заседаниях) прекрасно чувствовали его необычность, что создавало особую эмоциональную атмосферу, если даже прямых крамольных речей или вопросов к докладчикам не было.

Левада не упускал возможностей заявить о себе как о несломленном и ничего не боящемся человеке. Люди, объявившие о своем желании эмигрировать в 1970-х, автоматически превращались в официальных изгоев. Когда я сделал заявление на этот счет в Институте социологии в октябре 1978 г., меня немедленно лишили права посещать институт, хотя я продолжал числиться его сотрудником. Начали принимать меры по лишению меня всех степеней и званий. Но самое главное было в том, что подавляющее большинство (к счастью, не все) моих коллег перестали со мной общаться, в том числе те социологи, которые считались в 1960-х гг. либералами. Конечно, мои друзья (в российском, не в американском понимании) не дрогнули.

Об этом периоде моей жизни я рассказал в книге «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом (издательство «Звезда», 2003). Левада, вообще очень сдержанный и даже суховатый человек, был мне не другом, а только добрым коллегой. Но как только стало ясно, что я оказался в числе «неприкасаемых», он стал бывать в моем доме почти ежедневно, полностью игнорируя, что все его посетители – таково было тогда всеобщее мнение – регистрируются соответствующими службами. Когда у меня возникали неприятности, я ждал его прихода с нетерпением для совета и успокоения.

Многое произошло в жизни Левады после 1985 г. Во времена Ельцина он был членом Президентского совета. Руководимый им ВЦИОМ стал самой авторитетной в России фирмой по изучению общественного мнения, его данные цитировались в прессе всего мира. И его мужество опять оказалось важным для общества, когда ВЦИОМ у него отобрали и многие, до того как была создана новая фирма – «Левада-центр», стали опять опасаться за его будущее. Но, по-моему, самый яркий период в жизни Левады относится к тому ужасному времени, в котором он так мужественно выстоял.

«Новое литературное обозрение» № 87. 2007

А. Олейник

ТРАГЕДИЯ ЛИЧНОСТИ

Юрий Александрович Левада – человек, чье имя связано с совершением социологией в Советском Союзе первых шагов и с ее становлением в качестве самостоятельной дисциплины. Начиная с середины 1960-х годов он был, пожалуй, наиболее авторитетным исследователем в области социальных наук в стране.

Ю. Левада, выражаясь социологическими терминами, был репрезентативным представителем поколения шестидесятников. В его жизни преломились основные достижения и трагедии этого поколения, несомненно, наиболее яркого в новой и новейшей истории России. Его первые шаги в науке пришлись на «оттепель», которая для него закончилась изгнанием из МГУ и невозможностью непосредственно заниматься любимым делом.

Долгий период застоя закончился новым шансом быть услышанным и востребованностью интереса к изучению общественного мнения. Он прошел и через связанные с востребованностью властью испытания, не став «официальным» ученым, мелькающим на заседаниях и говорящим только приятные для наделенных властью лиц вещи. Его критика в последние годы была не столько резкой и уничижительной, сколько трагической и с пессимистическими оттенками – от осознания ускользающего шанса и от понимания, в отличие от многих, что негативные процессы в государственном устройстве перекликаются с неизжитыми, а кое-где и усилившимися пережитками «простого советского человека» внутри нас самих.

Власть, которую легко обвинять, воспроизводится в нас самих – в том, как мы взаимодействуем с ближними, сослуживцами и просто случайными людьми. Наверное поэтому его собственный стиль управления, заложивший фундамент и ВЦИОМа, и, позднее Левада-Центра, был мягким и где-то даже «семейственным», в том смысле, в котором семья может во-

площать не доминирование, а содействие становлению индивидуальности *(empowering)*.

Портрет «простого советского человека» – пожалуй, самого известного детища Юрия Левады, писался как антитеза образу «простого американского человека». И в этом заключается еще одна трагедия как Личности, так и поколения в целом. В последние годы он острее, чем многие другие переживал крушение этого идеала, служившего в некотором роде ориентиром и в период «оттепели», и в период «перестройки», и в период демократических реформ начала 1990-х годов. Бога нет – вывод далеко не неожиданный для человека, громко заявившего о себе в середине 1960-х годов как социолог религии, но от этого не менее трудный. «Простой американский человек» в конечном счете оказался в некотором смысле похож на советского собрата.

Сама смерть Юрия Левады показательна в социологическом смысле: он умер на рабочем месте, а вызванная скорая прибыла лишь через 40 минут спустя, когда ничего поправить было уже невозможно. Насколько более организованным – в смысле предсказуемости и своевременности взаимодействий – стало наше общество после столь долгих лет жертв и надежд?

«Мир России». 1.2007 г. XVI

Г. Сапов

НЕМНОГО О ЛЕВАДЕ

Левада был человек многосторонний, а вот организационная сторона, конечно же, не была самой сильной. Я его знал в 1976-1988 гг. В 76-82 мы даже работали в одной лаборатории. В 79-82 он организовал и вел для нас, молодых тогда экономистов-математиков семинар по социологии и социальной-психологии. Говорил, «я тут пишу-исследую, из университета турнули, а лекции для меня способ уточнения для себя разных вещей». Надо сказать, что тогдашний мой начальник, покойный Александр Иванович Анчишкин повел себя образцово. Во-первых, недрогнувшей рукой взял изгнанного ото всюду Ю.А., чисто экономически, я думаю, это было очень нужно. Во-вторых, нашел правильный баланс между втягиванием его в работу (Ю.А. был в смысле своего научного стиля конечно же одиночкой, хотя и очень обаятельным и общительным человеком), с одной стороны, и полной свободой и самодостаточностью. В-третьих, совершенно спокойно санкционировал этот самый семинар, ни с кем ничего не согласуя. На какой-то вечеринке с гримасой омерзения Анчишкин рассказывал как где-то в начальственных коридорах к нему подошла какая-то околонаучная цэковско-гэбэшная фигура (которых шныряло по тем коридорам великое множество) и спросила: Левада – он у вас ведь работает? Да, у меня – сказал Анч. «Вы берегите его, он большой умница» – сказала фигура и запрыгала по коридорам дальше (кажется, это был приснопамятный 6-й подъезд).

Сами семинары, хотя скорее это были лекции, были замечательны – Ю.А. великолепный лектор, кроме того, была свободная коммуникация. Правда, здесь он не сильно выделялся на фоне тогдашнего ЦЭМИ, в котором научные нравы были весьма свободными – на семинарах, защитах и научных советах бывало очень напряженно, т.к. люди, что называется, с положением не могли расслабляться, зная, что всегда могут получить. Особенно, конечно, Ершов бдил – Левада, кстати, его на-

зывал, «Эмиль Борисович – научная совесть института». Ну, и Ю.А., конечно, тоже был научной совестью.

Сейчас, с годами я стал иначе смотреть на содержание читавшегося Ю.А., как и на сам статус этих дисциплин. Но тогда это было что-то поразительное, окно в мир. Ю.А. очень много знал, очень.

Гораздо больше, чем можно себе представить. В перестройку Левада оттаял, ожил, появился клуб Гриши Глазкова, стал захаживать Седов, Левада вдруг сел в президиуме какого-то собрания, что вызвало мой буйный восторг, особенно в свете озадаченных комсомольских личин (среди которых были пара будущих министров демократического правительства). Ю.А. держал еще совсем маленький семинарчик, «для своих», чтобы в быстроменяющейся ситуации «держать контекст» – он мне очень помог, когда начался Троицк и другие мои консультантские похождения.

После смерти Анчишкина институт возглавил Яременко и Левада довольно быстро ушел, как и Ершов и еще много людей. Яременко был ревнив, в отличие от Анча, и что-ли более моноцентричен – институт стал, как я ему однажды сказал, вашей лабораторией, в которую качнули воздух и надули до огромных размеров – кто почувствовал себя прижатым к стенам, тот ушел.

Когда появился ВЦИОМ во главе с Левадой (хотя сперва там был не он, а чуть ли не Заславская, я уж не помню), я ужасно удивился – мне казалось это причудой профессора, который вдруг пошел на завод бригадиром наладчиков.

* International Biography and History of Russian Sociology Projects feature interviews and autobiographical materials collected from scholars who participated in the intellectual movements spurred by the Nikita Khrushchev`s liberalization campaign. The materials are posted as they become available, in the language of the original, with the translations planned for the future. Dr. Boris Doktorov (bdoktorov@inbox.ru) and Dmitri Shalin (shalin@unlv.nevada.edu) are editing the projects.

И. Прусс

КАК ОПАЛЬНЫЕ УЧЕНЫЕ ЖУРНАЛ СПАСАЛИ

Со статьей Юрия Левады «Все дороги ведут в Рим», напечатанной в журнале в 1977 году, произошла очень странная история. Странная, но характерная для того времени. История, как один опальный ученый спас журнал, который гробили за статью другого опального ученого. История о силе связей и репутаций.

Юрию Александровичу Леваде запретили печататься за курс лекций по социологии. Это был один из заключительных эпизодов разгрома советской социологии № 2 (№ 1 – разгром сталинский). Новый директор главного социологического института щелкал зубами на пепелище: он успешно справился с прямым заданием привести институт в соответствие и избавиться от... Лучшие социологи расползлись по институтам с самыми странными вывесками и порядочными, смелыми директорами. Серьезная работа ушла в подполье: это было время домашних семинаров и случайных публикаций в ротапринтных сборниках (тираж – 300 экземпляров) о повышении эффективности куроводства или технической эстетике.

В таком сборнике я и увидела статью Юрия Александровича. Значит, запрет был уже не столь абсолютен, и стоило попробовать следующий шаг – напечатать его в нашем журнале, прорвав блокаду широкой прессы.

Главный редактор нашего журнала Нина Сергеевна Филиппова полистала сборник, выпила две чашки кофе и – разрешила: «Звоните, заказывайте».

Юрий Александрович долго объяснял мне по телефону, что печатать его статьи опасно и чревато оргвыводами.

Нина Сергеевна еще раз полистала сборник, выпила сверхплановые две чашки кофе, вздохнула и сказала: «Какой человек!» Еще раз вздохнула и сказала: «Звоните. Будем печатать».

Статья, которую мы напечатали, вовсе не была антисоветской. Она была просто другая; авторская мысль развивалась в

каком-то другом, «чужом» пространстве. Кстати, мы недавно (1995, № 2) напечатали ее как бы в новой обработке. Получилась своеобразная публикация: новая рефлексия по поводу рефлексии двадцатилетней давности. Но она и в прежнем виде сохранила и свежесть, и содержательность, и актуальность не в пример множеству текстов того времени.

Главный социолог и блюститель социологической чистоты щелкнул зубами сразу, как только вышел номер. ЦК получил «телегу» об опальном социологе в беспутном молодежном журнале. Письмо докатилось до Нины Сергеевны с намеками на кадровые перестановки.

Нина Сергеевна пила кофе ведрами.

Я отправилась искать защиты и поддержки к Георгию Петровичу Щедровицкому, тоже опальному и выгнанному из партии ученому, «подписанту», жившему на восемьдесят рэ зарплаты в Институте физкультуры.

Георгий Петрович Щедровицкий – крупный человек и ученый, методолог, глава знаменитого методологического семинара; степень его влияния на умы еще будет оценена, но она ощущалась и в то время. Некоторые из его учеников тогда уже достигли степеней известных и были людьми с весом.

Семинар продолжался, вокруг Георгия Петровича бродили толпы молодых ученых – зачем ему заниматься делами журнала, который он любил, но в котором никогда не печатался?

Выслушав меня, он отменил все дела на этот день и потащил меня к своему другу, известному социологу, имевшему связи в ЦК. Помню темную мокрую дорогу за город, заляпанную машину, долгое ожидание на табуретке в коридоре какого-то деревянного дома. Известный социолог сказал, что журнал хорош, но ему его исследование дороже и рисковать он не собирается. А Левада в конце концов сам виноват, пусть покается, от него только этого и ждут, нечего из себя строить...

Всю обратную дорогу Георгий Петрович втолковывал мне, что социолог прав, не желая ставить под возможный удар свою работу (он упирал на работу, а о покаянии помалкивал, поскольку и сам уклонился от этой процедуры). Но потом повел

себя совсем не в соответствии с этой декларацией: он стал приглашать в гости своих бывших учеников, вышедших в люди, к которым по собственным надобностям никогда бы не обратился (и не обращался); он их поил и требовал помощи журналу. Его жена обычно комментировала очередную акцию кратко: «Коньяк съели, но толку не будет».

Почему бывшие ученики, уже друзья и советники партийных боссов, писавшие им диссертации и проекты, и свои люди в кругах, куда Георгий Петрович и не стремился, и не имел хода, почему они приезжали к нему по первому зову? Почему, если ничего для журнала не делали, считали себя обязанными длинно и витиевато оправдываться? И почему, наконец, кто-то (наверное, никогда не узнаю, кто именно) добрался до секретаря ЦК Зимянина, каковой и приказал оставить журнал в покое?

Оставили.

Ю. Левада

ПОЧЕМУ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ

Культуролог: Город имеет начало, а деревня извечна, но пути цивилизации по-прежнему ведут в Вечный город.

Эта статья, которую редакция «Знание – сила» решила предложить вниманию нового поколения читателей, была написана почти два десятка лет назад. Мне трудно судить о вкусах нового поколения, – наверное, они изменились за эти годы, и что-то из старого текста утратило интерес, а некоторые рассуждения, возможно, стали менее понятными. Ведь современный читатель – и это прекрасно – отвык искать смысл написанного где-то между строк. Потому и приходится загонять текст в историческую рамку, то есть предварить его толкованием.

Сначала о том, что написано. Перечитывая статью, обнаруживаю в ней три уровня смысла, который мне когда-то хотелось туда вложить.

Во-первых, это основное содержание статьи – попытка рассказать о некоторых понятиях социокультурной теории города (или урбанологии), над которой мы с коллегами тогда размышляли. Многие шаги человечества со времени, когда была изобретена письменность, можно представить метками на оси урбанизации. Такими метками оказываются универсальные религии, права человека, наука, бизнес, образование и многое другое. Перипетии отечественной истории, в числе прочего, объяснимы тем, что Россия никогда не кончала школы городской цивилизации. Безудержное самовластье, безграничная покорность и беспощадный бунт – все это разные стороны одного и того же феномена «негородской» российской жизни, который пережил много превращений, но сохранился как некий предел страхов и устремлений.

Во-вторых, это уровень намеков и недоговорок, который в период написания статьи складывался даже помимо воли автора: друзья и критики находили в «междустрочном пространст-

ве» именно то, что они хотели там найти. Перечитывая сейчас эту давнюю статью, не могу обнаружить никакой эзоповщины, никаких потаенных коварных замыслов. Замысел был простой и открытый: серьезно, «без дураков», без поклонов обязательным «классикам» и новейшим постановлениям изложить свой материал и некоторые суждения по его поводу. Но именно это показалось кому-то опасной крамолой, тем более, что у автора уже была не вполне оправданная репутация крамольника (говорят, один социологический начальник тех лет написал даже по поводу этой статьи специальный донос начальнику идеологическому, но такие истории давно перестали быть интересными, потому я не называю имен).

Был и третий уровень смысла, на который намекает название статьи. Дороги вели в Вечный город и в древности, но в семидесятые годы нашего века Рим одно время был обязательным пересадочным пунктом на путях эмиграции из советского рая в мир западной городской цивилизации. Немало друзей и знакомых проходило по этой столбовой дороге с односторонним, как представлялось тогда, движением. Поэтому, размышляя о судьбах города и человека в городе, я имел в виду также и этот путь.

Теперь о том, что не было написано, но что непременно было бы в статье, появись она лет на пятнадцать поближе к дню сегодняшнему.

Семьдесят с лишним лет постоянным мотивом непрерывно звеневшей социальной мелодии (гимна, марша, лозунга, плаката, призыва) было строительство – нового мира, новой жизни, нового человека. Причем изображалось и мыслилось оно прежде по образцам градостроительным: кирпичи, блоки, проекты, прорабы, стройные громады сооружений. Эти аналогии имели свою логику и свою историю, которые уходили корнями в социально-технические утопии. «Безумцы», пытавшиеся навеять человечеству «сон золотой», в своих фантазиях обычно сооружали идеально правильные, аккуратно разлинованные и прозрачные города, предназначенные для столь же правильных и прозрачных людей. Давно известно, что «золотые сны» были

мрачными кошмарами, которые имели лишь одну светлую сторону – их никто и нигде не мог и не собирался претворять в реальность. Лишь далеким наблюдателям кажется порой, что советская жизнь со своими «градостроительными» мелодиями означала попытку «сказку сделать былью», осуществить утопические проекты «солнечного» города и мира. На деле строили не столько города, сколько городки – заводские, военные, «ящики», лагеря, и не по идеальным меркам, а по наличным ресурсам и потребностям. И не «солнечные», а довольно-таки малоудобные.

Главное же в том, что человеческие отношения и сами человеческие типы никому не удавалось «строить» по чертежам и схемам, по благим пожеланиям (в существовании последних, правда, можно сомневаться). Мне показалось интересным использовать в статье пример красиво спроектированной бразильской столицы, которая обросла трущобными постройками; много позже случилось посмотреть своими глазами, как это выглядит. Интересовал же меня этот пример прежде всего как метафора, как символ того, что неизбежно происходит с проектами «планирования» и «строительства» в применении к сложным человеческим системам. Проектировали и строили, по сути дела, не человека, а послушного и восторженного робота. На деле же появился человек лукавый, умеющий уклониться от исполнения любых планов. Это особая тема, которую сейчас не стоит разматывать.

В недавние – хотя уже и далекие от сегодняшней жизни – времена горбачевской перестройки «градостроительная» терминология и идеология были в ходу: и планы, и прорабы, но «процессы пошли» не так, как задумывалось (если предположить существование чьих-то долгосрочных замыслов, а не только знаменитого русского расчета типа «эй, ухнем... сама пойдет»). Сегодня модно оплакивать очередные неудачи красивых замыслов («снов золотых») и объявлять их знаками гибели и разорения градов и весей наших. Но жизнь ведь не сводится к планам и замыслам, она сложней, хитрей, потому и выносливей.

В отличие от деревни город всегда многоэтажен, по меньшей мере двухэтажен. В данном случае я имею в виду «этажи», которые разнятся своими культурными смыслами. Есть уровень объединяющих символов: храмы, дворцы, шпили (вспомните знаменитые московские «высотки» позднесталиинской эпохи), в последние времена – реклама политическая и коммерческая. Все это, так сказать, «верхний» этаж, подверженный влиянию социальных и политических землетрясений. Есть уровень повседневности, обычной, «низовой» жизни. Связь между этажами никогда не бывает простой. Рушатся вывески, меняются лозунги, изменяется значение символических сооружений, памятников. Музеи превращаются в храмы (и наоборот). Повседневная жизнь продолжается, приспосабливается к новым условиям, использует новые возможности для своего развития. Сегодняшний город, особенно крупный, демонстрирует эту картину «двухслойных» изменений с большой наглядностью.

Сентябрь 1994 года

А. Назимова, В. Шейнис

ГЛАВНОЕ В ОБЛИКЕ НАШЕГО ДРУГА

«Его нельзя было ни запугать, ни подкупить. Никогда. Он никому не прислуживал. Ни власти, ни системе. Юрий Левада, самый выдающийся, самый объективный российский социолог...», – написала польская журналистка, сказав в нескольких словах о главном в облике нашего друга. В трудные и подлые времена и в сменившее их другое время – вспыхнувших было и вскоре обрушенных надежд – Юрий Александрович Левада неизменно оставался самим собой. А был он подлинным русским интеллигентом – таким, каких очень мало в обществе, где интеллигентность сознательно, целеустремленно и долго вытравлялась. Он был равнодушен ко всякого рода «пирогам и пышкам», которыми власти соблазняли слабых: почестям, регалиям, званиям, наградам, загранкомандировкам и т.п. – и спокойно, с достоинством принимал «тумаки и шишки»: выговоры, увольнение с работы, запрет публикаций своих работ. Он твердо знал свою роль в науке и обществе и делал то, что, как он полагал, другие сделать вряд ли сумеют.

Он жил в своей стране и в свое время. Умный и все хорошо понимающий человек, он знал общество, в котором жил. Не поддавался иллюзиям, но и не приспосабливался к унизительным обстоятельствам жизни большинства наших академических учреждений. Писал и говорил то, что думал, и никогда не позволял себе утверждать то, во что не верил. Не поддавался широко распространенному поветрию демонстрировать лояльность по отношению к властям предержащим.

О чем бы ни писал Юрий Александрович, он всегда говорил с читателем о главном – о человеке и обществе сегодня, здесь и сейчас. Можно вспомнить, к примеру, его статью о фашизме, написанную для Философской энциклопедии и опубликованную в 1970 г. Идеологические инквизиторы, оторопевшие после Пражской весны, не успели еще перекрыть все каналы, через которые в печать прорывалась неортодоксальная мысль.

Статья как статья, отвечающая стандартам, принятым в энциклопедиях, – представлена вся необходимая информация о феномене фашизма. Но мало-мальски вдумчивый читатель не мог пройти мимо четко сфокусированных инвариантных черт тоталитарных режимов: идеологии «стадного типа», над- и сверхличностного культа государства и вождя, отторжения «буржуазного парламентаризма» и разделения властей, массового характера и социального состава фашистских партий, наполовину состоявших из рабочих и крестьян, а также некоторых специфических, но колоритных особенностей, как «исследовательские лаборатории, [которые] создавались не только в концлагерях, но и в лагерях уничтожения для наиболее эффективного использования направляемых туда научных сил». «Это про них или про нас?» – написал на полях текста проницательный высокопоставленный страж, поставленный надзирать за данным участком «идеологического фронта».

Так шло ассоциативное просвещение читателя, оторванного от источников серьезной социальной и исторической информации и одурманенного официальной пропагандой. Роль такого рода аллюзий в разрушении фальшивого единомыслия и оболванивания была немалой. Но то был лишь поверхностный просветительский слой. Намного труднее и важнее было дать читателю, слушателю реальное позитивное знание на уровне мировой общественной науки XX века, показать несостоятельность формул примитивного катехизиса, который лежал в основе советского гуманитарного образования, преподать уроки свободной мысли. Надо было вернуть в советское обществознание социологию, которую официоз то объявлял лженаукой, то попросту игнорировал. Эту задачу Левада мастерски решал в курсе социологии, который он читал в Московском университете. Он рассказывал студентам, что такое социология, с которой только что сняли клеймо «буржуазной лженауки» и «служанки империализма», но по-прежнему продолжали видеть в ней опасный рассадник «идеологической заразы».

Сказать, что лектор не укладывался в рамки привычного истмата и что он пренебрег «партийным», «классовым» подхо-

дом (что, собственно, на разные лады перепевали критики лекций, когда дело дошло до разбирательств чисто инквизиционного характера) – значит сказать очень мало. Он не только знакомил студентов с историей развития социологии и ее роли в познании общества, но и, раздвигая горизонты неискаженного знания о законах, по которым живет общество, вторгался в смежные области философии, культурологии, истории. Студенты узнавали имена классиков социологии и современных исследователей, книги которых еще недавно лежали на полках спецхранов. Понятно, что лектор, пришедший в студенческую аудиторию с таким багажом, вызывал огромный интерес – на его лекции приходили студенты, аспиранты, преподаватели не только с других факультетов, но и из других вузов.

Перелистывая сейчас две небольшие книжечки – почти кустарно изданные стенографические записи лекций Левады, замечаешь, конечно, тот «неконтролируемый подтекст», который был органично включен в рассказ о современной социологии, ее предмете, категориях, методологии. Наметанный глаз различал и инвариант в примерах, относящихся к тому же фашизму, и рассуждения о различиях между человеком и его ролью, масками, которые он надевает, приспосабливаясь к требованиям общества (с иллюстрацией из сюжета сурово осужденного официальной критикой рассказа А. Яшина «Рычаги»). И влияние на поведение людей иллюзии близости великой – и будто бы осязаемой, зримой – цели. И о том, что когда мы выбираем путь движения к цели – выбираем и средства, которые меняют результат – самую цель. Поднаторевший читатель не мог не сопоставить это с эквилибристикой официальной пропаганды: «культ», репрессии, «историческое» вранье достойны осуждения (что уже сделала сама партия), но все это не должно бросить тень на пройденный путь, ибо не могло изменить заявленную природу нашего общественного строя и исказить великие цели. И пройти мимо совсем уж вызывающего, как бы мимоходом брошенного замечания о колючей проволоке, которая в изменившихся условиях перестает быть важным моментом социальных институтов, хотя это медленный и противоречивый

процесс. Не удивительно поэтому, что интерес к публичным выступлениям и публикациям ученого возник и у тех людей, которые были поставлены блюсти «идеологическую стерильность».

Юрий Александрович был гордым и слишком независимым человеком, чтобы те, кому надлежало насаждать и поддерживать «идеологическую дисциплину», могли не заметить инородность всего строя его мыслей и поведения охраняемому ими режиму. Во времена чуть более ранние такой человек был бы неминуемо обречен. Но в 50-70-е годы, на которые пришлась продолжительная часть его сознательной жизни и карьеры, были, к счастью, не предельно каннибальскими. Правда, и тогда власть располагала немалым арсеналом средств, чтобы изолировать, исключить из профессиональной жизни тех, на чью лояльность она не могла положиться и кого ей не удавалось поставить себе на службу. «Запрет на профессии» был одним из самых универсальных. Полтора века тому назад Николай I запретил Тарасу Шевченко писать и рисовать. Советские власти шли по проторенному царями пути: их подручные, возглавлявшие различные научные учреждения, издательства и университеты, ознакомившись с пробившимися по недосмотру в печать лекциями Левады, углядели там крамолу и перекрыли ему путь в печать и в студенческую аудиторию.

Лекции Левады послужили одним из предлогов рейдерам из идеологической полиции – отдела науки ЦК КПСС для разгрома Института конкретных социологических исследований Академии наук. Его директор академик А.М. Румянцев, человек честный и совестливый собрал в институте высокопрофессиональных ученых, которые с увлечением занялись воссозданием в СССР запретной еще недавно социологии. С этим решено было «разобраться». Вопрос о каких-то там режимных нарушениях в институте был вынесен на секретариат ЦК. Это был форменный погром. (К слову, среди отличившихся был и Дмитрий Устинов, доныне любимец «патриотов», имя которого носит военный корабль.) На смену прежнему директору был назначен человек, как сдержанно оценил его Левада, «во всех

отношениях нехороший». Он рьяно принялся исполнять партийное задание – искоренять подозрительные мысли и разрушать не им созданный Институт – таких подвигов в 70-е годы в советской гуманитарии совершено было немало.

Левада вынужден был уйти из Института, вслед за ним ушли или были изгнаны люди, которые собственно и вернули в советское научное пространство социологию как науку и вместе с тем – полевые исследования. Но в дряхлевшей системе идеологического контроля к тому времени уже образовались прорехи; академик Румянцев не был исключением. Во главе некоторых академических учреждений, обслуживавших практические нужды так называемых директивных органов, оказались люди, если сами и не занимавшиеся наукой, то во всяком случае имевшие о ней представление. Левада ко времени обрушившихся на него гонений был слишком крупной фигурой в научном мире, слишком на виду, чтобы поворот в его судьбе остался незамеченным. Его пригласили в один из академических институтов другого профиля, где ему были предоставлены условия для занятий своим делом. Он остался и в науке, и в социальной жизни. Его не удалось сломать.

Лишение элементарных условий деятельности ученого – общение с широким кругом учеников и читателей огорчало, но не мешало читать, думать, наблюдать жизнь, писать, делиться своими размышлениями с коллегами, вообще с думающими людьми. Свою задачу он по-прежнему видел в развитии науки, независимой от официальной идеологии. Он стал организатором и главным интеллектуальным мотором ряда регулярно проводившихся неофициальных, но тщательно готовившихся семинаров, с заранее оговоренной повесткой дня, докладами, свободным, без оглядки на государственные установки и ограничения, обсуждением актуальных вопросов. Эти семинары, собиравшие значительную аудиторию, были примечательным явлением в научной жизни Москвы. Они существовали несколько лет, и участие в их работе для многих было событием.

Одно из завидных свойств характера и позиции Юрия Александровича – зоркость и вместе с нею – некоторая эмоциональ-

ная отстраненность в оценке людей, понимание того, что моральные проблемы не существуют вне социального контекста. В годы сталинского террора морального выбора у людей практически не было, говорил он в интервью Д. Шалину, возможности выбора позиции появились позже. Предъявляя крайне жесткие требования к себе, открыто заявляя свои научные и гражданские позиции, пренебрегая действительными или мнимыми опасностями прямого общения с советскими гражданами, ставшими неприкасаемыми, «мечеными», по его выражению, Левада не склонен был сурово судить тех людей, в том числе своих «добрых приятелей», внешне лояльных официальной идеологии, «маневрировавших», чтобы сохранить возможность профессиональной работы. И даже по отношению к откровенным гангстерам в науке он умел сохранять презрительно отстраненное отношение. Они вызывали у него чисто профессиональный интерес как общественное явление, функция, порожденная определенными условиями. Так естествоиспытатель, поглощенный своим исследованием, относится к несимпатичным ему особям животного мира.

В молодости он вступил в партию и даже не погнушался в 60-х годах занять малую партийную должность в институте. Это, как он позже объяснял, немножко связывало руки людям определенного пошиба, да и время от времени помогало делать что-то полезное. А когда он был замечен в отклонении от принятых идеологических стандартов и подвергнут репрессиям – не маневрировал, не уподоблялся тем, кому, по его словам, приходилось бегать, светиться, изображать себя в меру критичными в глазах одних и в меру верноподданными – в представлениях других.

Здесь хочется сделать одно отвлечение личного порядка. О Юрии Леваде как блестящем ученом и смелом человеке, о его лекциях и знаменитом семинаре мы знали еще живя в Ленинграде, но познакомились с ним только переехав в 1977 г. в Москву. Первая встреча случилась тогда же, в доме Михаила Яковлевича Гефтера, куда хозяин пригласил своих друзей, чтобы представить нам бывшего аргентинского «левака», а в то

время уже профессора Сорбонны. Было интересно услышать, как видятся мировые и прежде всего московские проблемы человеку из иной среды, проделавшему непростую идейную эволюцию. Разговор касался очень широкого круга тем. Но не меньшее внимание наше, чем зарубежный гость, привлек Юрий Александрович, которого мы тогда увидели впервые. Он задавал зарубежному гостю очень точные вопросы, а его краткие реплики были содержательны и глубоки. Это запомнилось. Та встреча положила начало дружеским отношениям, которые стали для нас настоящим подарком в чужой тогда еще Москве.

И еще о личном. Позже, начиная с 1979-80 гг. наш общий друг Леонид Абрамович Гордон стал инициатором регулярных встреч, непременным участником которых был и Юрий Александрович. В отличие от большого московского семинара Левады, в котором участвовали и о котором написали многие (а мы, до конца 70-х годов ленинградские жители, только слышали и застали их на излете), к этой страничке научной, гражданской (и мы бы сказали – интимной, если бы за этим словом не закрепился очень уж специфический смысл) жизни Юрия Александровича прикосновенен был довольно узкий круг людей. Помнится, этот «неформальный колледж» – нечто более содержательное и систематичное, чем типичные для того времени разговоры на кухнях малогабаритных интеллигентских квартир, – постоянно посещали человек десять. По содержанию того, о чем и как шел разговор, а также по раскованности, доверительности, душевной приязни друг к другу это был очень высокий уровень. Интеллектуальный и эмоциональный накал этих встреч не забудется никогда. О них важно успеть сказать, потому что большинство их участников в последние годы уходили из жизни. На них Юрий Левада, академический ученый, оборачивался с несколько иной стороны. Видно было, сколь значимую роль в его жизни играет политический интерес, не лишенный эмоций, но слегка окрашенный иронией. Вот уж кто не пребывал в башне из слоновой кости!

Это были не просто дружеские застолья в домашней обстановке, а своего рода мини-семинары, «мозговые штурмы» вол-

новавших всех нас проблем. Обменивались информацией, обсуждали происходившее у нас в стране и за пределами. А событий было много. Афганистан, где события развивались совсем не по тому сценарию, который задумал Кремль, когда посылал «ограниченный контингент» своих войск. Польша, всегда считавшаяся «самым веселым бараком в социалистическом лагере», снова бурлила – забастовки на Гданьской верфи, появление Леха Валенсы и «Солидарности», КОС-КОР… Как раз накануне драматических событий мы провели месяц в Варшаве и, вернувшись, спешили поделиться с друзьями увиденным и услышанным: вот-вот грохнет! Польская тема с тех дней доминировала на наших встречах. Юрий Александрович перелопачивал уйму польских газет (когда только успевал?), приносил детальнейшую информацию о развитии событий. И, конечно, по мере того как явочным порядком «Солидарность» отбирала власть у режима, снова и снова вставал вопрос: решатся ли наши престарелые вожди повторить то, что они уже делали в 1956 и 1968? С одной стороны, поляки – не чехи, и должны же были как-то учтены быть уроки Афганистана. А с другой... Год с лишним мы все жили польскими событиями, пристально следили за тем, как реагируют наши власти на происходящее там, строили прогнозы, надеялись, ждали и сразу же сами себя охолаживали: не могут же кремлевские вожди все это стерпеть... Юрий Александрович, наверное, был трезвее нас. По мере того, как события убыстряли темп, наши встречи становились все более частыми. Варианты мелькали и исчезали. Запомнилось: мы в очередной раз собрались вечером 12 декабря (так получилось). На следующее утро узнали: ответ дан, генерал Ярузельский ввел военное положение, интернировал почти всех вождей оппозиции. И снова горький разговор: что дальше?

Встречи в узком кругу стали более редкими, когда началась перестройка. Дискуссии, собиравшие теперь сотни людей, разворачивались на широких площадках – возникали клубы «Перестройка», «Московская трибуна», «Мемориал», другие. Обсуждения становились не столько научными, сколько политическими – сменилось время. Не без злорадства поминали слова

кремлевского идеолога: у нас никогда не будет клуба Петефи! Дождались!

Особую роль играл в те месяцы семинар, организованный на территории ЦЭМИ Татьяной Ноткиной, дочерью известного советского экономиста – она стала нашим общим другом. Политика – политикой, а на семинаре ставились вопросы, обсуждение которых требовало специальных познаний – экономических, исторических, политологических. До потока самой разнообразной литературы, которой мы избалованы сегодня, оставалось еще несколько лет. Сегодня только диву даешься, каким неинформированным, часто элементарно неграмотным вступило наше общество, даже его быстро политизировавшийся актив в перестройку. Каким-то образом Таня вылавливала и приводила в аудиторию специалистов. Послушать их, обменяться мнениями, теперь уже без оглядки на «идеологическую дисциплину», стекалось множество людей. И, как всегда, весомо, информативно, мудро говорил Левада. Его познания казались необъятными. Семинары эти были приметной частицей духовой жизни Москвы в перестроечные годы. После таких заседаний Таня Ноткина приглашала «избранных» к себе «на чай» с собственноручно изготовленными пирожками (в магазинах не было не только особых разносолов, но и снеди элементарной). Еще несколько часов уплетали пирожки, продолжали дискутировать. Помнится, едва ли не впервые мы почувствовали там скрытые пока идейные разломы в кругу перестроечной интеллигенции. Споры были горячими, спорщики темпераментными, обычно только Юрий Александрович своим негромким голосом вносил трезвую ноту в общий хор. Вскоре, однако, как раз накануне встречи со впервые приехавшим в СССР Наумом Коржавиным, которого Таня разыскала и заполучила на семинар, она трагически погибла – встреча не состоялась. Это было наше общее горе. Запомнилось осунувшееся лицо Юрия Александровича на похоронах – она была очень близким ему человеком.

В первые годы после прихода к власти Михаила Горбачева особо пристальное наше внимание привлекало прошлое из не-

давней советской истории – время, получившее неточное, но запомнившееся название: оттепель. Перестройка делала первые шаги, официальный курс был неровен, прорывные шаги в политике новой власти перемежались топтанием на месте, а то и попытками развернуть процесс перемен назад. Такое уже было в нашей истории: то, что могло казаться началом серьезного обновления, было грубо оборвано, затоптано. Агонизировавшая социальная система получила – вслед за десятилетием, когда развитие шло в ритме: «иди-стоп-назад» – еще 20 лет отсрочки. Как и почему так случилось? Чья была в том вина? В чем – ответственность демократической интеллигенции, проворонившей свой шанс? Или робко заявленная десталинизация была тогда обречена на провал безальтернативно? Соглашаться с этим нам не хотелось. И самое главное: какие уроки из всего этого вытекают для вновь наступившего времени перемен? Конечно, даже на старте перемены продвинулись значительно дальше, но система власти оставалась прежней, да и вставший во главе партии и государства лидер к началу 1988 г. еще не вполне раскрыл и реализовал свой реформаторский потенциал. Все это внушало серьезную тревогу.

Теперь, однако, возникала возможность на страницах массовых изданий поделиться нашими размышлениями и выводами с обществом, которое обрело вкус к политической публицистике и бурно протестовало против заявленного намерения почтового ведомства (на деле, конечно, консервативного крыла партийного руководства) ограничить подписку на перестроечную печать. Начиная с 1988 г. Юрий Александрович активно выступает по этим жгучим вопросам в массовой печати. Были опубликованы в «Московских новостях» (за еженедельником в день выхода выстраивались очереди у киосков), в «Советской культуре» наши с ним совместные работы, названия которых говорят сами за себя: «1953-1964: почему тогда не получилось», «Погружение в трясину: акт первый», «Где взять второе дыхание. Актуальный диалог с участием третьего». Конечно, предвидеть тогда, как развернутся события, было невозможно. Но принципиальный подход, думаю, был верен: самоорганиза-

ция, активность пробуждавшихся демократических сил, побуждение реформаторов у власти к более решительным и последовательным действиям. Статьи эти стали своего рода плацдармом, с которого стартовал, думаем, очень неплохой сборник статей и документов, который тоже получил название «Погружение в трясину». Всю ношу по сбору материалов и изданию книги самоотверженно вытащила на себе Таня Ноткина.

В начале перестройки впервые в нашей стране был организован Центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ), первым директором которого стала акад. Т.И. Заславская. Через некоторое время ее сменил Левада. Так он оказался во главе самого авторитетного социологического центра, в коллективе своих научных и политических единомышленников, многие из которых работали с ним уже много лет. Нам со стороны было радостно видеть, как изменилась роль Юрия Александровича, который прежде, может быть, и не вполне справедливо, называл себя волком-одиночкой. Работа ВЦИОМа получила заслуженное признание в стране и за рубежом. Это требовало постоянной напряженной работы – надо было торопиться реализовать, зафиксировать, передать новому поколению ученых накопленный опыт долголетней работы, угнаться за стремительным ходом накатывавшихся событий. Почти в каждом номере журнала, издаваемого с 1993 г. сначала ВЦИОМом, а затем Левада-центром, появлялись статьи Юрия Александровича, теоретически обобщавшие итоги проводимых Центром исследований. Теперь они изданы в двух больших авторских сборниках – это поистине монументальные памятники переломного времени в истории России. В них представлена многоплановая динамическая картина того, что происходило в нашем обществе в перестроечные и постперестроечные годы. Отталкиваясь от колоссального труда, воплощенного в работах Левады и его сотрудников, можно со знанием дела размышлять о перспективах дальнейшего развития нашей страны, всерьез заниматься (насколько это возможно в принципе в эпоху «конца знакомого мира», по Валлерстайну) моделированием предстоящих – вероятных и маловероятных – событий.

В 80-90-е годы перед учеными-социологами открылась возможность не только заниматься теоретическими построениями (как ни важны они), не только нестесненно изучать разворачивавшиеся общественные процессы, опробуя известную методологию работы с «полем» (в частности, ставить в опросных листах вопросы по своему усмотрению, не испрашивая санкцию у «инстанций»), но и реализовывать свои знания, умения, опыт, непосредственно участвуя в политическом процессе. И здесь стало ясно, что прежняя известная отстраненность Юрия Левады как человека публичного от политики была навязана ему обстоятельствами внешними. Что отмеченная почти всеми комментаторами его гарвардского интервью самохарактеристика собственного поведения как «естественного» на деле относится не ко всем временам, а лишь к тем, когда общие условия жизни и работы ученого и гражданина неестественны.

Жизненная установка, диктовавшая ему линию поведения в тех условиях, безусловно, заслуживает высокого уважения, у нас даже – восхищения. Но «естественность» во времена относительной свободы (и даже в последовавшее за ним время отъема этой свободы кусок за куском) становится иной, расширяется, включает прямую реализацию политических убеждений и устремлений, что ни в малой степени не ущемляет строгое следование научным принципам в осмыслении событий. Твердая политическая позиция и незаметный внешне, но мощный политический темперамент Юрия Александровича отчетливо проявились и в его сотрудничестве с демократическими партиями и организациями, и в его публикациях, и в его вкладе в работу российских и международных конференций, и в выступлениях на радио и телевидении (пока новая власть не внесла его в запретительные списки).

Научная, как и нравственная позиция Юрия Левады была безупречна во все времена. Убежденный сторонник демократического, европейского пути России, он, как и все мы, обнадеженный событиями «демократической весны», никогда не позволял себе принимать желаемое за действительное и тем более – поддаваться соблазну толковать выводы из исследова-

ний в угоду конъюнктуре. Разумеется, с исторической дистанции тогдашние события и их участники видятся по-иному. Но и тогда, отдавая должное интеллигенции, устремившейся в политику, соглашаясь с тем, что без ее поддержки перестройка, возможно, не состоялась бы, он – в отличие от многих – жил не в мире тешивших сердце иллюзий. Прямо говорил о разрыве между реальной ролью интеллигенции в событиях и имиджем этой роли. В 1990 г., говоря о демократах, он констатировал: «Реальное действие, организация... заставляет просто в ужас приходить, как на них (кого?) поглядишь». Сокрушался, что «межрегионалы – очень несильная организация... со всей неорганизованностью, болтовней и т.п.».

В одной из последних своих публикаций Юрий Александрович, опираясь на данные опросов общественного мнения, поднимает один из главных вопросов, стоящих перед историком (может быть, самый главный, если история как наука должна дать не только понимание прошлого, но и представление о будущем, о возможном и невозможном в развитии событий). В массовых представлениях свершившиеся крупные исторические события – во всяком случае, те, что заняли прочное место в социальной памяти ряда поколений и/или оцениваются как положительные, – жестко детерминированы: они могли произойти, думают люди, только так, как произошли. Левада – альтернативист. На примерах Октябрьской революции, второй мировой войны, распада СССР и др. он отмечает, как постепенно сужалось вначале более широкое поле разных вариантов развития. Особенно важно понять, что на крупных исторических переломах, происходивших в нашей стране в последние 20 лет, ни обществу в целом, ни политическому классу ученые и идеологи не сумели предъявить альтернативные варианты развития событий. И хотя это было объективно обусловлено, решающая роль принадлежала субъективному фактору. А отсюда вывод: «Скорее всего для успешного выхода из очередной тупиковой ситуации потребуется набор разработанных в принципиальных узлах концепций, взаимодополняющих или *альтернативных*... Уровень поддержки каких бы то ни было

альтернативных вариантов зависит от наличия таковых, от степени их разработанности и способа предъявления обществу».

В последней опубликованной при жизни статье, озаглавленной «Человек недовольный?», Юрий Александрович писал: «В конце 80-х многим казалось, что из-под обломков коммунистического режима появится нормальный, свободный, активный человек, готовый для свободной жизни... Человек, которого мы начали изучать в 1989 г., оказался скорее растерянным и встревоженным, чем освобожденным». Именно такой человек, увидев, что его надежды обмануты, ушел из политики или, того хуже, пошел под совсем другие знамена. И сейчас демократические ценности востребованы значительно меньше, чем во время выборов в Учредительное собрание в 1917 г. и в союзный и республиканский протопарламенты в 1989 и 1990 гг. История, к сожалению, знает не только подъемы. Опираясь на огромный эмпирический материал, Левада заключал: «Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни, в том числе и с помощью массовых опросов, не способен обнаружить ни в «озабоченных» низах, ни в более «элитарных» слоях реальных «ростков» иной системы отношений между человеком, обществом и государством, которая может и должна быть сформирована с изменением обстоятельств и в результате целенаправленных усилий». Так обстояло дело в 2006 г., незадолго до того, как Юрий Александрович ушел из жизни. На заданный ему тогда вопрос: а не написать ли нам новую статью «Почему опять не получилось?» – он ответить не успел.

Между тем откат от идеалов демократической революции рубежа 1980-90-ых гг., реставрация базовых конструкций авторитарного режима ускорялись. Менялись и условия, в которых работал коллектив ученых, возглавлявшийся Левадой. «Власть отвратительна, как руки брадобрея», – написал когда-то Мандельштам. Добавим: не только когда она подносит заточенную бритву к вашему горлу. В российской истории власть довольно редко представала в ином виде. Это наглядно видно на истории с ВЦИОМом. Востребованный во времена горбачевской перестройки, когда власть проявляла интерес к тому, как люди вос-

принимают перемены, он постепенно становился костью в горле у власть имущих. При Ельцине его терпели, с ним еще считались. Но новое время – новые песни. Знать мнение людей, их отношение к происходящему, оказалось ненужным – формировать его стали с помощью «волшебного ящика» телевизионного вещания. Высокий профессиональный авторитет ВЦИОМа, его марка – гарантия объективности и высокого научного и методического уровня обследований, признанного в мире, понадобилась людям из президентской администрации для использования в сооружении хилых подпорок «управляемой демократии». Поскольку Левада, доказавший свою независимость, явно не годился на роль «идеологической обслуги», была проведена спецоперация. Сначала ему попытались навязать в качестве заместителя одного из «опричных» социологов, не отличавшегося какими-либо научными заслугами и общественным признанием. Когда же домогательства эти были отвергнуты, бедные на выдумку чиновники не придумали никакой другой комбинации для искоренения Левады, как воспроизвести сценарий многолетней давности, использованный в 1970-х гг. для разгрома социологического института Академии наук. Поскольку ВЦИОМ юридически представлял собой государственное унитарное учреждение (хотя существовал в основном за счет выполнения заказов заинтересованных учреждений), в августе 2003 года, после нескольких безуспешных попыток изменить статус сложившегося научного коллектива и внедрить в него на руководящую должность подходящего функционера, Министерство, ведавшее государственным имуществом РФ, приняло решение преобразовать ВЦИОМ в ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения». Деятельность Центра была поставлена под контроль государственных структур. Якобы в интересах дела на место Левады был назначен упомянутый выше субъект.

Но – все-таки другие времена! – произошло непредвиденное. «Победители» завладели лишь вывеской Центра. Все без исключения сотрудники вслед за своим директором перешли на заранее подготовленные позиции – в другой Центр, оформ-

ленный на иной юридической основе и получивший имя его создателя и лидера. Ибо имя Юрия Левады ассоциируется в сознании российских и зарубежных ученых с высоким уровнем социальных исследований, с объективностью, профессиональной честностью и независимостью от чьих бы то ни было влияний.

04.07.2009

Е. Добрынина

ОН ИЗ ТЕХ УЧЕНЫХ И МЫСЛИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЛЕЯДОЙ…

Грушин, Левада, Мамардашвили и несколько других, столь же ярких имен. Ученых, чья наука была наукой, потому что умела оставаться честной и не проплаченной.

А самого Леваду, кстати, в 1969 году уволили из МГУ, где он вел курс им же начатых лекций по социологии. Причем удостоился он отдельной записки Московского горкома КПСС за подписью первого секретаря МГК В.В. Гришина об «идейно-теоретических ошибках» его лекций. Ошибками главный московский партийный босс назвал то, что сейчас считается главным достоинством социологии – если, конечно, она настоящая, а не «заказная»: честность, непредвзятость, опора только на собственные данные… «Лекции не базируются на основополагающей теории и методологии марксистско-ленинской социологии – историческом и диалектическом материализме. В них отсутствует классовый, партийный подход к раскрытию явлений советской действительности, не освещается роль классов и классовой борьбы как решающей силы развития общества, не нашли должного отражения существенные аспекты идеологической борьбы, отсутствует критика буржуазных социологических теорий», – значилось в той «аналитической записке». Многие сейчас дорого дали бы, чтоб иметь в своем послужном списке подобный «отрицательный отзыв».

Юрий Александрович никогда не был в числе «записных экспертов». Руководил Центром, писал книги, до последнего держал руку «на пульсе» исследований. Но не жаловал разные семинары и конференции на расплывчатые и конъюнктивные темы («Мне ходить трудно и времени жаль»). Он ничего не забыл тем, кому отказывался «подавать руку». Но был выше того, чтобы с кем-то сводить счеты.

Левада никогда не мельтешил в «политическом поле», не пытался «создать себе имидж». Человеку, имеющему реальный

авторитет, имидж и вправду не очень-то требуется. Правда, в политике Левада вес имел не меньший, чем в науке – к его мнению прислушивались даже те, кто старательно это скрывал.

А в его интервью, даже трижды урезанных и отредактированных в бумажном переложении, все равно всегда слышались его неповторимые интонации – ироничные, спокойные, абсолютно естественные. Он не строил иллюзий, он не обманывался сам и не обманывал других – редкое по нашим-то временам качество.

Открываешь в компьютере тексты давних интервью с Юрием Левадой, и такое впечатление, будто взяты они вчера. Лица меняются, а суть – нет. И вновь эти тексты оказываются «неудобными» для публикации – хотя бы потому, что представляют собой редкостное нынче «прямое зеркало», в котором и власть, и люди, и страна, и эпоха отражаются именно такими, какие они есть, без макияжа, ретуши или фигур умолчания.

Вот, навскидку, фрагмент 4-летней давности интервью Юрия Левады, которое автор этой заметки брала для давно почившего в бозе политического еженедельного журнала:

«…– Кстати. Раньше твердили «лишь бы не было войны». А теперь чего люди боятся больше всего?

– Даже после нынешнего лета народ не очень страшится катастроф. А опасается он роста цен, обесценения зарплаты. Надеется, что власть каким-то образом сумеет этих зверей укротить. Считают, что власть за все в ответе и должна нас вытащить. Все остальные страхи по распространенности – просто мелочевка. Почему-то в этом году довольно распространенными были слухи о дефолте. Но это, скорее всего, просто повторение обычных августовских страхов и телевизионных разговоров. Доллар, евро, рубль, долги, еще чего-то, платить нечем... Власти ищут крайнего. Были сцены, когда несчастную Матвиенко буквально били об стол: как ты допустила!!! Что она-то могла допустить или не допустить, если денег нет… Но телевизору граждане верят, как ничему другому. Газет никто не читает, книги значения не имеют. Теоретики массовой коммуника-

ции давно уже говорят о «вторичной неграмотности»: многие люди воспринимают только образную информацию, а другая до них не доходит.

– А власть чего опасается?

– Насчет людей я ответ знаю точно, а в данном случае могу догадываться. Власть боится потери популярности. Она чрезвычайно внимательно следит за рейтингами. Когда им кажется, что начинаются колебания, я слышу вокруг такие шумы, что не успеваешь отсмеяться. Какая разница – на два процента больше или меньше? Это в пределах ошибки или погодных колебаний. С точки зрения массовой поддержки ничего не случится, даже если потерять десять или двадцать процентов. Но в их глазах это катастрофа. Они создают целую сеть служб, которые должны ласкать их, по шерсти гладить – мол, хорошие, хорошие… Поэтому надо постоянно что-то выдумывать. Проще всего изобрести очередное повышение зарплаты. Люди, которые это заявляют, знают, что по экономическим причинам цены подскочат быстрее. Но впечатления их слова производят.

А еще… Не знаю. По-моему, они друг друга боятся.

Зато массовых народных волнений могут не опасаться. Для этого у наших граждан нет ни аргентинской ярости, ни французской организованности, ни польской «Солидарности»… Как ни крути, а выбор у нас небольшой – любо оказаться на уровне Латинской Америки годов этак пятидесятых, либо (что менее вероятно) в положении южной Европы после краха коммунизма. Опыт развитых европейских стран или азиатских «драконов», увы, не про нас. Легких выходов не будет.

– Как относятся к своим перспективам граждане?

– По признанию самих людей, они умеют показывать выдержку и характер в отчаянном положении. Я бы в этом усомнился. Все-таки я из того поколения, которое видело войну. Даже там была скорее погоняловка, чем сила характера.

Человек как таковой по натуре серый, вялый, несамостоятельный. Но он ко всему старается приспособиться, показывает власти свою лояльность и даже энтузиазм, а на самом деле хочет выжить – и более ничего. В этом секрет долговечности в

России царя, Советов и т.д. Нас не научили действовать иначе. Если говорить об итогах последних 10 лет, то процентов 15 за эти годы выиграли, а большая часть проиграла. Но люди считают, что они «приспособились». Чаще всего – унижаясь, снижая уровень своих запросов и способностей… Но адаптировались, и в этом реальная опора всего, что сейчас в России есть. И спокойствия, и терпения, и благополучных голосований.

– В том числе и в ближайшем политическом сезоне (речь шла о 2003 годе – Е.Д.)?

– Нынешний сезон – это мелкая возня… Влиятельных сил, которые несколько лет назад обозначились было в России, нет ни одной. Сцена пустая, как в финальном акте «Гамлета». Автор не знал, чем закончить пьесу, и решил всех убить.

– В таком случае хочется быть зрителем, а не героем…

– Эти роли взаимосвязаны. Всегда на сцене малая часть людей, а остальные смотрят. Ахают, ужасаются. Только потом замечают, что они тоже заняты в постановке. Иногда не хочется быть зрителем. Но участником спектакля ты окажешься все равно. Такой у нас театр, где нет сцены и зала, а места не нумерованы. Правда, это совсем другая тема.»

Те, кто даже раз или два имел в своей жизни возможность поговорить с Юрием Левадой, наверняка вспоминают его сегодняшним промозглым вечером. Его медлительные фразы и точные формулировки, легкий слог и тяжелую походку, его умение мыслить нестандартно не для того, чтобы казаться «интересным» для публики или высокого начальства – а просто из-за нестандартности мышления.

А на столе в кабинете (по крайней мере, в прежние годы) он держал смеющегося толстопузого Будду. Что бы ни происходило, какие бы тучи вокруг ни сгущались, Будда хохотал, а хозяин кабинета оставался мудрецом, философом и немного скептиком. Чего ему это стоило – отдельный вопрос, ответ на который он обычно оставлял про себя.

По материалам «Российской газеты». 17.XI.2006

А. Левинсон

УРОКИ ЛЕВАДЫ

* * *

Это было в 1966 году. Я тогда заканчивал курс в университете, и мне нужно было где-то пройти практику – так полагалось по учебной программе. Мой отец показал мне статью неизвестного мне человека в журнале «Коммунист», она называлась «Сознание и управление в социальных процессах». Он сказал: «Вот ты социологией интересуешься», а меня действительно тогда этот предмет заинтересовал. «Вот тут, по-моему, что-то интересное про это написано». Я посмотрел: действительно, статья (насколько я мог это оценить), совсем непохожая на все то, что писалось на эту тему. Ее написал некто Левада. Поскольку я искал учреждение и руководителя, где я мог бы проходить практику, я стал искать именно этого человека. Там было написано, что это Отдел конкретных социологических исследований Института философии Академии наук СССР. И я туда отправился – это здание на Волхонке, рядом с музеем им. Пушкина.

Я прошел длинным коридором и стал спрашивать, а где здесь можно найти Юрия Александровича Леваду. Выяснилось, что его ищут еще несколько человек: вот такая кучка людей стояла возле дверей, куда он должен был прийти. В тот момент его не было.

Люди эти были разные. Поводы искать с ним встречи у них тоже были разные: научные, околонаучные. Так получилось, что ни один человек, ожидавший встречи с ним, его не знал. Нас стояло пятеро или шестеро, и мы не знали, как он выглядит.

Это был коридор Института философии, по нему ходили люди, и мы пятеро ждущих, через некоторое время образовали свою группу. У нас сложилось такое мнение, кто может быть Левадой, а кто не может. Вот шел человек – нет, это не Левада. А вот этот – может быть Левада. Мы подходили к нему и зада-

вали вопрос: «Простите, вы не Юрий Александрович Левада?» Было очень интересно наблюдать реакцию людей – сотрудников Института философии. Реакции варьировались от величайшего смущения: «Я Левада? Бог с вами, что вы! Куда мне» и мы понимали, что, наверное, это кто-то другой. «Я Левада? Да вы что!». Я понял, что этот человек в непростых отношениях с целым рядом советских философов.

Но, наконец, появился довольно крупный мужчина. Мы зашли. Предполагалось, что это будет очередь часа три. Привычные к очередям советские люди, мы договаривались, кто за кем занимал и так далее. Но оказалось, что он дал всем свои ответы в кратчайшее время. И люди как-то рассосались. Мне кажется, что я их больше никогда не видел.

А я пришел со своей просьбой, которую я долго-долго формулировал: «Я заканчиваю, мне нужно было бы на практику. Понимаете, у нас…» Ну, в общем, что-то такое длинное собрался объяснять. Все это происходило в комнате, где были нагромождены вещи – готовился переезд. Действительно, как я вскоре узнал, Отдел социальных исследований в эти дни переезжал. Так что, на столах стояли стулья – все было очень неудобно. Я увидел, как Левада отодрал кусок бумаги от наполовину исписанного листа. Я ему говорю, а он бумажкой занимается, пишет. Я еще не договорил фразу, а он мне сунул этот уголок бумаги, на котором что-то было написано, и сказал: «Идите в ту комнату, там сидит Эмма – замечательная девушка. Она вам напечатает». Я говорю: «Понимаете, вот я хочу просить вас, чтобы вы на практику…» Он говорит: «Вот идите». И я поперся в соседнюю комнату. Не выразившая никакого удивления машинистка, что ей принесли такой клочок бумаги, очень приветливо мне улыбнулась. Через минуту было напечатано что-то. Она сказала: «Ну, идите». Я говорю: «Куда?» – «К Юрию Александровичу».

Я ничего не понимал. Через минуту выяснилось, что подписана бумага и с этого момента определилась моя судьба. Там был написан проект приказа о зачислении меня на практику. То есть официальная бумага, которая утверждала мой статус.

И какой бы ни был у меня статус на протяжении последующих лет – я был сначала научно-техническим сотрудником, потом аспирантом (моим руководителем был утвержден Юрий Левада), потом младшим научным сотрудником, еще кем-то. Потом оборвалась моя карьера в этом заведении. Потом никаких официальных отношений между нами не было, но на протяжении нескольких лет мы оставались членами некоторого научного сообщества. А потом возобновились отношения, в том числе формальные, в организации, которая называлась «Всесоюзный центр изучения общественного мнения» – ВЦИОМ, в 1988 году. И с тех пор и до последнего дня мы состояли в этом научном коллективе, в формальных отношениях.

Внутренне ничто никогда не менялось. Я не могу считать себя учеником Левады, хотя я непрерывно у него, как я теперь вижу, учился. Учился до последнего дня. Потому что Левада не создал того, что можно назвать «школой». Есть несколько человек, которые выросли, безусловно, под его влиянием и благодаря ему. Из них я назову Льва Дмитриевича Гудкова, который после смерти Левады занял его место, стал директором «Левада-Центра». Левада был социолог номер один. Теперь, безусловно, Гудков заслуживает называться «социологом номер один» в нашей стране. Не по должности, а по реальному потенциалу.

Так вот, люди, которые выросли при нем, есть, но никто не является его учеником в том смысле, что развивают его научное направление в социологии. Потому что Левада создал нечто гораздо более сложное, чем социологическая школа, как например, у Адорно, у Хорхаймера, каких-нибудь других американских, немецких, французских социологов. Вот у них известно: школа, ученики, последователи, оппоненты и так далее. В случае нашей страны все было совсем не так, а гораздо сложнее. И определялось отчасти тем, какова ситуация, а отчасти тем, каковы участники этой ситуации, прежде всего сам Юрий Александрович Левада.

Юрий Левада родился в 1930 году в Виннице. Там же окончил школу. По этой причине у него до самого последнего вре-

мени были украинизмы в речи, очень симпатичные. Он приехал в Москву и поступил на философский факультет Московского государственного университета. Он поступил на второй год после войны и окончил его в 1952 году.

После окончания университета, он некоторое время работал редактором одного из издательств и занимался страной, которая и сейчас кажется очень важным примером развития, параллельно тому, которым идет наша страна – это Китай.

Он выучил китайский язык, поехал в Китай. Прожил там около года. На материале, собранном там, написал свою кандидатскую диссертацию, которая называлась «Формы народной демократии в Китае». Читать это название надо так: «Другие формы народной демократии», то есть не те, которые были у нас, в СССР. После завершения этой темы он переключился на другую. Задолго до того, как советское общество повернулось лицом к религии, Левада решил, что надо заняться вопросом религиозности и религии. И написал работу, которая называется «Социальная природа религии». Эта книга, которую он выпустил в 1960-е годы, скажу сразу, была защищена как докторская диссертация. Он, в итоге, стал самым молодым доктором философии в СССР – в 35 лет.

Левада был человек, не очень приятный для начальства. Его, в общем, на протяжение почти всей его карьеры, власти не любили. Он был диссидентом. Или почти диссидентом. Я хочу сказать, не бросая тень на тех, кто считал себя диссидентами, что Левада никогда себя не причислял к этой категории. Не потому, что они были ему чужды. Во-первых, он не считал себя в праве. А во-вторых, он никогда не подвергался политическим преследованиям в буквальном смысле слова. Он политически себя числил на месте, которому нет названия. Он не состоял в оппозиции, не был специальным критиком власти и так далее.

Что было главное? Он понимал, что его отличает от всех прочих, он понимал природу той ситуации, в которой находимся мы все. И чувствовал свою ответственность не только за свои конкретные дела, но и за то, что вообще мир устроен так. Это очень важно. Ответственность – это не значит вина.

В 60-х годах наступила политическая эпоха, которая стала называться «оттепель». Тогда на какое-то время было снято табу, или запрет, на занятия социологией. «Оттепель» – ослабление политической цензуры, политического контроля – позволила эту науку частично разрешить, рассекретить, реабилитировать. Рассекретить, в частности, значит сделать литературу по социологии доступной в библиотеках всем читателям, а не только тем, у кого есть допуск в так называемый Спецхран. Разрешить социологию совсем в открытую не получалось. Но получили разрешение на существование так называемые конкретные социальные исследования.

В отделе Конкретных социальных исследований был создан сектор теории и методологии. Его возглавил молодой доктор наук Юрий Левада. Довольно скоро этот Отдел конкретных социальных исследований был преобразован в Институт конкретных социальных исследований – ИКСИ Академии наук СССР. Соответственно, там был отдел, в котором Левада был заведующим. Кстати сказать, там была партийная организация, и Левада был избран секретарем партийной организации. Может быть, для вас сейчас это кажется странным. Для меня – абсолютно нет. Это было признание его лидерской роли. Признание со стороны коллег. Других форм для этого признания на тот момент не существовало. Если была какая-то демократия, то, как ни смешно, она была именно в рядах партийных. Формально. Там были собрания, там можно было проголосовать. Конечно, этим там руководили, контролировали райком, то, се. Но, учитывая, что это были последние годы «оттепели», это можно было считать свободным волеизъявлением.

Через много-много лет Левада был избран директором ВЦИОМ. Избрание его тогда секретарем парторганизации и потом директором – это абсолютно одинаковые действия. Это результат демократии в пределах одного коллектива. Это говорит о том, какова природа тех полномочий, которые у Левады оказывались в руках. Они были, по сути, ему вручены людьми, которые рядом с ним находились. По-другому – это был авторитет.

Далее, Левада был приглашен в Московский государственный университет на факультет журналистики читать лекции по социологии. Это был, наверное, 1969-1970 учебный год. Перерыв с 1920 по 1970 год – 50 лет не было лекций. Леваде выпала честь возобновить их чтение. Эти лекции были своеобразным научным продуктом. Левада не излагал социологическую теорию как таковую, хотя и это было. Они были организованны по сетке понятий – нормы, ценности, взаимодействия, социальные действия и так далее по основным категориям социологии. Но каждый раз это был разговор о том, как мы живем, и что происходит вокруг нас. Это то, что сейчас считается нормальным взглядом на вещи. Нормальным. Просто сними очки и смотри. Это было ошеломляющим для аудитории. Когда на дворе наступил 1971 год: уже было подавлено восстание в Праге, и началась совершенно другая тенденция в развитии внутренней политической жизни в России, в СССР. Вместо «оттепели» стали наступать «заморозки».

Один из деятелей московской городской парторганизации решил сделать карьеру. А как это можно сделать? Два подвига ему надо было совершить: закрыть театр Марка Розовского и запретить чтение лекций Юрию Леваде. Обе цели этот человек достиг. Я не помню, куда он дальше делся по своей партийной лестнице. Кажется, он где-то все-таки споткнулся и чего хотел, того не достиг.

Важно, что, придравшись к идеологическим ошибкам, которые были совершены при чтении этих лекций, закрыли Институт конкретных социальных исследований. Точнее сказать, не закрыли, а подвергли жесточайшей чистке. Решением партийных органов, которые никому не отчитывались и действовали поперек любых ведомственных инструкций, Левада был удален из одного института Академии наук и помещен в другой. Более сильных политических репрессий против него предпринято не было. Это существенно.

В институте начала работать комиссия, которая задавала человеку два-три вопроса на лояльность: ты хочешь с нами работать или хочешь с ними? Если человек говорил, что хочет с

этими людьми, здесь, то этому человеку говорилось: «Так, или ты пишешь заявление об уходе сейчас и спокойно уходишь, или получаешь запись в трудовой книжке о несоответствии занимаемой должности. В общем, это волчий билет». После этого с такой трудовой книжкой на работу устроиться нельзя. Понятно, что люди выбирали заявление об уходе по собственному желанию. 80% сотрудников этого института были уволены.

Когда было предложено штату ВЦИОМ – Всероссийского центра изучения общественного мнения – выбирать: или уходить с Левадой, или оставаться (я говорю уже о событиях 2003 года), тогда практически 100% штата – 81 человек из 82 – выбрали уйти с Левадой. Вот такая историческая рифма.

Несколько лет публичные семинары не шли. Были совсем узкие, для своих, получившие, с одной стороны, острый политический характер. Или, наоборот, очень глубоко научные, которые не предполагали участие неквалифицированной публики, они продолжали работать. В этом смысле научная нить не рвалась. Это длилось вплоть до 1998 года.

Насколько я знаю, в истории социологии столь долго живущего научного предприятия, не имевшего официальной формы, я не знаю. Есть социологические школы, достаточно долго живущие. Школа того же Мосса, Дюркгейма во Франции. Но это кафедры в университетах. Там, где аспиранты, профессора, где выращивают новых профессоров, и где поддерживается научная традиция. Здесь же все не имело никакой организационной формы, кроме того, что люди собирались с людьми.

В 1987 году был создан Всесоюзный центр изучения общественного мнения. Его создали Борис Грушин и Татьяна Заславская. Слава им за это. Через год они пригласили Леваду. Левада сказал, что только с ребятами. Ребята – это были мы. Мы тогда еще были в каком-то смысле ребята. Этот костяк, можно сказать, отдела из Института конкретных социальных исследований конца шестидесятых, в конце восьмидесятых переместился в новый Центр.

В новом Центре Левада занялся совершенно другим делом,

которым по форме он не занимался до этого совсем. Центр предоставлял уникальную возможность для проведения именно всесоюзных, а в последствии и всероссийских исследований. Вот тут появилась возможность говорить от имени всего общества. Собственно, в этом и состоит функция такого рода учреждений, проводящих опросы.

Накануне выборов, которые должны были обеспечить Путину второй срок или не обеспечить, люди, которых я не могу назвать по имени, – я их никогда не видел, не знаю, не могу доказать их существования, но, кажется, что они есть. В общем, стали объяснять Путину, что, на самом деле, у него популярности в народе нет. Что они провели некоторые исследования, не такие, которые проводит Левада, а настоящие, которые провели специально подготовленные для этого службы. И они показали, что 15% – дай Бог, а остальные ненавидят. Это значит, что для того, чтобы сохранить президентство, идти путем выборов нельзя. Надо идти другим путем. Каким?

Было собрано совещание глав социологических агентств, которые на тот момент существовали. Левада присутствовал на нем. Оно было в Администрации Президента, где были эти соображения доложены. Повисла зловещая тишина. Руководители таких агентств, как наше, как ВЦИОМ, они думали, что, может, действительно, как-то так получается, что эти люди лучше знают. Уж не знаю, что они там думали. Я знаю только, что Левада был тот человек, который сказал: «Нет. У Путина действительно рейтинг 60%. Это действительно так. То, что сейчас говорится, это неверно. Это намеренная ложь». И он обломал линию построения и развития отечественной политической истории, можно сказать.

Каждый из нас может подумать, от чего он уберег наше общество в целом. Не нашу организацию ВЦИОМ, и даже не судьбу отдельного президента, отдельного политического деятеля, а общество в целом.

После Юрий Александрович создал и возглавил Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр».

* * *

Мои отношения с Левадой продолжались сорок лет. Это две трети моей жизни и более чем половина – его. мне и еще нескольким людям, собравшимся вокруг него в конце 1960-х и не расставававшимся затем уж никогда, очень трудно описать его роль для нас. Он был для меня три года научным руководителем, около десяти лет – заведующим сектором или отделом, потом директором. Но разве можно этим объяснить, кем он был для меня, кого для меня не стало? Тем более, что научно он мной не руководил, сектором он не «заведовал», и в директорах он директором не был. Это знают все, кто с ним работал.

Мы встретили вместе сорок новых годов, мы много сидели за одним столом, но он не был мне приятелем, ни другом.

Есть несколько статей, где мы числимся соавторами, но в одной все написано в конце концов мной, а в других, главных – все написано им. (Это было так: В.М. Долгий, Ю.А. Левада и я собирались, обсуждали, составляли принесенные кусочки, потом Левада забирал их для редактирования. Через несколько дней он приносил совершенно новый текст, в котором и проблема, и ее обсуждение оказывались на новом, гораздо более высоком теоретическом уровне, его уровне. «Соавторы» пытались снять свои фамилии, он жестко отказывал.).

Он был для меня старшим, но никогда не брал роль отца, как не брал роли учителя. Я не знаю, чему я у него выучился, но знаю, чему надо было учиться.

Во-первых, умению отличать главное от неглавного. Видя множество людей рядом с ним, я понимал, что его выделяет среди них не столько ум, интеллект как таковой, сколько понимание, к чему и с какого угла этот ум прикладывать. Он был очень наблюдательным, внимательным к нюансам, но занимался только важным, будь то в науке, в политике или в человеческих отношениях. В должности руководителя центра он игнорировал большинство дел, которыми начальники считают себя обязанными заниматься (планы, дисциплина, финансы…). Он никогда не говорил высоких слов, но оказывалось, что самим фактом своего присутствия он задавал коллективу руководи-

мых им людей высокую цель и мотивацию, внушал гордость и ответственность, обеспечивал своему центру авторитет и защиту.

В собственной жизни он освобождал себя от забот и мыслей по поводу пустяков. А пустяками могли быть вещи, которым иные люди придают большое или огромное значение. Примеры здесь очень разные. Он не обращал внимания на одежду или интерьер своего кабинета. Он последовательно игнорировал все публичные мероприятия ритуального характера в политической ли, в научной или общественной сфере, кроме тех ритуалов, которым сам придавал значение. Он игнорировал свои недомогания и болезни, покуда сохранялась возможность работать. Он, наконец, выяснил свои отношения со смертью, и перестал считать ее чем-то важным.

Во-вторых, у Левады надо было учиться ясности в различии добра и зла. Вообще, и в людях – в частности. Куда как не простой по своему душевному устройству, внимательный, повторю, к тонкостям в отношениях, он ясно видел в ином человеке зло, и называл его злом, когда многие кругом, я в том числе, боялись себе в этом признаться, искали оправданий или ждали еще каких-нибудь подтверждений. И точно так же он различал добро в человеке сквозь наветы и недоверие окружающих. Были порочащие слухи об общем знакомом, которым верили все, кроме Левады. И потом оказывалось, что верили – клевете. А Левада не верил не потому, что был лучше «информирован», а потому что не верил диалектике превращения добра в зло или наоборот, как не понимал относительности в применении этим категориям.

Так он относился и к людям близкого окружения, и к публичным персонам, политикам, общественным деятелям.

В-третьих, надо было учиться отваге. Тем, кто его не знал, трудно представить, что этому человеку, не спортивному и не военному, была присуща огромная жизненная сила и огромная отвага как ее проявление. Тем, кто не знал его истории, трудно предположить, что ему, проведшему большую часть жизни в занятиях социологией, эта отвага требовалась не раз и не два. В

1970-72 году Левада читал курс лекций по социологии на факультете журналистики МГУ. В этих лекциях он не скрывал от слушателей своих оценок в отношении главных процессов, происходивших в советском обществе, в частности своего отношения к еще совсем недавнему на тот момент подавлению «Пражской весны». (Надо напомнить, что все публичные выражения протеста или несогласия с этой акцией неукоснительно карались). Левада был вызван на обсуждение этих лекций в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Тем, кто на обсуждении объявил эти лекции идеологически вредными, мешал и сам Левада и нарождавшаяся (или возрождавшаяся) в значительной степени при его участии отечественная социология. Мешали всерьез, так как мешали вести страну в угодном им направлении. Левада тогда впервые оказался серьезным препятствием на пути осуществления серьезных интересов. Второй раз такая ситуация воспроизвелась через тридцать лет. Он опять мешал тем, кто хотел собственными руками без помех со стороны общественности гарантировать сохранение действующим президентом его полномочий на второй срок. При этом одни, непорядочные, но наивные, боялись, что Левада «уронит рейтинг», другие, такие же, но совсем не наивные, справедливо опасались, что он не даст это сделать. (Я писал об этом в НЗ в заметке «Судьба ВЦИОМа).

В первом случае Леваду лишили профессорского звания, запретили читать лекции, запретили публиковаться, институт, где он работал (ИКСИ АН СССР) разогнали, назначив процедуру «проверки». Во втором его лишили директорского поста, возглавляемый им центр разогнали, назначив процедуру «приватизации». Ни в том ни в другом случае Левада не сломался. И речь не только о том, что он не побоялся серьезных организаций, которым он мешал в их серьезных намерениях, и как частный человек выдержал давление с их стороны. Важнее, что он выдержал это давление как человек общественный: оба раза он сохранил вокруг себя людей, которые уважали его и те цели, идеалы, которым он посвятил себя. Костяк расформированного в 1972 отдела теории, который он возглавлял, ушел вместе с

ним, весь, не прерывая связи, дождался 1988 года и вошел во ВЦИОМ. А весь состав ВЦИОМа в свою очередь ушел за ним в новую организацию, которая теперь носит имя Левада-Центр.

В-четвертых, у Левады надо было учиться любви. Понять, что «Леваду любят» могли многие. Понять, что Левада на свой лад любит «своих», тоже могли. Но вот понять, что в его присутствии люди, находящиеся рядом с ним, начинают любить друг друга, это могли далеко не все. Между тем, это было так не только в маленьком секторе, наполненном в основном молодежью и возглавляемым довольно молодым Левадой. Это было и есть так в гораздо более многочисленном и разновозрастном коллективе, которым руководил Левада в свои 65-75 лет.

Очень простыми и почти невидимыми средствами Левада создавал вокруг себя эту атмосферу любви. Он сам выказывал любовь всем, и тем, с кем был давно, и тем, кто не успел, по их собственным чувствам, ее заслужить. Каждый получал этот аванс или кредит. И начинал, независимо от того, какого сам был душевного склада и каких душевных качеств, помаленьку светиться этой любовью – не только к Леваде, но и к остальным вокруг.

Люди, охваченные этим сиянием, поворачивались друг к другу своими лучшими сторонами. Дурное, что было и есть в каждом, этой атмосферой явно подавлялось. Возможно, это был его способ руководить, обеспечивать течение производственного процесса.

В-пятых, у Левады надо было учиться страстности. Он был страстен, и потому силен и потому пристрастен. Его человеческие привязанности, например к Н. Коржавину, Д. Самойлову, А. Сахарову, к людям, без громких имен, были горячи и глубоки. Он был верен, тем, кого взял в свои, до пристрастности. Он не был конфликтным человеком и не был склонен рвать отношения. Он скорее прощал. Он в качестве начальника за много лет выгнал не более троих работников.

Он не любил, когда из коллектива уходят. Нормальное для современной офисной культуры «продвижение» человека он не мог принимать беспристрастно. Но мог принять возвращаю-

щихся (таких был не один человек).

Чего он не умел прощать, это предательства.

В-шестых, у Левады надо было учиться работать. Людей, работающих много, всякий видел. Левада тоже много работал, но дело не в этом. Он работал всегда. Он не переставал работать в периоды, когда на него давили. Он не переставал работать, когда судьба лишала его самых близких. Он не переставал работать в болезнях. Он не был трудоголиком, и не убегал в работу от жизни. Работа была условием жизни. И условием смерти. Все знают, что он встретил кончину за своим рабочим столом, и не я один думаю, что он сам продиктовал смерти эти условия.

Kurskcity.ru

Л. Седов

ОБЛАСТЬ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ…

Левада принадлежал к тому типу людей, одна встреча и знакомство с которыми может на сто восемьдесят градусов развернуть вашу жизнь, наполнить ее новым содержанием и смыслом. Именно так произошло в моем случае.

Дело было в середине шестидесятых. Я учился тогда в аспирантуре института Востоковедения АН СССР и усердно работал над диссертацией по средневековью Юго-Восточной Азии. В один действительно прекрасный день коллега-аспирантка, выпускница философского факультета МГУ Ильфа Кутасова предложила мне посетить вместе с ней семинар Щедровицкого. Мы пошли и, как оказалось, в тот вечер на семинаре выступал с докладом Ю. Левада. Помню огромное впечатление от услышанного и увиденного (молодой красивый докладчик рисовал на доске в аудитории МГУ интересные схемы) и с каждой минутой мне становилось ясно, что я погружаюсь в ту область, где можно искать ответы на вопросы, которые не решались в рамках обязательной догматической марксистской теории. Речь шла о роли культуры как высшего в социальном устройстве регулирующего механизма. Впервые тогда я услышал о таких подходах, как структурный функционализм. В первый раз для меня прозвучало имя Парсонса (о Максе Вебере я что-то краем уха слышал и до того).

Услышанное в тот вечер пало на взрыхленную почву. Мои занятия историей восточных обществ уже давно породили сомнения в адекватности марксистской теории формаций и экономического детерминизма для объяснения специфики неевропейских обществ. Бросающиеся в глаза различия между обществами и цивилизациями не поддавались объяснению с позиций экономических условий, отношений собственности, производительных сил, а, напротив, выяснялось, что сами экономические структуры зависят и возникают из различных ценностных систем. Именно это радикально смелое для того времени

суждение я разглядел в докладе Левады.

До этого ученые-востоковеды стремились преодолеть неадекватность марксистских построений в рамках самого марксизма, ухватившись за встречающееся у классиков понятие «азиатский способ производства». Я был активным участником развернувшейся вокруг этой темы дискуссии и, пожалуй, дальше других дискутантов, видевших в АСП просто еще одну формацию, ушел от традиционных представлений, предложив понимать АСП как особый, отличный от европейского путь развития со своими собственными формациями внутри. История человечества представлялась в этой модели как некое подобие биологической эволюции с ее бифуркацией на две большие ветви позвоночных и беспозвоночных, а в истории человечества на европейский (западный) и азиатский пути.

Доклад Левады решительно натолкнул меня на необходимость ликвидировать собственную теоретическую отсталость и осваивать новейшие достижения зарубежной социальной теории. Продолжая готовиться к защите, я стал усиленно искать в библиотеках и штудировать труды зарубежных социологов и особенно упомянутого Левадой Парсонса.

В 1964 году я защитил диссертацию, а в 1966 году узнал о том, что в институте философии создан отдел социологических исследований, в котором сектор теории и методологии возглавил Левада. С этого момента попасть на работу в этот сектор стало у меня навязчивой идеей. На помощь мне пришел наш общий с Левадой друг, его однокурсник, а мой коллега по институту Востоковедения и сосед по кооперативному дому на Малой Филевской Саша Пятигорский. Он уже лично познакомил меня с Левадой, и тот с интересом отнесся к моим соображениям по части истории и к тому, что я успел вычитать в западных публикациях. В результате договорились о моем переходе в институт философии, а перед этим об участии в семинарах, проходивших еще в подвале на Писцовой улице.

Дальше события развивались со стремительной быстротой. Летом 1967 года я был призван на военные сборы на Кавказ, в ныне знаменитые места возле Джавы и Гори и Роккского тун-

неля. Считая уже решенным вопрос о переходе в коллектив Левады, в армейской палатке я осваивал захваченный с собой сборник переведенных на английский работ Макса Вебера. По возвращении в Москву я застал семинар уже на Волхонке, где и сделал небольшой доклад, точно сейчас не помню о чем, но кажется что-то о социальной антропологии.

Осенью по представлению Левады я был зачислен в институт философии. В это время как раз разворачивались события пражской весны, и навсегда в моей памяти запечатлелись обсуждения происходящего и то, как Левада приносит из спецхрана «белый ТАСС» и мы взахлеб читаем выступления Дубчека, Смрковского, Вацулика и других деятелей весны.

Мирное существование сектора и семинара продолжалось недолго. За несколько месяцев до возникновения скандала с моим «подписанством», мне удалось вписаться в ту удивительную атмосферу не просто творческих, но и дружеских человеческих отношений, которые неизменно складывались вокруг Левады. На краткое время местом дружеских сборищ стала моя квартира, на дверях которой однажды было повешено шутливое объявление: «Здесь вы увидите Леваду, Седова и Голова» (Ни того, ни другого, ни третьего вы сегодня не увидите в «Центре Юрия Левады», но это уже другая, грустная тема.)

В центре же внимания семинара Левады была теория социального действия Толкотта Парсонса, мне довелось вместе с другими участниками семинара разбираться в сложных построениях этого выдающегося теоретика, делать и редактировать переводы его сочинений, писать о нем статьи в энциклопедии и справочники и даже синхронно переводить его лекцию в левадовском семинаре во время приезда ученого в Москву.

«Подписанская» эпопея завершилась для меня тем, что Левада отстоял мое дальнейшее пребывание в институте и переход в 1968 году в его отдел в ИКСИ. Следствием же моего «политического проступка» на долгие годы стали трудности с публикациями, не говоря уж о возможности даже ставить вопрос о защите докторской.

Подобно тому, как в скандальную ситуацию из-за меня по-

пал семинар, в эпицентре скандала, но уже по причине самого Левады, оказался отдел Левады в ИКСИ да и весь институт, вскоре подвергшийся разгрому пресловутым «бульдозером» Руткевичем. Я без содрогания не могу вспомнить учиненный в Академии общественных наук разбор «антимарксистских» и «антисоветских» лекций по социологии, почитанных Левадой на факультете журналистики МГУ и опубликованных в ИКСИ в 1969 году. «Дело Левады» сделало его имя символом свободомыслия в науке об обществе.

Наш же кружок еще теснее сплотился вокруг своего лидера в стремлении, если не защитить его (таких сил у нас тогда не было), то окружить его всемерным сочувствием и вниманием. Как раз в это время Леваде исполнялось сорок лет, и мы сделали все возможное, чтобы отметить это как можно радостнее и веселее. Долго искали подарок, и в итоге купили с моей подачи очень модерновую картину сюр маслом. И еще помню свой стишок:

Сказало раз исчадье ада:
«Такой Левада нам не надо»,
Но, как написано в Коране:
«Не въехать в рай на Глезермане»

(«Философ» Глезерман проявил себя как самый активный разоблачитель Левады).

К слову сказать, совершенно другие стихи сложились у меня в День рождения Левады в 1993 году:

Денньрождественский романс

Плывет в тоске необъяснимой,
Среди кирпичного надсада,
Теперь уж больше не гонимый
Юр. Александрович Левада,
Теперь уж больше не гонимый,
На Будду мудрого похожий,
В кругу соратников любимых
Масонской ложи.

Но это будет после.

А тогда наш коллектив в ИКСИ был разогнан, семинар продолжался в виде заседаний в различных помещениях разных организаций, а то и на квартирах. Мне в ту пору довелось надолго устроиться на работу в издательство «Советская Энциклопедия», и для меня огромным счастьем были регулярные звонки Левады мне на работу и наши встречи в обеденный перерыв, чаще всего в шашлычной на Мясницкой. Делились новостями, политическими, самиздатскими, сведениями о наших уехавших в эмиграцию соратниках – Зильбермане, Пятигорском.

Пришедшая к Леваде заслуженная слава свободолюбивого мыслителя привела к следующему совместному для меня с ним эпизоду. В самом начале перестройки не кто-нибудь, а журнал «Коммунист» заказал Леваде статью о бюрократии, и Левада сначала предложил поучаствовать в написании Гудкову, Левинсону и мне, поскольку в домашних семинарах тема нами обсуждалась, а потом, чтобы не тянуть время, написал статью сам, один, а наши имена поставил рядом со своим из щедрости душевной. Статья была сенсационной, наделала много шума, укрепила авторитет Левады как ведущего социолога и безусловно сыграла свою роль в том, что именно ему было предложено возглавить ВЦИОМ. Мне же в самом начале работы во ВЦИОМе, куда Левада сразу же позвал с собой все тех же «соавторов» Левада предложил все-таки расширить статью соответствующими разделами, написанными каждым из соавторов, и, собрав вместе, отредактировать. Получилось большое сочинение, опубликованное в четырех подряд номерах журнала «Мировая экономика и политика». С сожалением должен заметить, что это задание помешало мне тогда сразу полноценно включиться в работу в совершенно новой для меня области изучения общественного мнения.

Впрочем, начало работы во ВЦИОМе начиналась лучезарно, Ничто еще не предвещало ни тех новых гонений, которые ждали Центр впереди, ни того распада человеческих связей, который произошел в коллективе после ухода Левады из жиз-

ни. Напротив, с первых же дней опросы общественного мнения воспринимались людьми, жаждущим высказаться, подобно пустынникам, алчущим глотка воды. Достаточно вспомнить сотни тысяч заполненных анкет и писем, полученных опубликовавшей нашу анкету «Литературной газетой». Не меньший интерес к нашей работе был проявлен за границей. Последовали приглашения на конференции и круглые столы за рубеж, и для большинства сотрудников это было открытием мира.

Мне с Левадой посчастливилось уже в 1989 году проехаться с выступлениями по Англии (Кембридж, Бирмингем). А дело было так, Еще в советский период у меня сложились знакомства и дружбы с несколькими английскими специалистами по русской и советской истории. Однажды, еще работая в Энциклопедии, я получил приглашение в Кембридж от профессора Джона Барбера и наивно попробовал дать ему ход. Ответ пришел из ОВИРа: «Вам отказано без объяснения причин». Я попробовал брыкаться, написал куда-то, что такой ответ рождает «чувство гражданской неполноценности» и прочие благоглупости в стиле тогдашнего диссидентства. Левада хорошо знал эту историю, и вот теперь, с наступлением новых времен, сказал мне: «Леня, а что если написать твоему Барберу, чтобы он организовал нам поездку с лекциями. Затея удалась на славу. Трудно забыть переполненные студентами и преподавателями аудитории, профессорские ужины с последующими кофе и сигарой. Нас принимали и в частных домах моих друзей. А однажды в небольшом английском городке к нам за столик попросился хозяин ресторана, чтобы вблизи посмотреть на русских, которых никогда раньше не видел. Для Левады, как и для меня, не избалованных зарубежными поездками, все это было похоже на сон. И меня поражала неутомимость Левады, который мог, скажем, встать раньше меня утром и отправиться в одиночку бродить по соседним с домом уличкам Бирмингема…

В день семидесятилетия

Три четверти века прожить не шутка
В эту эпоху, в этой стране.
И прожить не абы как, в том-то и штука,
Что прожиты годы достойно вполне.
Достойно, честно и плодотворно
На радость многим, кому-то на зависть –
Тем особенно, кто жил проворно,
А свершения так и не удавались.
Ты же, вопреки всеобщей в мозгах разрухе,
Подлостям властей и другим невзгодам,
Совершил подлинный подвиг духа
В прожитые тобой нелегкие годы.

Л. Седов
24.04.2005

С. Макаров

МОЙ ЛЕВАДА

В моей жизни, не считая отца, было всего два человека, являвшихся для меня абсолютными моральными авторитетами. Первому из них, видному отечественному историку-архивисту Владимиру Николаевичу Автократову, я обязан выбором профессии. Второму – Юрию Александровичу Леваде – самой возможностью тринадцать лет работать под его руководством, общаться, даже просто быть рядом. Об огромном вкладе Левады в развитие теоретической социологии, научных заслугах автора первого в СССР курса лекций по этому предмету и директора самой авторитетной социологической службы России «Левада-Центр» сказано и опубликовано, в том числе и в данной книге, уже немало материалов. Мне хотелось бы поделиться некоторыми воспоминаниями о личных встречах и беседах с ним, которые, как представляется, могут добавить какие-то дополнительные штрихи к изучению его биографии, пониманию его человеческой натуры.

Я знал Юрия Александровича с весны 1993 г. За это время было, естественно, множество встреч. Наиболее продолжительными они были с августа 2003 г. Постараюсь рассказать о самых, на мой взгляд, интересных из них. Прежде мне было известно о Леваде, в основном, по его статьям в «Известиях», «Московских новостях» и «Советской культуре». Первой же из прочитанных была статья «"Похвальное слово" дефициту», в соавторстве с А.Г. Левинсоном в журнале «Горизонт», который выписывал папа. Статья была совершенно нестандартной: глубина и серьезность анализа рассматриваемой проблемы удачно сочетались с вполне доступной манерой изложения. А голос Левады я впервые услышал на «Радио России». Это был прямой эфир, и выпуск программы шел в день провала путча 21 августа 1991 г. Много впечатлений осталось, конечно, от первой встречи. Но сначала – короткое вступление.

Так сложилось, что в ноябре 1992 г. в моей биографии про-

изошел крутой поворот: во ВНИИ «Информэлектро» Минэлектротехприбора СССР, наш отдел был ликвидирован. Продолжительный поиск работы не привел к положительным результатам, и родители стали обращаться к родственникам и знакомым. Вскоре позвонила родственница, когда-то работавшая в знаменитом Секторе изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов» ИКСИ АН СССР, возглавлявшемся Юрием Александровичем: «Я говорила о тебе с Левадой, вроде бы у него во ВЦИОМе требуется сотрудник. Нужно подъехать, он хочет с тобой побеседовать». Не раздумывая, я согласился, и уже на следующий день, 30 мая 1993 г., миновав входную дверь в здании бывшей гостиницы «Славянский базар» с вывесками «Лесная газета» и «ВЦИОМ» по краям парадного входа, я поднимался по роскошной лестнице, попутно обозревая шикарную лепнину потолка и стен просторного холла. Поднявшись на третий этаж, открыл дверь нужной комнаты. Передо мной стоял полноватый седой человек огромного роста. «Левада», – лаконично представился он. «Располагайтесь», – как-то просто и, в то же время, доброжелательно произнес он своим уже знакомым негромким голосом. Внимательно выслушав меня, задал несколько вопросов, в основном, о том, какое у меня образование и чем приходилось заниматься прежде. Стол Юрия Александровича находился у окна, в левом углу средних размеров комнаты. Зная, что Левада – директор, а встреча происходила в каком-то отделе, причем по ряду признаков было видно, что он часто здесь работает (явно имея при этом отдельный кабинет), мысленно я тут же отметил, что это весьма демократичный директор, прежде не приходилось встречать таких (по роду прежней работы встречался с директорами различных отраслевых НИИ). Вскоре Юрий Александрович представил меня сотрудникам этого отдела (то был отдел теории исследований): Л.Д. Гудкову, Б.В. Дубину, А.Г. Левинсону, Н.А. Зоркой, а также Л.А. Седову и А.А. Голову. «Этого человека рекомендовала Галина Ефимовна Беляева», – пояснил он. После окончания беседы мы остановились на том, что имеет смысл поработать первое время по трудовому соглашению,

и что более всего подойдет отдел информации. «Для начала поработайте там, осмотритесь, а дальше видно будет», – сказал Левада.

Около трех месяцев я работал в отделе информации ВЦИОМа, помогая разбирать и систематизировать хранившиеся там многочисленные материалы опросов. Однако вскоре я обратил внимание на только что начавший тогда выходить информационный бюллетень «Мониторинг общественного мнения». Меня очень заинтересовало это издание, и я подумал, что его распространение – та область деятельности, которой можно было бы заняться. Приняв внутреннее решение, сказал об этом Юрию Александровичу. Он полностью согласился с моими доводами и добавил: «К тому же в архиве сейчас нужно будет ускорить работу по созданию компьютерного архива, базы данных наших опросов, это требует большой нагрузки на глаза, а Вам с такой близорукостью это навредит. Попробуйте себя в распространении нашего бюллетеня, дело это нужное».

Должен подчеркнуть, что Юрий Александрович считал издание журнала с данными опросов в виде таблиц очень важным направлением работы Центра. Большое значение придавал он и распространению журнала, а также расширению его читательской аудитории. Левада постоянно интересовался, как идут дела в этом направлении. Я регулярно сообщал ему о новых подписчиках, но отнюдь не всегда моя информация была приятной. Например, когда осенью 2003 г. я только начал работать уже в качестве референта, то прямо и честно сказал Юрию Александровичу, что подписчиков практически не осталось. Не утаил я от него и тот факт, что прежняя зав. отделом вводила его в заблуждение относительно распространяемого количества тиража, и на складе за десять лет скопились многие тысячи журналов. «Может быть, я говорю Вам неприятное, но реальная ситуация такова». Невозмутимо выслушав меня, Левада вздохнул и сказал: «Ну что ж, что было – то было, главное – не повторять такого в дальнейшем». Мною была названа оптимальная цифра тиража, и он полностью согласился с этим. Впоследствии, когда число подписчиков стало медленно, но

стабильно возрастать, узнавая об этом, Юрий Александрович был искренне рад. До сих пор помню его задорную улыбку и фразу: «Значит, есть такое дело!» Никогда не забуду, как ждал он каждый очередной номер «Мониторинга», потом – «Вестника общественного мнения», как загорались его глаза, когда я входил к нему с новым журналом, а рука уже нетерпеливо тянулась: «Журнал принесли? Ну, давайте скорее!» Нужно было видеть, с каким интересом Левада начинал тут же изучать тексты номера, с которыми, как главный редактор, разумеется, уже работал. Он тщательно изучал эти тексты и таблицы (как мне представляется) еще и потому, что в них иногда попадались некоторые опечатки и неточности. Как-то Юрий Александрович попросил меня исправить одну опечатку во всех экземплярах выпускаемого Центром ежегодника, предназначенных для подписчиков, в частности, в варианте ответа на вопрос об уходящем 2004 годе. «Попрошу Вас, вообще если где-то в тексте когда-нибудь увидите любые оплошности, дайте знать», – сказал он. Это был главный редактор, которой всей душой болел за свой журнал и хотел, чтобы «Вестник» был во всех смыслах безупречным изданием.

Меня всегда поражала его фантастическая работоспособность. Почти все время, проходя мимо его кабинета, дверь которого всегда была открыта, я видел Юрия Александровича, набирающего что-то на клавиатуре, или изучающего что-то на экране монитора, либо пишущего какой-то текст на бумаге. Иногда я видел размышляющего Леваду, глубоко погруженного в себя. Работая над составлением его библиографии, занимаясь поиском его опубликованных работ, а затем, увидев перед собой их уже более или менее полный перечень, я был просто потрясен не только его объемом, но и тем, что даже в последние годы жизни, когда разные недуги все чаще одолевали Леваду, количество научных работ Юрия Александровича не только не снижалось, а даже увеличивалось!

За долгие годы работы в Центре я старался не беспокоить его по поводу служебных проблем технического порядка, по личным же вопросам обращался всего три раза. Но Левада все-

гда сам предлагал мне всевозможную помощь, давал различные советы. И никогда не было такого случая, чтобы он что-то забыл или же не выполнил моих просьб. Будучи человеком безграничной душевной доброты, в то же время, особенно в трудных ситуациях, Левада мог быть достаточно твердым, даже жестким. Мне несколько раз приходилось видеть его таким. Вспоминается эпизод из августа 2003 года. Над ВЦИОМом сгущались тучи, уже было известно о предстоящей вскоре «прихватизации» Центра кремлевской администрацией. Юрий Александрович позвонил мне и попросил подъехать (тогда Центр располагался на нескольких территориях). Через полчаса я уже входил к нему в кабинет. Поздоровавшись и попросив присесть, Левада обратился ко мне: «Сергей, я думаю, Вы знаете о том, что происходит с Центром. Точно так же мы теряем и журнал. Нужно попытаться его сохранить, ведь он хорошо известен не только у нас, но и за рубежом. Хочу попросить Вас вот о чем. Скорее всего, через две-три недели так называемый Совет директоров освободит меня от должности. Вероятно, можно попробовать перерегистрировать журнал на меня, как главного редактора, или на нескольких человек. Нужно попытаться это сделать, пока я директор». Последнюю часть этой фразы он повторил несколько раз. «Свяжитесь с тем ведомством, где зарегистрирован журнал и разузнайте все эти моменты. Звоните мне в любое время, в том числе и домой, если возникнут вопросы». В течение следующих двух дней я занимался выяснением всего, о чем просил Левада, а также подготовкой необходимых документов, уточнением данных, нужных для анкеты. В эти дни мы общались регулярно: я звонил ему во ВЦИОМ, вечером – домой, приезжал на короткое время в офис – говорили в кабинете. Бюрократических формальностей тут было множество. Например, нужен был некий код ОКАТО. «А это что за зверь?» – спросил Левада. Я объяснил. «Хорошо, узнаю и скажу». Когда все документы были подготовлены, мы договорились встретиться у входа в Министерство печати РФ. Юрий Александрович приехал точно в условленное время. Но там, как во многих учреждениях Москвы (и не только), была

очередь. Очередь на регистрацию. И хотя я приехал раньше и занял наше место в ней, ждать пришлось очень долго. Он сидел на лавочке в маленьком уютном сквере перед зданием министерства, изучая свежий номер газеты «Коммерсантъ». Выглядел неважно, но вида старался не подавать. И вот, наконец, наша очередь подошла. Мы вошли в одну из комнат, где нужно было сдавать документы. На стене, прямо за спиной у Левады висел плакат с изображением Путина в кимоно дзюдоиста.

В тот день мы не один час провели в Министерстве печати, обошли много кабинетов и коридоров. Когда шли по одному из них, на пути нам встречались сотрудники ведомства, которые узнавали Леваду (возможно, кто-то в молодости слушал его «Лекции по социологии»). Эти люди с уважением здоровались. Кто-то спросил: «Юрий Александрович, что же привело Вас к нам? Мы вообще-то слышали, что у Вас сейчас неприятности, какая-то моська тявкает на Вас, вроде бы?» Надо было видеть реакцию Левады в тот момент. Он был совершенно спокоен, и ни один мускул не дрогнул на его невозмутимом лице. «Да есть немножко», – только и произнес он, и я мог только догадываться, каких же внутренних усилий стоило этому пожилому, тогда уже достаточно нездоровому, пережившему официальную травлю, потерявшему молодого сына человеку, сохранять самообладание, держаться твердо и мужественно в тот очередной неблагоприятный период своей жизни.

В одном из кабинетов нас попросили подождать полчаса. Левада стоял, оперевшись о стену, в не мной одним замеченной позе старого актера, ожидавшего выход на сцену, погрузившись в какие-то мысли. Мне тогда почему-то подумалось, что внутренне он очень одинок. Но вскоре нас пригласили войти, и сотрудница вынула из ящика письменного стола пухлую папку: «Эти бумаги – против Вас. Все – от Федорова. Общий смысл – отменить, приостановить, не допустить. Читать будете?» «Боже упаси!» – ответил Левада, отрицательно покачав головой. Сотрудники Министерства печати посоветовали тогда зарегистрировать журнал заново, придумав другое название, так как «Мониторинг» сохранить все равно не получалось, еще и из-за

установленных длительных сроков рассмотрения поданных документов.

Осенью 2003 г. я был вынужден уйти из ВЦИОМа по личным мотивам, абсолютно не зависящим тогда от его руководства. Но у меня не было ни малейших сомнений в позиции по отношению к сложившейся ситуации: только – за Ю.А. Леваду. Даже заявление об увольнении из уже, понятно, абсолютно чуждого и другого ВЦИОМа я подал вместе с моими коллегами. И, будучи не у дел, приходил в Центр, ставший для меня за долгие годы просто родным. ВЦИОМ-А располагался уже рядом с Пушкинской площадью. Как-то на лестнице я встретил Леваду. «Ну что же, захóдите – уже хорошо!» – улыбнулся он. Через некоторое время мне было предложено вернуться в Центр, и я, без колебаний, согласился. Едва выйдя на работу, зашел к Леваде, он попросил высказать соображения и планы относительно ближайших действия по возвращению прежних подписчиков, что и было сделано. (Не касаясь подробностей, отмечу только, что это была трудная, кропотливая и длительная работа, занявшая, в общей сложности, около двух с половиной лет). Юрий Александрович сказал, что уже принял решение об отправке нового журнала, продолжавшего линию и традиции «Мониторинга общественного мнения» всем, подписавшимся на это прежнее название, вплоть до июля 2004 г. Показал он мне и макет обложки «Вестника общественного мнения». На темно-синем фоне была изображена белого цвета шкала с диаграммой, в верхней части – на белой полосе крупным шрифтом – слово «Вестник», мелким – «общественного мнения». Над названием – придуманный Левадой девиз Центра: «От мнений – к пониманию». «Что скажете?» – спросил Юрий Александрович. «И обложка, и новая эмблема Центра мне очень нравятся, считаю их удачными», – ответил я. Вскоре, по долгу вверенного участка работы занялся подготовкой всех необходимых для регистрации «Вестника» документов. Опять нужно было присутствие Левады в Министерстве печати. И вот – снова знакомый старинный особняк на Малой Никитской. В этот раз все бюрократические формальности были преодолены

достаточно быстро, во многом благодаря доброму содействию М.А. Федотова[1].

Послушать хотя бы одну из знаменитых «Лекций по социологии» мне, увы, не довелось (прежде всего, по причине возраста), но я имел счастливую возможность слушать выступления Левады на различных симпозиумах и конференциях. Он был блестящим оратором, богатый лекторский опыт легко угадывался в его выступлениях. Превосходно владея рассматриваемыми вопросами, Левада практически сразу же овладевал вниманием аудитории. Все выводы Юрия Александровича были отлично аргументированы, не говоря уже о прекрасном русском языке и отсутствии лишних слов. Приходилось не раз наблюдать за ним и на семинарах, проводившихся во ВЦИОМе и «Левада-Центре». Очень внимательно слушая докладчика, он иногда что-то записывал и, как мне казалось, рисовал в своем блокноте. Потом активно задавал вопросы, иногда подавал реплики, которые были всегда нестандартными: чувствовался его живой интерес ко всем обсуждавшимся темам, творческий и конструктивный подход к дискуссии. Часто высказывания Левады (и не только на семинарах) отличались остротой и сарказмом, но при этом всегда приходились к месту, были актуальны, точны и, в то же время, корректны.

Для меня Юрий Александрович остался воплощением «человека свободного». Свобода присутствовала у него везде: во взглядах, в суждениях, в делах повседневных. Нередко я стоял за ним в одной очереди за зарплатой или в столовой, и это не было свойственной иным руководителям игрой в «демократию». Бюрократизм был чужд самой человеческой природе Левады. Когда я заходил к нему с бумагами, требовавшими подписи, даже если он над чем-то очень напряженно работал, либо принимал, по его собственному выражению, «визитеров», то всегда, без исключения, Юрий Александрович, увидев меня в дверях, приглашал войти и запросто подписывал любое коли-

[1] Федотов Михаил Александрович – вице-президент фонда «Индем», секретарь Союза журналистов России, доктор юридических наук.

чество документов.

Левада философски относился к жизни. Внешняя мишура, роскошь, почести, регалии были ему не нужны, не интересовали его. неприятны ему были карьеристы, льстецы, бюрократы, как от власти, так и от науки. Как-то я спросил Юрия Александровича, как он относится к тому, что в журнале «Социологические исследования» публикуются статьи одиозного М. Руткевича, как известно многим, одного из преследователей Левады, фактически поломавшего ему жизнь, разогнавшего левадовский сектор и на 16 лет отлучившего от любимого дела. «Да, есть такой погромщик, ему сейчас уже около 90 лет. Личность малоприятная и совершенно неинтересная».

Левада был деликатным человеком, обладал редким тактом и удивительной скромностью. В последние годы жизни, на различных симпозиумах, в перерывах, явно чувствуя себя неважно, на все предложения сесть в кресло или на диван в холле отвечал вежливым отказом, прося не беспокоиться. Он никогда никого не хотел обременять, по крайней мере, мне так казалось. Леваде была свойственна мягкость характера. Но за этой мягкостью я всегда ощущал мощную внутреннюю силу. Держался он всегда естественно и просто, но с достоинством. Ему был присущ особый, неповторимый шарм, во всем облике, манерах всегда виделось что-то аристократическое. Уже после его кончины из текста последнего интервью я узнал, что по материнской линии Левада – потомок древнего польско-литовского графского рода Сангелло[2]. Юрий Александрович был прекрасно воспитан и, в отличие от многих других руководителей, здоровался абсолютно всегда и абсолютно со всеми своими сотрудниками, невзирая на должности, и никогда не был высокомерен по отношению к ним.

Одно небольшое отступление. Левада любил животных. Когда ВЦИОМ располагался еще на Никольской, по лестнице и коридорам бегал забавный, сообразительный лохматый песик

[2] Когда были события, мы раз за разом обсуждали Польшу: Последнее интервью Юрия Левады / Косинова Т. // Новая Польша. – Варшава, 2007. - № 1 (82). – С. 5.

небольшого размера с глазами-бусинками. Однажды я наблюдал такую картину: присев на корточки, Ю.А. говорил ему: «Ну, что, пся крев?»

Левада запомнился мне и как человек широчайшей эрудиции, не только в своем предмете, а обладавший поистине энциклопедическими познаниями почти во всех гуманитарных науках, а также в художественной литературе и искусстве. Както я спросил его и о любимом писателе. «Нравится Фолкнер, – ответил Ю.А., добавив, – а из поэзии – стихи Пастернака, Бальмонта, очень люблю Коржавина». Когда в мае 2006 года Центр готовился к переезду, Леваде из-за плохого самочувствия было уже сложно разбирать свою служебную библиотеку. Видя это, я предложил ему помощь. «Ежели есть охота, и время позволяет – давайте». Условились так: я доставал с полок буквально каждую книгу, Юрий Александрович смотрел и говорил – либо «оставить», либо «в мусор». В большой крафтовый мешок по его решению отправлялась устаревшая литература, не имевшая прямого отношения к социологии и материалы различных конференций. «Такие брошюры имеют обыкновение очень быстро накапливаться, а со временем – терять актуальность, и везти их на новое место нет никакой надобности, тем более, там у меня такого кабинета уже не будет», – произнес Левада, и в этих словах не было ни малейшего оттенка сожаления. Он рассказал мне подробно о многих книгах, так как на разборку библиотеку ушло несколько дней: поспешность в этом случае не нужна, она вообще не была свойственна Леваде, его стилю работы. В библиотеке имелись внушительные тома Дюркгейма, Вебера, Парсонса в толстых переплетах, с машинописными страницами. «Сами переводили, печатали, переплетали, а за основу брали оригиналы, изданные в Англии, Германии, Франции, Соединенных Штатах, некоторые из них у меня здесь есть. Ведь ничего этого у нас прежде просто не переводилось, не издавалось, Вы же понимаете», – пояснил Юрий Александрович. Когда я снял с полки сборник «Структурно-функциональный анализ в современной социологии», на обложке которого в правом верхнем углу стояли четкие инициа-

лы «Ю Л», он, увидев это издание, произнес: «Откройте, там, на второй странице, среди членов редколлегии найдете не одну знакомую фамилию, есть тут Ваш покорный слуга и Седов, мы его редактировали, Седов еще и автор предисловия». Леваде что-то вспомнилось, на какое-то мгновение он задумался. «Было дело, подготовили много переводов, а выпустить удалось только эти два, третий отпечатали, но тираж был уничтожен, хотя у ребят пара экземпляров где-то есть, удалось из типографии вынести, теперь это – уже раритеты!» «Юрий Александрович, а почему тут «Советского простого человека» нет?» – спросил я. «Ну, дома-то он у меня имеется, а здесь – только на французском», – с улыбкой ответил Левада. На мой вопрос: «А не было ли у Вас мысли переиздать эту книгу?» – он, скептически покачав головой, ответил: «Не вижу смысла переиздавать «Советского простого человека», тому есть несколько причин, главная состоит в том, что этот материал уже отработан, и сейчас мало кому будет интересен – пройденный этап».

Служебная библиотека Ю.А. Левады была внушительной по своему объему, разнообразной и очень интересной по содержанию. Опишу ее кратко. Значительную часть составляли работы классиков социологии, философии, психологии: М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, П. Сорокина, И. Канта, А. Уайтхеда, М. Хайдеггера, К. Ясперса, З. Фрейда, Г. Лебона, К. Леви-Стросса, Б. Франкла, С. Московичи и С.Л. Рубинштейна. Хотелось бы обратить внимание читателей и на присутствие в библиотеке Левады трудов ведущих представителей Франкфуртской школы критической теории: Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермаса, Э. Фромма, Х. Арендт. Назову также книгу известного французского историка и социолога А. Де Токвиля «Демократия в Америке». Присутствовали работы отечественных авторов по истории России и СССР, сборники документов, посвященные различным событиям в отечественной истории советского периода. Отдельный раздел составляли монографии современных европейских и американских социологов, историков, политологов (как по истории России и СССР, так и по всемирной истории), биографии известных политических дея-

телей, изданные на языке авторов – английском, немецком, французском, итальянском, польском. Были и книги современных отечественных социологов, психологов, специалистов по межнациональным отношениям, журналистов. Крупный и самостоятельный комплекс библиотеки – труды отечественной и западной экономической мысли, литература по экономике, демографии, статистике: большинство книг приобретено Юрием Александровичем в период работы в ЦЭМИ и Институте экономических проблем и научно-технического прогресса АН СССР.

Другой эпизод связан с самой страшной, невосполнимой для меня потерей – смертью мамы. Узнав об этом, Левада попросил меня зайти. «Знаю о Вашем горе, Сергей. Искренне сочувствую. Хотел бы узнать, есть ли у Вас связанные с этим сложности, проблемы? Может быть, в чем-то нужна помощь?» Нет необходимости много говорить о том, в каком состоянии я был тогда – меня поймут все, кто хоронил матерей. Шок, осознание того, что остался один в нынешнем жестоком, циничном, равнодушном мире, чувство полной безысходности. Но все, сказанное Юрием Александровичем, прозвучало настолько искренне, с таким неподдельным, человеческим участием, что на душе стало как-то легче, спокойнее, пусть и на короткое время. «А моя не дожила даже до шестидесяти», – сказал Левада, узнав, сколько лет было маме. Мы доверительно беседовали, когда в кабинет стали заходить люди с букетами цветов. Как оказалось, то был день его рождения. Ю.А. поблагодарил всех за поздравления. Разумеется, извинившись, я сказал, что, конечно же, присоединяюсь к вошедшим с поздравлением. Мне запомнились слова Левады: «Вы не обращайте внимания, все это – суета. Давайте лучше о Ваших делах». Он очень помог мне тогда, и практически до последних дней старался по-отечески опекать, в присущей ему доброй и тактичной манере. Например, заботился о моем здоровье и, часто, увидев меня с пачками журналов, говорил: «Сергей, а не много ли Вы несете, Вам же нельзя, с Вашим-то зрением, вредно?!» Неоднократно Левада предлагал мне и помощь в оплате офтальмологической опе-

рации. Но, пожалуй, более всего я дорожу тем, что он доверял мне.

Юрий Александрович говорил: «…Мое дело там, где я есть. И смысл его в том, чтобы сделать для науки, для будущих поколение что-нибудь»[3]. Он любил Россию, как и свою родину – Украину, никогда и никуда не собирался уезжать, и поэтому не только искренне желал, а своими научными работами, неустанным, самоотверженным трудом, в качестве главного аналитика страны всецело способствовал наступлению демократических перемен в ней, изменениям в сознании людей, тому, чтобы все мы стали по-настоящему свободными. Опираясь на данные опросов, серьезно и внимательно изучал современного человека, его психологию, мотивацию поступков, пытался разобраться в ценностных установках нашего общества. Левада считал себя морально ответственным за все, что у нас происходило, был, как бы пафосно это ни звучало, нашей совестью и часто огорчался, переживал, приходя в своих исследованиях и наблюдениях к весьма неутешительным выводам. Он так и остался скептиком в своих взглядах на ситуацию в стране и ее перспективы в будущем, в то же время считая, что работу по изучению результатов опросов общественного мнения надо продолжать.

Сейчас, хотя прошло уже более трех лет, как Юрия Александровича нет с нами, наряду с непреходящим ощущением невосполнимости утраты и какой-то абсолютной пустоты вокруг, меня не покидает и чувство упрека к самому себе в том, что мог бы общаться с ним чаще, о многом еще спросить, быть может, и о чем-то очень важном. В последнее время я перенес достаточно много горя и разных проблем, но образ этого прекрасного, доброго, мудрого человека, память о нем, его научные работы, интервью, комментарии, актуальные и поныне – это то, что, наряду с памятью об ушедших родителях, еще поддерживает меня на этом свете и останется в душе навсегда. Я

[3] Левада Ю.А. «Военную интервенцию как способ присоединения Украины население России не поддержит» / Интервью Пустовойту В. // День: Ежедн. всеукраин. газета. – Киев, 1998, 5 янв. – № 1 (287). – С. 6.

благодарен Всевышнему за то, что в моей жизни, в моей судьбе был этот настоящий и мужественный гражданин России, выдающийся отечественный социолог, мыслитель, аналитик, настоящий интеллигент и просто замечательный, светлый человек Юрий Александрович Левада.

Т. Заславская

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕВАДЕ

Впервые я встретилась с Ю.А. Левадой в 1968 году в качестве слушательницы одной из лекций читавшегося им курса социологии в МГУ. В то время я уже жила и работала в Новосибирском Академгородке и руководила отделом социальных проблем Института экономики и организации промышленного производства. Мой сектор занимался изучением социальных причин и последствий массовой миграции сельского населения в города. По образованию и опыту предыдущей работы я была «социальным экономистом», но для решения этой новой задачи экономические методы явно не подходили. Между тем к тому времени я уже знала не только о существовании и возрождении социологии, но и о ее специфических методах, а также результатах первых исследований. Ведь в Академгородке в то время жили и работали В.Н.Шубкин, В.Э.Шляпентох, В.Д.Патрушев и другие пионеры новой российской социологии. Их рассказы и доклады о результатах исследований представлялись мне очень интересными. Пришлось овладевать новой наукой, но переводы книг и статей западных социологов, которые удавалось доставать, не давали системного представления о социологии и, тем более, не имели отношения к изучаемому нами процессу. Большинство методологических проблем приходилось решать самостоятельно. В 1967 г. наш институт в сотрудничестве с ЦСУ РСФСР провел огромное социолого-статистическое исследование миграции населения из сел в города, охватившее 212 поселений и более 5 тысяч сельских семей, но социологический инструментарий мы разрабатывали, можно сказать, на ощупь, теоретической же социологии просто не знали.

И тут до нас дошел слух, что в Московском университете некий Юрий Левада читает систематический курс социологии, настолько новый и интересный, что слушать его собирается чуть ли не «вся Москва». Понятно, что после этого каждый командируемый в Москву сотрудник отдела стремился побывать

хотя бы на одной лекции Левады и пересказать ее содержание остальным. А в мае 1968 года я и сама смогла это сделать. Правда, очередная лекция Юрия Александровича была посвящена миграции населения, т.е. как раз той проблеме, которую я знала уже достаточно глубоко, поэтому нового я узнала немного. Но личность лектора и аудитория, слушавшая его как пророка, произвели очень сильное впечатление.

Позже мы познакомилась с Ю.А. лично, нередко встречались на конференциях, уважительно относились друг к другу, но область, характер и методы наших исследований были далеки друг от друга. Ю.А. занимался общими теоретико-методологическими проблемами социологии, а наши социологические исследования носили конкретный характер: они были направлены на практическое решение социально-экономических проблем освоения и развития Сибири. Тогда мне и в голову не приходило, что когда-нибудь мы будем работать вместе.

И все же невероятное случилось. По-настоящему познакомилась и начала сотрудничать с Юрием Александровичем я только в конце 80-х годов. В 1987 году ЦК КПСС принял решение о создании первого в стране центра изучения общественного мнения – ВЦИОМ, и мне предложили стать его директором. За год до этого я была избрана президентом Советской социологической ассоциации, исполнение функций которого плохо совмещалось с жизнью в Новосибирске. Поэтому я уже подумывала о возвращении в Москву, но колебалась и определенного плана не имела. Новое предложение показалось мне интересным, и московские социологи, в первую очередь Б.А. Грушин, всячески убеждали меня согласиться. Останавливали нежелание расставаться со своим коллективом и полная некомпетентность в изучении общественного мнения. Но в конце концов Грушин убедил меня, что вместе с ним в качестве первого зам. директора мы сможем перевернуть горы и создать великолепный современный Центр изучения общественного мнения. К этому времени он действительно имел серьезный опыт организации массовых опросов населения и был готов взять организацию ВЦИОМа на себя. Моя же функция как академика

РАН, более-менее близкого к Горбачеву, виделась, прежде всего, в обеспечении научной и политической независимости Центра от государственных и партийных чиновников. На такую роль я согласилась и в начале 1988 года переехала в Москву, заплатив за это инфарктом.

В этих условиях главная работа по созданию и налаживанию работы Центра легла на плечи Б.А. Грушина. Первой из множества вставших перед ним сложных проблем стал подбор квалифицированных социологических кадров, которых в стране было «как кот наплакал». Коллектив Центра формировался медленно, а ВЦСПС требовал от нас результаты опросов. И однажды Грушин спросил меня, не возражаю ли я пригласить во ВЦИОМ Ю.А. Леваду с группой сотрудников. Я была просто поражена: «Леваду?! Но он же теоретик, а у нас пока «ползучая эмпирика»… Разве он согласится?» В ответ Грушин улыбнулся и сказал, что Левада *уже согласился* и даже обрадовался его предложению. Как выяснилось, после долгой теоретической работы у Юрия Александровича возникло желание проверить некоторые свои построения и гипотезы на большом эмпирическом материале. А где еще можно было получить такой материал, если не во ВЦИОМе? К тому же ученики, с которыми он работал годами, были разбросаны по разным организациям и встречались сравнительно редко. А во ВЦИОМе они впервые получали возможность собраться вместе и резко повысить эффективность общей работы. Мы же с Грушиным не без оснований рассчитывали, что мощная группа теоретиков и методологов поможет серьезно поднять уровень научных исследований. В результате Юрий Александрович стал руководителем теоретического отдела ВЦИОМ и одним из заместителей директора.

Вскоре в его отделе начал работать семинар, в котором принимали участие многие московские социологи. Я тоже попробовала в нем участвовать, но быстро поняла, что мы интересуемся разными проблемами, говорим на разных научных языках и не очень понимаем друг друга. Так что «философский» и «экономический» коллективы ВЦИОМ, делая одно де-

ло, в научном плане еще долго жили и работали сравнительно обособленно. При этом первое серьезное социологическое исследование сделавшее ВЦИОМу научное имя («Новый год», 1989), было подготовлено и проведено отделом Ю.А. Левады, и за ним последовали не менее интересные работы.

Через полтора года Б.А. Грушин, неудовлетворенный своей второю ролью, создал собственный центр изучения общественного мнения «Vox populy» и уволился. Для меня это стало полной неожиданностью, потому что он не предъявлял мне никаких претензий, да и свой уход объяснял плохими отношениями с ВЦСПС. Я была в шоке и собиралась честно отказаться от должности, не соответствующей моему научному профилю. Но два оставшихся заместителя – Ю.А. Левада и В.М. Рутгайзер – заверили меня, что «все будет хорошо», что их коллективы крепко стоят на ногах и помогут мне справиться с возникающими проблемами не хуже Грушина, по их наблюдениям, давно уже смотревшего в сторону. Моим первым заместителем без особой охоты, но с пониманием ситуации согласился стать Левада. Кроме того, вскоре его единогласно избрали председателем Совета трудового коллектива, игравшего в то время довольно важную роль. Таким образом, в руководстве Центром Ю.А. занял место Грушина, связанное с решением постоянно возникавших сложных проблем. Мудрый, спокойный, внимательный к людям, глубоко тактичный с порядочными и честными сотрудниками, он не выносил лжи, лицемерия и халтуры. На их проявления он реагировал очень резко. Сочетание этих качеств обеспечивало ему громадное уважение всего коллектива.

К началу 1990-х годов ВЦИОМ более-менее встал на ноги и заработал стабильно, хотя политических, организационных и финансовых трудностей было все еще очень много. К примеру, мы не имели не только обещанного собственного здания, но даже договора долгосрочной аренды и, будучи очень не любимыми властью, находились под постоянной угрозой быть выброшенными на улицу. Ни ВЦСПС, ни Госкомтруд СССР, официально курировавшие ВЦИОМ, не обеспечивали его до-

говорами, а соответственно и финансами, так что надо было постоянно искать заказы на стороне. Эти и многие другие трудности мы с Юрием Александровичем преодолевали вместе, одна бы я с ними просто не справилась. Ведь помимо руководства ВЦИОМ я в это время, была Президентом Советской социологической ассоциации, народным депутатом СССР, членом демократической межрегиональной депутатской группы, членом правлений двух международных фондов и т.д. Много сил уходило и на борьбу с ведомствами, которым был подчинен наш Центр. Они откровенно ненавидели навязанного им сверху «пасынка» и постоянно ставили нам палки в колеса.

За три года директорства я не только устала от выполнения чуждых мне функций, но и начала отставать от движущегося фронта науки. Не было времени, чтобы следить за новыми книгами и статьями, а они, несмотря на кризис 1990-х годов, выходили и содержали новые знания. Осознав опасность этого положения, я решила довести ВЦИОМ хотя бы до относительно стабильного состояния, после чего вернуться к исследовательской работе в Академии. И когда такой момент наступил, попросила Юрия Александровича заменить меня в качестве директора Центра. В ответ на вопрос о его согласии Ю.А. развел руками и сказал: «А что мне остается?». Таким образом, вопрос был решен. В конце 1992 г я приняла предложение британского профессора Теодора Шанина стать со-президентом организуемого им Междисциплинарного академического центра социальных наук (Интерцентра). Но это вовсе не означало расставания с ВЦИОМ и с Юрием Александровичем. Наоборот, теперь мы получили возможность сотрудничать уже в научном плане. Интерцентр становился на ноги в теснейшем сотрудничестве с ВЦИОМ, а ВЦИОМ получал серьезную поддержку от Интерцентра.

В 1992 г мне удалось получить от фонда Сороса крупный – 150 тыс. долларов – грант для организации первого в России мониторинга общественного мнения о социально-экономических реформах и переменах. Концепция мониторинга, разработанная в Интерцентре, была обсуждена и принята научным

коллективом ВЦИОМ, ставшего непосредственным организатором опросов, обработки и анализа получаемой информации. Обе организации работали в самой тесной кооперации. Мы вместе готовили анкеты, и анализировали получаемые данные, разделение труда базировалось на научных интересах каждой из сторон. Под двумя титулами – Интерцентра и ВЦИОМ стал выходить и ежемесячный «Информационный бюллетень мониторинга»[1], вскоре ставший серьезным социологическим журналом. Половину его объема составляли аналитические и теоретико-методологические статьи, а другую половину – прошедшие обработку данные ежемесячных опросов как взрослого населения России, так и особо интересовавших нас социальных групп.

Выпуск ежемесячного журнала, насыщенного громадной информацией, для меня, как главного редактора, оказался адской работой, выматывавшей все мои силы. И на одном из первых номеров я сорвалась. Возмущенная низким уровнем и небрежностью одной из статей, присланной в день сдачи журнала в печать, я написала руководителям ВЦИОМ – Леваде и Хахулиной полуистерическое письмо. В нем говорилось, что авторы статей халтурят, что вся работа свалена на меня, что я больше не в силах тянуть «эту телегу» и отказываюсь от поста главного редактора. Для моих адресатов этот взрыв возмущения оказался полной неожиданностью, потому что прежде я терпеливо переживала трудности и не предъявляла никаких претензий. В этих условиях естественной реакцией были бы недоумение и обида. Но Юрий Александрович отреагировал на мой взрыв не только очень тактично, но и эффективно. С этого момента макет каждого выпуска журнала стали по очереди готовить члены редколлегии, на мою же долю оставался контроль и окончательная редакция журнала в уже собранном виде. А по истечении срока гранта на мониторинг функцию главного редактора журнала взял на себя Юрий Александрович. Я рассказываю об этом сравнительно мелком факте потому, что он характерен

[1] Через год, после окончания гранта бюллетень стал выходить раз в два месяца.

для всего стиля руководства Левады. Глубокое понимание людей и их мотиваций, умное и спокойное решение вопросов, недопущение скандалов и взрывов. И в то же время – жесткий, бескомпромиссный разрыв с людьми, ведущими себя недостойно.

Постепенно пути развития ВЦИОМ и Интерцентра начали расходиться, но личная дружба их сотрудников сохраняется до сих пор. Я уже не говорю о том, что Ю.А. много лет был членом Попечительского совета Интерцентра, а я все еще остаюсь председателем Правления Левада-центра, пришедшего на смену ВЦИОМ. Наши связи носили гораздо более глубокий характер. Например, одной из главных акций Интерцентра была и остается организация ежегодных междисциплинарных симпозиумов «Куда идет Россия?...»[2] Первый из них прошел в декабре 1993 года, а последний – в январе 2009 года. И за все эти годы, по-моему, не было ни одного симпозиума, на котором Юрий Александрович не выступил бы с пленарным докладом или не руководил бы одной из секций. Причем постоянное участие Левады и его научных друзей было одним из притягательных факторов для широкого круга обществоведов.

Мы с Юрием Александровичем не были близкими друзьями, не делились повседневными радостями и переживаниями, но я всегда чувствовала рядом его надежное плечо. Наши отношения носили дружески–деловой характер, базируясь на глубоком уважении и взаимном доверии. Общаясь с ним на протяжении многих лет, я неизменно воспринимала его как очень крупную, сильную оригинальную личность, перед масштабом которой нередко робела. Обладая необыкновенным талантом, Юрий Александрович в труднейших условиях сумел сформировать собственную научную школу, и я рада, что работа во ВЦИОМе дала новый толчок ее развитию. Сегодня его ученики и друзья плодотворно развивают выдвинутые им идеи и передают их новым поколениям ученых. А значит, по большому счету Юрий Левада жив.

[2] С 2004 года симпозиум стал называться «Пути России».

Т. Шанин

СПОСОБНОСТЬ СОЗИДАТЬ УМНЫМ СЛОВОМ

Юрий Левада широко известен как один из ведущих обществоведов России. Это так. Но для меня и многих других в его образе главным остаются его черты необыкновенного умного и честного друга, такого, с которым можно уверенно ходить в горы, человеком, к которому обращаются за советом как быть в важных решениях жизни. Пятнадцать лет назад я его спросил: «Может ли, должен ли иностранный профессор размахнуться на создание международного университета в России?» Его ответ определил тогда создание «Шанинки». Способность созидать умным словом, честным советом и безукоризненной дружбой и является главным строительным материалом новых и лучших миров.

Без Юры стало в Москве холодно и хуже.

И. Кон

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮРИИ ЛЕВАДЕ

«Большая Левада», как его иногда называли друзья, по моему глубокому убеждению, был самым теоретически образованным и талантливым человеком в нашей когорте. По складу мышления его интересовали преимущественно глобальные проблемы, но обсуждать их он хотел не спекулятивно, а на конкретном материале. Делать это в советское время было сложно. Живя в Ленинграде, я не бывал на его семинаре, но знаю, что атмосфера там была исключительно творческой и демократической. Именно это позволило ему создать собственную интеллектуальную школу, сохранившуюся вопреки всем злоключениям и превратностям судьбы.

Интеллектуальная терпимость не делала его всеядным, иногда он мог быть даже жестким. Помню, как на одном из семинаров в Кяярику он резко оборвал рассуждения Г.П. Щедровицкого. Я в тот раз видел Щедровицкого впервые, он мне понравился и я спросил Леваду: «Чего ты так на него окрысился?» «В малых дозах это действительно интересно, но в больших дозах несовместимо с предметным исследованием, а мы это слушаем постоянно», – ответил он. Хотя со Щедровицким у них были хорошие личные отношения, тот к любой критике относился спокойно и готов был объяснять непонятное много раз. Что же касается подонков и неучей, то с ними Левада спорить не любил и говорить о них – тоже. Ему это было просто неинтересно.

В случае каких-то теоретических расхождений, Юра не скрывал своих взглядов и возражений. В свое время мы оба были дружны с Ю.Н. Давыдовым, вместе бывали в их с Пиамой Павловной Гайденко гостеприимном доме. Именно там я получил возможность прочитать только что опубликованные «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Первые разногласия с Давыдовым наметились у нас на каком-то общем семинаре по поводу оценки студенческой революции на Западе, кото-

рую Юрий Николаевич оценил однозначно отрицательно, тогда как мы с Левадой видели в ней важный стимул к социокультурному обновлению общества. Помню, одну из своих книг Юрий Николаевич даже подарил Леваде с надписью «Несогласному Юре». Однако на личных отношениях теоретические расхождения, если они не становились политическими, не сказывались. Такой всесторонней атомизации общества, как в 1990-х, в советское время не было; отчасти, возможно, потому, что реальные политические цели детально не обсуждались и казались одинаково утопическими, а ссориться из-за теоретических расхождений не имело смысла. Интеллектуально нас сближали общие теоретические интересы, в том числе – к западной социологии. Большинство наших коллег-социологов читали преимущественно то, что относилось к сфере их узких профессиональных занятий, Леваду же интересовали общие, в том числе междисциплинарные, тенденции. Кажется, он был единственным московским социологом, который регулярно посещал выставку новых поступлений в ИНИОН. Это способствовало формированию соответствующего стиля работы и мышления и у его учеников. Возможно, он и подбирал их по этому признаку. Таких талантливых и философски образованных ребят не было больше ни у кого.

По складу характера Левада принадлежал к редкому типу мягких мужчин, мягкость которых является проявлением не слабости, а спокойной, свободной от агрессивности и показухи, силы. Это особенно ярко проявилось, когда его начали организованно травить. Поведение в критических ситуациях, когда тебя надолго подвергают остракизму, – очень трудное психологическое испытание. Некоторые люди при этом ломаются, чувствуют себя и выглядят пришибленными. Другие принимают героическую позу, требуя от окружающих поклонения и восхищения. Третьи вживаются в роль мученика, которому все должны сочувствовать. Все это создает психологический дискомфорт для окружающих, независимо от того, как они на самом деле относятся к этому человеку. Ты чувствуешь себя в чем-то перед ним виноватым, а это неприятно. У Юры ничего

похожего не было. Думаю, это произошло не потому, что он прилагал какие-то специальные усилия, а потому, что интеллектуальные интересы были для него важнее собственной персоны. Его мышление было проблемным. Собственная сделанная работа уже не казалась ему достойной разговора не из скромности, а потому что это был уже пройденный этап. Он был для многих образцом и учителем, но в нем не было ни капли мессианства.

Наши отношения были достаточно доверительными, мы могли говорить с ним обо всем. Он всегда был в курсе самиздата и, видимо, поддерживал личные отношения с диссидентами. В 1968 г. вместе с другими ведущими социологами мы были на социологической конференции в Улан-Удэ. В это время разыгрывался большой всесоюзный скандал вокруг журнала «Байкал», который напечатал в двух номерах запрещенную в Москве повесть братьев Стругацких и потрясающую статью Аркадия Белинкова, который, в придачу, стал невозвращенцем. Купить этот журнал в Москве было невозможно, но в книжном киоске в Улан-Удэ один экземпляр первого номера нашелся, и Левада великодушно уступил его мне. Второго номера не было нигде. Секретарь обкома партии по пропаганде дал мне его на вечер почитать (все было испещрено его критическими пометками, его едва не сняли за этот журнал с работы, скандал начался в Москве, на уровне Демичева), но подарить не мог – это был единственный экземпляр, он бранил его во всех своих докладах.

Однако мудрый Левада нашел выход. После конференции я, как всегда, когда ездил в дальние края, остался в Забайкалье на отдых (не летать же на край света только ради конференции!), так что время у меня было. Юра мне сказал: «Все очень просто. Не проси ничего у обкомовских чиновников. Просто скажи кому-то из нормальных местных интеллигентов, что тебя интересует этот журнал. Они передадут это в редакцию, где тебя, конечно, знают. Журнал наверняка редактирует какой-нибудь бурятский классик, который сам ничего не читает, всем занимается молодой зам со столичным образованием, он к тебе придет и

принесет требуемый номер».

Так оно и было. Буквально на следующий день ко мне в гостиницу пришел очаровательный молодой человек, недавний выпускник не то филфака, не то философского факультета МГУ, который и заварил всю эту кашу, подарил номер журнала, сказал, что экземпляр действительно последний, и рассказал о превратностях местной жизни. Поскольку с кадрами в Улан-Удэ было трудно, с работы его все-таки не уволили. Эти два зачитанные (в Ленинграде их читали по очереди все мои друзья) номера «Байкала» я храню до сих пор. Позже я спросил Левaду:

– Ты что, знал этого парня и как там все происходило?

– Нет, – поклялся Юра, – я это теоретически вычислил. В нашей стране все происходит по одному и тому же шаблону, с минимумом вариаций.

Я ему поверил.

Левада был исключительно обязательным и доброжелательным человеком. Когда он руководил ВЦИОМом, я часто обращался к нему за материалами, и не было случая, чтобы он просьбу забыл или не выполнил.

Само появление Левады во ВЦИОМе было неожиданным[1]. По складу своего мышления и направленности интересов, он был прежде всего теоретиком; если бы кто-то до перестройки сказал, что ему предстоит руководить центром по изучению общественного мнения, он, вероятно, засмеялся бы. Но в эпоху быстрых социальных трансформаций классические социологические модели оказались неприменимыми. Структурный функционализм лучше приспособлен к анализу стабильных структур и ретроспективному объяснению долгосрочных процессов, а интеракционизм и феноменология для подобной тематики слишком камерны. К тому же на науку не было ни времени, ни денег. Едва ли не единственным доступным (и финансируемым) источником социальной информации стали массовые оп-

[1] Эта история подробно рассказана Т.И. Заславской. См. Т.И. Заславская. Моя жизнь: воспоминания и размышления (Т.И Заславская. Избранные произведения, том 3). М.: Экономика, 2007, с. 583-607

росы. Сами по себе оперативные опросы вряд ли были Леваде особенно интересны, да и количественными методами исследования он, в отличие от Бориса Грушина и Бориса Фирсова, раньше не занимался. Однако за текущей информацией политического характера он пытался нащупать общие тенденции социального развития, динамику ценностных ориентаций «простого советского человека», и делал это блестяще. В этой историко-теоретической ориентации заключается главное отличие работы Левада-центра от аналогичных зарубежных исследований.

Извлечение глубинного смысла из, прямо скажем, не очень богатых эмпирических данных требует развитого социологического воображения, которым обладают далеко не все. Но я уверен, что в дальнейшем, когда наша жизнь станет историей, опросы Левада-центра останутся ценным историческим источником, как и исследования Бориса Грушина. А если кто-нибудь применит к их анализу современный математический аппарат, он, возможно, извлечет из них и нечто такое, чего мы еще не знаем.

У Юры давно было плохое здоровье. Однажды, когда мы были на какой-то конференции в Сан-Франциско, перед самым отлетом ему внезапно стало очень плохо, но он сказал, что все пройдет, вызывать врача не надо. С помощью моего калифорнийского друга психолога Филиппа Зимбардо я с трудом посадил его в машину, потом в аэропорту мы всей командой везли грузного Леваду на багажной тележке, а он нас уговаривал не волноваться. Между прочим, в это время он был не только всемирно известным ученым, но и членом Президентского совета… Он не любил ни жаловаться, ни качать права, ни обременять других своими заботами, хотя сам на чужие беды всегда откликался.

О его семейной жизни я ничего не знаю. Когда я бывал у него дома, главной фигурой был громадный черный ньюфаундленд Царь; когда он приходил в маленький юрин кабинет, свободного пространства там уже не оставалось. Единственный практический вопрос, который мы с Левадой обсуждали (у ме-

ня в США были контакты в Национальных институтах здоровья и Юра просил навести там соответствующие справки), было состояние здоровья его маленького внука, которого он нежно любил.

Жизнь Юрия Левады – не только интеллектуальный, но и нравственный пример. Ученые нашего поколения не могли активно сопротивляться власти, все находилось в руках государства, несогласный мог только уйти, в крайнем случае – хлопнув дверью. У Юры такой опыт был. Когда в 2003 г. власть начала зачистку информационного поля, этот опыт ему пригодился. Левада не стал ни писать слезных писем президенту, ни устраивать шумные митинги протеста, все и так было ясно. Но он ушел не один, а со всем своим творческим коллективом. Другого такого примера я не знаю. Я горжусь тем, что этот нравственный почин в очередное тяжелое время осуществили мои коллеги социологи, ученики и сотрудники Левады.

В. Русинов (Левада)

В САМОМ КОНЦЕ ЕГО ПОСЛЕДНЕЙ ЗИМЫ…

В самом конце его последней зимы я попросил отца выступить перед неким интернациональным собранием физиков и рассказать о своем Центре, работе, результатах. Он откликнулся, приехал, тяжело поднялся на сцену, сел, включил компьютер, внимательно поглядел в зал. Я волновался в этот момент, аудитория трудная – большинство физиков в глубине души уверены, что кроме физики и математики все остальное не вполне наука. Но Леваду знали, я чувствовал, что интереса и уважения больше, чем скепсиса. Он говорил медленно, стараясь быть максимально понятым, и меня сразу удивило то, какие темы он выбрал. Он не стал говорить о результатах и достижениях, он рассказывал только о тех вопросах, которыми занимается сейчас; ответов у него еще не было, он вовлекал слушателей в процедуру поиска. Мне особенно запомнилась попытка найти подходы к такому, казалось бы, абсолютно необъяснимому, иррациональному факту, как стабильно высокий рейтинг президента (тогда – Путина) при безусловно критическом отношении к другим государственным институтам и практически всей их деятельности. Он был увлечен тогда этой темой; нам, слушателям, было видно, что она не давалась, ускользала из привычного мира, в котором действуют причинно-следственные связи, в мир необъяснимого, где надо говорить слова «менталитет» или «исторические традиции», а это сразу снижало доверие и интерес аудитории. Он видел это, понимал, не боялся и не скрывал трудностей, терпеливо показывая, какой нетривиальный смысл может быть запрятан в очевидных вроде бы результатах социологических опросов.

Пожалуй, две вещи запомнились больше всего из того вечера в конце февраля 2006 года – вот эта спокойная смелость в попытке найти тропинку в непонятном, более того – в том, что у большинства слушателей вызывает недоумение и протест. И второе – я впервые почувствовал, именно не понял, а почувст-

вовал, как из хаотической мозаики вопросов-ответов возникает подобие зеркала нашего странного общества; я понял, что, например, попытка разгадать эту загадку с рейтингами очень важна для понимания мира, в котором живем. Ученые слушатели вели себя очень активно, они спрашивали, спорили, не соглашались, они не хотели признавать себя в этом зеркале, они были не такими! Отец отбивался весело, энергично, он сам вызвал этот протест и радовался ему, я никогда не видел его таким оживленным; это был очень интересный и важный момент. Потом я отвозил его домой, ему было интересно у нас, но он не выключился, он продолжал находиться среди своих аргументов, сомнений и поисков, он продолжал свою работу.

Потом, когда его не станет, я много раз буду возвращаться к нашим разговорам, бытовые детали уйдут – да их немного и было – останется ощущение его постоянной сосредоточенности и того, что он никогда не пользуется готовыми формулировками, а всегда на ходу думает, взвешивает, ищет. Так получилось, что наше регулярное общение пришлось на последние полтора – два десятилетия его жизни, это были бурные для страны годы, это был наиболее плодотворный и результативный период в жизни отца.

В основном мы общались по телефону. Он звонил раз в неделю всегда в одно и то же время, в половину одиннадцатого вечера по воскресеньям; я ждал звонка, освобождал время, обязательно обдумывал все, что надо не забыть сказать или спросить. Говорили мы обычно около часа, и всегда разговор делился на две части. В первой он расспрашивал о наших делах, о моих сыновьях – своих внуках, интересовался подробно – успехами, здоровьем и всегда спрашивал, чем бы он мог помочь. Меня поражала его беспредельная деликатность в те моменты, когда появлялась возможность дать какой-то совет, я чувствовал его позицию в интонации, в задаваемых мне вопросах, в молчании, наконец. Я до сих пор слышу это его «Володькин, а ты не думал о том, чтобы…» – и это было уже крайней чертой определенности, за нее он не переступал. Удивительной была его решительность и точность в момент, когда он чувствовал,

что может помочь. Он действовал мгновенно и результативно, совершенно не в духе наших осторожных разговоров, он помогал в поисках квартиры, с врачами, лекарствами – да много с чем, и это всегда было без просьб, и это всегда было точно, по моменту и по действию.

Вторая часть наших бесед всегда была посвящена происходящему в стране; мы обсуждали все заметные события недели и совместно пытались понять, что они означают, к чему ведут и что должно быть дальше. Мы удивительно одинаково смотрели на большинство вещей, иногда от совпадения взглядов даже становилось не по себе. Если он уезжал куда-то, то всегда по приезде звонил и спрашивал, что тут произошло без него; и когда я пытался сказать, что все написано в Интернете, он возражал – прочел, мол, но хочу услышать от тебя. Была и разность в нашей оценке происходящего, я обычно раньше начинал осуждать каких-то деятелей, он готов был двигаться дальше в попытке понять и объяснить, что ими двигало, почему они вынуждены поступать так-то и не могут свернуть; со временем эта разность сглаживалась, видимо, я чему-то учился у него. Вообще, я очень редко слышал от него слова прямого осуждения в адрес кого-то, разве что это были действующие по прямому заказу журналисты или обслуживающие власть политологи. Самое бранное слово было, пожалуй, «провокатор». Он очень тяжело переживал поворот в жизни страны, который начался с новым веком, оценки наши становились все пессимистичней, я думаю – хотя мы прямо и не говорили об этом – оба мы воспринимали угнетение общественной жизни и демократических институтов и как свою личную неудачу. Отец встретил перестройку очень взрослым, трезвым и очень битым человеком, тем не менее, – я видел это – он реально верил, что в нашей стране возможны и открытое гражданское общество, и демократия, да не просто верил, он жил этим и работал для этого. Тем тяжелей было ему видеть отступление по всем направлениям; и особенно трудно ему, социологу, было понимать, что поворот этот происходит не только из-за слабости или корыстного умысла власть имущих, но и отвечает, как ни горько это

признавать, потребностям уставшего от 90-х годов общества. Одной из существенных и бесконечных наших тем было обсуждение возможностей возврата страны к демократическому пути развития. Говорили о возможности какого-то давления снизу – и не слишком верили в реальность; манипулировать сознанием уставших от трудностей людей было легко, все ТВ в одних руках, нанятые политологи, журналисты, режиссеры умело рисуют страшный образ демократии 90-х, буквально пропасть, на грань которой эта демократия привела страну. Обсуждали вероятность инициативы сверху – и тоже не верилось, зачем бы им (которые сверху) это, авторитарная власть намного приятней. Возможностей хоть какого-то давления извне при тогдашних высоких ценах на нефть мы тоже не видели. Когда мы таким образом естественно заходили в тупик, отец неизменно сохранял какой-то внутренний оптимизм, выражалось это в спокойном «Поглядим, ведь как-то оно должно быть, ведь другого-то нет».

В последнюю осень запомнились разговоры по поводу убийства Анны Политковской. Он был возмущен преступлением и реакцией Путина (рассуждения на тему, какая журналистка вредней – живая или мертвая). Отец не строил догадок относительно виновных; говорил о том, как трудно, опасно становится в нашей стране просто быть независимым и одновременно публичным человеком. Если реакция на гибель журналистки была пронизана острой горечью, то высказывания президента были встречены с уже привычным разочарованием; помню, что отец употреблял такие сильные для себя выражения, как «полная безответственность» и «цинизм». Вообще, деградация единоличной и ни перед кем не ответственной власти сильно беспокоила его в последние годы.

Он дышал, существовал своей работой, я чувствовал это постоянно. Вот я спрашиваю его – « как же, вот такое происходит, а где реакция общества, почему это не видно в результатах ваших опросов?» «Погоди, – отвечал он, – вот в начале недели будут новые результаты, поглядим». «Неужели – спрашивал я дальше – ты не знаешь заранее, что будет, неужели всерьез

ждешь чего-то нового?» «Знаю, Володькин, в основном все знаю, но каждый раз жду, иначе не могу, не получается». В этом застенчивом «иначе не могу» содержится максимально доступный ему пафос в выражении любви к своему делу, у него был абсолютный слух к фальши, он не только не употреблял никогда высоких слов, но и полностью терял доверие, когда их слышал. Вот такой он был, и ждал, и надеялся до последнего дня, что есть у нас общество – не только население, и жил этим, и умер на работе в своем кабинете; впрочем, это я забежал туда, куда не должен торопиться.

Разговоры наши были и радостны и одновременно трудны для меня; говорить с ним было непросто. Наверное, в основном это шло оттого, что не было общения в моем детстве, мы жили порознь, и узнали друг друга только, когда я был уже взрослым, у нас не оказалось общей памяти. Мы совершенно не затрагивали личных тем, только мои сыновья: здоровье, учеба, трудности; я совсем не знал, как он живет, на вопрос – «чем занимаешься?» он всегда отвечал – «так, смотрю кой-какие результаты», он не впускал к себе, а мне и стучаться было неловко. Когда его не стало, я за неделю узнал про его жизнь больше, чем за много предыдущих лет. Он не говорил даже о том, что было главным в его жизни на протяжении всех лет нашего постоянного общения, я не знал, что происходит у него на работе – только некоторые результаты, какие опросы запущены, чего от них можно ожидать. Я постоянно спрашивал, что происходит в Центре, он всегда отвечал, но без подробностей, почти односложно, так что я все время чувствовал, что это не та тема, на которую он хотел бы тратить наше общее время.

Наверное, ограниченность тем приводила иногда к мучительным паузам в телефонных разговорах, они длились по нескольку минут; я ни разу не заметил, чтоб его это тяготило, он чуть пыхтел в трубку и думал о чем-то, молчание всегда нарушал я либо повтором уже пройденного, либо придумывая что-то на ходу. Тем не менее, разговоры наши были исключительно важны для меня, и мне очень не хватает сейчас этого непростого общения, до сих пор раз в неделю вечером в воскресенье я

смотрю на часы, и никак не привыкну к отсутствию звонка.

Я звал его в гости, он откликался, приходил – раз в месяц, иногда чуть реже, всегда приносил книги; в последние годы он покупал для своего младшего внука тома энциклопедии «Аванта», ходил он трудно – ноги, вены, которыми он так и не займется, ему было физически тяжело, но встретить себя, подвезти, не разрешал никогда. Это было его заметной чертой – постоянно пытаясь помочь и выискивая для этого поводы, он никогда помощи не принимал; я множество раз, особенно в последние годы, пытался помочь ему то с мебелью, то с Интернетом – он отказывался, все делал сам, и только когда его не стало, я понял, насколько же трудно ему дались последние книжные полки, которые он повесил у себя над кроватью. Книжки он приносил замечательные, еще в 70-е годы, в пору моего студенчества и редкого совсем нашего общения, он открыл для меня Трифонова и Платонова, Искандера и Бродского. А это имена, которые навсегда. Он умел читать, радоваться и делиться. Он приносил всегда книжки, иногда фрукты, садился на диван, начинал расспрашивать внуков, вопросы почти всегда задавал в третьем лице – «как успехи у молодого человека?» Слушал внимательно и вроде бы совсем легко, вскользь, но надо было видеть, как напрягалось и становилось серьезным его лицо, кода он улавливал вдруг какую-то проблему, трудность; видно было, что он сразу начинает думать, чем может помочь. Так же, как это было со мной, он избегал что-то советовать внукам – только если прямо спросят – и при них не давал оценки их поступкам; потом, когда я провожал его до троллейбусной остановки, он мог похвалить кого-то из них, порадоваться или высказать озабоченность. Чего было больше в этой заметной сдержанности – деликатности или же это в основном шло от ощущаемой им неполноты наших отношений, я не знаю. Запомнилось, что больше всего внуки радовали его не успехами в учебе – к этому он совсем спокойно относился – а проявлением самостоятельности и решительности в ситуациях, когда был выбор. Отец дождался правнучки, очень радовался ее рождению, буквально через неделю пришел проведать и долго не мог

уйти – так увлечен был крошечным человечком.

Из более раннего периода осталось в памяти посещение нескольких его социологических семинаров, было это где-то в середине 70-х. Запомнились выступления Померанца, Арсения Тарковского, Искандера, обсуждение фильма «Зеркало». Но главное – запомнилась атмосфера, это была атмосфера свободного общения свободных людей; я даже озирался растерянно вокруг, когда попал туда в первый раз – наяву ли это, никогда не слышал, чтобы люди так свободно могли говорить в то несвободное время. Я не слышал там ничего крамольного, озираться заставляла именно невозможная в то время обстановка независимости. Я запомнил независимых, умных, свободных людей и то запомнил, что в центре этого удивительного действия был отец – спокойный, неторопливый и, как я сейчас понимаю, совсем молодой тогда. Внешне он выглядел мягким и очень внимательным к выступавшим, но в полемике был удивительно неуступчив, настырен даже, чувствовалось постоянное стремление не смягчить острый вопрос, а обострить до предела и прояснить, сколько это было возможно.

Если бы мне надо было ограничиться одним словом для характеристики отца, я употребил бы слово «независимость». У меня было постоянное ощущение его абсолютной независимости, он пытался распространить это свое внутреннее состояние на все стороны жизни. В бытовом плане это у него получалось неважно, я остро чувствовал это; во всей, если можно так сказать, бытовой составляющей его жизни, ощущалась какая-то неустроенность, не случайно не пускал он туда даже меня. Возможно, в этом был какой-то смысл – не умысел, конечно – ничто не мешало ему все время отдавать работе. Он был очень аскетичным в быту – только самое необходимое, он не строил себе дач, не покупал машин, не копил и не накопил ничего. В этом смысле он был чуть не от мира сего; нынешние, хоть на чем-то сделавшие имя люди меряют успешность масштабом накопленного. В том же ключе было его отношение к своему здоровью, он не хотел лечиться, думать об этом и говорить, отмахивался; в этом, конечно, был какой-то налет фатализма, но

это также было проявлением независимости. А еще он не умел отдыхать, не брал никогда отпуск, все поездки его были исключительно рабочими. Все это было очень гармоничным – невнимание к здоровью, одежде, быту вообще, деньгам, внешнему успеху, неумение отдыхать, полная поглощенность работой; второе ключевое слово, которым можно охарактеризовать его – цельность.

Он был последовательным и в своих общественных взглядах. Я узнал его в начале 70-х, он был убежденным сторонником демократического пути развития – таким и остался он до осени 2006 года. Он приветствовал реформы Горбачева, надеялся на руководителей Межрегиональной группы, затем был сторонником молодой команды реформаторов; я помню, что он мог разочаровываться в людях, но никогда – в идеях. Ситуация в стране развивалась так, что сторонников демократических идей оставалось все меньше, все дальше расходились пути многих кумиров 60 – 70; каждую новую потерю отец встречал с горечью, но сам был последователен и тверд, его приверженность принципам демократии не зависела от текущей популярности этих идей.

Его стремление быть независимым в профессии стоило дорого, он был в немилости последние 20 лет советского периода, ну и, разумеется, в немилости же оказался и с укреплением путинского режима. Ему не нужна была эта милость - хотел, чтобы не мешали работать; каким-то чудесным образом он сумел сохранить возможность независимого существования для себя и своих сотрудников в современные уже времена. У меня до сих пор ком в горле при воспоминании о поступке его коллег, которые выбрали рискованную свободу, отказавшись от надежного крыла не склонной к прощению власти. Я имею в виду эпизод, когда власти решили забрать ВЦИОМ себе, и когда все его сотрудники – и научные работники, и технические, и водители – ушли в неизвестность, ушли вместе с ним создавать новый Центр, который теперь носит его имя. Я думаю, такой выбор коллег – самая высокая награда, которой может быть удостоен ученый, руководитель при жизни, куда там нобелевской

премии! Если бы я не знал совсем отца, не говорил бы с ним, не читал бы его книг, а знал бы только про этот поступок ста его коллег – я бы считал, что он не зря прожил жизнь. Я совсем не знал сотрудников Центра при жизни отца, к сожалению, совсем почти не общаюсь с ними и сейчас, без него, но с того времени чувствую, что это близкие мне люди. Только б работали дальше, ведь это главное, что осталось от него.

Независимость его была абсолютно органичной, в ней никогда не было никакой позы; более того, около него невозможно было представить себе, что можно жить по-другому. Ни в какой момент – при Горбачеве ли, Ельцине, Путине – ни разу не возникало у меня даже мысли, что он хоть на малую толику готов примкнуть к обслуге. А власть по мере утраты интереса к трудному демократическому пути, все больше нуждалась именно в обслуге; и находила ее, увы. Сам он о независимости по отношению к работе говорил мало. Максимальный пафос, который он мог себе позволить в разговоре со мной был таким. Я спрашивал, имея в виду власти, – «как вам живется, не обижают, не пристают?» – «Вроде нет пока, держимся, стараемся помаленьку сами». Помню эту его понижающую интонацию даже когда он, отвечая на мои вопросы, рассказывал про коллективный исход из ВЦИОМ. Конечно, он чувствовал значение и драматизм момента, но тени удовлетворения или торжества, или даже тревоги не промелькнуло в его рассказе; спокойная, обыденная что ли, констатация фактов – помню, этот тон поразил наравне с самим событием. Я слушаю иногда по радио выступления его сотрудников, читаю их статьи, они абсолютно самостоятельные и серьезные исследователи, но вот этот стиль, совершенно без позы, пафоса, брани, эта независимость в суждениях, этот трезвый критический спокойный подход к самым острым и рискованным вопросам – все это убеждает меня в том, что отец не зря занимался своим делом.

Вижу, как он большой, медленный, грузный поднимается в троллейбус, садится у окна, машет мне рукой. Я так и не спросил его о чем-то самом важном, так и не назвал при жизни отцом, теперь этого уже не сделать.

В. Ядов

ПРОСТИ МЕНЯ, ЮРА

Мы познакомились с Юрием Левадой во второй половине 60-х годов в московском Институте конкретных социальных исследований (ИКСИ), где поначалу собрались мыслящие, но знающие о социологии с пятого на десятое люди. Поэтому для тех, кто пришел в институт, крайне важны были объявленные там два-три семинара. Семинар Левады обычно был переполнен, так как на нем обсуждались ключевые вопросы социологии как области знания. Помню, как бурно обсуждалась на семинаре проблема законов функционирования общества, поскольку истмат утверждал лишь закономерности развития.

Я воспринимал Юрия Леваду как мэтра: человека более образованного и намного более эрудированного в социологии, чем я. Мои собственные познания в области теории были тогда несопоставимы с его начитанностью. На семинарах Левады, где мне, ленинградцу, случалось присутствовать довольно редко, Юрий держался как профессор среди первокурсников. И имел для этого все основания. Его, написанная в те годы, основательная книга по социологии религии была блестяща. Его компетентность в области теории, вероятно, не уступала познаниям моего близкого друга Игоря Кона. Но различие заключалось в том, что Игорь – историк, для которого труды Дюркгейма или Парсонса были предметом изучения, а Левада относился к теоретическим концепциям как к исследовательскому инструментарию. Сейчас, когда я пишу эти строки, начинаю догадываться, что именно Юрий подтолкнул меня к такому восприятию работ теоретиков. Спустя десятилетия эту мысль чётко артикулировал Петр Штомпка.

В 1967 г. я приехал в Москву для обсуждения докторской диссертации в отделе Левады. ИКСИ располагался в подвале на улице, название которой я запамятовал. Размещение в подвале само по себе не представлялось мне странным, так как наш ленинградский отдел арендовал тогда несколько комнат хотя и не

в подвальном помещении, но и не в хоромах. (Это были три этажа в историческом здании Гостиного двора. На верхнем этаже находилась просторная комната для общих занятий и обсуждений, на втором – две комнаты сотрудников и на первом – комнатёнка «шефа» и еще одна вроде дворницкой. Там мы держали перфораторы и что-то еще из тогдашней техники).

Итак, пройдя по полутемному коридору ИКСИ, я вошел в «зал заседаний», где собралось человек двадцать, Левада за столом председателя. Я достаточно пространно и самоуверенно излагал содержание своего докторского опуса по методологии исследования. Затем Левада задал пару вопросов, из коих я понял, что пыл следует умерить. Длительное обсуждение убедило соискателя в необходимости кое-что продумать заново. Я расстроился, и кто-то сказал: «Брось, ты должен гордиться тем, что обсуждали работу у Левады. Знаешь, физики говорили, что выступить и быть выруганным на семинаре Ландау – это немалая честь».

Левада выделялся из компании институтских руководителей лишь своей крупной фигурой. Он не важничал, помалкивал на партсобраниях, не ухлестывал за девушками (здесь лидировали Бурлацкий и Шляпентох), но всегда находил время поговорить по существу и порекомендовать нужную публикацию. В институте существовал своего рода дружеский круг нескольких социологов, куда входил и я. Собирались для разговоров в каком-нибудь кабинете за чашкой кофе, никогда со спиртным, и обсуждали замыслы планируемых исследований. Иногда тогдашний директор Алексей Матвеевич Румянцев устраивал свой семинар. Помню, на одном из таких семинаров он сказал: «Подумайте над вопросом: все формации создавались исторически естественным путем, и лишь одна – иначе». Такова была атмосфера в ИКСИ, где Левада со своим отделом процветал и притягивал массу других сотрудников.

В ИКСИ Левада возглавлял сектор. Тогда же он читал лекции в МГУ, за которые потом, после выхода книги по этим лекциям, подвергся партразбирательству.

Отлично помнится собрание в ИКСИ, на котором директор

М.Н. Руткевич, прозванный Бульдозером (термин Грушина), поставил вопрос о лекциях Левады как содержащих грубые отклонения от истмата. На этом собрании в защиту Левады, кажется, не выступали. Все мы были огорошены, витийствовали Бульдозеровы «шестерки». На расширенном заседании в Академии общественных наук при ЦК КПСС я не присутствовал. Там особенно смело говорили Грушин и Шубкин. Левада вынужден был уйти, Грушин ушел, Шубкин заявил, что Руткевичу надо бы командовать штрафбатом, а не директорствовать, и т.д. Я уже задним умом сообразил, что надо было ехать в Москву. Под влиянием этого чувства вины перед Левадой я в начале перестройки предложил журналистам Максимовым пригласить его в телепрограмму «Общественное мнение». Про себя думал, что, вытащив Юрия на широкую публику из укрытия в стенах ЦЭМИ, я хоть частично заглушу чувство вины перед ним. Но оно остается и по сей день.

После моего переезда в Москву мы с Юрием стали общаться намного чаще. Удивляла его отчаянная работоспособность. Я сам трудоголик и умею отдыхать лишь в период отпуска на эстонском хуторе. Юрий вообще не был способен к свободному времяпровождению. В субботу и воскресенье в любое время до полуночи (позже я его не беспокоил) он через пару секунд отвечал на телефонный звонок: «Привет, старик, как дела?» Заметьте – не как себя чувствуешь, а как работается? Мы дружили, и Юрий был верным другом. Немедля согласился войти в ученый совет Института социологии, когда я был директором-организатором института. Не помню случая, чтобы он отказал в помощи, какая бы она ни была. С моим водителем Наташей был дружен, как и со мной. В отличие от некоторых интеллигентов никогда не допускал нецензурщины. Когда, блаженствуя на своем эстонском хуторе, услышал по «Свободе» об отстранении Левады от руководства ВЦИОМом, я сразу же позвонил ему в Москву и спросил, чем можно помочь. Стоит ли мобилизовать эстонских коллег? Он довольно спокойным голосом сказал, что ничего делать не нужно. У них все налаживается. По возвращении я сразу поехал в их новый Центр, и

Юрий подробно рассказал полудетективную историю. Приведу этот рассказ от первого лица, как запомнил.

«Приезжает незнакомый субъект из Министерства труда (ВЦИОМ был создан при Минтруда. – *В.Я.*) и говорит, что руководство предлагает принять в качестве моего заместителя такого-то. Я отвечаю, что не жалуюсь на своих замов. Тогда он предупреждает, что «будут приняты меры». Через пару дней вызывают меня не буду говорить куда и обвиняют в том, что мы сознательно завышаем рейтинг Путина. Я ссылаюсь на опросы других центров и говорю, что наши данные практически сходны с данными их опросов. Говорят: «А вот такой-то центр опросов общественного мнения дает совсем иную информацию». Такого центра нет, мне он неизвестен. Они говорят: «Даем вам неделю (точно не припомню, сколько именно дней), чтобы сдать дела новому руководителю ВЦИОМа». Мы к тому времени уже зарегистрировали «Левада-Центр». Осталось договориться о помещении. Арендовали пол-этажа здесь, в здании «Московских новостей», забрали весь архив, и все до единого, включая уборщицу, перебрались на новое место. Заказов не убыло. Скорее их больше, чем мы можем осилить».

Я спрашиваю, как работает новый ВЦИОМ при новом директоре, и Юрий отвечает, что его это мало интересует. Что-то они делают на базе института Г. Осипова, подробностей он не знает.

«Левада-Центр» после попытки убрать из ВЦИОМа его лидера лишь приобрел еще более высокий авторитет. Сейчас коллеги Левады приняли эстафету и по-прежнему лидируют среди российских полстеров.

Надо сказать, что Юрий, будучи добросердечно расположенным к тем, кого причислял к «своим», не отличался излишней откровенностью. Он жил своей напряженной интеллектуальной жизнью. У меня было ощущение, что он сейчас обдумывает какую-то проблему (может быть, текст для публикации) и не способен вот так сходу переключиться на болтовню. Если же речь шла о научных проблемах, он немедля включался, и более заинтересованного собеседника в среде коллег-

социологов, если не считать Геннадия Батыгина, Игоря Кона и Николая Лапина, я не встречал.

Мне всегда было интересно, как устроен ум серьезных исследователей. Скажу, например, о Борисе Герасимовиче Ананьеве – выдающемся психологе, с которым мне посчастливилось тесно общаться и которого считаю своим учителем в студенческие годы. Ананьев, как правило, размышлял вслух и тем самым предлагал слушателям участвовать в поиске ответов на его вопросы. Другой выдающийся психолог, преемник Дмитрия Узнадзе Шота Надирашвили, убежденно читал лекции о феномене установки личности. В этой манере он явно уступал Пьеру Бурдьё, с которым у меня было две встречи, и где я едва ли мог вставить пару слов.

Юрий Левада не вписывался в эти модели. Он, как правило, начинал говорить о своём представлении обсуждаемого, но всегда заканчивал фразой: «А ты как думаешь?» И дальше спокойно и убеждённо отстаивал свою позицию. Переубедить его было очень трудно. В крайнем случае, он говорил: «Ну, посмотрим».

Недавно опубликованное в Интернете интервью Дмитрия Шалина с Левадой, записанное в Гарварде во время горбачевской перестройки, многое проясняет. Левада был высоконравственным русским интеллигентом, следовал жизненным принципам, которые для себя установил. Принципы эти, как я понимаю, такие: «Я должен хорошо делать то, что я умею, я не должен вмешиваться в судьбы других и, наконец, есть люди, которые мне интересны, и есть те, кто для меня как будто отсутствуют». Я счастлив тем, что, как надеюсь, был в «круге первом».

Если говорить о школе Левады, то это скорее его команда во ВЦИОМе или нынешнем Левада-Центре. Он постоянно проводил теоретические семинары, приглашая на них и других ученых. Не пользовался отпуском, не заботился о своем здоровье, хотя Татьяна Заславская в последнее время настаивала на том, чтобы он обследовался.

Если бы не добровольно взятая на себя обязанность писать передовицу в каждый номер выпускаемого им журнала, Левада за последние годы помимо книги «Советский простой человек», помимо сборников своих публикаций, уверен, издал бы что-то монографическое, ибо всегда перелопачивал множество книг и размышлял.

«Социальная реальность». 12.2006. www.fom.ru
Социологический журнал №2. 2008

Я. Кузьминов, А. Шохин, Е. Ясин

ЮРИЙ ЛЕВАДА – КРУПНЕЙШИЙ РУССКИЙ СОЦИОЛОГ

Юрий Александрович Левада – крупнейший русский социолог. Он не только выдающийся ученый, но знаковая фигура последних 20 лет отечественной истории.

Надо помнить, что до горбачевской перестройки социология как наука в СССР не признавалась. Но думать людям не запретишь даже если разгоняются научные учреждения, видные учёные лишаются постов, а вместо социологии разрешается говорить только о конкретных социологических исследованиях. Левада был в числе тех, кто активно готовил возрождение российской социологии. В 1987 г. на волне перемен возник ВЦИОМ. В 1992 г. его возглавил Юрий Левада. Это воспринято было всем научным сообществом с удовольствием. По очень простой причине: Левада – это гарантия объективности и политической неангажированности исследований. А мы все так в этом нуждались. И ни разу за долгие годы никто не усомнился в высокой научной репутации Юрия Александровича. Напротив, она только укрепилась.

Потом Ю.А. Левада вынужден был уйти из ВЦИОМа. На его место пришли другие люди, видимо более покладистые. Слава Богу, репутации Юрия Александровича хватило на то, чтобы создать и обеспечить заказами Левада-Центр, благо почти весь коллектив пошел за ним.

На парадах впереди идёт колонна знаменосцев. Это избранные, отмеченные временем и товарищами люди. Левада был в колонне знаменосцев эпохи перемен, трудной, но славной эпохи в истории нашей страны. Это счастливая судьба. Ему повезло и нам повезло с ним. И время и товарищи выделили его как эталон сплава редких качеств – ума, таланта, честности и сердечности. Сам он был скорее пессимистом, особенно размышляя о качествах нашего народа, хорошо зная его после длинного пути «от мнения к пониманию». Но те, кто знал Юрия Лева-

ду, те встречая его, всякий раз укрепляли свою веру в достоинство и честь человека, ибо он внушал оптимизм.

Теперь знамя выпало из его рук. Грустно! Но остальные должны сплотиться, перехватить его ношу. А наши дети, я имею ввиду и студентов Вышки, должны знать: им есть с кого брать пример.

Я. Кузьминов, А. Шохин, Е. Ясин
ГУ Высшая школа экономики

http://www/hse.re/temp/2006/11_16_levada.shtme

Отец Георгий Кочетков

ИНТЕРВЬЮ АННЕ АЛИЕВОЙ

– О. Георгий, я знаю, что Вы посещали лекции Юрия Александровича Левады в конце 60-х гг. Что Вас привлекало в них и в нем самом?

– Ю.А. Левада для меня, конечно, значимая и памятная фигура. Я, действительно, посещал его лекции по социологии в университете на журфаке в конце 60-х гг. Я в то время учился в Плехановском институте и знакомился с наиболее интересными в Москве преподавателями. Таких неформальных учителей у меня было несколько: Сергей Сергеевич Аверинцев, Вячеслав Леонидович Глазычев и Юрий Александрович Левада. Я дерзну назвать его одним из своих учителей наряду с названными мною Аверинцевым и Глазычевым, потому что я на всю жизнь запомнил атмосферу этих лекций, их дух и смысл. И для меня была удивительна внутренняя свобода и в тоже время доброжелательность, интеллигентность и компетентность Юрия Александровича. Надо сказать, что из всех троих я больше всего посещал лекции Левады. Вот, как не странно, все трое по-своему были конкурентами, и все – выдающиеся люди. Я думаю, сейчас это бесспорно для каждого, кто знаком с этими именами или с этими людьми лично. Или был знаком, потому что и Сергея Сергеевича среди нас уже, к сожалению, нет.

Для нас сейчас такие люди «последние из могикан». Они несли еще старую русскую культурную и научную традицию, именно не советскую, а русскую. Эти люди явно выделялись из толпы других преподавателей и профессоров институтов и университетов. И это запоминалось, входило в самое нутро, в сердце и обогащало ум. Потом отношения с каждым из моих неформальных учителей складывались у меня по-разному. После института я почти не виделся с Левадой. Только последние годы я все чаще стал слушать его выступления по телевидению, и, мне казалось, что они на голову выше всего того, что вокруг них. Мне было всегда очень радостно и приятно слы-

шать глубокие, взвешенные, серьезные и ответственные рассуждения Юрия Александровича, точно также как когда-то при жизни Сергея Сергеевича я всегда радовался любому его слову.

Когда возникла идея у нас в братстве «Сретение» пригласить Юрия Александровича, я это очень горячо поддержал и долго настаивал на том, чтобы это произошло. Более того, я хотел пригласить его и на предстоящую нашу институтскую конференцию. Я был уверен, что Юрий Александрович откликнется. Увы, все это уже невозможно. Мы его приглашали и на предыдущую нашу конференцию, в частности на встречу, посвященную поколению шестидесятников и семидесятников, но он, к сожалению, по состоянию здоровья не выбрался на нее. Так что, если напрямую отвечать на Ваш вопрос, то его значение для меня в том и заключается, что он для меня – один из моих неформальных учителей. Таких людей много не бывает.

– А для современного общества, для современной России каково его значение?

– Тому, что делал Юрий Александрович профессионально, можно было абсолютно доверять. Когда он говорил, было сразу видно, что этот человек не пойдет на компромисс и не будет обманывать. Я не знал, что у него были и в новое, новейшее, самое последнее время неприятности из-за его профессиональной деятельности. Было понятно, что его притесняли, и даже, насколько я знаю, сняли с преподавания в университете в конце 60-х или начале 70-х гг. Я тогда об этом не знал. Скорее, это было в начале 70-х гг., потому что именно в конце 60-х начале 70-х гг. я его слушал в университете, и не один год. Но тогда это было понятно, в советское время такие люди, как Ю.А. Левада не могли быть терпимыми идеологической машиной тоталитарного строя. Однако интересно, что у него возникли трудности и в наше время. Вот сейчас говорили по телевизору, что он вынужден был покинуть ВЦИОМ в 2003 г. и образовать собственный Левада-Центр, который пользовался непререкаемым авторитетом.

– В чем актуальность социологического знания для христиан?

– Ответить на этот вопрос очень просто: смотря какая социология и смотря какие христиане. Социология бывает разной, и христиане бывают разными. Если это социология глубокая, серьезная, вдумчивая, объективная и честная, то это одна ситуация. Безусловно, любой христианин нуждается в данных такой социологии. Также как социолог, ведущий такую работу, всегда будет нуждаться в христианстве, в христианстве как вере живой, открытой, свободной, творческой, а также в Церкви как хранительнице сокровищ такой веры. Поэтому все зависит от того, какая социология и какое христианство.

Я не знаю, был ли верующим Юрий Александрович. В те годы, почти 40 лет назад, когда я с ним впервые увиделся на его лекциях, он не производил впечатление особо верующего человека. Я думаю, что церковным он точно не был, хотя совсем не могу сказать, что он не был верующим. Слишком много в нем было смысла, интеллигентности, духа, какого-то благородства, честности. Это свойственно христианам, воспитанным в первой половине XX века в России. В любом случае его духовная жизнь была реальной, богатой и подлинной. Очень надеюсь, что он был человеком верующим. Опять же можно сказать, что нельзя не молиться сейчас за него, о его упокоении. Даже если по какому-то несчастному человеческому случаю, по иронии судьбы Юрий Александрович не считал себя верующим, даже в этом случае за него надо молиться, потому что Христос присутствовал в нем, в его трудах, во всей его жизни внутренне, мистически, прикровенно, может быть не вполне выявлено, но реально. Господь наш говорит в Евангелии: «По плодам их узнаете их». Вот если сейчас судить по плодам, да и по духу тоже, то жизнь Юрия Левады – это свет. Это то, что близко и каждому человеку, и, верю, Самому Богу. Поэтому для нас и, по понятным причинам для меня, сегодняшняя кончина Юрия Александровича – серьёзная потеря и рана. Хотя знал я его не так много и не так долго, и очень, очень давно. Вечная ему память!

– Спасибо, батюшка.

www.sfi.ru

Е. Петренко

ПАМЯТИ Ю.А. ЛЕВАДЫ

Юрий Александрович ушел от нас, не дожив до трех часов дня, в четверг 16 ноября 2006 г. Ушел непосредственно из-за своего рабочего стола, никого не оповестив, никого не обеспокоив… Он так для себя решил… Он себя отпустил… Сердце остановилось…

Это уже потом, когда его уход был обнаружен (никто не ведает, сколько секунд ли, минут ли прошло с момента его ухода) были панические действия сослуживцев, соратников, учеников, пришла боль утраты, невосполнимость потери… Панихида… Прощальные слова… Слова чужих… слова своих… Как последняя точка – крест на могильном холмике…

Теперь мы все будем работать без Ю.А. Левады. Без проложенной им колеи. Далеко не каждый из сегодняшних российских поллстеров по этой его колее шел, но все, практически без единого исключения, на эту его колею оглядывались, по ней сверяли направление своего движения…

Мне удивительно повезло в жизни: во второй половине 1960-х, оказавшись в аспирантурке ИКСИ АН СССР, я познакомилась с Ю.А. Левадой, слушала его лекции по истории философии. И сейчас отчетливо помню зачарованно внимательную тишину нашей аспирантской аудитории, в которой звучит негромкий слегка высоковатый голос, рассказывающий про платоновскую пещеру…, необыкновенно сияющая голубизна его внимательных глаз…, неспешная ритмика речи…, не очень четкая дикция… У Левады была удивительная манера внимательно вглядываться (сейчас бы я сказала – тестировать) в аудиторию, отслеживая возникающие диссонансы, которые всенепременно прояснялись в его заключительном подытоживании сказанного… Потом были его знаменитые семинары, встречи у общих знакомых и, наконец, работа с ним во ВЦИОМе вплоть до начала 1990-х.

Практически все и профессиональные и общественно политические издания откликнулись на уход Ю.А. Левады словами известных и не очень социологов, словами, склеивающимися от мучительной до скрежета зубов боли, или пронзительно звенящими от несдерживаемых рыданий, словами тоски, словами беды, словами отчаяния…

Время меж тем идет. Прошло сорок дней. Начался наш первый год без Ю.А. Левады… Попробуем вдуматься в то, что он нам оставил, в его слова, реплики, тексты…

Вот два фрагмента из бесед Ю.А. Левады с журналистами в 2006 г.

* * *

Журналист: *...слово Юрию Александровичу Леваде, нашему знаменитому социологу.*

Ю. ЛЕВАДА: *...Не надо эпитетов только, ради Бога, иначе трудно будет говорить…*

* * *

Журналист: *...Аналитический центр Ю. Левады ... Ну, во всяком случае, центр своего имени?*

Ю. ЛЕВАДА: *Не имени, именем* ***потом*** *назовут. Пока – просто.*

* * *

Вот фрагмент из Публичной лекции ПОЛИТ.РУ, прочитанной Ю.А. Левадой 16 декабря 2004 г.

... Когда нам случилось собраться вместе во второй раз, лет уже 16 с хвостиком назад, то оказалось, что прежде всего предстоит заняться одним из вариантов «новой социологии». И, вот, к «новой социологии» можно отнести с некоторой долей условности опросы общественного мнения ... На самом деле, почти нигде в мире эти опросы к социологии не относятся. Это прикладные занятия, которые служат в разных социальных областях – от медицины до маркетинга, включая избирательную политику и всю политику. Но… у нас и социо-

логия – не социология, и поэзия – не поэзия… За последние 15 с хвостиком лет, когда как будто бы всякие ограничения (по крайней мере – теоретические) сняты, и можно заниматься чем угодно, думая как угодно, мы оказались во многом в том же состоянии, как наша литература или художественная культура: ограничений нет – можете писать или рисовать все, что хотите, а писать и рисовать нечего… Что оставалось? Делать то, что мы могли. Мы могли и пытались превратить изучение общественного мнения в средство изучения общества, в отрасль социологии. ***Социологии понимающей.*** *Те, кто в этом участвует, знает, что мы не зря придумали такой девиз: «От мнения к пониманию». Мы собираем мнения многих тысяч людей, и мы обязаны их понимать. Обязаны понимать, что это значит. Обязаны через это стекло увеличительное или волшебное, кое-что увидать. … Кое-что мы пытались увидеть. Не то что мы придумали особую науку, но особое применение общераспространенным способам мы пытались придумать – иногда успешное, иногда – нет. Условно говоря, я называю это «малой социологией». Не путая с большой. Но имея в виду то, что мы здесь стоим и пытаемся что-то сделать. … Больше 16 лет мы так работаем. Иногда бывает интересно, иногда бывает скучновато. За свою работу не стыдно, а, вот результат иногда пугает. Пугает, заставляет ежиться… Но что делать?.. К сожалению, это не наша продукция такая, это мы живем в таких условиях и нам приходится в большой мере заниматься тем, что разбивать наши собственные и чужие иллюзии. Иллюзии о том, что мы освободились и нашли новую дорогу …, о том, что достаточно хорошего знания – и можно будет верную дорогу подсказать. Ну, если не правящим людям, то остальным – оппозиции, критикам. Оказывается, что все это довольно трудно и подсказывать – скорее всего вообще не наше дело. Наше дело состоит, прежде всего, в том, чтобы понимать. Если сумеем понять, можно строить какие-то предположения о том, что может быть дальше…*

А вот финал из опубликованного в последнем 5 (85) номере «Вестника общественного мнения» материала Ю.А. Левады «Человек недовольный?»:

... В нынешних условиях широко распространенное общественное недовольство не имеет определенного «адресата»: оно не направлено ***против*** *власти, режима, конкретных политических деятелей, так и на утверждение или защиту определенных институтов, прав, достигнутого ранее уровня возможностей и т.п. ... Отсутствие организованности («канализированности») настроений массового недовольства создает основу для манипулирования ими со стороны власти… Еще одна ... черта отечественного массового недовольства… – размещение «позитивной» точки отсчета в мифологизированном прошлом. Уровень запросов, а потому и мера их удовлетворения, определяется обращением не к перспективным, а к пройденным образцам. С этим связана ... живучесть консервативно-ностальгических стандартов в общественном мнении. ... Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни, в том числе с помощью массовых опросов, не способен обнаружить ни в озабоченных «низах», ни в более удовлетворенных «элитарных» слоях реальных «ростков» иной системы отношений между человеком, обществом и государством, которая может и должна быть сформирована с изменением обстоятельств и в результате целенаправленных усилий.*

«Мир России». 1.2007 г. XVI

А. Ослон

В ЛЮБОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ АВТОРИТЕТЫ

В любом деле есть авторитеты. Но крайне редко в сообществе бывает кто-то, чей авторитет – неоспорим, репутация – несомненна, лидерство – бесспорно. В российской социологии так было. До черного четверга, 16 ноября 2006 года. В этот день умер Юрий Александрович Левада. За рабочим столом.

Его верность идеалам социологии как науке советская власть испытывала гонениями, но он стал Легендой и Учителем. Его интеллект и глубокое понимание постсоветской социальной реальности привели к разочарованиям, но превратили в Гуру, чей негромкий голос нельзя было ни спутать, ни игнорировать.

Я знал его примерно пять лет. Знал в том смысле, что слушал и говорил с ним. Это было двадцать лет назад, когда я – технарь-программист – не мог понять его. как и он меня. Ровно пятнадцать лет назад он сказал мне об этом. С тех пор его голос я слышал только через тексты. Слышал, потому что слушал. Все это время я шел «от мнений к пониманию», к социологии. И – подспудно – к прерванному разговору. Еще вчера возможно было возобновить его. Но не сегодня. И уже никогда…

Простите, Юрий Александрович!

«Социальная реальность» № 12. 2006

СЛОВА ПАМЯТИ, ОТКЛИКИ В ИНТЕРНЕТЕ (из Живого журнала)

* * *

Трудно подобрать слова… Я несколько лет работала во ВЦИОМе, а затем в Левада-Центре, и всегда у меня было чувство, что я слишком мало говорила с Юрием Александровичем. Хотя дверь в его кабинет была всегда открыта, и он отвечал на любой вопрос неизменно с участием и вниманием, часто совестно было отвлекать его своими дилетантскими соображениями… Теперь еще больше буду жалеть, что недостаточно полно использовала свой шанс побыть рядом с этим большим человеком…

* * *

Не проходит и года, чтобы не ушел один из основоположников нашей специальности… грустно… сможем ли мы составить им достойную смену?

* * *

Я не знаю, что сказать… Новость ужасная, но, с другой стороны, такой смерти можно только позавидовать. Говорят, она даётся только очень хорошим людям…

* * *

Нечего сказать… Ушёл отец российской социологии. Сильно переживаю, хотя и не узнал Юрия Александровича лично. Читаю его лекции на Полит.ру. Вспоминаю А. Филиппова, который со слезами на глазах рассказывал о Батыгине 3 года назад… Чувство такое, что умер кто-то очень близкий.

* * *

Юрий Левада умер. Нет слов, очень жаль. Хочется перечислить, кто потерял этого великого человека: Россия, наука, социология, демография… Но это бессмысленно – потеряли все.

* * *

Умер Левада

Я работала в компании, возглавляемой этим человеком. Он вроде не участвовал в делах. Но если надо было решить что-то, что требовало верховного арбитража, шли к нему. Да, он в упор не замечал коммерческую и жестокую действительность.

Да, он слишком сильно симпатизировал одной политической силе, не стараясь быть объективным.

Но он был совестью.

И не молчал.

А вчера умер.

Умер, потому что вовремя не доехала скорая.

* * *

Левада. У меня просто слов нет передать, как его будет не хватать.

* * *

Мне всегда казалось, что в российской социологии три первых имени – Заславская, Ядов и Левада – и я эту мысль распространяла. Три первые имени – для несоциологов, по какой-то такой суммарной легендарности – сами социологи имею право на любые другие картины.

* * *

Rest in Peace. Yuri Levada died today, at the age of 76.

* * *

Юрий Александрович Левада. Он верил в то, что делал. Светлая память.

* * *

Умных много, мудрых – мало. И они уходят…

* * *

Вот так. Батыгин. Дилигенский. Крыштановский. Теперь – Левада. 50-летние, 75-летние… Ригористы и авторитарные демократы. Амбициозные. Упорные. Последовательные. Причастные к множеству институций и сами по себе – институции.

Одно слово – «Левада-центр». Именно так.

ВЦИОМ – исток, здесь были все: и Грушин, и Заславская, и Левада, и Ослон, и многие-многие другие. «Левада-центр» - итог и суть.

В 92-м от ВЦИОМа отъехал грузовичок с сотрудниками ФОМа. Полтора года назад с улицы Казакова уехали новоиспеченные сотрудники ВЦИОМ-А, вскоре переименованного в «Аналитический центр Юрия Левады». Ему очень за 70, он очень сильно болеет – но не снимает с себя полномочий. Может быть, потому что его привыкли видеть главным, и он не может не быть таким.

И вот – он умер за рабочим столом, только в понедельник выйдя с больничного.

Так уходит эпоха.

Грустно. Очень грустно.

* * *

Нам такими не бывать. Нам такими не быть.

* * *

Это большая потеря… соболезную всем нам. Никогда не забуду его лекцию, которую он прочитал 6 лет назад социологам первого курса Выщки, пришедшим на первую лекцию в своей жизни, 1 сентября. Для нас путь в социологию начался с Юрия Левады.

* * *

Нам останется только гордиться, что мы жили с ними в одно время… или в одни времена.

* * *

Социология и мудрец. Левада был всегда, и вот умер. Скоро совсем не останется таких людей, новых не делают, разучились растить великих.

Социология – не наука в строгом академическом смысле, это ещё лишь лаборатория истории современности, причём истории не вообще, а лишь в понимании, как то ни парадоксально, Марка Блока, скорее художественном, нежели собственно научном. Именно поэтому от социологии (если ею занимается не холуй, конечно) никогда не пахнет плесенью, она интересна и легко отзывается в людях кажущейся простотой и очевидностью. Но именно потому же в ней напрочь нет подлинного академизма и глубины понимания; люди ранга Левады, редчайшие – обнаруживают эту глубину не из своих научных занятий, а по собственным качествам, от жизни. То есть Левада был велик не потому, что он был большой социолог, а наоборот, это социология у него выходила серьёзная, потому что он был мудрецом. И говорил он замечательно, не раздражая, но побуждая думать.

В моей науке всё совершенно иначе устроено. Она уже взрослая, и в состоянии не только возвышаться за счёт занимающихся ею мудрецов, но и продолжать их. Среди археологов редко встретишь мудреца от жизни, всё от науки да от науки.

* * *

Умер Юрий Александрович Левада. Глубокие соболезнования его близким, коллегам, и нам, друзья, – ученикам его учеников.

* * *

На одного хорошего человека меньше.

* * *

Сегодня умер Юрий Левада. По его исследованиям и работам я учусь уже пятый год. Кто теперь будет моим учителем – не знаю.

* * *

Меня окружает его поколение ученых. Моих старших коллег. И я подумал, что так вот они и уходят: тихо, на работе. Оставляя огромный след в науке и глубокую рану в сердцах людей. Не всегда знавших их лично, но потерявших часть своей жизни с их уходом. Почему-то вчера эта новость меня… убила что ли…

* * *

Для меня этот человек значил очень много. Как профессионал и один из столпов отечественной социологии. Как старший коллега и учитель, хотя мы и не были знакомы. Один из лучших – если не самый лучший – политический социолог России. Ему было 76 лет, но он продолжал работать. Смерть застала его за любимым делом, которому он отдал лучшие годы своей жизни. Это был великий человек. Без преувеличения. Светлая ему память и пусть земля ему будет пухом.

* * *

Вот… не стало Юрия Александровича Левады…

И как-то зловеще-пророчески звучат в ушах слова Н.И., которая сегодня сказала: «Я пишу статью о смерти количественной социологии!»…

* * *

От себя могу сказать одно: Левада… был… тем социологом, которого стоило слушать, даже если не было согласия с его позицией. И, конечно, теперь остаётся лишь вспоминать то единственное его выступление, которое мне довелось увидеть воочию – в марте этого года… увы, увы, увы!

* * *

Левада не дожил до зимы. Архитворческою личность был.

* * *

Умер Левада. Мудрый и строгий. Он читал иногда нам семинары, медленно и как-то честно. Улыбался редко, чаще просто смотрел особенным своим левадовским взглядом, открыто, внимательно и тепло. Он не роптал, когда его фактически пытались лишить профессии, не клял власть и конкурентов, не набирал очков опальника. У Левады можно и нужно было учиться достоинству.

Я помню, как погрузнел, осунулся, посерел он, когда начались проблемы с фондом, но умел держать удар. Он был старым человеком, но не был стариком.

Спасибо Вам, Юрий Александрович, за то, что Вы были и в моей жизни.

* * *

Левада умер. На ближайших выборах нормальной социологии не будет.

* * *

Левада умер сегодня. Это потеря. Это был великий человек, последний независимый социолог такой величины. Он еще мог очень много сделать, а социология как никогда нуждается сейчас в таких людях… Земля ему пухом.

* * *

Сегодня умер Юрий Александрович Левада… Комментировать это тяжело, да и не нужно – для тех, кто знал его, это ничего не изменит, а для тех, кто не успел – после…

* * *

Первый раз в связи с этой новостью увидела его фотографию, до этого знала про него по работе, мы их «Вестник» читаем, общалась с сотрудниками из «Левада-центра». Очень хороший был социолог. Без него не было бы современной социологии. На фото лицо доброе, пытливое. Когда жизнь покидают такие люди, становится невыносимо грустно.

* * *

Умер Юрий Левада. Для меня этот человек был не только символом отечественной социологии, но и просто потрясающим образцом энергичного, умного, сильного духом человека. Слушая его комментарии к политическим или общественным событиям, публичные выступления перед студентами, я всегда поражалась, как этот совсем уже немолодой человек умудряется сохранять живость ума, проницательность и силы. Силы работать и работать плодотворно, отстаивать свою точку зрения и начинать заново в казалось бы безнадежной и унизительной ситуации.

Е. Головаха

СОЦИОЛОГ ЮРИЙ ЛЕВАДА: ЛЕГЕНДА, ЛИЧНОСТЬ, ЛИДЕР. ВЗГЛЯД ИЗ УКРАИНЫ.

Рассуждая о нынешних непростых российско-украинских отношениях, местные историки и публицисты вспоминают о выходцах из Украины, которые немало сделали во славу российской культуры и науки. Можно долго перечислять имена выдающихся людей, имеющих более или менее глубокие украинские корни, но раскрывших свой талант и получивших признание в России. И если в этом ряду стоит имя Юрия Александровича Левады, украинцам, действительно, есть чем гордиться и о чем сожалеть: гордиться тем, что выдающимся ученым и общественным деятелем России стал человек, которого по праву они могут считать своим соотечественником, а сожалеть о том, что украинская социология последних десятилетий развивалась без непосредственного участия Юрия Левады, который мог бы во многом повлиять на ее развитие в духе высших профессиональных и нравственных требований.

Впрочем, и без непосредственного участия Юрия Александровича в научной и общественной жизни Украины, его влияние на общественно-политическую жизнь в нашей стране было весьма заметным. И дело не только в том, что он не раз участвовал в украинских социологических конференциях, что украинские средства массовой информации постоянно публиковали данные исследований ВЦИОМ (в последние годы Левада-Центра) и комментарии его руководителя. Самое, может быть, важное заключалось в том, что слово Левады являлось решающим критерием в оценке общественного мнения в России. В сознании мыслящей части украинской интеллигенции Левада олицетворял все лучшее, что есть в российской общественной жизни, и его уход из жизни стал для нее не меньшей потерей, чем для тех россиян, которые сумели в последнее десятилетие сохранить свободомыслие и независимость от власти.

Об этом 18 ноября 2006 года написала самая авторитетная в

Украине газета «День»: «Это потеря не только для российской интеллектуальной элиты, но и украинской. Исследования, проведенные под руководством Ю. Левады во ВЦИОМе, а в последние годы – в «Левада-Центре», позволяют понять, как менялось общественное сознание в эпоху перехода от советского строя к демократии и рыночной экономике как в России, так и в Украине. Человек твердых демократических убеждений, Ю. Левада вместе с тем был свободен от политической ангажированности – поэтому авторитет его суждений был особенно высок. Свидетельством этого являются оценки, которые российский социолог давал событиям и тенденциям, происходивших в России и на пространстве бывшего СССР. Ю. Левада, в частности, отметил, (когда в один из приездов на родину в Киев он был гостем «Дня») о проблеме утерянного величия и о том, что Россия не может освоиться со своей постсоюзной ролью, власть и народ воспринимают распад СССР как катастрофу. Очень точными являлись его характеристики политической ситуации в Украине, где наблюдается противостояние разных сил: блоки создаются, распадаются, конкурируют друг с другом, в то время как в России, где существует одна доминирующая сила – административная, этого нет. Он был сыном известного украинского писателя Александра Левады, настоящим украинским интеллигентом, который много лет прожил в России, но всегда с глубоким душевным переживанием относился к тому, что происходит у нас.»

Когда сегодня в Украине с сожалением говорят об «утечке мозгов» в западном и северо-восточном направлениях, забывают сказать о том, что во многом благодаря выдающимся землякам в ближнем и дальнем зарубежье украинцы имеют основания гордиться своим вкладом в мировую науку и культуру. Все, что создано Юрием Александровичем Левадой в социологической теории и практике, в равной мере необходимо российским и украинским социологам. Думаю, что всем нам – и в России, и в Украине, – крайне необходимо понять удивительный феномен жизни и личности Юрия Левады, с именем которого связаны, возможно, две самые драматичные и героические

страницы в истории «застойной» советской и современной российской социологии; человеческие качества которого не могли не восхищать людей, способных ценить мужество, благородство и преданность науке, а способность быть лидером и организатором работы научной школы была по-своему уникальной. Именно об этом – о Легенде, о Личности, о Лидере – я и хочу сказать, исходя из опыта опосредованного и личного общения с Юрием Александровичем.

ЛЕГЕНДА

Познакомился я с Юрием Александровичем только в начале 1990-х, когда приехал в Москву с Наталией Паниной, которая в те времена работала в Центрально-Украинском отделении ВЦИОМ. До этого знал только Легенду о расправе над социологией, бросившей вызов всесильному марксистско-ленинскому учению и павшей в неравной борьбе с партийно-научной номенклатурой. Из разрушенного храма науки были изгнаны жрецы, место которых заняли «торгующие». А началось все с Левады… В общем, «в начале было слово… и слово было Левада». Первая же встреча с Юрием Александровичем развеяла мои библейские представления о «великой миссии» и «мученике науки». Меня даже несколько огорчило ироничное и незаинтересованное отношение реального Левады к Леваде легендарному. Подумал, что в такой позиции есть своеобразное кокетство. Но вспомнил и свою маму, которая не любила вспоминать о военных подвигах, за которые получала ордена и медали. Тем, видимо и отличаются люди истинно бесстрашные, что о своем бесстрашии говорить не любят.

И еще одна социологическая история, ставшая легендой уже в славные времена умиротворения России после буйной эпохи разгула демократии 90-х. Как и в славные советские времена, не все социологи правильно поняли свою новую миссию. И снова в центре событий Юрий Левада. Его уход из государственного ВЦИОМа вместе со всеми (за редким исключением) сотрудниками стал символом сопротивления научного

сообщества государственному диктату и попыткам власти ограничить свободу научного осмысления социальной действительности. Редчайший дар был у Юрия Александровича – творить легенды, без которых жить и работать в этом мире было бы совсем грустно каждому, кто не совсем лишен чести, достоинства и профессионализма.

ЛИЧНОСТЬ

Каждый раз, приезжая в Москву, я приходил к Юрию Александровичу Леваде. Без общения с ним не мог представить себе поездку в столицу государства, в котором уроженец Винницы стал живой легендой и моральным лидером не только для социологов, но и для всех мыслящих и демократически настроенных граждан. По-разному назывались социологические центры, которыми руководил Юрий Левада, разными были адреса, но неизменным был сам Юрий Александрович – невозмутимый, слегка ироничный и удивительно обаятельный. Его человеческое обаяние не вызывало живого отклика разве что у сильных мира сего, отношения с которыми редко складываются безоблачно у людей, способных в любой ситуации отстоять свои взгляды и убеждения. Юрий Левада был из особой породы людей – тех редких представителей духовной элиты, которых нельзя ни купить, ни согнуть, ни сломать.

Было в нем и некоторое «украинское» лукавство, не характерное для моих российских друзей – людей, которые, при всей их просвещенности, остаются по-российски несколько простодушными и непосредственными. Немногие из москвичей, имеющих небольшой опыт общения с братьями-украинцами, могли бы разглядеть эту нашу национальную черту в подлинном российском интеллигенте Юрии Леваде. Помню интересный разговор с Юрием Александровичем о будущем Украины и России. Выслушав мои соображения, он спорить не стал, хотя, как мне показалось, не совсем был согласен с безапелляционным диагнозом будущего братских государств (это была совсем не российская реакция на мнение собеседника по вопросу,

касающемуся судеб России и ее соседей), только с едва заметной иронией заметил «Ну, Вы пророк, я так далеко не заглядываю». Но на самом деле он и был пророком, предсказавшим в своих статьях и интервью многое из того, что уже произошло в России и что еще может произойти в обществе, которое он когда-то назвал «постмобилизационным». Предсказал он и новую мобилизацию, и новые вызовы, с которыми столкнется российское общество в будущем.

ЛИДЕР

Сегодняшний социолог – существо преимущественно суетное и беспокойное. С каждым «переходным» годом все труднее становится совместить «гений и злодейство» – серьезные научные исследования и конъюнктурную активность. В таких условиях наука не может выжить без моральных лидеров. Таким лидером в нашем социологическом сообществе не одно десятилетие был и остается в своих трудах Юрий Александрович Левада. Читая сегодня статьи и книги Ю. Левады, знакомясь с разносторонней и высокопрофессиональной деятельностью руководимого им крупнейшего в России центра эмпирической социологии, я понимаю, каких усилий, нервов и самоотдачи требовала такая работа. И умер Юрий Александрович как истинный лидер, в рабочем кабинете, среди книг и недописанных рукописей…

Он ушел, но остался созданный им Аналитический центр, где лучшие российские социальные аналитики многие годы вели летопись общественных перемен, где была создана фундаментальная социологическая школа, которую в статье, подготовленной несколько лет тому назад для украинского журнала «Критика», я назвал «школой ВЦИОМА». Того ВЦИОМа сегодня нет. Есть Аналитический центр Юрия Левады и есть социологическая школа Юрия Левады, есть журнал «Вестник общественного мнения», многочисленные статьи, раскрывающие основные тенденции и закономерности общественных изменений в России, наконец, есть книги, опубликованные

Ю. Левадой и его единомышленниками.

Каждый из них изучает своего героя. Для Ю. Левады – это «человек постсоветский», отличающийся от советского представителя гоминид способностью к «социальному прямохождению», однако сохранивший и в чем-то приумноживший лукавство и двоемыслие своего предшественника. Для Б. Дубина более интересен «человек мыслящий, а следовательно, существующий» во всей полноте его социально-культурных проявлений. Л. Гудков в последние годы сосредоточил внимание на механизмах обретения россиянами новых социальных идентичностей. Но тем-то и отличается научная школа от группы ученых, собравшихся в одном учреждении для подготовки научных трудов, что, при всем разнообразии интересов, представители Школы в поисках истины исходят из общего понимания основополагающих принципов научного познания социальной действительности, что позволяет им всем вместе достигать большего, чем мог бы добиться каждый в отдельности. Пожалуй, никто в России, да и во всем постсоветском пространстве столь основательно и разносторонне не рассмотрел процессы социальных изменений последнего десятилетия. Никто не обобщил столь грандиозный эмпирический материал, полученный в массовых опросах, никто так дотошно не анализировал нюансы общественной жизни личностных трансформаций в постсоветском мире. Книги, рожденные в Аналитическом центре Юрия Левады, я бы посоветовал прочитать каждому, кто склонен понимать Россию умом, – это своеобразная летопись новейшей истории российского общества. В этой летописи находят место и личные пристрастия летописцев, но главное в ней – это обобщенный опыт многолетних социологических исследований, без которого рассуждения об обществе были, есть и будут «игрой в бисер» – всегда занимательной, нередко креативной, но никогда не перемещающейся из бесконечного пространства возможного в закрытую для непосвященных область необходимого.

Собственно, именно этот процесс – затянувшегося социального выздоровления постсоветского общества, – всегда нахо-

дился в центре внимания Ю. Левады и его коллег. Уже в первые годы проведения их исследований, когда российская демократическая общественность была охвачена перестроечным энтузиазмом, им удалось обнаружить главную, быть может, угрозу для демократической перспективы постсоветского общества. Речь идет о психологии базисного типа личности, которая, по данным проведенных исследований, была столь же несовместна с демократическими и правовыми устоями социальной жизни, как гений и злодейство. Об этом они написали свою коллективную монографию – «Советский простой человек», которая была опубликована в 1993 году и во многом оказалась пророческой. Как отмечал один из рецензентов этого труда - социолог Александр Согомонов, «вдумчивое знакомство с рецензируемой книгой, как кажется, несколько поубавило бы романтизма в обновленческих настроениях «младороссийской» интеллигенции» [Социологический журнал. – 1994. – №1, с.185]. Энтузиазм поубавился очень скоро – после победы партии Жириновского и последовавшим за этим актом массовой электоральной безответственности, всплеском шовинистических настроений среди политиков, приведших Россию к чеченской трагедии. Для многих людей, в том числе и достаточно искушенных в вопросах общественных трансформаций, эти события оказались непредвиденными и шокирующими. Но только не для Юрия Левады. В его концепции «вынужденной демократии» (суть концепции заключается в том, что демократизация зашла значительно далее того, чего хотели возглавлявшие ее лидеры и приветствовавшие ее поначалу массы) нет места чуду сказочного обновления общества.

Логика рассуждений и выводов ученого, исследователя, аналитика принципиально отличается от прихотливой мысли социального фантазера. Для последнего нет разницы между древним мифом и сегодняшними социальными реалиями: и если уж из морской пены родилась прекраснейшая Афродита, а из головы Зевса – мудрейшая Афина, то почему бы из перестроечной пены не выйти правовому государству, а из головы бывшего секретаря обкома – уважение к человеческой жизни и

достоинству. Для истинного ученого (а таких – единицы, ибо наука – это удел избранных, посвященных, а не обладателей кандидатских и докторских дипломов, каковыми ныне обзавелись легионы высокопоставленных невежд), рождение нового общества – сложнейший, противоречивый и во многом все еще непредвидимый процесс изменения взаимосвязанных социальных структур, институтов, механизмов самоорганизации и управления.

Этот процесс не познан в той мере, в какой возможны безошибочные социальные прогнозы и беспроигрышные политические решения. Однако в работах лучших социологов уже сегодня заложено многое, без чего завтрашнее общество не сможет обойтись, если у него действительно есть демократическая перспектива. Юрий Левада не отрицал такую перспективу для России, более того, в последних своих публикациях он отмечал постепенное изменение системы массовых ориентаций в направлении, совпадающим с общецивилизационным процессом. Однако в современной стабилизации российского общества он видел и новую угрозу для хрупкой демократической мечты, обнаруживая социальный механизм всенародного выбора новой надежды нации – «агрессивную мобилизацию общества», которая приходит на смену авторитарному своеволию недавнего прошлого. Возможно, именно этот негативизм по отношению не только к другим, к «чужим», проявляющийся в массовой ксенофобии, но и по отношению к себе, к своим собственным возможностям жить лучше, чем в прошлом, является главным тормозом социокультурных трансформаций российского, украинского и других «постсоветских» обществ в соответствии с декларируемыми целями (политическая демократия, правовое государство, свободная экономика, массовое благосостояние).

Заключительный диагноз Юрия Левады не оставляет места для иллюзий: «На всех уровнях, от массового до официального – и не без солидных интеллигентских усилий – с различных сторон и с новой энергией реанимируются лозунги вредоносности западного влияния, недопустимости чужого вмешательства во внутренние расправы и т.д. и т.п. Как и ранее, попытки

нового отгораживания от внешнего мира, нового изоляционизма служат средством самоутверждения (на «своем» уровне) и самооправдания («не получилось») [Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки, 2000-2005. – М.: Новое издательство, 2006].

Разумеется, можно было бы упрекнуть социологическую школу Юрия Левады в принципиальном нежелании самостоятельно прописывать сильнодействующие средства излечения общества «вынужденной демократии» от тех его социально-политических недугов, которые не позволяют сделать решающий шаг к такому общественному устройству, в котором стабилизация не означала бы мобилизацию, власть не олицетворяла беззаконие, а толерантность не воспринималась как национальное унижение. Впрочем, социальные рецепты выписываются, как правило, представителями тех школ обществоведения, которые склонны к экзальтации, независимо от теоретических откровений, вызывающих это болезненное для мыслящего человека состояние. Что же касается социологической школы Юрия Левады, то отличительной ее чертой является научная беспристрастность и способность к той необходимой для истинных ученых мере отстранения от действительности, которая не позволяет им перешагнуть черту, отделяющую реальный мир от мира безответственных социальных утопий.

* * *

И последнее, о чем я обязательно должен сказать, вспоминая Юрия Александровича. В октябре 2006 года я приехал в Москву, чтобы собрать подписи российских социологов в поддержку решения Ученого совета Института социологии НАН Украины о присвоении институту имени Наталии Паниной (она была совестью украинской социологии и ушла из жизни в августе 2006). Я считал, что поддержка со стороны таких ученых, как Заславская, Ядов, Дробижева, Левада, хорошо знавших Наташу, позволит преодолеть бюрократические преграды на пути к воплощению в жизнь благородного решения моих коллег. К Юрию Александровичу я пришел без предваритель-

ного согласования и был глубоко тронут его реакцией. Он отложил все дела и при мне написал свое письмо. На прощание подарил последнюю книгу «Ищем человека» с надписью «Евгению Ивановичу на добрую память. 17.10.06». Она добрая, дорогой Юрий Александрович! И будет доброй у всех, кто прочитает Ваши книги и книги воспоминаний тех людей, которым посчастливилось общаться с Вами. А читать их будут до тех пор, пока существует социология, социологи и предмет их исследования – бесконечно сложный социальный мир, который мало кто понимал столь же глубоко и разносторонне, как Юрий Александрович Левада.

Часть II

Б. Фирсов

ЖИЗНЬ, НАПОЛНЕННАЯ БЕСКОРЫСТНЫМИ ДУХОВНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ

С первого дня нашего многолетнего знакомства с Юрием Александровичем Левадой, состоявшегося в годы возрождения советской социологии, и до трагической минуты 16 ноября 2006 г., когда остановилось его сердце, он олицетворял для меня человека, чьим девизом была борьба за свободу мысли. Этот девиз он с честью пронес через всю свою нелегкую жизнь, начав в юношеские годы с поисков места, где должны «говорить настоящую правду». Так он стал в конце 1940-х гг. студентом Московского университета, но к учебе на философском факультете его побудила не любовь к философии. Позднее он скажет: «Просто было тогда – странное мальчишеское – представление, что есть места, где должны говорить «настоящую правду». Было ощущение того, что газеты, школы, пропаганда врут, но делают это потому, что так «надо», а вот где-то и кто-то должен знать подлинную правду».

Левада, который всегда судил себя по самым строгим, едва ли не аскетическим меркам, в те годы не мог предположить, что в конце XX века мучительные поиски обетованного места, откуда возвещают правду об обществе, закончатся для него вполне успешно. Созданный при его деятельном участии и руководимый им (1992-2003 гг.) ВЦИОМ, а с марта 2004 г. – аналитический «Левада-центр» станут точками роста независимой, серьезной, честной российской социологии, сам же Юрий Александрович Левада – глашатаем бескомпромиссных научных и гражданских взглядов.

1

После университетской аспирантуры и работы в Институте философии Ю. Левада оказался в только что созданном ИКСИ АН СССР, где начал развивать традиции самостоятельного анализа социологии и смежных дисциплин. Уже тогда он не

верил в политический прогресс на советской ниве и рассчитывал только на то, чтобы развить интерес к серьезному социальному знанию, считая, что оно пригодится лет через 30-50 будущим поколениям. Он прошел через споры со своими коллегами о том, стоит ли заниматься книжными премудростями зарубежного происхождения хотя бы для того, чтобы не повторять чужих пошлостей. Главной формой жизни сектора, где он работал, был семинар. Собирались регулярно – еженедельно, иногда и чаще, для обсуждения социальных, теоретико-экономических, семиотических, культурологических, исторических проблем. Особенность семинара заключалась в том, что на его заседаниях бывали практически все, уже в те годы по праву считавшиеся яркими люди, – Пятигорский. Аверинцев, Гуревич, Баткин, Иванов, Шляпентох, Щедровицкий. Семинарская жизнь, расцветавшая в полутьме, в условиях то ли полудозволенности, то ли полузапретности, заглохла в наши дни. Но тогда было время расшатывания идеологической монополии, расширения кругозора, осторожных намеков или отдельных дерзких выходок. Сам Левада назовет эту пору семинарской, то есть временем накопления знаний, избегая говорить о нем как о периоде применения знаний в реальных социальных, политических, научных, гуманитарных практиках. Но все же что-то удавалось сделать, или хотя бы обозначить «тогда»; в частности был нащупан переход к тому, что происходит с нами «теперь».

Я и сейчас продолжаю удивляться потоку социологических озарений, который сопровождает деятельность «Левада-Центра» – ведущего центра по изучению общественного мнения в нашей стране. Этому серьезно помогает мыслительный и методологический материал, который был создан «тогда», в семинарскую пору, затянувшуюся не на один год под влиянием разборок, вызванных «делом» о левадовских лекциях по социологии. Мой атеизм не мешает мне увидеть в этой вынужденной пролонгации проявление неумолимой власти провидения.

Злополучные лекции стали поводом для гонений на их ав-

тора. Однако Левада не чувствовал за собой вины. В своем гарвардском интервью он прямо говорит: «Ни угрызений, ни переживаний у меня по этому поводу не было». Ведь он доподлинно знал, что излагает студентам мысли, выношенные *естественными* для ученого свободными раздумьями. Правда, «своевременность» (или «несвоевременность») всех мыслей в стране определялась властью, боявшейся резких перемен и потому ревностно охранявшей статус-кво. Отсюда и все беды на головы тех, кто осмеливался забегать вперед и видеть больше, чем близорукие, но всемогущие правители. Сейчас смешно, но и горько читать партийные энциклики и камлания участников всяких разоблачительных кампаний послевоенных лет. Да, это была «чушь», но каково было выносить ее тем, кому она была адресована, против кого она была направлена?

Главным в этой истории было мужественное противостояние Левады бесчисленным на него нападкам. Он относился к числу людей, твердо усвоивших на примерах идеологической войны, которую в 1950-е годы вела партия против космополитов и антипатриотов, «засевших» в различных сферах литературы, искусства, культуры, науки, что раскаяние мало кому помогает, не говоря уже о том, что «кающийся грешник» только ухудшает и дело, и собственное положение. Эта позиция четко заявлена в его гарвардском интервью, где он говорит об определенной драме всей страны и интеллигенции. Год или два спустя после посещения Гарварда он поднял ту же проблему в доверительном дружеском кругу, беседуя со мной и В. Шубкиным в будапештском отеле, где нас поселили на время работы международного семинара, посвященного реформам в России. В этом разговоре Левада подробно делился с нами впечатлениями о книге В. Каверина «Эпилог», которую он досконально прочел и принял на вооружение. Работая над статьей, я нашел в каверинских воспоминаниях то место, на которое ссылался Левада.

Неизменными спутниками «покаяний» в советское время были утрата душевного равновесия, напрасные поиски выхода там, где его невозможно было найти, отказ от самого себя в

тщетной надежде найти жанр, форму, способ выражения концептуальной мысли (для ученого), которая позволила бы гонимому творцу уйти от преследователей и остаться в литературе (науке). Однако были примеры исключения из этого правила. «Замятин написал Сталину, что он отказывается от работы «за решеткой». Булгаков, отнюдь не раскаиваясь, настойчиво доказывал свою правоту. Его не печатали с 1926 года, но он сохранил себя в работе над «Мастером и Маргаритой». Укрывшаяся в глубоком подполье поэзия Ахматовой была основой самоутверждения – и победила. Бабель замолчал, не желая лгать». Осада географически разобщала названных Кавериным литераторов, но эта пространственная разобщенность компенсировалась духовными связями, нити которой незримо соединяли «жизнедеятельные явления нашей литературы».

В каком-то смысле «наедине с собой» остался Ю.А. Левада. Его запретили печатать, обесчестили, сломав над его головой «шпагу», – лишили звания профессора высшей школы, закрыли перед ним двери университетских аудиторий, книжки «Лекций по социологии» изъяли из обращения как источники крамольных настроений. Jedem – das Seine (каждому – свое) – гласит немецкая поговорка. Я намеренно привожу аналогии, хорошо известные из многострадальной истории советской литературы. Возможно, они помогут читателю понять трудности восхождения на Голгофу научного знания в советское время.

Оборотной стороной абсолютно незаконной многолетней осады Ю. Левады оказалась свобода, с которой он мог выбрать способ социологической деятельности. Левада едва ли не первый представитель социологического сообщества, который осознал эту свободу не только как базовую ценность, но и как решающую предпосылку для получения подлинно научного знания, очищенного от идеологических суррогатов и примесей.

2

Ориентация на семинар не была случайной. Всякий, кто решит, что это было бегством от преследований, ошибется. В публичной лекции «Что может и чего не может социология»

Левада объяснил, в силу каких причин он нашел свою нишу в семинаре: «Надо сказать, что когда меня соблазнило слово «социология», то я думал о «большой социологии», которая может помочь что-то объяснить и что-то истолковать в том, что мы видим вокруг себя. Даже когда мы первый раз с кругом давних коллег и давно уже близких друзей получили возможность в этом духе работать в очень далекие 1960-е годы, оказалось, что не так много можно сделать. Не потому что кто-то мешал – это самое неинтересное из того, что бывает. Дело в том, что там, по-моему, кончался порох… Но была закваска, состоящая в том, чтобы попытаться думать, используя все варианты опыта, любые доктрины и направления, не ограничиваясь ничем»[1].

Решение изучать общество таким необщепринятым, *вольным* способом было принято в пору, когда сохранялись партийные запреты на то, чтобы заниматься (речь о научных занятиях) чем угодно и думать как угодно. Наверное, по этой причине вольномыслие помогло Леваде в конце 1980-х гг. превратить традиционно прикладное занятие, каким является изучение общественного мнения, в мощный познавательный инструмент «большой социологии» для изучения советской и постсоветской «вселенных»; увидеть эпоху разочарований в иллюзиях, ситуацию, которую многие считали беспросветной, за бесчисленным количеством поворотов и переломов советской истории, одновременно и болезненных, и интересных; говорить об осторожных надеждах на перемены к лучшему в судьбе народа, страны в целом и о макросоциальных условиях – гарантиях этих надежд. В этом смысле девиз Левады со товарищи «От мнения к пониманию» я наделил бы статусом парадигмы современной социологии, опирающейся на уникальный материал эпохи – мнения многих тысяч людей. «Моя же задача, – скажет в своей лекции Левада, как бы комментируя свои ответы Д. Шалину, – если я работаю как ученый-исследователь, в том, чтобы не печалиться и не радоваться, понимать. Это слова

[1] *Ю.А. Левада* Что может и чего не может социология / Публ. лекции на полит.ру.

Спинозы. По-моему, это эмблема научного знания в общественных науках. И в нашем призыве понимать, из мнений строить наше понимание, тоже содержится эта мысль. Я требую от себя и от людей, которые работают, не печали, а трезвости»[2].

3

Всю жизнь Левада помнил опыт нашего славного прошлого, когда опросов боялись, видя даже в относительном меньшинстве опасность, угрозы режиму. Боялись, между прочим, того, что вдруг опросы выявят 3-5% людей, не согласных с чем-то существенным для власти; того, что несогласных может быть 10%, – никто и подумать не смел. Наверное, по этой причине опросы в советское время не прижились. А если бывали, то, как правило, секретными, в исключительных случаях – для служебного пользования, то есть опять-таки для небольшого круга доверенных лиц, для «наших», как любят говорить представитель нынешней российской администрации. «Никто не должен был знать, что кто-то не согласен» – таково резюме Ю. Левады[3].

Подтвержу это курьезным примером из «застойных времен». В середине 1970-х гг. Ленинградский обком при моем и Б. Докторова участии создал специализированную систему изучения общественного мнения. Речь шла об организации опросов среди работающего населения Ленинграда. Система была построена по научным правилам и предназначалась для зондажа мнений по актуальным для партийных органов проблемам. Не без колебаний «заказчики» приняли нашу идею – выявить на основе представительной выборки отношение рабочих и служащих к очередному съезду партии. Сравнительно легко согласовав техническую и организационную сторону дела, мы натолкнулись на одно неожиданное препятствие. Заказчик возражал против формулировки ответов на «настроечный» вопрос

[2] *Ю.А. Левада* Что может и чего не может социология / Публ. лекции на полит.ру.

[3] Там же.

анкеты «В какой мере вы знакомы с материалами XXIV съезда КПСС, опубликованными в печати?» мы предложили традиционную для таких случаев равномерную шкалу ответов («ознакомился полностью», «ознакомился частично», «не ознакомился»), не подозревая, что действительное распределение этих ответов является предметом серьезного служебного беспокойства «заказчика». А вдруг доля людей, выбравший второй и – страшно подумать! – третий ответ, будет настолько большой, что станет свидетельством равнодушного отношения трудящихся города, носящего имя великого Ленина, к главнейшему событию в жизни партии и страны! Может быть, этот «настроечный» вопрос лучше убрать? Смущала «естественность» (для социологов) третьего ответа. Возможно ли, чтобы советский труженик не удосужился прочесть материалы съезда без уважительных причин? В окончательной редакции злополучный ответ выглядел так: «не успел ознакомиться с материалами партийного съезда». По легенде сметливого «заказчика», это должно было означать, что респондент хотел было прочесть партийные документы, но какие-то внезапно возникшие обстоятельства помешали ему это сделать. Такова тогда была граница «правды», которую мысленно устанавливал «заказчик». Еще один логически возможный ответ (материалы съезда партии меня не интересуют») был связан с реальностью, вернее с той ее частью, куда «вход был строго запрещен». Лиц, которые так думали, устанавливали уполномоченные на то органы, с которыми у партии были свои отношения. Для их обнаружения не требовались опросы общественного мнения. Утверждаю, что этот ответ показался бы партийцам-аппаратчикам едва ли не «расстрельным».

Конечно же, Левада изначально придерживался другой точки зрения. В любом нормальном обществе, в любой ситуации есть и должны быть те, которые «за», и те, которые «против». Есть спор, есть поиски чего-то более правильного, более приемлемого. Это отличает не только политические позиции, но и неполитическое моральное разномыслие. Кроме этого, существует воображаемая позиция разума – научная точка зрения,

взгляд ученого, который должен быть независимым в своих размышлениях, видеть разные стороны того, что предлагают говорящие «за» и «против». «Беда, однако, состоит в том, что когда мы рассуждаем в плоскости политики, то те, которые «за», и те, которые «против», качаются на одних качелях, сидят на одной доске. Позиция науки в несколько идеализированном виде состоит в том, чтобы видеть дальше, глубже и свободнее, чем видят те, которые «за» и которые «против». Я стараюсь *всю жизнь* (курсив мой. – *Б.Ф.*) в основном держаться на этой позиции, хотя нельзя при этом не быть человеком, гражданином»[4].

4

Если иметь в виду советскую и российскую историю, можно сказать, что властные отношения являлись фактором развития науки, как и персонажи, увенчивавшие пирамиду власти. Иносказательно последнюю мысль хорошо выразил П. Вайль: «Самосознание русской культуры (следовательно, и науки. – *Б.Ф.*) циклически меняется. «Процесс пошел». Это фольклор, выражение Горбачева останется, как останется от Ленина «есть такая партия», от Сталина «жить стало лучше, жить стало веселее», от Хрущева «кузькина мать», от Брежнева «чувство глубокого внутреннего удовлетворения» <…> «загогулина» от Ельцина, «мочить в сортире» от Путина».

«Не чуять под собой страны» (О. Мандельштам), не значит не чуять вождей, поскольку черты их личности продолжают влиять на степень академических свобод.

На практике власть и вожди всегда стремились встать над наукой. Прожив в науке более 40 лет, скажу, что в нашей стране иного не знали. Либеральный вариант («позволяйте делать кто что хочет», «позволяйте идти кто куда хочет»), то есть невмешательство, оставался недостижимой мечтой. Потому не стану далее перечислять словарные коннотации принципа lais-

[4] *Ю.А. Левада* Что может и чего не может социология / Публ. лекции на полит.ру.

sez fair – от «пусть позабавятся», как говаривал князь Долгоруков, имея в виду начинавшееся в середине XIX веке земство, до высказываний одного из университетских профессоров в годы студенческой молодости каракозовца И.А. Худякова. Этот профессор внушал своим питомцам, что свобода учения и преподавания невозможна и потому их следует «водить на помочах».

Российские общественные науки, подчеркну это, едва ли не весь период советской истории, провисели на «помочах КПСС». Среди ученых были даже такие, кто не мог ощутить себя человеком без «партийных подтяжек» (слово вполне цивильное). Занимаясь историей послевоенной отечественной социологии, я отдал дань этой традиции и предложил систему из *шести* моделей отношения научных «низов» и «партийных верхов».[5]

Их характерная черта состояла в том, писал Ю. Левада, что средний советский ученый в целях элементарного самосохранения добровольно или вынуждено, но вступал в обязательную сделку с «дьяволом», всемогущим властным партнером, партийными государственными структурами самого разного уровня. С другой стороны, этот властный партнер не мог существовать без постоянно совершаемых сделок с множеством «простых» людей, без признания за ними права на самосохранение. Должен признаться в том, что я проглядел *седьмую* модель, которую уже тогда в реальности представляли научные сообщества во главе с Ю.А. Левадой (в конце 1960-х гг. – руководимый им сектор ИКСИ АН СССР, в 1970-е гг. – научный семинар, о котором шла речь выше). Левадовские сообщества обошлись без «сделок с дьяволом», сознательно отдав себя во власть свободно мыслящей научной среды. Чтобы доказать это, я еще раз сошлюсь на мемуары В. Каверина, пользуясь тем, что Ю. Левада высоко ценил экзистенциальный опыт советских литераторов в борьбе за раскрепощение художественного

[5] *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950-1980-х гг. Курс лекций. СПб. 2001.

творчества, описанный в этой книге. Только на этот раз я «примеряю» на социолога Леваду состояние раскованности, которое пережил сам В. Каверин в один из периодов хрущевской «оттепели», будучи членом редколлегии литературного альманаха «Москва».

Опуская детали, назову лишь принципиальные предпосылки успеха писательской инициативы. Это был творческий труд, сопровождаемый обменом мнениями на базе впечатлений, полученных от совместного прочтения прозы, стихов, статей, публицистики, дневников и заметок. В регулярных встречах членов редколлегии нащупывалось единство вкусов. Над всем главенствовала драгоценная возможность самостоятельного выбора тех или иных произведений, которая связывала людей круговой порукой в классическом, а не уголовном смысле. И, наконец, главное, ради чего я отважился на эту «примерку». Работа редакционной коллегии альманаха «Москва» напоминала автору собрания кружка литераторов в 1920-х, известного под названием «Серапионовы братья». (Напомню, что девизами этого кружка были поиск новых приемов реалистического письма, неприятие примитивизма и плакатности в литературе, отрицание всякой тенденциозности, особенно социально-политической.) Это была *«пора, когда казалось, что за каждым нашим шагом строго следит сама литература. Потому принимая решение – печатать или отвергнуть, – мы знали, что под ее пристальным взглядом нельзя ни лгать, ни притворяться».*

Нравственный императив независимой науки всегда значил для Левады и его единомышленников гораздо больше, чем политические каноны режима, принудительно навязываемые властью. Это нашло свое отражение в его гарвардском интервью Дмитрию Шалину. В эпохи разных правителей он оставался неизменным со своими раз и навсегда принятыми правилами естественного поведения и кодексом чести. Потому так скупы его ответы о научном житье-бытье в советское время: он всегда делил людей на две части – интересную и малозначащую для него («кривых», «нехороших», с кем никогда не следует иметь

дела, «устраивать споры», а тем более просить о чем-либо); всегда считал главным «продолжить линию свободного научного мышления» в социальной области, но так, чтобы избежать «нарочитого лазанья на рожон»; неизменно и при любых обстоятельствах оставался самим собой, сохраняя независимость духа и свободу научного поведения; никогда не причинял вреда другим, но и себя не ронял в собственных глазах. В итоге: «Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю».

При этом Ю. Левада был скуп на слова, разговорить его, тем более с целью подробно объяснить его научное и нравственное кредо, было трудно. Не любил Юрий Александрович много говорить о себе. Нам еще предстоит перевести на язык своих повседневных представлений и действие то, что он называл «вести себя естественным образом».

5

В конце тридцатых годов великий русский ученый академик Вернадский писал, что он подразумевает под свободой мысли не просто свободу от цензуры, а *присутствие мысли во всех делах – победу умной силы.* Однако эта сила отсутствовала тогда в управлении развитием страны, и чудовищный разрыв между умом правителей и умом, который накапливался в обществе, сохранился до наших дней. Спустя несколько десятилетий тот же разрыв остро почувствовал Юрий Левада и потому без остатка посвятил себя воплощению в жизнь идеалов серьезной, независимой и честной социологии.

«Социологический журнал» № 2. 2008

Б. Докторов

НАСЛЕДИЕ ЛЕВАДЫ: ЭТО НАДОЛГО*

<…> Менее чем за месяц до смерти Левада следующим образом суммировал сделанное за годы изучения общественного мнения: «Мы стараемся делать, что мы можем делать, – профессионально. Говорить, что это получается у нас очень хорошо, я бы не стал. Получается что получается. Какое у нас общественное мнение, такая и жизнь. Говорят, что есть центры, которые стараются причесать это мнение под власть. Я вообще не понимаю, зачем это делать. Оно и так такое гладкое и причесанное… Мы ведем мониторинг постоянно, регулярно и независимо от ситуации. У нас ряды до 15 лет и больше. Такая наша жизнь со всеми ее увлечениями, разочарованиями, провалами. И в людях, и в политиках, и в зарубежных связях. Мы считаем своей спецификой не то, что мы ставим вопросы, а то, что мы стараемся их понимать. Мы считаем себя обязанными понимать, почему люди говорят так, а не иначе».

Юношеские мечты Левады о поиске настоящей, подлинной правды в зрелые годы трансформировались в глубокую исследовательскую установку – понимать социальный мир. Он в полной мере разделял спинозовскую максиму: «Не радоваться, не горевать, а понимать…» [Левада. 1993. Статьи по социологии. С. 18]. Эта мысль, внутренний императив отражены и в целях многолетней деятельности ученого, и в методах и результатах его работы.

В жизни-творчестве Левады я могу выделить три этапа (названия – метафорические): поиски собственной религии, период затворничества и годы миссионерства. Все периоды были в высшей степени продуктивными, а кумулятивный эффект – весьма значимым.

Защищая свои «Лекции по социологии», Левада потому был

* Фрагмент из статьи Б. Докторова Жизнь в поисках «настоящей правды». Заметки к биографии Ю.А. Левады.

бескомпромиссен, что не мог себе позволить отказаться от тех теоретико-методологических конструкций, которые он начал возводить. Он верил в них и не становился вероотступником. Полтора десятилетия в ЦЭМИ – я не говорю о драматизме самого факта затворничества – превратили Леваду в одного из самых образованных советских социологов, позволили ему вести свободный внутренний диалог по принципам социальной философии и политики. Невозможность публиковаться обернулась для него возможностью сосредоточенно размышлять об основах социального знания, устройстве общества и месте человека в обществе.

В Леваде не было мессианства, и он не рассматривал себя в качестве миссионера – но в действительности он таковым был. Прежде всего это было следствием его умения видеть происходившее в стране и внятно говорить об этом. К его высказываниям прислушивались политики, политологи и наиболее социально активные группы населения.

Исторически сложилось так, что в Америке и Западной Европе изучение общественного мнения является научно-аналитическим видом деятельности, лежащим на пересечении социологии, социальной психологии, политологии и журналистики. И хотя уже в конце 1930-х – первой половине 1940-х годов XX столетия изучением массовых установок занимались такие крупные ученые, как Гордон Олпорт, Пауль Лазарсфельд, Самуэль Стауффер, Стюарт Додд, а в настоящее время данные опросов, особенно длинные ряды, используются историками, социальными философами и культурологами, изучение общественного мнения во многих странах не относят к разделу академической науки. В СССР процесс становления исследований общественного мнения развивался иначе, центральные и локальные партийные организации привлекали к проведению опросов социологов, работавших в академических институтах, университетах, в научных и образовательных структурах КПСС.

Начинались опросы общественного мнения в СССР в 1960 году фактически по той же модели, что и в США, по заказу и

при поддержке газеты; Б.А. Грушин проводил их для «Комсомольской правды». Но потом он занимался ими как сотрудник институтов Академии наук. Первый всесоюзный репрезентативный опрос по месту жительства на основе территориальной выборки был проведен В.Э. Шляпентохом, когда он работал в Институте социологических исследований АН СССР. В Ленинградском отделении того же института проводил опросы работающего населения Б.М. Фирсов. В Академии общественных наук при ЦК КПСС региональными зондажами мнений занимались Ж.Т. Тощенко и несколько позже – М.К. Горшков. Значительное число всесоюзных и региональных опросов общественного мнения в 1970-1980-х годах было проведено Ф.Э. Шереги, возглавлявшим соответствующий отдел в Высшей школе при ЦК ВЛКСМ. К моменту создания ВЦИОМа в стране было защищено множество кандидатских и несколько докторских диссертаций по проблематике исследований общественного мнения.

Творчество Левады – исследователя общественного мнения – продолжало и развивало традицию изучения общественного мнения академическими (университетскими) социологами. Но он привнес в эту область социальных исследований, в значительной степени пронизанную традициями и методами позитивизма, опыт и высокую культуру социального философа и феноменолога. Время, логика развития науки и ряд внешних обстоятельств организованного плана поставили перед ним задачу: в конце XX века объединить огромный опыт, накопленный за века в социальной философии и культурологии, с новейшими достижениями в области информатики и технологии опросов. Он принял этот вызов и ответил на него. Его наследие – уникально и бесценно. Это – крупномасштабная и многокрасочная картина трансформации общественного сознания россиян в один из драматических для России и мировой истории моментов: перехода страны от тоталитарного к демократическим принципам общественного устройства. Его стиль анализа эмпирической информации – уникален, думаю, неповторим, как неповторим тот путь, которым он пришел к изучению об-

щественного мнения.

Вот как характеризует ВЦИОМовский период работы Левады Игорь Кон, который знал его в течение ряда десятилетий: «Появление Левады во ВЦИОМе было неожиданным. По складу своего мышления и направленности интересов он был прежде всего теоретиком, и если бы кто-то до перестройки сказал, что ему предстоит руководить центром по изучению общественного мнения, он, вероятно, просто засмеялся бы. Но в эпоху быстрых социальных трансформаций классические социологический модели оказались неприменимыми… Сами по себе оперативные опросы вряд ли были Леваде особенно интересны, да и количественными методами исследования он раньше не занимался. Однако он пытался за текущей информацией политического характера нащупать общие тенденции социального развития, динамику ценностных ориентаций «простого советского человека», и сделал это блестяще» [И. Кон. См. наст. сб. с. 213].

Жизнь Левады сложилась так, что после книги о социальной природе религии им не было опубликовано монографий, однако ему принадлежит значительное число статей, большинство из которых написаны уже после его перехода во ВЦИОМ. Малоизвестные читателям социологические работы периода десятилетнего молчания собраны в сборнике, увидевшим свет в 1993 году. Через семь лет была опубликована коллекция статей ученого об общественном мнении [Левада. «От мнений к пониманию». 2000]. В течение многих лет почти в каждом выпуске журнала «Мониторинг общественного мнения» (сейчас он выходит под названием «Вестник общественного мнения») публиковались статьи, написанные Левадой.

Проводя огромное число опросов (только за первое десятилетие работы ВЦИОМа их было свыше тысячи, опрошено более полутора миллионов человек), решая массу организационных проблем, с которыми сталкиваются поллстеры, он всегда оставался… нет, был прежде всего социологом. Для него изучение общественного мнения являлось важнейшей частью исследования фундаментальных социальных процессов. Девизом

левадовского ВЦИОМа и его наследника – Аналитического центра Юрия Левады – является краткая фраза: «От мнения к пониманию». Другими словами, от множества различных мнений – к настоящей правде.

Отсюда замаскированная легким стилем изложения глубокая теоретичность статей Левады; это нетрадиционное для многих аналитиков общественного мнения описание распределений голосов участников опросов. В действительности Левада непрерывно достраивал концепцию социокультурной системы и человека, которая начала у него формироваться при изучении социальной природы религии, развивалась им в серии ЦЭМИшных статей, была пунктирно намечена в небольшой коллективной книге о советском простом человеке [Советский простой человек. 1993] и затем проходила более чем десятилетнее испытание в «Мониторинге». Человек «приспособленный», или «адаптивный», человек «недовольный» и позднее – «смиренно недовольный», человек «лукавый», человек «особенный», человек «русский» – это все не просто эмпирически выявленные типы отношения значимых групп россиян к окружающему их миру, но каждый раз – проекция некоторого сложного, многомерного видения человека на определенную, заданную конкретными обстоятельствами (экономическими, политическими, социокультурными и проч.) плоскость. Человек един, правда, он – иногда быстро, иногда крайне медленно – меняется, но при разном освещении (его-то и устанавливал Левада со своими коллегами) он выглядит по-разному.

Теперь хотелось бы кратко остановиться на двух аспектах исследовательского подхода Левады, которые, на мой взгляд, не получили должного развития, и потому ряд переходов в движении «от мнения к пониманию» оказались недостаточно проясненными. Первый из них касается использования многомерных методов анализа данных опросов, второй – изучения роли средств массовой информации при формировании общественного мнения.

В середине 1960-х годов Левада одним из первых в СССР заговорил о важности использования в социологии математи-

ческих и кибернетических методов. Эти же вопросы освещались им и в его «Лекциях». Здесь же назову комментарий Левады к докладу Ядова на первой конференции в Кяярику. Он касался проблем измеряемости и надежности.

В начале 1990-х мне приходилось многократно обсуждать с Левадой ход и итоги совместной работы ВЦИОМа и международного Исследовательского института социальных изменений (Research Institute for Social Change). Проект базировался на использовании математической процедуры шкалирования, с помощью которой создавалась «европейская социокультурная карта» и определялось место России в ряду двух десятков европейских государств. Я помню, что Левада принимал логику этого метода и видел его эффективность при решении нетривиальных типологических проблем. Этот же вывод подтверждается статьей Л.Б. Косовой, в которой излагается попытка использования многомерного факторного анализа в типологии «советского человека».

Сложно сказать, почему ВЦИОМ (позже – «Левада-Центр» не вел работ в области многомерной типологии, но эта ситуация поправима; сейчас крайне важным было бы построение пространственной (многофакторной) модели «левадовского человека». Это валидизировало бы выводы Левады, обнаружившего с помощью простейших измерений столь сложную структуру сознания советского человека, и дало бы новый импульс для развития теоретической схемы Левады.

Не обладая полной коллекцией публикаций ВЦИОМа и Левада-Центра, я могу ошибаться, говоря о недостаточном внимании разработчиков проекта «Советский человек» к исследованию деятельности средств массовой информации. Пытаясь выявить главные моменты в трактовке Левадой и его коллегами процесса зарождения мнений и перехода «от мнения к пониманию», я обнаруживаю, что распределение мнений в целом трактуется ими как функция двух переменных: макросоциальных изменений в обществе и изменений, происходящих внутри «советского человека». Такая схема была бы оправданной, если бы не ставилась задача понимания природы мнений, то есть

выявления всей совокупности причин его динамичности (или статичности). Как отмечалось выше, еще в начале 1960-х Левада говорил о важнейших функциях массовой коммуникации и о демократии как проявлении компетентности общественного мнения, однако эта линия не была достаточно развернута в теоретических и прикладных исследованиях. Это тем более трудно понять, если учесть тот факт, что многие элементы модели взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения были разработаны на рубеже 1960-1970-х Б.А. Грушиным в его «Таганрогском проекте».

Он уходил очень далеко от берега

Одна из ключевых, стержневых тем рассказа-притчи Хемингуэя о старике и море возникает в словах старика, обращенных к мальчику: «Твой не любит уходить слишком далеко от берега». Речь идет о хозяине лодки, на которой работает мальчик. Сам старик любит уходить далеко от берега. Только там он мог поймать по-настоящему крупную рыбу, там он оставался один, наблюдал море и небо, говорил сам с собою.

Любая притча с вечными героями – море и человек – имеет множество смыслов, интерпретаций. Я вижу в ней и рассказ о жизни Левады. Старик – это он. Море – это то бесконечно широкое семантическое пространство, в котором Левада рассматривал, анализировал стоявшие перед ним исследовательские проблемы. Огромная рыбина – это собирательный образ тех объектов, которые интересовали его как философа, социолога и поллстера.

Зацепив огромную рыбину, старик думает: «Моя судьба была отправиться за ней в одиночку и найти ее там, куда не проникал ни один человек. Ни один человек на свете. Теперь мы связаны друг с другом… И некому помочь ни ей, ни мне». Такова же и судьба Левады. Он всегда задумывался о крупных теоретических проблемах, и он отчетливо понимал, что в поисках решений ему придется далеко уходить от берега и мелей туда, где он всегда будет один. Творчество без одиночества невозможно. Но как старик, видя облака, море и стаю диких уток,

понимал, что «человек в море никогда не бывает одинок», так и Левада не чувствовал одиночества даже в долгие годы молчания. И дело не в семинаре, собиравшемся вокруг него, дело в нем самом. Он постоянно размышлял о социальной реальности и беспрерывно думал о ее конструкции. Он не прерывал своего общения со многими учеными прошлого, задумывавшимися о «природе вещей», об устройстве тех участков социального мироздания, которые интересовали его. Для него было естественно начать разговор о социологическом анализе советского человека с упоминания о человеке Эллады и Рима [Левада. 1993. Статьи по социологии. С. 177].

Иногда старика посещала мысль о том, что, может, не нужно было ему становится рыбаком. Но при этом он знал, что для того он и родился, и был уверен, что где-то есть его большая рыба. Старик говорил себе: «Конечно, хорошо, когда человеку везет. Но я предпочитаю быть точным в моем деле. А когда счастье придет, я буду к нему готов». Думаю, что Левада исходил из того, что он родился, чтобы исследовать общества, человека, и он оказался готовым к тому, что пришло к нему в конце 1980-х: ВЦИОМу с его огромными возможностями для мониторинга крупных социальных трансформаций. Он всегда работал с интересом, со страстью.

На прощании с Левадой профессор В.А. Ядов сказал: «Юрий Александрович Левада никогда не был в отпуске, никогда не отдыхал. Я ему звоню: «Ты поедешь куда-нибудь отдыхать?» Он отвечает: «Нет». Теперь, Юра, ты отдохнешь. Ты никому ничего не остался должен». Душа Левады всегда стремилась работать, он не мог лишить себя радости каждодневного познания нового, его погоня за «рыбой» не прекращалась.

Старик, измотанный борьбой с морским гигантом и потом – со стаей акул, говорил себе: «Рыба… я с тобой не расстанусь, пока не умру». Он не смог довезти выловленную рыбину до берега, но высшая правда была на его стороне: «Кто же тебя победил, старик? – спросил он себя… – Никто, – ответил он. – Просто я слишком далеко ушел в море».

* * *

Я познакомился с Юрием Александровичем Левадой в конце 1980-х, когда начал работать во ВЦИОМе. Подошел к нему и назвался: «Борис Докторов». Он ответил: «Я знаю», – и на этом вся церемония завершилась. Когда я уезжал в Америку, он сказал мне: «Будь мужественным, старик», и в этом «старик» было и навсегда осталось что-то аксеновско-шестидесятническое.

Последний раз мы обстоятельно беседовали поздней весной 2004 года, он был гостем калифорнийского Стэндфордского университета, недалеко от которого я живу. Я приехал к нему в гостиницу, это были две небольшие комнаты с кухней; в таких «апартаментах» обычно селят приезжающую профессуру. Поговорили о целях его приезда, я рассказал немного о своих исследованиях по новым технологиям опросов общественного мнения. Как обычно, говорил Левада немного, но слушал внимательно. Дни стояли жаркие, и хотя утром было чуть прохладно, чувствовал он себя неважно, ему было трудно ходить. Я сказал, что запарковался в подземном гараже прямо у выхода из лифта и по его реакции понял, что это было удачное решение. Вся дорога от гостиницы до Центра по изучению России заняла не более четверти часа. Начался небольшой дождик, обещавший временное ослабление жары. Мы остановились там, где длинная и широкая аллея, усаженная пальмами и калифорнийскими тополями, упирается в огромное здание, выстроенное в староиспанском стиле. Перед ним – фонтаны, в просторном внутреннем дворе – копии фигур Родена. Дальше я ехать не мог, правила езды по территории университета очень строги. Леваде надо было пройти еще метров триста.

В моей памяти Левада навсегда останется человеком, идущим к другим с настоящей правдой о России.

«Социальная реальность» № 6. 2007

Д. Шалин

ЧЕЛОВЕК ОБЩЕСТВЕННЫЙ: ГАРВАРДСКОЕ ИНТЕРВЬЮ С ЮРИЕМ ЛЕВАДОЙ*

Первый раз я увидел Юрия Александровича в аудитории исторического факультета Ленинградского государственного университета перед защитой докторской диссертации Владимира Ядова. Кто-то из приятелей с философского факультета, где я тогда учился на втором курсе, указал на человека, стоявшего чуть в стороне с отрешенным видом артиста за минуту до выхода на сцену. Это был Левада, уже тогда человек с именем – его работы были хорошо известны ленинградским социологам. На автореферате Ядова анонсирована дата защиты диссертации: 23 марта 1967 года.

Левада выступал оппонентом на заседании ученого совета, но услышать мне его тогда не удалось. То ли нужно было сдавать зачет, то ли еще что-то помешало, но на самой защите я не присутствовал. Наши пути пересеклись лишь много лет спустя в Гарвардском университете, куда Левада приехал по приглашению русского центра. Я был там же в это время в качестве визитирующего ученого. Время было необыкновенное: 1989-1990 годы, перестройка, конституционные реформы, прения в Верховном Совете, и за всем этим можно было наблюдать в прямом телевизионном эфире. К полудню визитирующие ученые и профессора из Гарварда стекались в комнату отдыха Русского центра посмотреть передачи из Союза и поделиться впечатлениями о сногсшибательных новостях. В Центр с докладами приезжали ученые, политики и журналисты, и тогда же родилась идея провести серию интервью с людьми, пережившими советскую систему и участвовавшими в перестроечных реформах. Первое интервью из этой серии я взял у Б. Грушина и Н. Карцевой 11 октября 1989 года. 8 февраля 1990 года со-

* Статья публикуется с сокращениями. Полный текст в «Социологическом журнале» № 1. 2008.

стоялась беседа с Ю. Левадой и Е. Петренко. За тем последовали интервью с И. Коном, В. Паниотто, В. Голофастом, Г. Саганенко, В. Селюниным, В. Найшулем. Последнее интервью гарвардского цикла было записано 15 мая 1990 года с Г. Ханиным.

Через год после нашей встречи Левада согласился принять участие в первой конференции по русской культуре, состоявшейся в ноябре 1992 года в Университете Невады. Здесь он сделал сообщение о политической культуре в современной России. Доклад вошел главой в сборник статей участников конференции. Помню, возвращаясь с коллегами в машине из прогулки по Лас-Вегасу, я увидел одинокую фигуру пожилого человека с каким-то портфельчиком или папкой в руке, ковылявшего в направлении гостиницы (она располагалась на приличном расстоянии от неонового центра Лас-Вегаса). Это был Левада. По какой-то причине он с нами не поехал, пошел гулять один, но теперь заметно устал и с видимым облегчением принял мое предложение подвести его к отелю.

Последний раз я встретился с Левадой 16 июня 1993 года в Москве. Разговор получился коротким, он явно был чем-то занят, и я не хотел отрывать его от дела. Левада помог мне связаться с Алексеем Левинсоном и Борисом Дубиным, за что я ему был признателен. С его подачи оба согласились дать мне интервью. Магнитофонная запись доносит шум времени, выплескивая стершиеся из памяти эпизоды. К концу разговора с Дубиным в дверь комнаты, где шла беседа, постучали, слышится голос Левады: «Я прошу прощения, Боря, к вам барышня». Больше с Юрием Александровичем мне свидеться не пришлось, хотя в последние годы я изредка слышал его выступления по «Радио Свобода» и на «Эхе Москвы».

* * *

В тот февральский вечер 1990 года Ю. Левада и Е. Петренко любезно согласились прийти ко мне домой (я жил тогда в Бостоне с женой и двухлетней дочкой). Интервью заняло полтора часа. Улучив момент, когда первая сторона пленки кончилась и Левада вышел из комнаты, Лена Петренко заметила: «Он нико-

гда еще так не говорил. Похоже, он диктует свое послание». То, что я присутствую при необычном разговоре, было очевидно уже тогда, но действительное значение этого события мне стало ясно позже, в 2006 году, когда вместе с Борисом Докторовым мы решили создать онлайновый проект «Международная биографическая инициатива» (МБИ) и я взялся всерьез за расшифровку бесед Гарвардского цикла, а затем еще двух десятков интервью, записанных на протяжении последующих шести лет[1].

Левада неоднократно касался событий, связанных с публикацией его «Лекций по социологии», но обычно ограничивался несколькими предложениями, избегал называть участников событий поименно и не вдавался в обсуждение переживаний той поры. Он вообще не любил привлекать внимание к собственной персоне, хотя быстро отзывался на чужую боль. В гарвардском интервью Левада выходит за рамки общеизвестной фактологии, называет конкретные имена, дает оценки и, что особенно непривычно, описывает свою эмоциональную реакцию

[1] Сайт «Международная биографическая инициатива» – <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/programs/bios.html> – создан на базе Центра демократической культуры Университета Невада в Лас-Вегасе. Этот американо-российский проект посвящен истории российской социологии постхрущевского периода и методологии биографического метода. Сайт – англо-русский, но большая часть представленных текстов написана по-русски. Собранные к настоящему времени материалы представлены следующими рубриками: *Интервью, Воспоминания, Документы, Дополнения, Комментарии, Публикации, Некрологи и Статьи.* В них можно найти более сотни интервью, мемуаров и автобиографических заметок известных российских социологов, а также множество статей и материалов документального характера. Проф. Б. Докторов и проф. Д. Шалин являются содиректорами проекта. Проф. Б. Фирсов консультирует часть данного проекта, связанную с историей в России, к. филос. н. А. Алексеев консультирует материалы по биографическому методу. К. филос. н. Л. Козлова и к. филос. н. Н. Мазлумянова являются редакторами-консультантами. К настоящему времени на МБИ сайте размещены интервью Д. Шалина с Г. Старовойтовой, Ю. Левадой, В. Голофастом, А. Алексеевым, Г. Саганенко, Л. Кесельманом, О. Божковым, В. Шейнисом, А. Назимовой, А. Левинсоном, Б. Дубиным, В. Селюниным и И. Коном. Там же можно найти биографические материалы, собранные в рамках других проектов.

на события тех лет. Не знаю, чем объяснить неожиданную готовность к мемуарным откровениям обычно скупого на слова человека – интересом к его выступлению в Гарварде, самим фактом пребывания в США (это была чуть ли не первая заграничная поездка Левады), неформальной атмосферой встречи с бывшим соотечественником, – но интервью получилось откровенным и содержательным.

В центре обсуждения – события, связанные с выходом в 1969 году «Лекций по социологии». Как видно из интервью, Левада не придавал особого значения этой работе («сама книжка особого значения не имела и не имеет, я так всегда думал») и последовавшей разоблачительной кампании («никаких особенных внутренних переживаний я не испытывал»). Но он говорит с тревогой о прерванных на время связях («я имел очень хороший коллектив людей, с которыми любил работать, и представить себе, что я должен с ними расстаться, мне было бы очень больно») и необходимости заново искать интеллектуальную нишу и налаживать профессиональные отношения («это было несколько тоскливо и болезненно»). Однако старые отношения удалось восстановить, Левада возродил свой семинар, и тот просуществовал почти до перестройки, не давая прерываться столь важной для интеллигенции связи времен.

Левада подчеркивает, что у него нет личной неприязни к людям, сыгравшим неблаговидную роль в его судьбе, что он не любит морализировать, а старается понять социальную природу позиции, занятой человеком в критической ситуации: «Руткевич – это общественное явление. Меня он волновал постольку, поскольку он мешал работать другим людям. Сам по себе он просто неинтересен». Позиция Левады во время антисоциологической кампании конца 1960-х – начала 1970-х годов весьма примечательна. Здесь он себя проявляет не просто как жертва гонений, но как социолог, субъект включенного наблюдения, отдающий себе отчет о природе социальных сил, заложником которых он оказался и суть которых станет предметом его изучения. Здесь же вырисовывается одна из ключевых тем его раннего творчества: выбор в условиях формальной несвободы.

В 1967 году на конференции в Кяярику по ценностным ориентациям Левада выступает с докладом, в ходе которого напоминает аудитории о том, что у В. Ленина в аттестате зрелости стояла «пятерка» по закону божьему, и комментирует это так: «Почему ни у кого особенного удивления это не вызывает, потому что совершенно понятна ситуация человека в данной среде, в данном поведении. Некоторый формальный конформизм является необходимым для человека, который не согласен с обществом, и, тем не менее, вынужден в нем жить и работать. Иначе он не сможет и свои задачи и свои идеалы реализовать». После «наезда» на Леваду за публикацию «Лекций» проблема встанет перед ним лично, и не просто как теоретический казус, а как моральная дилемма, из которой он находит выход с редким для того времени достоинством и тактом.

24 ноября 1969 года проходит обсуждение «Лекций» на объединенном заседании кафедр философии Академии общественных наук и Высшей партийной школы при ЦК КПСС. После критических выступлений берет слово Левада: «В целом дискуссия за эти два вечера содержит много интересного и поучительного. Если бы ее записать и издать, распространить, получился бы ценный материал в помощь изучающим проблемы социологии, может быть, он вызвал бы не меньший интерес, чем «Лекции»».

Левада разграничивает «а) *квалифицированную*, деловую, содержательную критику, с которой тоже не всегда можно согласиться сразу, но которую следует учитывать и обдумывать и б) порой осторожные по форме, а порой и крайне резкие упреки в *идеологических* и едва ли не политических срывах…» Далее он говорит: «Как ученый и как коммунист я не могу и не хочу обходить молчанием безосновательные упреки, которые, как мне сейчас кажется, иногда основывались на недоразумениях, но иногда превращались в совершенно недостойные». По ходу выступления Левада обосновывает необходимость различать исторический материализм и социологию, защищает роль теорий среднего уровня, говорит о месте конкретных социологических исследований в марксистском обществоведении, ука-

зывает на многолетнюю историю и продуктивность дискуссии по данному вопросу и призывает удвоить усилия по созданию системы социологического знания в стране.

Главный недостаток своей публикации он видит в упрощенном толковании некоторых теоретических вопросов, вызванном необходимостью излагать сложные проблемы на языке, доступном неподготовленной аудитории, и поспешностью в подготовке к публикации первого в России учебника по социологии. Он, в частности, соглашается с И. Коном, который убедительно показал, что если в университетских лекциях можно было «избегать повторения «истматовских» тем, ссылаясь на материал других учебных курсов, в этих «Лекциях» так поступать не следовало, нужно было показать «мосты» между разными подходами к проблеме в марксистской науке». И тут же добавляет: «Букварь – тоже оружие в идеологической борьбе, если велика неграмотность или малограмотность. А вот крикливые и безграмотные сочинения некоторых наших «профессиональных критиков», неспособных ни одну проблему поставить и разъяснить, – вот это, по-моему, образец непартийности, капитулянства, сдачи позиций. Если истина – за нас, то без объективного подхода к проблеме нет и партийности».

Человеку, не знакомому с политической ситуацией тех лет, позиция Левады может показаться естественной, если не сказать ординарной, но для тех, кому пришлось присутствовать при идеологических разборках на комсомольско-партийных собраниях той поры, экстраординарность поведения Левады очевидна. Обсуждение «Лекций» прошло вслед за чехословацкими событиями, после того как первая волна протестов встретила жесткую реакцию властей. Людей уже увольняли с работы, и усиление идеологической борьбы на всех фронтах предвещало кадровые чистки.

Перечитывая документы тех лет, видишь то, чего не могли предвидеть участники АОНовской проработки. Политический климат в СССР менялся, и само существование социологической науки в стране вскоре оказалось под вопросом. На партийном собрании ИКСИ АН СССР 4 декабря 1969 года Генна-

дий Осипов еще отвергает «необоснованные выпады» против книги Левады, ссылается на «мнение дирекции и А.М. Румянцева, что различные политические нападки на Ю.А. Леваду должны быть полностью отменены», и предлагает «дать ему творческий отпуск до 3 месяцев на переработку «Лекций по социологии»».

Судьба директора А. Румянцева и возглавляемого им института еще не решена, но ветер подул в другом направлении, предвещая смену политического сезона. Дискурс-машина какое-то время продолжает работать в режиме хрущевской «оттепели», но явно начинает буксовать, а ее пассажиры извлекают из запасников старые идеологемы и примеряют безликие маски.

Итоги обсуждения подводит Ф. Бурлацкий: «А.М. Румянцев и вся дирекция заняли твердую, последовательную позицию в отношении лекций. Не только Г.В. Осипов, но и я, и А.М. Румянцев несем ответственность за порядок в институте. Оценка дирекцией «Лекций» Ю.А. Левады была дана А.М. Румянцевым в выступлении на дирекции и активе института, Осиповым и мною – на дискуссии. Лекции не отражают уровня исследований в ИКСИ, не отражают позиций ИКСИ по многим принципиальным вопросам. Лекции содержат много серьезных ошибок. Надо всегда подчеркивать, что истмат всегда будет основой общей социологической теории; категории, понятия истмата должны пронизывать все наши исследования. Самое важное – классовый, партийный подход».

И сам Левада меняет тон. Выражая готовность принять «все принципиальную критику», он признает свою «безответственность», «отсутствие связей с мировоззренческими установками», «партийную и политическую сторону тех ошибок, которые… допустил», личную ответственность «как коммуниста и секретаря партбюро за выпуск недоброкачественной работы». «Для меня, – говорит Левада, – как и для всех нас, не существует проблемы работать или не работать на основе марксизма, истмата и диамата». Но тут же добавляет: «Это надо делать в творческой работе». В результате обсуждения Леваду выводят

из состава партбюро ИКСИ и объявляют ему строгий выговор.

В гарвардском интервью есть такая фраза: «Я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю». Какие-то иллюзии по поводу марксизма в 1970-х годах у Левады еще, наверное, были. Но были и сомнения по существу и по форме выражения. Одновременно шел интенсивный поиск новых путей в социологической теории. Левада указывает на сложность ситуации в связи со своей статьей о марксистской антропологии, где он осторожно ставил вопрос об ограниченности модели экономического человека, унаследованной Марксом из XVIII века: «Писали то, что думали, но там была система шифровки, старались не договаривать до конца. [Характерна в этом отношении моя] статья об антропологии Маркса, о том, как понимал Маркс человека, написанная к столетию с его смерти. Статья была, по-моему, вполне ничего себе… То есть я думаю, представление Маркса о человеке принципиально неверное, идущее из восемнадцатого века, а вместе с этими представлениями все остальное тоже неверно». Действовала система шифровки, система двойного сознания, которая не могла не отразиться на публичных высказываниях. Но стратегия поведения Левады в целом не вызывает нареканий. Это пример разумного, по его терминологии «формального», конформизма, неизбежного в условиях несвободы.

* * *

Обращаюсь к «Лекциям по социологии». Два тонких томика в мягкой зеленой обложке с грифом Советской социологической ассоциации и Института конкретных социальных исследований. Первый за номером 20 подписан к печати 02.03.69, второй, номер 21, датирован 16.05.69. Тираж первого тома – 980, второго – 1000 экземпляров. Ответственные редакторы В.В. Колбановский и Л.А. Воловик. Полстранички предисловия автора о лекциях, прочитанных осенью 1967 года для студентов-журналистов МГУ. На основе стенограммы этих лекций и была издана книга.

Левада неоднократно подчеркивал, что «Лекции» не представляют научного интереса, что их публикация была поспешной и во многом неудачной попыткой заполнить вакуум учебной литературы по социологии. Отдавая дань его скромности, позволю себе с ним не согласиться. Работа во многих отношениях замечательная. Она имеет более чем историческое значение и должна занять должное место в корпусе теоретических работ Юрия Левады. «Лекции» сопоставимы с нашумевшей в 1967 году «Социологией личности» Кона и одноименного курса, читавшегося им примерно в то же время в Ленинградском государственном университете[2]. Кстати, Левада ссылается в своих лекциях на эту книгу и другие работы Кона. Сравнение «Лекций» с «Социологией личности», анализ причин, по которым одно издание благополучно достигло читателя, а другое пошло под нож, еще ждет своего исследователя.

Поражает раскованность интонации автора «Лекций», широта его интеллектуального кругозора, актуальность его наблюдений и обобщений. Книга писалась для непрофессиональной аудитории, что на мой взгляд, делает ее особенно интересной, поскольку предельно обнажает ход мысли автора и укорененность его социологического воображения в повседневной реальности.

На первой странице Левада замечает, что «от социологии многого ждут», и далее поясняет: «Сложное положение социологии у нас состоит в том, что, не достигнув такого уровня развития, как в некоторых зарубежных странах, она находится не только в центре внимания, но и в центре критики, к тому же и не вполне объективной». По ходу курса Левада касается традиционных вопросов марксистского обществоведения и его политической сверхзадачи, но делает это по-своему, давая понять

[2] Бытует мнение, что левадовские лекции были первым в Советском Союзе курсом по социологии. Это верно в том смысле, что до Левады социологическая наука не освещалась с такой тематической полнотой. Но были лекции, где социологическая тематика представлена достаточно широко и авторитетно. Пример тому – курс лекций по социологии личности в ЛГУ. И. Кон начал читать этот курс для студентов-физиков в середине 1960-х.

проблематичность стандартных формулировок: «Конечно, социология, как и любая другая социальная дисциплина, не может остаться в стороне от идеологических проблем. Борьба идеологий – очень сложная разновидность современной борьбы на мировой и на внутренней арене. Но сейчас совершенно очевидно, что побеждать в этой борьбе с помощью громкого крика и брани нельзя, а уважать нашу страну и нашу науку будут тем больше, чем серьезнее мы будем думать и чем более строго исследовать наши собственные проблемы» [Лекции по социологии, т. 1, с. 13]. В курсе лекций показано на многочисленных примерах, многие из которых специально нацелены на будущих журналистов, почему страна остро нуждается в социологической науке и конкретных социальных исследованиях. Конформизм, этнические предрассудки, конфликты на религиозной почве, засилье государственной бюрократии, неравенство возможностей выходцев из различных социальных слоев, сужение поля свободы в массовом обществе, опасность для человечества институтов тоталитаризма – это вопросы, занимавшие либеральное сознание в постхрущевскую эпоху и находящиеся в центре курса по социологии. Понятно, почему лекции Левады вызвали такой интерес у слушателей и спровоцировали враждебное отношение у чиновников от науки.

В лекции о личности и ролевом поведении Левада приводит рассказ А. Яшина «Рычаги», который резко критиковали, и он вряд ли перепечатывался. Колхозники собираются на партийное собрание, сетуют на невзгоды, нелепые требования со стороны начальства. Но вот начинается собрание, и люди меняют маски: бодро рапортуют о достижениях, берут на себя новые обязательства, легко переходя на язык бюрократии. Закончилось собрание, колхозники расходятся по домам, и опять звучат сетования на бессмысленность работы, мизерную оплату и смехотворные требования начальства. Разрыв между декларациями, чувствами и поведением останется объектом исследования Левады на протяжении всей его интеллектуальной карьеры.

Центральной в главе о ценностных ориентациях выступает

проблема конформизма. В массовом обществе конформизм обнаруживает себя «не только в сфере образования, культуры, но и в сфере политической ориентации, [где] человек не может быть или не хочет быть свободным и индивидуальным, он заранее действует по созданным шаблонам» [Лекции по социологии, т. 2, с. 57]. Проблема эта известна не только западным обществам, подчеркивает Левада: «Если происходит подавление всяческих индивидуальностей и групп, превращение их в серую, единую неподвижную массу, в монолит, который годится для пьедестала, но не годится для живого организма, – это явление болезненное. Если мы рассматриваем проблему применительно к нашему обществу, возникает вопрос: как может общество, которое ставит своей задачей сознательно руководить социальными процессами… противостоять тенденции к конформизму?» [Там же, т. 2, с. 60]. Такая постановка вопроса была естественна после разоблачения культа Сталина и его последствий, хотя и в хрущевские времена она могла вызвать гонения. После чехословацких событий – первый том «Лекций» вышел в свет через полгода после ввода советских войск в Прагу 21 августа 1968 года – взгляды Юрия Левады не могли не вызвать нареканий партийного руководства, озабоченного либеральными настроениями среди интеллигенции. Отсюда и клеймо, поставленное на лекциях Левады как «допускающих двусмысленное толкование».

Еще более «двусмысленными» должны были казаться партийным бонзам рассуждения Левады о природе фашизма и тоталитаризма. «Фашизм провозглашает «тотальное» общество, которое будто бы является единым и монолитным и в котором классовые и другие различия второстепенны и неважны. Для этой цели создается миф о нации или государстве… Отсюда возникает весь строй общества, власти, суда, идеологии, когда отдельно не нужно ни правосудие, ни научное мышление, – нужна власть, которая была бы всем: и судом, и разумом, и оправданием. Высшим критерием права, морали, истины оказывается фюрер, его власть… Один из признаков тоталитарного государства – полная ликвидация автономии отдельных обще-

ственных групп, сообществ, учреждений. Все должны действовать только в соответствии с интересами режима» [Лекции по социологии, т. 1, с. 95-97]. В 1970 году, после обсуждения «Лекций», в пятом томе «Философской энциклопедии» выходит статья Левады о фашизме, развивающая сходные мысли. Формулировки в ней политически были «корректны». Фашизм здесь трактуется как «типичный продукт империализма 20 в.», «одна из форм реакционных демократических буржуазных движений и режимов, характерных для эпохи общего кризиса капитализма», «кризиса буржуазного парламентаризма» и «обострения классовых конфликтов». В гарвардском интервью Левада рассказывает, как редактор «Философской энциклопедии» академик Константинов черкнул на полях верстки статьи о фашизме: «Это при них или про нас?» После чего «редактор, достаточно приличный и достаточно хитрый человек, в нескольких пунктах написал слово «буржуазный», то есть это не просто такая организация, а «буржуазная»». Прилагательное «буржуазный» применительно к фашизму встречается и в «Лекциях», но ненавязчиво, никак не приглушая ассоциации с советским обществом. Благодаря более обтекаемым формулировкам публикация в «Философской энциклопедии» вышла в свет и стала важным событием, давшим широкому кругу интеллигенции возможность задуматься о параллелях между советским обществом и германским рейхом. Статья эта, как и обсуждение тоталитаризма в «Лекциях», не утратила актуальности по сей день.

* * *

В комментариях к гарвардскому интервью Алексей Левинсон обращает внимание на то, как Левада мастерски обрисовывает реакцию людей на его статус изгоя и изменение климата в академическом мире. Помимо интеллектуальных громил вроде Руткевича («он во всех отношениях нехороший человек… и все делал как-то непрямо») и чиновников из высших сфер, читавших Леваде нотации («Вы развалили один институт, вы хотите развалить еще один?»), были там типажи с более тонкой ра-

ционализацией и стратегией выживания. В их числе «люди не очень далекие от меня [говорившие], что я всех подвел, что я высунулся», приятели, которые «зайдя в эту комнату и увидев, что я сижу за столом, обходили стол так, чтобы со мной не поздороваться», или коллеги, убеждавшие себя и других, что «мне надо же играть полезную роль, я тем-то и тем-то руковожу». Были и те, кто не чурался встречь с опальным социологом. Например, И. Кон («он относился совершенно с симпатией, он решительно все понимал») или Е. Петренко («она просто не смущалась своего положения»). В этом «спектре позиций разного типа», как его характеризует Левада, сам он себя видит человеком, нашедшим «нишу», где он может «естественно продолжать работать». Прилагательное «естественный» и его производные встречаются в тексте интервью многократно. Смысл этого слова не всегда очевиден: соответствующий «собственной сущности», «природе вещей», «ситуации»? Поведение Левады было скорее противоестественным по понятиям того времени. Тем не менее, эта характеристика субъективно важна для Левады, поскольку он снова и снова возвращается к ней, когда речь заходит о его жизненной позиции и стратегии выживания.

В постперестроечные годы Левада разработает концепцию «принципиальной двойственности («двоемыслия») советского человека как социально-антропологического типа», характерного для «советского, государственного, тоталитарного социализма». Развитие этой концепции связано с пересмотром Левадой теории структурного функционализма – важной составляющей его работ раннего периода.

Проблема системности социальных явлений поставлена в монографии «Социальная природа религии», выросшей из докторской диссертации Левады. В работе широко использованы английские, немецкие и, в меньшей степени, французские первоисточники. Эта порядком забытая книга должна стоять в ряду публикаций Мамардашвили, Гайденко, Кона, Ильенкова, Давыдова и других выдающихся исследователей тех лет, знакомивших советского читателя с западной философией и со-

циологией и раскрывавших тесную связь марксистской теории с магистральными течениями мировой мысли. В книге есть дежурные места, где Левада говорит об успехах атеистической пропаганды в Советском Союзе, но в основе ее лежит тонкий анализ взаимоотношений человека и общества, веры и знания, эмоций и разума. Показав ограниченность просветительского взгляда на религиозные верования как суеверия и продукт малограмотности, Левада разбирает кантианскую идею о божественном как моральном абсолюте, затем дает анализ Гегеля, для которого вера и знание не противоположности, а две необходимые стороны исторического процесса. После этого он переходит к марксистской трактовке вопроса об общественном сознании как социально-исторической системе: «Реальным субъектом исторической деятельности является общество как система деятельности, социальный организм, движущийся по своим законам, которые объективны, «предметны» по отношению к любому индивиду». Хотя системный взгляд на вещи свойственный марксизму как философскому учению, поясняет Левада, «понятие о системе как особом предмете исследования, имеющем дифференцированную структуру, пробило дорогу в широкую науку и логику значительно позже, и в ощутимой мере уже в середине нашего века».

Имя Толкотта Парсонса не упоминается в монографии, но его теория вскоре займет важное место в разработках Левады. В основе теории Парсонса лежит идея взаимозависимости институционально-нормативной, ценносто-культурной и личностно-деятельностной систем, образующих социальную систему общества в целом. В классическом структурном функционализме все эти подсистемы должны работать сообща, обеспечивая стабильность общества в целом. В действительности социальная система не столько эмпирический факт, сколько постулат, ориентирующий исследователя на поиски признаков системности. С некоторой натяжкой всегда можно найти функционально согласованные компоненты в данном социальном целом, но в нем же присутствуют явления внесистемного и противосистемного порядка. Примером тому могут служить

ценностные ориентации и поведение советского человека с его ярко выраженным двойственным сознанием.

На конференции 1967 года по ценностным ориентациям в Кяярику Левада занимает осторожную позицию по поводу продуктивности понятия ценности: «Мне кажется, что удобного, всестороннего понятия ценности в науке нет… Универсального значения они [ценности], наверное, не имеют. И сделать из них этакий универсальный кирпич, из которого можно в ряду с другими строить все общество, не удастся». В этой связи он и указывает на феномен «формального конформизма» в советском обществе. Выводить поведение из ценностных ориентаций, как это делает Парсонс, сложно в контексте такого общества. Скорее нужно действовать в обратном направлении – вычислять, что движет человеком, из его действий. Но в таком случае выясняется, что советский человек – это человек циничный, противоречивый. Официальные ценности советского человека, зафиксированные в моральном кодексе строителя коммунизма, мало согласуются с его поведением, а действительно важные неофициальные ценности зашифрованы. Постулат функциональной согласованности нормативной, культурной и поведенческой систем теряет здесь свою очевидность.

Отход Левады от классической модели структурного функционализма следует той же траектории, что и пересмотр теории Парсонса на Западе, где социальные конфликты с 1960-х годов подорвали веру в стабильность социальных систем. В это время оппозиция структурному функционализму в США усиливается. Критики Парсонса доказывают, что его теория не способна отдать должное конфликтным процессам и объяснить изменение социальной системы как целого в отличие от внутрисистемных изменений, воспроизводящих устойчивую структуру. Роберт Мертон предпринимает попытку оживить структурно-функциональную парадигму, различив скрытые и латентные функции системы и ее функциональные и дисфункциональные последствия. В фестшрифте по случаю 65-летия Мертона Парсонс «чистосердечно соглашается» с позицией своего младшего коллеги, открещивается от «сомнительной тенденции Дюрк-

гейма видеть в обществе конкретную субстанцию», пересматривает свой ранний синтез Дюркгейма и Вебера в пользу последнего и выдвигает на первый план анализ «символических структур» и малоосознанных «ценностных ориентаций» как мотиваторов индивидуального действия. Структурный функционализм вскоре потеряет свою «функциональную» составляющую и станет просто «структурным анализом». Артур Стинчкомб формулирует данную позицию в фестшрифте Мертона, с которой юбиляр в принципе соглашается: «…в основе процесса социальной структуры у Мертона стоит выбор *между социально структурированными альтернативами*».

Другая линия развития социологической теории в период распада структурного функционализма связана с теориями А. Шютца и Г. Гарфинкеля. Сторонники феноменологической социологии и этнометодологии ориентируются на анализ релевантных структур жизненного опыта. Драматургический анализ Ирвинга Гофмана развивается примерно в том же направлении. Это особенно заметно в его поздней работе «Frame analysis» («Анализ фреймов»). Здесь автор акцентирует игровую природу социального действия и многообразие микроструктур, из которых социальные актеры могут конструировать собственную линию поведения и реструктурировать повседневную ситуацию. Наконец, Г. Блумер, А. Страус, Н. Дензин, Г. Йоас и другие интеракционисты, следующие за Г. Мидом, развивают еще одно направление в пост-функциональной теории. Социологи, работающие в этой парадигме, исходят из неотвратимо творческого характера эмоционально выраженного и соматически воплощенного социального действия.

Во втором томе «Лекций» мы находим прозрачную критику системного подхода Маркса с его тенденцией растворять личность в социально-нормативных отношениях. Человек это не просто животное политическое (Аристотель), сгусток наличных социальных отношений (Маркс), но животное, использующее политические средства для удовлетворения своих инстинктов и потребностей. Последние испытывают на себе влияние общества, изменяясь по мере его эволюции, но они же

тормозят развитие социальных отношений и препятствуют попыткам произвольно насаждать институциональные формы.

В статье 1984 года об антропологических предпосылках экономического действия Левада говорит о «неприменимости к культурным феноменам признаков функциональности… Культуру же методологически правильнее было бы представлять не как функционально-организованный механизм, а как систему значений, приобретающих действительность и смысл (организованность) только в процессе их использования… потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по определению несводимы к социально-организационным системам». Его позиция близка к постфункциональному структурализму Мертона-Стинчкомба. Личный выбор индивида, согласно Леваде, соотносится здесь с заданным набором альтернатив: «Отсюда и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив».

Эта мысль развивается в ключевой статье об игровых структурах. Левада особо отмечает ее в гарвардском интервью («Лучшее из того, что я напечатал всерьез, по-моему, это статья об игровых системах»). Теоретическая направленность этого концепта веберианская: «игровая структура – это идеальнотипическая категория… Игровое действие так или иначе институционализировано в определенных системах культурных значений, причем последние могут носить как универсальный, так и локальный характер (неофициальный, субъективный, контркультурный, и т.д.)». Но непосредственный источник этого теоретического жеста – микроструктурализм Ирвинга Гофмана. Левада цитирует «Frame analysis» несколько раз в своей работе. Его привлекает идея многообразия игровых структур, стратегической роли камуфляжа и мгновенной смены масок в повседневной ситуации – характеристики, интимно связанные с бытием советского и, как со временем выяснится, постсоветского человека. Он не возвращается к теоретической разработ-

ке этой идеи в последующих работах, но дух этой концепции ощутим в его интерпретациях эмпирических данных и замечаниях об «игровом характере процедур общественной политики» и «хаотическом порядке» в постперестроечной России.

* * *

Последний период творчества Левады совпадает с перестройкой и становлением постсоветского режима. Именно в это время у него возникает возможность связать теоретический анализ с оперативными данными об общественном мнении на базе исследований ВЦИОМа. Здесь же возникает возможность, или видимость возможности, влиять на ход политических событий в стране. Сравнивая отечественную социологию во времена «оттепели» и перестройки, Левада замечает: «Немногие помнят специфическую атмосферу тех лет, когда никаких новых общественных ориентиров не существовало, но как будто появилась новая возможность окунуться в среду языка, стиля, методов социального мышления, заметно отличную от доминирующей идеологической догматики. Этого оказалось достаточно, чтобы начать социологические исследования… К концу 80-х годов, когда возник новый общественный интерес к социологической работе, проблема позиции исследователя приобрела новый смысл. Главным стимулом социолога стало стремление участвовать в наметившемся общественном обновлении». Позиция социолога как радикально включенного наблюдателя весьма привлекательна. Поиск баланса между теоретической, эмпирической, политической и личной составляющей исследовательской практики в этой необычной ситуации становится жизненно важной задачей Левады в этот период.

Оглядываясь на десять лет работы ВЦИОМа, Левада признает, что не все ожидания перестроечной поры бури и натиска оправдались. Он вспоминает, что в советские годы многим тогдашним социологам, и ему в том числе, «казалась сомнительной сама возможность изучать общественное мнение в стране, где не признавался ни политический, ни даже коммерческий

выбор»[3]. Со временем его позиция меняется. Теперь он признает теоретическое и практическое значение исследований общественного мнения, хотя и понимает, что изначальные посылки, на которых строились первые опросы его центра, нуждаются в уточнении: «Характерная политическая (а также и исследовательская) иллюзия «начального» периода – явное преувеличение роли переменчивых настроений и недооценка стереотипов консервативного сознания; как всякая иллюзия, она стимулирует разочарования и ламентации разного рода». Замеры общественного мнения в крайней нестабильной ситуации пореформенной России не могут вывести напрямую к повседневной практике, к реальным перспективам политического выбора. И если в ранний период случалось, что «ответы на отдельный вопрос… исследователи принимали за фундаментальную установку, словесно выраженные оценки – за готовность действовать в определенном направлении», то с опытом приходит осмотрительность: «Учиться понимать значение получаемого материала приходилось – да и сейчас приходится – на ходу, в процессе работы».

По природе своей общественное мнение реактивно: оно откликается на злобу дня и отвечает на заданные вопросы, но у него нет возможности изменить парадигму политического дискурса. «Общественное мнение в принципе не создает варианты конструкции или оценок, а «только» выбирает из предложенного «меню». Обязанность политической элиты – предложить населению определенные варианты выбора». Но политические элиты постсоветского периода не справляются с этой задачей, оставляя человека во власти его давних привычек и инстинктов. И здесь вновь встает проблема двоемыслия, рассогласованности слова и дела в тоталитарных и квазитоталитарных

[3] Теперь Левада с досадой замечает, что участники дискуссии о роли общественного мнения в стране поменялись ролями: «Приходится слышать сетования о том, что в стране несостоявшейся демократии по-прежнему нет и настоящего общественного мнения; огорчительно слышать такие суждения от людей, которые внесли серьезный вклад в организацию исследований именно в этой области».

обществах: «Модель классического советского двоемыслия казалась в эти годы опрокинутой и сравнительно легко ушедшей в прошлое. Однако, как видно сейчас, начавшаяся трансформация была более сложной. Модель держалась на страхе, привычке, отчасти – на иллюзиях. Когда развеялся страх, и привычка жить по «двойному стандарту», и иллюзии относительно его полезности сохранились… Сейчас не подлежит сомнению, что за пять лет нельзя было ожидать фундаментальной трансформации общественного сознания, в том числе – и даже тем более – на уровне социальной личности, антропологического материала общества. Ситуация глубокого общественного перелома, которую переживает общество, ранее именовавшееся советским, не столько формирует *новые*, не существовавшие ранее ориентиры и рамки общественного сознания, сколько *обнаруживает*, выводит на поверхность его скрытые структуры и механизмы».

Постсоветское общество, по определению Левады, это общество с ярко выраженными мобилизационными свойствами: хроническим раздражением, повышенным уровнем страха, ощущением перманентного кризиса и «государственно-организованной ксенофобией – от несколько приевшейся уже чеченофобии до периодически возрождаемой западофобии и новомодной грузинофобии и т.д.». Двоемыслие является важным атрибутом людей в мобилизационных обществах. А человек раздвоенный – это человек расстроенный. «Рассеянное и беспомощное массовое недовольство на деле служит средством нейтрализации и обесценивания протестного потенциала, а в более широком плане – средством оправдания сложившейся системы государственного произвола и общественной беспомощности. Вынужденная апелляция недовольных групп к власти предержащей усиливает их зависимость от правящей бюрократии». Разрыв между декларируемыми ценностями и поведением здесь принципиальный. В 2005 году «к акциям протеста относились с одобрением или пониманием 76% опрошенных (неодобрительно 16%). Готовность принимать участие в акциях протеста выражали 27% против 57%. Но *реально участвовало* в

них по всей стране *в сто раз меньшее* число людей – около 200 тыс., то есть примерно 0,2% взрослого населения или 0,3% сочувствующих протестным выступлениям». Само понятие общественного мнения и ценностной ориентации здесь становится проблематичным.

В этой ситуации Левада и его сотрудники концентрируются на исследовании феноменологических типов постсоветского человека и его игровых стратегий, компенсируя ограниченность и противоречивость эмпирических данных аналитической утонченностью и полетом теоретической фантазии. В коллективной работе о советском человеке разбираются ключевые типажи – «человек лукавый», «человек недовольный», «человек ограниченный», «человек приспособленный» – и их многочисленные итерации. Описывая ценностные ориентации и поведенческие гамбиты этого периода, Левада характеризует их как «амбивалентные», «парадоксальные», «противоречивые», а общественную ситуацию в целом как «хаотичную». Действительно, чувства-перевертыши, аттитюды-обманки, декларации-розыгрыши изобилуют в постсоветской России. Их тоталитарные корни у всех на виду, но от этого они не становятся более заметными.

В своих комментариях к гарвардскому интервью В. Ядов подтверждает, что Левада пытался влиять на ход событий в стране и призывал своих коллег делать то же самое. С начала своей работы во ВЦИОМе Левада стремился оказывать посильное влияние на политический процесс в России. Он выступал одновременно как полстер, политолог и журналист, а также как гражданин, глубоко озабоченный судьбой страны. Результаты его опросов и регулярные обзоры политической ситуации в России интересовали профессионалов и политиков, читателей газет и телезрителей и оказывали определенное влияние на ход событий, во всяком случае, в период перестройки и в годы Ельцина. Но к началу нового тысячелетия Левада занимает скептическую позицию по поводу роли социологии в трансформации общества: «Представления о том, что социальная наука (в данном случае социология общественного мнения)

служит интересам общества, – не более чем увлекательная метафора».

Возможность влиять на ситуацию снижается по мере продвижения к управляемой демократии и внедрения жестких административных методов контроля над гражданским обществом. В последних работах и интервью Левады усиливаются ноты пессимизма. В статье о «человеке недовольном», увидевшей свет уже после смерти Левады, он пишет о том, как «трудно представить появление «нормальных» путей общественного недовольства… Никакой перебор сегодняшних компонентов общественной жизни (в том числе с помощью массовых опросов) не способен обнаружить ни в озабоченных «низах», ни в более удовлетворенных «элитарных слоях» реальных «ростков» иной системы отношений между человеком, обществом и государством». В этих условиях у Левады вновь прорезается интерес к системным теориям и функциональным объяснениям: «Когда-нибудь, после исторической переоценки нынешних общественных пристрастий, перемены и катаклизмы, например, минувшего столетия послужат конкретными примерами действия структурно-функциональной парадигматики». Уточняется и соотношение гражданственной, профессиональной и личной составляющей в ролевом наборе Левады. В обзорной статье последнего периода Юрий Александрович формулирует свое кредо, говорит о своем поколении и положении интеллигенции в постсоветском обществе:

«Я не намерен в данном случае кого-либо осуждать или оправдывать, моя профессиональная задача только в том, чтобы попытаться понять, почему стало возможным именно то, что происходит. Парадоксы – хаотический порядок, радикальные сдвиги без дальних расчетов. Не думаю, что нам, по крайней мере, моему поколению («шестидесятников»), удастся увидеть какой-то иной способ существования общества.

В этом способе одни страдают, другие терпят, третьи ищут возможность адаптироваться. Непривычно и неуютно чувствуют себя вчерашние интеллигентные «властители дум» общества. Это сложная тема, и ее не хотелось бы касаться мимохо-

дом. Мавра, который сделал свое дело, редко благодарят при его уходе (точнее при смене роли). Говорить сегодня и на перспективу о какой-то особой и единой роли в обществе интеллигенции как целого нельзя. Но для специалистов социального знания эта роль всегда определяется формулой Спинозы: не радоваться, не огорчаться, а понимать».

Сравнение Левады со Спинозой более чем уместно. Оба были отлучены от своего сообщества, поверглись гонениям со стороны государства, отстаивали независимость познавательного процесса от власть предержащих. Но если эту параллель довести до конца, то нужно более пристально вглядеться в Леваду как личность, как человека приватного, и сопоставить его с общественным «феноменом Левады».

* * *

Левада не похож на своих философских предшественников, например, таких как Монтель, которые сделали свою частную жизнь предметом интенсивного исследования. Левада – человек общественный par excellence. Его частная жизнь – вне поля зрения. Что меня удивило в многочисленных сообщениях о смерти Левады, это отсутствие каких-либо сведений о его частной жизни. Такого рода сведения обычно включаются в некрологи, но в данном случае они отсутствуют. Надо полагать, что эта лакуна согласуется с личностными особенностями Левады. Работа, профессия, научный подвиг – главные составляющие жизни Юрия Александровича. В гарвардском интервью Левада говорит о себе: «Вы знаете, я довольно одинокий волк всю жизнь. У меня много добрых приятелей, но я очень затрудняюсь называть людей слишком близкими друзьями» это подтверждают его коллеги и друзья. «Я бы сказал, что он суровый человек. вообще, прежде всего в отношении к себе. [Его выделяло] неизбежное одиночество» (Гудков). «Ю. Левада был скуп на слова, разговорить его, тем более с целью подробно объяснить свое научное и нравственное кредо, было трудно» (Фирсов). «Юрий, будучи добросердечно расположенным к тем, кого причислял к «своим», не отличался излишней откро-

венностью» (Ядов). «Левада вообще [был] очень сдержанный и даже суховатый человек» (Шляпентох).

Хочется верить, что люди, знавшие Леваду и принимавшие участие в его семинарах, еще напишут мемуары об этом необычном человеке и его круге. Б. Докторов отмечает важность сохранения архива Левады. Ведущую роль здесь должны сыграть соратники Юрия Александровича.

При всей сдержанности и замкнутости Левада, несомненно, был человеком увлеченным. Он считал, что «настоящее дело может делаться лишь со страстью». Его ближайшие сотрудники видят в этом ключевую особенность Левады как мыслителя, и это очень верно. Здесь на ум приходит «Этика» Спинозы, где автор связывает разум и эмоции: «Под эмоцией (affectus) я понимаю те модификации тела, которые увеличивают или уменьшают способность тела к действию, побуждают или обуздывают его, а вместе с этим и идеи, связанные с таковой модификацией». Согласно Спинозе тело и дух – одна субстанция. Эмоции, действия и идеи неразрывно связаны: наши мысли кристаллизуются в ответ на эмоциональные события и в то же время трансформируют последние. Страсть перестает быть слепой, когда мы ее понимаем, схватываем как идею. Мысль способна облагородить эмоции и действия, а последние в свою очередь корректируют наш образ мысли. Когда дискурс слишком отрывается от эмоционально-ценностного ряда, он теряет силу, прозорливость, становится формулой. Но когда дискурс полностью отдается эмоциям, он оказывается рационализацией наших инстинктов. Посему так важно, чтобы эмоции наши были интеллигентными, а интеллект эмоционально здоровым. Принцип Спинозы – не радоваться, не огорчаться, а понимать – требует от мыслителя разумной страсти, готовности эмоционально отстраниться, действовать практически. Когда эмоции соединяются с разумом, они становятся ценностными ориентациями, способными подвигать человека к разумным действиям. Об этом, мне кажется, Левада говорил на конференции в Кяярику: «Сами по себе знания, вне ценности и вне норм, не действуют, они лежат в сундуке, их надо запрячь в колесницу, их

надо запрячь в систему каких-то ценностных ориентаций».

Левада ищет баланс включенности и отстранения в своей работе, возможность влиять на ситуацию, оставаясь при этом не полностью ангажированным. По мнению близких ему людей, эта позиция не встречала понимания в социологическом сообществе. Отсюда «игнорирование работ Левады, равнодушие или отсутствие интереса к тому, о чем он писал, по законам нечистой совести – эта глухота, дистанцирование, отчуждение были вынуждены принимать характер декларативного почитания».

Была ли у Юрия Левады своя школа? На этот счет существуют разные суждения, и все они имеют право на существование. Мне близка позиция Алексея Левинсона: «…школы нет, но есть заданные тем коллективом, который когда-то был сплочен Левадой, принципы… Эти принципы столь же этические, сколь технические, столь же теоретически обоснованы, сколь практически обкатаны». Семинары 1960-х и 1970-х годов сейчас не в моде, но тогда они сыграли исключительную роль, обеспечивая непрерывность традиции научного поиска и человеческих отношений. Семинар Кона и Ядова по ценностным ориентациям в ленинградском отделении ИКСИ, семинар Левады по социальной теории в московском отделении ИКСИ, семинары в Центральном экономико-математическом институте, Институте философии, Институте этнографии – те, кому посчастливилось стать звеном в этих длинных семиотических цепях истории, никогда не забудут атмосферы встреч и обсуждений тех лет. Важен здесь именно этос – этика служения науке, эмоциональный тонус свободного поиска, чувство включенности в общее дело независимо от статуса и уровня знаний. Юрий Александрович Левада воплощал этот научный этос, быть может, больше, чем кто-либо еще из его маститых коллег. И в этом видится его главная заслуга перед социологическим сообществом.

«Социологический журнал» № 1. 2008

Ю. Левада

ГАРВАРДСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе»

Ш.[1]*:* Сегодня у нас восьмое февраля 1990 года, я разговариваю с Юрием Левадой и Еленой Петренко, которые работают сейчас… как называется ваш институт?

Л.: Всесоюзный центр изучения общественного мнения.

Ш.: Прекрасно. Как вам казалось, в шестидесятые-семидесятые годы, особенно когда вы были официально в опале, была у вас возможность говорить то, что вы думаете?

Л.: Вы знаете, мне кажется, существуют преувеличенные представления по этому поводу, в частности насчет меня. Возможно, я вас в чем-то разочарую, но я могу сказать только то, что могу сказать. Никаких особенных внутренних переживаний я не испытывал. Внешнюю канву этих событий вы знаете. В шестьдесят девятом – семидесятом была попытка расправиться с социологией. Предлогом была одна моя книжка, я думаю – только предлогом. Сама книжка особого значения не имела и не имеет, я так всегда думал. Ну а в результате всех тех событий было тогда новое руководство социологией, работать с ним было заранее невозможно. И когда я узнал, что придет Руткевич, я понял, что надо уходить, – мне и всем людям, которые со мной работали. Пришлось уйти мне первому, но была подготовлена договоренность о том, кто куда уйдет, и практически все ушли.

Ш.: Но вы это сделали еще до того, как на вас нажали, вы сами ушли.

Л.: Видите ли, когда я сказал… ну, это уже детали не очень важные…на меня не было прямого нажима, чтобы я ушел. Я проявил вроде бы инициативу сам, но когда я сказал Руткеви-

[1] *Ш.* – Д.Н. Шалин, *Ю.* – Ю.А. Левада, *П.* – Е.С. Петренко.

чу, что я собираюсь уйти и вовсе не собираюсь с ним здесь устраивать споры, он улыбнулся своей кривой улыбочкой (есть у него такая бесподобная) и сказал: «А я об этом давно договорился с Федосеевым». Я не стал говорить о том, почему он мне сразу об этом не сказал. Ну, не важно. Он во всех отношениях нехороший человек и… все делал как-то не прямо… Но это не интересно, меня это совершенно не волновало. Единственная проблема, которая меня действительно волновала, и мне к этому пришлось адаптироваться некоторое время, состояла в том, что я имел очень хороший коллектив людей, с которыми любил работать, и представить себе, что я должен с ними расстаться, мне было очень больно. На первых порах, когда я уходил (а я договорился уйти в ЦЭМИ), я договорился с начальством о том, что они возьмут всех. Я выговорил у Федоренко десять мест, причем при очень активной, превосходной помощи Арона Каценеленбогена. Но потом оказалось, что это было невозможно по вине и из-за вмешательства начальства. Они взяли на работу только меня, без какой-либо компании. Когда-то обещали одного сотрудника, я пытался взять Леву, конечно.

Ш.: Леву Гудкова?

Л.: Ну неважно сейчас кого. Вот этот процесс, поскольку он был для меня несколько неожиданным – я все-таки думал, что нам удастся уйти группой и продолжать жить, – то это было несколько тоскливо и болезненно. Однако фокус состоял в том, что мы не распались, а продолжали свою совместную научную жизнь все годы. У нас был регулярно работающий – в среднем раз в две-три недели – семинар на разные темы… Но он собирал и других людей.

Ш.: Встречались на дому?

Л.: Нет, обычно нет… на дому немножко отдельная программа. Мы встречались обычно там, где я работал, либо еще на какой-нибудь другой почве. В основном там, где я работал, там у нас и проходил семинар. У нас помещения долго не было… Несколько раз его [семинар] пытались запретить, [мы] меняли название, меняли крышу и продолжали жить практически непрерывно. Поэтому с теми людьми, которые были, связь

не терялась. Может быть, она не всегда была достаточно удачная, но продолжала линию свободного научного мышления в социальной области и была непрерывна. Присутствующая здесь Елена была свидетелем и участницей этих событий.

П.: В одной из последних частей.

Л.: В одной из последних частей… Ну там у нас было больше десятка мест, но делали это практически непрерывно.

Ш.: То есть интеллектуальное ядро и жизнь сохранялись неизменно…

Л.: В нашей компании сохранялись…

П.: Но, видимо, они все равно одним организмом оставались…

Л.: Были некоторые утраты. Одни чисто внешнего порядка, связанные с эмиграцией, другие связанные с отчуждением и даже с перерождением людей, но таких было немного. Это было не очень приятно, но был такой факт, наверное, неизбежный в любой подобной компании. Это раз. Второе, в обстановке, в которой я был, а я работал среди экономистов, я находил для себя много полезного, потому что я впервые увидел людей, увлеченных практическим делом, – они пытались реформировать наше планирование и даже экономическое мышление, – сравнительно молодых, активных, бойких. У них я многому научился – и понимать экономику, и представлять себе атмосферу бодро работающих коллективов. Поначалу это было так. Потом там кое-что ухудшилось, потому что реформировать эту экономику никак нельзя было… Но там были люди, которые сидели в пятницу и субботу до полуночи, с диким восторженным криком обсуждая очередную проблему… Я не мог этого делать, я был там немножко сбоку. Но это было для меня очень приятно, приятно смотреть, это было интересно очень. Сам я там был несколько в особом положении, не полностью включенном в дело, и это меня немножко беспокоило, к сожалению. Но это было неизбежно. Я имел возможность читать книжки и заниматься тем, чем мне хотелось. конечно, сложно было печататься, потому что с социологами я порвал или [больше] не собирался с ними. Среди экономистов я был чужой, в экономиче-

ских изданиях специальных я не мог и не хотел бы со своими непрофессиональными вещами выходить, но ряд вещей напечатал, в том числе и тех… В общем, никто не заставлял меня ни разу делать то, что мне не хочется.

Ш.: Когда стали вас уже печатать?

П.: Текст про игру был… потом еще три текста были…

Ш.: Как скоро после официальной опалы разрешили…

Л.: Видите ли, в чем дело, никто формально мне ничего не запрещал.

Ш.: Ни из какой партии не выгоняли…

Л.: Нет, меня недовыгнали, то есть строгач у меня висел, который очень затруднял переход с работы на работу, ну и поездки куда-либо, но это меня и не интересовало, и переходить я никуда не собирался, ибо мест таких не было, куда бы стоило переходить по тем временам. Вот, а в остальном это никак на меня не давило, не мешало, не беспокоило. Ни угрызений, ни переживаний у меня по этому поводу не было. Я понимал, что делается в мире, что делается в стране, я видел людей, которые боролись, которых сажали, всем это было очень больно, и на этом фоне заниматься мне [своими] переживаниями было нелепо.

Ш.: А можно на этом месте заострить? Вы говорите, что видели людей, которых выгоняли, на которых давили… Есть такая история, я натолкнулся на нее в мемуарах Вернера Гейзенберга, где он говорит о своей жизни в [гитлеровской] Германии, о том, как постоянно приходилось ему видеть его коллег, откуда-то выгоняемых. Он приводит историю из Вильгельма Телля, где тот отказался поклониться шапке наместника и в наказание должен был стрелять в яблоко, поставленное на голову сына. Он спрашивает, а прав ли был Телль? Может быть, это была бесчеловечная попытка, может быть, этически, вместо того чтобы подвергать смертельной угрозе жизнь своего сына или близких людей, нужно было поклониться? Где тот компромисс, он [Гейзенберг] спрашивает, на который нужно пойти, если ты хочешь жить… и в какой момент этот компромисс перестает быть компромиссом порядочного человека? Вы

смотрели на своих друзей и учеников, которым было очень больно, которым, может быть, больше не повезло, чем вам, по разным причинам – как вы это себе представляли? Вы знали, что не можете открытым текстом сказать, что вы думаете по поводу таких людей, как Руткевич…

Л.: Ну почему нет? Что-то я ему говорил. Но, вообще говоря, он меня никогда не интересовал лично, у меня нет отношений личной мести и вражды к кому бы то ни было. Руткевич – это общественное явление. Меня он волновал постольку, поскольку он мешал работать другим людям. Сам по себе он просто не интересен. У меня есть древняя привычка, я делю людей на хороших и неинтересных. С первыми я вожусь, и они со мною водятся, вторые мне просто неинтересны. Ну, мало ли что… как общественная функция, конечно, он значимый, мог что-то делать, но как человек – абсолютно никакого интереса и чувства к нему у меня нет. [Теперь] проблема компромисса. Меня упрекали… Тут я перейду от фактологии, которая ничем особенно была не интересна… Я подчеркну, что не собираюсь и не могу сравнивать какие-то там мои перипетии и трудности научные с тем, что действительно испытывала активная часть людей, – это всегда было перед глазами, это было очень важно, но была такая штуковина. В целом это ведь были не тридцатые годы. Годы были другие. В эти годы не существовало тотального всеохватывающего страха – страха за жизнь и свободу практически не было. Но те люди, которые шли на риск, они знали, на что шли. Там были свои счеты. А тут была такая ситуация, [которая] имела свои, не личные, а социально-компромиссные стороны. Было много людей, которые говорили: конечно, все дурно, но, в общем-то, жить можно, и лучше на рожон не лезть, потому что может быть только хуже.

Ш.: Вы согласны были с этим мнением?

Л.: Нет, мне это не нравилось, хотя я считал, что я должен вести себя просто естественно, так, как я могу вести себя, а не так, как не могу. И все. Мне ужасно претила и претит позиция нарочитого лазания на рожон для того, чтобы себя показать и прочее. Ну, в общем, все неизбежно на свете, и психологиче-

ский тип поведения разнообразен. Я никак не хочу осудить людей, не имею ни малейшего права, ни оснований… Я немножко представляю себе эту типологию, биографические и еще какие-то причины, но мне претило это. Я не хотел и не хочу торчать. По мере возможности – раньше, теперь и впредь – всегда хотел бы занимать такую позицию, чтобы она никем, ни мной самим не воспринималась как то, что я хочу выкрикнуть напоказ, или скрыться напоказ, или вытащить кукиш из кармана, чтоб знали они все… Ну, вы представляете, тут можно целый ряд таких уловок перечислить, разные люди к ним прибегают, но мне не хотелось. Поэтому я думал, что я…собственно и думать тут не приходилось, поскольку я полагал, что веду себя естественным образом. Может быть, когда-то я допускал какие-то тактические ошибки, я не могу припомнить, в какой ситуации, не могу корчить из себя безгрешного, но в принципе думаю, что я более или менее выдерживаю эту линию. И компромисса психологического практически не было. Повторяю, меня никто не заставлял делать то, что я не хочу, и я думаю, что я никогда не стал бы это делать, но и делать что-либо нарочитое я не стал бы. Положим, заниматься публичной критикой тогдашней социологии не было возможности. Никакой охоты не было, просто ни малейшей…

Ш.: то есть вам был ясен ужас положения в социологии, но также было ясно, что вещать об этом всему миру…

Л.: …Ну велика ли важность, в конце концов, была в этой социологии. Я не мог ее преувеличивать тогда и не могу ее преувеличивать сейчас. Она не спаситель мира и не на ней сходился свет. Была определенная драма всей страны, всей интеллигенции. Социологическая [ситуация] был частью этого, потому что постоянные скандалы и разгоны были и в истории, и в экономике, и в философии, где только не было. При этом, повторяю, не было всеобщего страха. Но были люди, которые говорили, что надо быть осторожными. У меня было несколько разговоров такого типа… люди, не очень далекие от меня, говорили, что я всех подвел, что я высунулся. Надо было быть осторожными, надо было то ли почитать, то ли печатать, то ли

говорить, то ли вести себя так. Вот меня, допустим, всегда упрекали, почему я не признаю…

Ш.: Ошибок?

Л.: Да-да-да. тут вот была длинная такая история… Когда начали меня подъедать, то институт [еще] стоял, Румянцев еще сидел, и он и все его замы держали меня за руку и уговаривали, чтобы я не скандалил, потому что дело не во мне, а в том, чтобы остался институт, и если я буду говорить всякие пакости, то всех подведу.

Ш.: Борис Работ был тогда среди…

Л.: Борис Работ был. Он был наперсником Румянцева как раз. Он с внушительным видом, действительно, ходил вокруг него и вокруг нас, уверял, что он влияет на события, что он что-то может и чего-то не может, надувался как пузырь, знаете, что за тип.

Ш.: Вы знакомы с ними были…

Л.: Ну, как же я мог быть не знаком. Мы тогда были на близком [?]

Ш.: Он, кстати, в Нью-Йорке сейчас.

Л.: Знаю, знаю. Я слышал, что он ищет встречи, но я как-то не очень стремлюсь к этому. Ну, не важно. Вот эта ситуация была несколько неприятной… Действительно, я не хочу, чтобы из-за меня страдали другие люди…

Ш.: Но субъективно вы не ощущали, что вы были неправы…

Л.: Нет, нет, нет, нет. Был достигнут такой словесный пакт о том, что я признаю, что я плохо подготовил к печати лекции. Я об этом публично говорил, что я сожалею, что не проверил, не подготовил, не указывая ничего конкретно.

Ш.: Вы можете сказать, что кривили душой в этот момент?

Л.: Нет, он [?] действительно, честно говоря, не вычитал стенограмму. Надо было быстро напечатать. Я не придавал особого значения этому делу. Была ли эта случайная штуковина…

Ш.: Просто была уступка…

Л.: Отговорка была, надо было. Видите ли, если бы это дело

было чисто мое, то я бы досадовал, что, ежели уж едят, так было бы хоть за что. если бы я должен был быть в таком дурацком положении, то я бы сказал о них все, что я думаю, – кто загубил все науки в стране. Но мне в этой ситуации как-то невозможно было это сделать, а потом уже, задним числом, бессмысленно… Вот [еще один] тип упреков – подвел других, не надо было высовываться. Причем мне это говорил однажды человек вполне пристойный, далеко от нас тогда стоящий, тоже социолог, что вот нельзя было, надо осторожно, понемногу воспитывать людей, приучать их к терминологии, и так понемножку они привыкали бы…

Ш.: Звучит в чем-то, как Игорь Кон.

Л.: Нет-нет. Нет-нет-нет-нет. Игорь никогда ничего подобного не говорил. Никогда. он относился совершенно с симпатией, он решительно все понимал… Вообще люди из числа тех, которые знали меня близко, морали не читали, отчасти потому, что они понимали ситуацию, отчасти потому, что они знали, что я очень был непредсказуемый… Эти мне морали не читали. Здесь было такое чисто прагматическое поведение. Мораль старались читать более далекие люди… Потом в связи с семинарами, разными трудностями… Был однажды такой разговор косвенный, когда мне один важный чиновник говорил: «Вы развалили один институт, вы хотите развалить еще один?» Но я мог только посмеяться…

Ш.: Я вот слушаю вас, и мне кажется, что вы можете сказать, или кто-то мог о вас сказать, что вы жили не по лжи, вы по существу, как думали, так и говорили. Я немножко утрирую, но…

Л.: Думаю, что да. я не могу припомнить ни одной ситуации, когда бы я говорил, или писал, или заявлял то, чего я не думаю…

Ш.: Хотя и молчали по поводу определенных вещей.

Л.: Во-первых, я просто не участвовал в социологических прочих вещах. Во-вторых, в это время развернулась политическая жизнь на уровне диссидентства.

Ш.: Вы, кстати, не считали себя диссидентом?

Л.: Нет. Видите ли, в чем дело. Я знал людей многих, которые с этим были связаны, в какой-то мере помогал. Никаких ни угрызений, ни опасений по этому поводу не было, но специального участия в работе я не принимал.

Ш.: А в части подписания [коллективных писем]?

Л.: Я был готов на начальных фазах подписаться, подписал бы немедленно. Но случилось так, что Седов до меня не донес это письмо, с которого все началось.

Ш.: А если бы донес, то, возможно, подписали бы?

Л.: Подписал бы немедленно…

Ш.: Это какой год?

Л.: Это 67-й год, первая волна подписантства… Меня практически не звали. Почему-то получилось так…

П.: Потому и не звали.

Ш.: Секундочку, а почему не звали?

П.: Потому, что имидж такой был, а имидж точно соответствовал тому поведению, которое…

Ш.: Что он кошка, которая гуляет сама по себе?

Л.: Ну не совсем.

П.: Абсолютно. Абсолютно. И все равно это немножко политическое дело, дело тут чуть-чуть в бантике, а кошке этой бантик никакой никогда не привяжут.

Л.: Я бы несколько иначе сказал. У меня было такое представление, что как-то само собой развивалась собственная ниша для существования, не моя личная. Еще там было много людей, которые около этого дела вертелись. Я думал, что это вещь довольно важная, довольно интересная, которая должна существовать. Мне казалось, что вокруг этих семинаров все черти ходили. Там были все эмигранты, все диссиденты, все шпики, все корреспонденты, все это было. Но это было по внешнему кругу так… в этой части ничего не скрывалось. Была и другая серия заседаний, которые не подлежали оглашению. Об этом мало кто знает. И было у меня и, по-видимому, у других такое ощущение, что не нужно втягиваться в другие дела.

Ш.: То есть ваше дело, которым вы прямо занимались, – семинар, теоретические обсуждения, воспитание молодежи –

это достаточно важное дело…

Л.: Что-то в этом роде. Это никогда специально не проговаривалось… Это было естественно. Для человека, скажем, который занимал какое-то положение, это было бы естественно, и при нормальном развитии событий нормально выступать в роли такой прикрышки и покровителя разного рода действий, а не прямого в них участника. Кстати говоря, это было видно, когда мы работали вместе, потому что какое-то влияние на работу в ИКСИ я мог оказывать в тот период, в те три-четыре года, когда мы там работали. И по должности, и так просто по каким-то там воздействиям. Я не стеснялся того, что я занимал там партийную должность, потому что это немножко помогало что-то делать. И я тогда мог бы чуть-чуть похвастываться, хотя и ничего особенного, что ни в какие трудные времена у нас не только не уволили ни одного подписанта и ни одного еврея, а наоборот, изо всех сил брали на работу.

Ш.: Глядя в прошлое, вы видите причину этого отчасти в собственной позиции?

Л.: Это нужно было делать, это было совершенно естественно. Я прилагал к этому руку прямо, когда мог… Недаром у меня в секторе было двое подписантов, потом уехавших было трое. Такая ситуация людей определенного типа была. Если бы я, предположим, считался официально благополучным, я изо всех сил и дальше старался бы продолжать [это]. Когда я стал меченый, то, естественно, я не мог никого ни брать, ни рекомендовать. Наоборот, я отказывался это делать, отказывался оппонентом быть, потому что я мог подвести людей. И тогда сама собой оказалась за мной эта ниша. Я знаю одну-две обиды… не хотел бы называть людей, я их очень уважаю, были моменты, когда надо было что-то подписать. Были отчаянные моменты, когда мало кому можно было подписывать… Кстати мы пытаемся сделать книжку на эту тему, посмотрим, насколько она удачная, с Шейнисом. Ну и здесь была пара обсуждений, стоило ли идти прямо бросать [вызов]. Мне казалось, что более естественно продолжать работу.

Ш.: Какая была мотивация?

Л.: Мотивация состояла в том, что то, что я делаю, вряд ли другие сделают. То, что они делают, они делают. Им надо молчаливое соглашение и такое разделение труда. Оно было всегда. Были отчаянные диссиденты. Вы знаете, это был замкнутый круг. К сожалению, дело свелось к тому, что они защищали не права граждан, а права друг друга. Их сажали, они друг за друга боролись, тех сажали, и так далее. Эта организация так вот специфически работала. Были и покровители у них, ряд академических людей, Ростропович там, которые помогали то деньгами, то давали убежище. Чуковский, Паустовский, все их знали… Они занимали важные официальные позиции, их не могли или не хотели трогать, и они всячески содействовали другим. Возможно, были еще какие-то варианты поведения со стороны властей… А у меня была другая позиция…

Ш.: То есть, глядя в прошлое, вы можете сказать, что вы видели свою задачу – в общественном смысле слова – в том, чтобы делать свое дело, маленькое или большое, создавать круг людей, где преобладала интеллектуальная атмосфера… Вот хочу вам рассказать такой эпизод. Когда я уезжал [из России], я разговаривал с Виктором Шейнисом, и он мне рассказал такую историю, которую, кстати, в одной из моих заметочек, которые я вам дал, я описал. Он сказал, что в Советском Союзе сейчас официально дважды два – двенадцать. Это то, что всем полагается знать и говорить. «Если ты человек смелый, ты можешь говорить, что это десять, может быть, восемь. Я в своих лекциях рассказываю студентам, что это шесть, а пара людей, таких как ты, Дима, они узнают от меня, что дважды два на самом деле четыре. Я вижу свою задачу, почему я и остаюсь в этой стране, чтобы таким, как ты, дать возможность сохранить эту искру и передать ее из поколения в поколение. В этом я вижу смысл своего существования». Я помню, что ему тогда ответил: «Я хорошо вас понимаю, но согласны ли вы провести свою жизнь так, чтобы в конце ее провозгласить с кафедры, что дважды два – четыре?» Ведь есть же еще алгебра, есть интегральное исчисление, есть много проблем другого порядка, и я не уверен, что в конце своей жизни я был бы готов сказать, что

я посвятил себя тому, чтобы передать эту искру… То, что я слышу от вас, подпадает под эту рационализацию, это объяснение… Я правильно вас понял, что возможность сохранить…

Л.: Может быть, хотя это такая поздняя рационализация. Никаких особых размышлений мне не приходилось делать, потому что все шло естественно. Естественно было так себя вести. Даже, предположим, когда начался уезд, то было естественно пожелать всякого добра людям, которые уезжали.

Ш.: А был когда-то момент сомнения, что, может быть, пора уезжать?

Л.: У меня не было, ни разу.

Ш.: Лена, а у вас?

П.: Я думаю, у меня совсем не было…

Ш.: А вы можете себе представить такие условия в Советском Союзе – тогда, сейчас, в будущем, – когда вы бы всерьез задумались, что, может быть…

Л.: Сказать, что мне нужно было бежать от преследования, я не имел права. Сказать, что я чувствую интерес к лучшей жизни, я никак не мог, она меня не интересовала и не интересует сейчас. Я говорил с Игорем Семеновичем, когда был массовый уезд. Мы с ним частенько встречались тогда. Он изложил очень ясно свою позицию, сказал, что очень сочувствует и помогает тем, кто уезжает, в частности, про вас мне сказал, про связи, которые он помог вам тогда наладить.

Ш.: Да, он тогда связал меня с [Робертом] Мертоном.

Л.: Ну, да, это было на старте. Но он сказал, что сам не видит для себя такой возможности, потому что в Союзе людям он рассказывает то, чего они не знают, что полезно, – социологию, психологию, или потом сексологию он нашел, то, что на Западе, на самом деле, известно. Поэтому он не представляет себе, что бы он такого мог рассказать там, чтобы кому-то это было нужно. В принципе он прав, хотя, конечно, он мог бы…

Ш.: Хотя, вы знаете, что было время, когда он изменил свою позицию…

Л.: Может быть, но этого я не слышал.

Ш.: …когда он активно старался уехать из СССР, – это я

говорю вам конфиденциально. В конце семидесятых годов, когда просто задыхались люди…

Л.: Я думаю, это было во время…

Ш.: Во время социологического конгресса в Упсале в 77 году, в 76-м [конгресс в Упсале был в 1978 году], тогда он думал о возможности остаться там и даже предупредил о такой возможности свою маму. Но, тем не менее, он не остался, в основном по сентиментальным соображениям. Мысли о необходимости эмиграции приходили к нему и позже. В начале 1980-х был такой момент, когда он стал задыхаться до такой степени, что подумал, что, может быть, сделал ошибку… Но у вас не было таких колебаний.

Л.: Нет, не было.

Ш.: Отчасти это могло быть связано с тем, что возможность заниматься интеллектуальной деятельностью сохранилась.

Л.: Она на самом деле у всех есть. Если кто захотел бы, она бы сохранялась, потому что сплошной завесы не было, стена была дырчатая. Люди по-разному относились к ситуации… Был период, когда хорошо знакомые, видные и даже приличные люди, вот, скажем, зайдя в эту комнату и увидев, что я сижу за столом, обходили стол так, чтобы со мной не поздороваться… Они ко мне очень хорошо относятся, и я бы им об этом тоже никогда не напоминал.

Ш.: А вы бы назвали их порядочными людьми?

Л.: Ну не хочу, не надо.

Ш.: Меня не интересуют в данном случае конкретные личности…

Л.: Есть люди, которых охватывал очень большой страх, раздутый вокруг каких-то моих действий, который в невероятное количество раз превосходил сами эти действия… Для самого себя я это выражал такой формулой: они из меня сделали бóльшую бяку, чем я был на самом деле, но я же не мог им доказывать, что я не такой бяка. Я мог сделать только одно – тянуться за тем, чтобы действительно стать уж таким бякой, чтобы…

(Смех.)

Ш.: Вам оказали такое доверие, и надо было…

Л.: Ну почему, какого черта! Я в принципе это и делал. Но называть людей не надо…

Ш.: И все же если можно, я хотел бы заострить внимание на этом моменте. Когда можно сказать, что определенный тип поведения – это уже не просто самосохранение. Ну, не просто человек уходит, чтобы не поздороваться, чтобы не видели его с вами, а вот где он уже пересекает границу, за которой вопрос возникает о порядочности… Например, Солоухин…

Л.: Ну, я могу сказать, что этот человек не очень смелый. Одно время люди эти побаивались. Потом, осмотревшись, что я себе спокойно живу, а я вообще старался вести себя естественно, не избегать никаких контактов… Я вам расскажу такую сцену из этого времени. Не знаю, знаете ли вы лично, но по литературе, наверное, знаете Сашу Зиновьева. Саша Зиновьев что-то написал, стал предельно скандальным человеком, собирался уезжать, но его поначалу не очень отпускали… Я у него в это время бывал, и книжку его читал, с ним разговаривал на всякие темы, не спорил, но любопытствовал. Он мне был любопытен тогда. Тут возник такой психологический казус, который, возможно, ему для какого-то самоутверждения был нужен. Как-то он меня пошел по улице провожать из своего дома, и было это недалеко от ИНИОНа, в сторону библиотеки. Вот мы себе идем с ним, разговариваем, вдруг навстречу идет хорошо нас знающий человек, которого я знаю как человека довольно осторожного. Он старается быть приличным, но он не очень знает критерии… потому что внутренне он и сейчас… ну, сейчас все развалилось, вся пирамида ценностей, которая была. Ну, он считал, что надо быть осторожным, но в то же время надо делать серьезное дело. Я забыл уже, какое у него было положение, но чего-то он был начальником. Ну, вот идет он нам навстречу, в десяти шагах. Я Саше говорю: «Давай сделаем вид, что мы его не видим, чтобы он сам выбирал, захочет он нас узнать, не захочет, чтобы не ставить человека в неловкое…»

Ш.: Чистый эксперимент такой.

Л.: Ну неудобно. Я знал стиль Зиновьева, несколько вызывающий, и то, что он мог бы публично броситься на шею или как-то еще по-другому себя… а того [человека] это могло шокировать. Чтобы избежать этой ситуации… «Ну и пройдем мимо него, – я говорю, – тем более что мы тут заговорились и не очень замечаем, пускай как хочет…» Но встречный не захотел играть в такую игру – увидел, признал, скрыл смущение эффективно… [И говорит] «Вот идут как ни в чем не бывало», тосе…

Ш.: Хороший человек.

Л.: Постояли несколько минут, поговорили как ни в чем не бывало, солнце светит…

Ш.: Какой год был примерно?

Л.: Это было в середине 80-го… Но я не про него сейчас говорю, говорю про себя. Мне казалось, что я вел себя естественно. Мне естественно было прийти к Зиновьеву, узнавши, что он написал книжку, и прочитавши ее, естественно было идти с ним по улице, ну просто потому, что, если бы я стал от него бегать, было бы неестественно, и я бы испытывал какую-то колючку, боль оправдания. Или другая проблема. Положим, уезжали люди, я их провожал, из-за этого были скандалы – не со мной. Почему-то меня бог миловал… Я считал, что было бы неестественно вести себя как-то иначе. Я переписывался и перезванивался со всеми, с кем мог, хотя некоторые этим смущались на первых порах…

Ш.: Из некоторых имеется в виду советских?

Л.: Из очень хороших, очень уважаемых… Вот у меня был разговор с одним из знакомых вам социологов. Называть его не хочу. Как-то встретились, спрашивал он, что и как, спрашивал про тех людей, которые уехали. Я стал рассказывать, один – так, другой – так-то. А он меня спрашивает: «А откуда у тебя такие подробные сведения?» Я говорю, я письма получаю…

Ш.: Мне Володя [Шляпентох] говорил, что вы с ним переписывались почти все время.

Л.: Да, когда была охота. И вдруг возник такой момент, который я совершенно не ожидал. Этот сидящий со мной на ска-

мейке, на лавочке, на солнышке человек сказал: «А ты не боишься?» Я очень удивился, а он аж побледнел. Я: «Ты чего?» – «Ну, а вдруг что-нибудь…» Я не помню продолжения разговора… Вот такая была коллизия. Я мог предполагать, что какие-то пакости… Ну, а что мне надо – я не начальник, я не выезжаю куда-нибудь кататься и не хочу этого делать. Не хотел до тех пор, пока не стало возможно это делать в собственном плане…

Ш.: Я пытаюсь себе прояснить, может быть, люди, которые боялись, которые осторожничали… это были люди, которые еще не порвали с системой, которые, возможно, ни во что не верили уже, но хотели сохранять возможность повышаться, чтобы стать начальником, поехать за границу…

Л.: Конечно… Но это меня все не очень интересовало. Все, что я хотел узнать, я мог прочитать. Я слышал такую аргументацию: «Но мне же надо играть полезную роль, я тем-то и тем-то руковожу»… Ну, вроде бы надо. «Ну, мне же надо не потому, что я люблю там куда-то ездить. Надо профессионально знать»… Таких же очень много оправданий существует.

Ш.: То есть общественная повестка дня, она заставляет человека быть осторожным…

П.: Но, с другой стороны, народ весь дивился на мою карьеру. Я себе позволяла все и все время как будто росла, росла… Беспартийная…

Ш.: А что вы себе позволяли?

П.: Со Шляпентохом, как только он уехал, когда нас прогнали, и разговаривали, и встречались… И я все время росла…

Л.: Ей ведь пришлось уйти из социологии примерно в то же время, когда и я…

Ш.: И никаких проблем, никто никогда не вызывал на ковер?

Л.: Ну, тут, видите ли, две вещи. Во-первых, она человек способный и активно работающий.

П.: Потом я женщина, беспартийная.

Л.: Во-вторых, она просто никогда не смущалась своего положения.

П.: Не раз слышала: «Она же безумная женщина. Неужели вы не понимаете, что…»

Л.: Она была близкой ученицей Володи Шляпентоха. И этого было достаточно, чтобы заставить ее уйти из института…

П.: Нет, они меня еще хотели оставить, а Таньку они прогнали…

Ш.: Вы принимаете объяснения этих людей, которые говорят…

Л.: Видите ли, Дима, ведь каждое время дает не одну позицию, а спектр разных позиций разного типа, наверное, любое время – и нынешнее, и завтрашнее, и вчерашнее… Не знаю, как насчет морализации, я этим не люблю заниматься, с социологической точки зрения нужно видеть весь спектр. Теперь, в каком плане не допустят, просто фактично, и как их можно оценивать, как нормальные, уклоняющиеся, досточтимые… Как их градуировать. Я их не знаю точно. По-прежнему я представляю, что я вел себя естественным образом…

Ш.: Естественным для вас. Люди, которые осторожничают, тоже ведут себя естественно.

Л.: Да, но для того положения, в котором я… я за себя благодарил судьбу, за то, что я, будучи…

[Конец первой стороны пленки]

Л.: …даже возможности поставить вопрос, надо ли мне что-то сделать, чтобы мой доклад куда-то приняли [не было]…

Ш.: Значит, вы поставили крест на соображениях конъюнктуры?

П.: Да не ставили никакого креста, он просто жил…

Л.: Они [эти вопросы] сами по себе куда-то девались и меня не интересовали. И я думаю, что это хорошо. Я посмотрел на этих, скажем так, маневрирующих моих добрых приятелей, и я им ни в какой степени не завидовал. Им же приходится то ли мучиться, то ли избавляться от каких-то регуляторов. Тут тоже завидовать нечего, [им нужно было] бегать, светиться, изображать из себя и в меру критичных, и в меру верноподданных, чтобы понравиться, скажем, таким, а с другой стороны, не по-

рвать с этими. Ну зачем это. Хорошо, что у меня само так получилось, что я стою в стороне.

Ш.: Люди эти не переставали быть друзьями?

Л.: Вы знаете, я довольно одинокий волк всю жизнь. У меня много добрых приятелей, но я очень затрудняюсь называть людей слишком близкими друзьями…

Ш.: Вы всю жизнь гуляли сами по себе в каком-то смысле, хотя было много детей вокруг вас…

Л.: Знаете, не только. У меня были детишки, и еще был такой все эти годы величайший амортизатор всех переживаний, душевных волнений. Амортизатор был большой, лохматый, у него был большой хвост, это был… собачище.

Ш.: Хорошо, а напрямую вас просили подписать что-нибудь или никогда…

Л.: Вы имеете в виду протесты?

Ш.: Да.

Л.: Был один-два раза, когда мне говорили, не стоит ли мне также подписать, вот есть тут такое-то… Это был период, когда протесты уже были недействующими… Это было во второй половине 70-х.

Ш.: То есть, уже не в чехословацкие времена?

Л.: Не, нет, гораздо позже.

Ш.: В чехословацкие времена никто вас…

Л.: Я вам мельком сказал, что самое знаменитое подписанство было в 67 году. Если бы мне принесли текст – и я, собственно, обижался на приятелей, что они не принесли его, – я бы его непременно подписал… Но получилось так, что до меня его не донесли. Потом мне Седов говорил, что он это нарочно сделал, чтобы на меня не навлекать [гонений], потому что… я не знаю там… Короче, если бы я увидел текст, который подписали два-три хорошо мне известных человека, положим, Иванов, Пятигорский, Седов, то подписал бы тут же. И даже не особенно внимательно бы прочитал, зная, что там написано то, что нужно. Кстати, большинство так и делало тогда, потому что не ожидали последовательность [событий]… Но это прошло мимо, и тогда я какие-то малозначащие вещи, из-за которых не

поднимали шума, подписал. Но это к делу специально не относится. А дальше были частные такие ситуации… были полуобиды. Причем в тот период… на самом деле, там не было преемственности событий. В конце 70-х диссидентское движение было разгромлено, уехало, пошло на спад… Были такие люди, которые пытались сочинять письма в защиту того или другого, но это уже не имело резонанса ни за рубежом, ни здесь, и казалось, что что-то должно быть иначе. Как-то вот передрались люди. В этой ситуации я то ли один раз, то ли два раза не стал участвовать в коллективных протестах. Они потом и не вышли…

Ш.: А резон, как вы его тогда видели…

Л.: Мне казалось, что это практически не имеет смысла и выбьет меня из той ниши, которая у меня есть. И как-то это тоже, если хотите, принято считать, что первая реакция бывает наиболее оправданной и естественной. Естественная была такая. Мне в деликатной форме показали список людей, причем ненавязчиво, можно было понять, что неплохо бы… но прямо мне не сказали. Потом уже, когда я это прочитал и как-то там оценил, но подписывать не стал, я заметил на лице человека, который со мной говорил… тень огорчения.

Ш.: Не презрения…

Л.: Нет, нет. Мы с ним сохранили хорошие отношения. Ну, не было ничего явного… Поскольку вы задали такой вопрос, то я примерно вспоминаю, а ничего другого больше вспомнить не могу… [Всегда была] возможность думать о том, что происходит, читать, писать… Но я мало что писал, потому что охоты не имел. Кроме того, нужно было выбирать некоторую плоскость, в которой я мог бы построить свои интересы… Нельзя было публиковаться по социологии, но она меня не так стала интересовать в чистом виде… Нашлись такие интересные пересечения, культурология, еще чего-то.

Ш.: Касаясь вопроса о печатании: еще в 60-е годы и позже, когда вы стали печататься в других областях, была проблема внутренней цензуры, когда вы знали, что это важный вопрос и нужно было бы правильно сказать так-то, но это было невоз-

можно. Был ли внутренний цензор, или опять-таки вы естественно говорили то, что хотели говорить…

Л.: …Такая штука. Когда я добрался до более или менее абстрактной культурологии, которой я отчасти занимался, то тут все было только во мне, потому что других выходов не было вовне, нечего было цензуровать… Лучшее из того, что я напечатал всерьез, по-моему, это статья об игровых системах… она была давненько…

Ш.: Simulation games?

Л.: Нет, нет, нет, нет. Это проблема игрового поведения… Это было написано в «Системных исследованиях», в 74 году опубликовано, и называлось оно «Структура игрового поведения в социальных системах» или что-то в этом роде. Тогда мне казалось, что это наиболее серьезное, в смысле теоретическом.

Ш.: Это связано с [Грэгори] Бейтсоном, идеями Виктора Тернера?..

Л.: Я вам ее пришлю…

Ш.: Ну, это сейчас неважно… Было такое ощущение, что когда вы пишете, вы что-то не досказываете или выбираете тематику…

Л.: Конечно, в какие-то времена кое-что не досказывал. У меня вчера был разговор с нашим Эрихом Гольдхагеном, которому я сказал… я увидел, что он пишет о фашизме, интересуется им, и я ему сказал, что я когда-то очень занимался этим делом и написал одну статью, в энциклопедии она. «Философской». Она довольно большая и в свое время мне нравилась, а потом… Он меня спросил: «Это написано в духе времени?» Вопрос, на который довольно трудно ответить. Мне самому кажется, что вряд ли совсем в духе времени, хотя и не ясно, что такое дух времени… Вы знаете, что главой редакции «Философской энциклопедии» был академик Константинов, который не все читал, но он меня знал хорошо и статью взял читать. На полях верстки он сделал надпись: «Это про них или про нас?»

Ш.: тут-то вы и поняли, что написали нечто хорошее.

Л.: Нет, это я, простите, заранее знал, тут мне особенно не надо было на него опираться, мне единственное надо было,

чтобы он не мешал. Тогда редактор, достаточно приличный и достаточно хитрый человек, в нескольких пунктах написал слово «буржуазный», то есть это не просто такая организация, а «буржуазная»…

Ш.: Сам написал или это Константинов…

Л.: Нет, Константинов – это совершенно особый разговор. Насколько я его знал в те годы, это был человек, который на самом деле все понимал.

Ш.: То есть он был не без маленького царя в голове.

Л.: …Выверт такой психологический – он знает, что он делает пакости, и поэтому он делает их еще больше. В отличие от таких людей, как Иовчук и Федосеев, которые всегда думали, что они делают то, что надо, что это и есть истина.

Ш.: А Митин [?]

Л.: Митина я меньше знаю. Он, скорее всего, был, по крайней мере, в последние годы жизни… ему было на все начихать. Он был поэтому либерал, ничему не мешал, лишь бы не вспоминали, чем он был раньше… Она [статья] была написана еще до скандала, но вышла уже позже, в 70 году. И с тех пор я печатался в 70-м, 71-м, 73-м, в 76-м. Там вышел большой скандал из-за довольно безобидной статьи в «Знании – сила», когда Руткевич с помощью Суслова чуть не разогнал журнал из-за моей статьи. Они испугались… ну, не важно. Потом был какой-то перерыв. Мне не попадалась возможность [написать] что-то любопытное, а чего попало я никогда не старался писать. А потом где-то с 80-х я написал в «Системные исследования» пару статей… Потом в 82-м, в 83-м труды… в «Системных исследованиях» небольшие сборнички ставили…

Ш.: Это то, что Каценеленбоген начинал?

Л.: Не, это институт Гвишиани, [дикое?] заведение, в котором, однако, отсиживались какие-то люди и можно было кое-что писать… Писали то, что думали, но там была система шифровки, старались не договаривать до конца. Статья об антропологии Маркса, о том, как понимал Маркс человека, написанная к столетию его смерти. Статья была, по-моему, вполне ничего себе… Я думаю, что там было все достаточно спокойно.

То есть я думаю, представление Маркса о человеке принципиально неверное, идущее из восемнадцатого века, а вместе с этими представлениями все остальное тоже неверно… Была возможность написать, я считал уместным написать и написал. Потом какие-то кусочки где-то использовал, но сейчас это неважно. Период этот, кстати, был не очень простой. Этот переходник, о котором еще напишут, у него были разные возможности развития.

Ш.: Переходником вы называете период между Брежневым и Горбачевым?

Л.: Да. Там были разные штуковины. При Андропове было провозглашено обострение идеологической борьбы. Были созданы во всех институтах, включая ЦЭМИ, где я тогда был, комиссии по контрпропаганде, было специальное решение такое. Появился именно тогда сейчас уже почти забытый антисионистский комитет, известно кого собиравший, – не при Брежневе, не при Сталине…

Ш.: При патроне Горбачева.

Л.: Да. Это сложный такой полупатрон был. И когда все уже, как я могу себе это задним числом представить, трещало и разваливалось, была попытка схватиться не за личность – личности не было, а вот создать такой ореол вокруг идеологии, которой тоже уже на самом деле не было, помимо всеобщих словес… Тогда была попытка бороться с чем-то, причем с чем именно, было не определено, потому что практически никого за хвост не хватали.

Ш.: Хотя диссидентам при Андропове досталось.

Л.: Диссидентов прижимали…

Ш.: Если я вас правильно понимаю – и это опять-таки не ваша терминология, – вполне можно было жить в конце 70-х – начале 80-х, видеть Сахарова, сосланного в Горький, не подписывать письма, не выступать открыто и быть человеком… ну, назовите его «порядочным» или любым другим словом...Быть молчаливым свидетелем не значит быть соучастником…

Л.: Видите ли, сложно оценивать проблему соучастия.

Ш.: И ответственности. Это моральная проблема…

Л.: И ответственности. Ее нельзя подводить под чистую [формулу]. А моральные проблемы не существуют вне социальных рамок. Сравните эпохи 30-х годов, конца 50-х годов, когда был XX съезд, 70-х годов… Они разные. Эпоха 30-х – самая тяжелая пора тотальной системы, тяжелая, потому что возможности средних выборов нет. В этих условиях, когда люди единодушно голосовали, одобряли, требовали, – а вы знаете, что все писатели, все ученые [так тогда поступали], и трудно найти имя, которое осталось бы в стороне…

Ш.: Хотя Каверин отказался явиться на собрание [где осуждали Бориса Пастернака], сказался больным…

Л.: В каком году, простите?

Ш.: В 58-м.

Л.: Я о 58-м сейчас не говорю. Я говорю о первом лаге [?], о 38 годе. Нулевая точка отсчета – там… В те времена, если бы он не явился, он был бы большой герой или большой страдалец… Я подозреваю, что с некоторой утрешкой, их [времена] можно считать сплошной темнотой. В этой темноте морального выбора у людей практически не было… Я думаю, что кто-то понимал. Некоторые действительно совершали чистое самоубийство, но является ли это морально оправданным – это вопрос.

Ш.: То есть сам социальный контекст времени не давал возможности…

Л.: …Ну, я тут строю такую схему. Пропустим 20 лет. Ситуация здесь не сплошная, а дырчатая, и это представляет определенную задачу, почему люди вели себя так… В 38-м не только все единодушно голосовали, но почти все, будучи схвачены, каялись, почти все, и не только сами каялись, но продавали сразу всех, за самым малым исключением. И не только в партийной среде, но и в литературной среде, в самой такой High brow среде. Так он было, было потому, что, по-видимому… как вы знаете, тут много загадок на этот счет, об этом написаны тома на Западе, их у нас сейчас издают, чтобы объяснить, как и почему люди закладывали всех других, включая своих ближайших, дальнейших и всех других. Это нельзя

просто объяснить даже инстинктом выживания, ведь инстинкт был всегда у людей. Разные есть версии, одна из них, которая многое объясняет, но не все, состояла в том, что была полная слепота, полная безвыходность, представление о том, что другое [поведение] никакой поддержки, никакого одобрения – ни от близких, ни от потомков – не получит. Тогда и возникали идеи полного выпотрашивания, полной деморализации. Тогда, конечно, деморализовалось все общество в целом, а не только те, кого хватали, или те, которые голосовали, – все остальные тоже, даже если они прямо не испытывали над собой постоянную угрозу. В целом же rank-and-file man не испытывал ее. Но все это происходило повсюду… Теперь на двадцать лет сдвинемся. Ситуация вариантная, но люди не вариантные. Во-вторых, не было угрозы смерти, но судьба работы, карьеры в руках… Именно к этому времени выросло такое поколение людей, которое держалось за чины, должности, поездки, дачи в Переделкино, заграницу, пятое-десятое.

Ш.: Это уже после Сталина?

Л.: Конечно, конечно. Это уже в хрущевское времена. При Сталине привязанности к подобным вещам быть не могло. Материальные вещи значили мало что, дачи быстро ликвидировались. Собственно, был простой принцип, что, если человек попадал в немилость, у него отрезали телефон, отнимали дачу и выгоняли из квартиры. Вот эта связь при Хрущеве оборвалась. Человек мог попасть в немилость, но он жил в своей квартире…

Ш.: Моральный выбор здесь уже появляется.

Л.: Вот тут возникает моральный выбор, не только привязанности к этому, возникают новые совершенно вещи. Возникает в чистом виде проблема круговой поруки, мысль: подведу – не подведу – себя, семью, друзей, союзников. Да, знаю, что эта игра пакостная.

Ш.: То есть проблема компромисса впервые становится осознанной.

Л.: Наверное, наверное. Поэтому ситуация Солоухина, и не только Солоухина, а всех – Слуцкого…

Ш.: Слуцкий там тоже выступал, потом он почти свихнулся на этом.

Л.: Да, стенограмма [собрания писательской организации] недавно была опубликована, всем об этом теперь известно. Слуцкий потом всю жизнь не мог с этим примириться. Но Слуцкий это объяснимая ситуация, [человек] военного поколения, человек группового мышления. Ведь эти люди, при всей своей порядочности и талантливости, делили мир на «мы» и «они», «нельзя делать им [уступки]». Эта штуковина жила долго ведь, она упала полностью в сознании только сейчас.

Ш.: Поведение, которое можно было назвать моральным в этот период, оно включало осторожность, сознание того, что могут подвести… Для меня лично, а я был больше человеком 60-х годов, видеть, как мы сидим на собрании, где моего друга выгоняют из комсомола [было трудно]… Должен я встать и сказать: «Что же вы делаете с его жизнью?», зная при этом, что в очень скором времени я последую за ним, или промолчать?.. Остаюсь ли я порядочным человеком или я встаю и говорю [то, что думаю], и только тогда я могу считать себя… Это явно экстремальная ситуация, но и далеко не нетипичная.

Л.: Строго говоря, это создает ситуацию всеобщей замаранности. В чистом виде порядочности тогда трудно было быть, ее мало было, а определенная доля замаранности существовала, широкая… Смотрите, ведь выступления в защиту того времени, они являются половинчатыми и на самом деле неискренними: «Да, он, конечно, сделал пакость, но он еще молодой, давайте его помилуем… Имейте в виду, что он, возможно, этого не хотел, у него детки есть». Ну и так далее…

Ш.: Теперь возьмем конец 60-х, чехословацкие события. Это уже новый тип [поведения], уже есть выбор…

Л.: Вы знаете, давайте немножко перескочим, для равенства пускай это будет конец 70-х… для равенства – 38-й, 58-й, 78-й, допустим…

Ш.: И 90-е

Л.: Ну, в 90-е – там не четкие сроки… Конец 70-х дает нравственное в более чистом виде, потому что этой ситуации

всеобщей замаранности нет, ситуация является какой-то дырчатой, дырчатой потому, что…

Ш.: Кто-то не замаран?

Л.: Да, можно длинно обсуждать, есть какие-то образцы чистого поведения и чистой защиты этого поведения, когда появляются адвокаты, которые не говорят, что этого гнусного негодяя надо все-таки чуть-чуть пожалеть, а вот так: «Он не виноват, и пошли вы все». Никто их не слушает, а они так говорят…

Ш.: И при этом попадают в сумасшедшие…

Л.: Не все попадают. Кого-то прижимают, кого-то несколько подхватывают под хвост… Но дело даже не в этом – люди убеждаются в моральной возможности и физической возможности. Что касается физической [возможности наказания], я бы не стал – иначе будет полное оправдание того, что если человек знал, что его за это накажут, то он не должен выступать, – так нельзя ставить [вопрос]… На самом деле, вот такое есть у меня представление, я о нем тоже рассказывал, что было только одно советское поколение, которое вступило в жизнь в 30-х годах. В двадцатых годах было поколение более раннее, которое потом было перемолото практически все, и остатки добиты в войне. А с конца 30-х и до конца… оно и работало активно всюду до конца 70-х или до середины 70-х примерно. У него не было возможности смены ни в руководстве, ни на средних постах. Там были военные вырезки и принцип несменяемости. Вот это поколение, воспитанное в ужасе, страхе, тоталитарности, покорности и единодушности, было на самом деле единственным советским поколением. Главная беда системы, по-моему, состоит не в том, что она не дает роста производства, и даже не в том, что там свобода не та. Ведь несвобода в разные времена бывает, 1000 лет держится. Византийская империя в аккурат 1000 лет жила, почему советская не могла? Потому что византийская система воспроизводилась, а советская – не воспроизводилась. Для того чтобы жить, система должна воспроизводить свои компоненты и прежде всего своего человека. А она [советская система] его не воспроизвела. Это поколение

прошло, и появилось другое, оно не могло воспринять тех ценностей, оно было открыто опыту, оно знало релятивность этих ценностей, оно было более прагматично… Но вот эта сплошная прагматика, которая сейчас существует, она ломается где-то. в принципе она тоже не поддается моральному обоснованию, а без этого она не стоит. А там, где она ломается, проявляется и становится реальной чистая, серьезная позиция социально-нравственная.

Ш.: То есть это та ситуация, где выбор не только возможен, но он имеет серьезные последствия, оказывает влияние на будущее.

Л.: Он оказывает влияние. Можно ли это иначе трактовать, я не знаю. Не могу сказать, что я здесь все могу объяснить. Но что-то в этом духе появилось.

Ш.: Быстренько два последних вопроса, и мы пойдем. Можете ли вы сказать, что при Горбачеве интеллигенция выиграла не только в моральном отношении – она на виду у всех, может ездить в разные места, – но и в материальном отношении у нее стало больше возможностей, чем до перестройки?

Л.: Трудно об этом сказать, потому что в принципе материальные возможности не улучшились. Что несколько улучшилось… в последнее время хозяйственная вакханалия привела к тому, что зарплат в некоторых проектных и прочих институтах, которые работают по договорам, [не платят]. Отчасти это относится к родственным нам социсследованиям, отчасти даже к нам, потому что у нас кое-что договорное тоже есть, хотя это мало влияет… А других сдвигов в социальном положении нет.

П.: Нет, немножко есть, оттого что можно читать, видеть, подключиться…

Л.: Нет, я говорю про материальное положение. Чисто материально, зарплата в Академии наук такая же, как была раньше. Ну, возможности договорные и премирование кое-где бывает, а больше ничего.

Ш.: А можно сказать, что интеллигенция была очень важной составной частью реформ, что без поддержки, возможно, она [перестройка] не состоялась бы?

Л.: Конечно, конечно, эта самое смелое, что сделал Горбачев, он обратился к гонимым вчера людям за советом и образом поведения.

Ш.: Ведь это единственная по-настоящему поддерживающая его группа.

Л.: Конечно, при всем том, что она же его и ругает изо всех сил, не говоря о том, что он осточертел нам… Он плюется, плюется на каждом шагу: ему и Сахаров поперек горла, и ученые экономисты поперек горла. Но это немножко другое дело, я его сейчас не объясняю. Он отчасти крутится, отчасти имеет основание искренне плеваться… Но он должен был протянуть им руку более или менее сознательно. Ему некуда было больше [деваться]. Он обратился именно к тем, которые были гонимы, к экономистам и реформистам, к писателям… хотя там тоже разные экивоки были… Так или иначе, без него Сахаров не превратился бы из диссидента проклятого в моральный образец для страны. Сколько Мишка не плевался по этому поводу, это он сделал своими руками. Он сделал это, это реальный факт. Тут связь есть, противоречивая, но есть… И это создало совершенно невероятную ситуацию. Авторитет интеллигенции в массах больше, чем когда бы то ни было…

Ш.: Он стал выше, чем когда бы то ни было?

Л.: В народе выше… Изменилось общее представление… Дело в том, что вплоть до недавнего времени… всякие поношения и чистки в огромной степени делались руками этого быдла – старого, молодого, в погонах, в партбилетах или без них – это не важно. Сейчас эта ситуация сильно затруднилась, почему я, конечно, не могу, и никто не может сказать о ста процентах. Но достаточно зримое число процентов изменилось или пробудилось…

Ш.: Даже среди широких масс…

Л.: Очень широких. Это наши опросы показывают.

Ш.: А ведь были какие-то выступления на конгрессе против интеллигенции.

Л.: Выступления бывают всякие. Вопрос в том, чьи это выступления. Партийного начальства, военного начальства…

Всякое было, есть и будет. Но в целом настроение проявилось или изменилось так, что ищут примеров интеллигенции бастующие шахтеры, плачут по Сахарову таксисты в Москве: «С кем же мы будем теперь… кто нас защитит…»

Ш.: А вы ожидаете, что может быть обратное движение, потому что мало что можно найти в магазинах…

Л.: …Это уже другой вопрос. А вот сдвиг и этот имидж интеллигенции, конечно, он не связан прямо с практическими действиями. Сахаров никому хлеба не дал. Кого-то он вытащил из тюряг, но не так много, а вот своим примером он создал такую штуковину… Я видел в его доме на улице Чкалова, где с первого этажа до его квартиры сидят шахтеры, потому что они приехали…

Ш.: Кстати, вы знали его лично [?]

Л.: Знал, но недавно уже. Мы кое-что вместе с ним делали. Такая смешная вещь, когда была эпоха всякого увядания, то был такой слух, по-моему, пущенный Руткевичем, что…

П.: Очень серьезный, очень серьезный был этот слух. А думаю, что именно этот слух и позволил…

Л.: …самое главное скрытое злодейство Левады состояло в том, что он какие-то социологические материалы Сахарову передал. Это было неверно, потому что, во-первых, никаких материалов у нас не было…

Ш.: Когда он пустил этот слух?

Л.: Тогда еще, когда Сахаров был [в опале]. Я никогда никому ничего не говорил по этому поводу, потому что отражать это было нелепо, он прямо об этом не говорил, но я знал, что он об этом в разных местах рассказывает, и это с его слов пошло гулять. А не было у нас в руках ни документов…

П.: Да их не было в природе.

Л.: Я тогда не был знаком с Сахаровым. Ну, неважно. А вот такой прямой контакт осуществился через много лет потом, и люди, знавшие оба эти момента, как-то так трепыхались по этому поводу… Ну, ладно, это так, by the way. Вот там шахтеры, почему они сидят, дело к ночи идет, – а потому, что его нет. Он в одной комиссии, в другой, но должен обязательно

появиться… Я не помню, прошлым летом это было, забастовка шахтеров… Дома никого нет, жена тоже где-то бегает. Она им сказала, что дверь открыта, пускай они входят и сидят в квартире. Но они сказали, что им неудобно сидеть в чужой квартире, и вот они с уважением сидят на лестнице, с первого этажа до…

Ш.: И последнее самое. В будущем видите возможность того, что роль интеллигенции сохранится по-прежнему, будет она влиятельной силой?

Л.: Знаете, тут отдельная сказка насчет того, что есть разрыв между реальной ролью и имиджем этой роли. Мы имеем больше дело с имиджем интеллигенции, чем с реальной ее работой. Реальное действие, организация, скажем, в межрегиональных группах, заставляет просто в ужас приходить, как на них поглядишь. Это очень несильная организация, и многие другие [тоже]. Я знаю практически все, какие есть, со степенью их неорганизованности, болтовни, взаимных там… Ну, это одна сторона, а другая сторона – это имидж. Он существует отдельно и оказывает свое влияние… Все зависит от того, смогут ли они стать более серьезными. Кстати, от этого зависит и реальность попытки людей вроде [Горбачева?].

Ш.: Ну, если такие люди, как Шейнис, смогут туда пробиться, то может быть…

Л.: Какие-то люди пробились. Я не уверен, что [именно] он, потому что он [Шейнис] не очень хороший оратор, потому что он иудейского происхождения, потому что он придерживается очень разумного, но очень осторожного варианта развития событий, потому что ему приходится конкурировать с очень известными неформалами все время. Я хочу вам привести такой смешной пример. Вы Седова помните?

Ш.: Я лично его не знал.

Л.: Из моего сектора, мы сейчас вместе тоже работаем. Вот такой свой человек, на несколько лет моложе меня. Сейчас опять мы вместе работаем, очень славно, так вот, он тоже попытался сделать шаг к выдвижению. Он подписант, он беспартийный, он друг всех диссидентов. Существует в Москве такая

организация общества избирателей, которая делает, или претендует на то, чтобы [выдвигать депутатов]. Ему сказали: «Согласись, мы сделаем». Он согласился и как-то увлекся этим у себя в районе, он через республику потом уже продвинулся, ну и добился каких-то успехов, в частности побил очень черных негодяев из каких-то около [?] структур. Затем осталось меньше претендентов, и где-то ближе к заключительному туру он вдруг столкнулся с такой вещью, с собранием, где были другие люди, довольно сильные претенденты, и вот получилось так, что… Тут два момента. Во-первых, в ситуациях вопросов и ответов он допустил, по его мнению, две нечаянных, но [серьезных] оплошности. Он сказал, что он человек умеренный, придерживается умеренных позиций, и считает, что правильной является умеренная стезя. Во-вторых, он забыл сказать, что он беспартийный, а его соперник это выпятил на первый план и даже написал в предвыборной листовке. И Седов проиграл.

Ш.: Значит, чистая тактика оказывается важна…

Л.: Да, не просто тактика, важно, на каких ценностях эта тактика держится – на радикальности, на открытой [контр?]атаке.

Ш.: Последний вопрос вам, Лена. Вы считали себя внутренним эмигрантом?

П.: Да не-е-т.

Л.: Это не очень ясное определение. Простите, что перебиваю.

Ш.: Но им пользуются, и я думаю, что за ним стоит какой-то феномен.

Л.: Характерным внутренним эмигрантом считается Пастернак, в какой-то мере Ахматова и Зощенко, можно на это намотать еще ряд других примеров.

Ш.: Но я имею в виду не чистый, а какой-то половинчатый уход из жизни.

Л.: Это выдуманные вещи, потому что на самом деле Борис Леонидович Пастернак писал патриотические статьи…

П.: Конечно.

Л.: …и переводил стихи Сталина, которые потом не были

напечатаны в 30-м году.

Ш.: Переводил на какие языки?

Л.: На русский. В 39-м, когда готовился юбилей этого самого пахана, разные шишки поручили Пастернаку – Пастернаку, поскольку он пользовался расположением хозяина каким-то, которое его спасало, – перевести его юношеские стихи из каких-то там грузинских изданий. Он занимался этим, а потом тот [Сталин] узнал об этом и решил, что это печатать не надо. Все это погорело, и они не были напечатаны.

Ш.: Но он готов был оказать услугу. Значит, вы считаете, что внутренний эмигрант это весьма неясный тип… Отчасти это зависит от того, как мы определяем этот термин. Для меня, например, Игорь Кон – внутренний эмигрант, хотя вы можете сказать, какой же он внутренний эмигрант, если он всю жизнь печатался в «Правде», «Коммунисте»…

П.: Дело же не в том, что печатался…

Ш.: Ну, да, он печатал хорошие вещи там, то, что многие люди побоялись бы напечатать…

Л.: Два года назад он [Кон] напечатал очень хорошую статью в «Коммунисте». Это никакого отношения к эмиграции не имеет.

Ш.: Я имею в виду 60-е, 70-е годы, когда было противоречие между историей, в которой ты себя находишь, и личной биографией, личными ценностями.

Л.: Были люди, которые имели личную жизнь другую, которые здесь что-то говорили, ля-ля, голосовали, руководили, но на самом деле считали нужным…

(Запись заканчивается.)

«Социологический журнал» № 1. 2008

М. Габович

К ДИСКУССИИ О ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ

Первый – немецкий – вариант настоящего текста был написан для берлинского журнала «Osteuropa». Он стал реакцией на подборку статей, опубликованных к первой годовщине смерти Юрия Левады. Биографическая зарисовка Алексея Левинсона о Леваде стала для главного редактора издания Манфреда Заппера поводом обвинить германских коллег в недостаточном внимании к работам Левады, а также Льва Гудкова и Бориса Дубина, а в результате – непонимании происходящих в России общественных процессов в их совокупности. Главной проблемой, актуализированной смертью Юрия Левады, Заппер объявил трудности транснационального научного диалога. При этом в обоих опубликованных текстах почти напрочь отсутствовало какое-либо обсуждение или даже изложение содержательной стороны работы Левады (либо его учеников), его (их) позиции в научных спорах, методов и результатов его (их) работ, особенностей его (их) подхода к исследуемым предметам.

Алексей Левинсон в тексте, написанном и впервые опубликованном по-русски еще при жизни Левады, написал, что оригинальность его работ в начале 1960-х состояла в анализе данных опросов, а также в обращении к понятию культуры. Сплоченный им коллектив задал «принципы позиционирования исследователя в… поле», «принципы столь же этические, сколь технические, столь же теоретически обоснованы, сколь практически обкатаны». Существование этих принципов, по Левинсону, хорошо известно, хотя «они никогда и нигде не формулировались»[1]. О нонконформизме левадовского стиля одежды читатель из статьи узнает больше, чем о содержании его социологических исследований. Заппер же, если не считать ссы-

[1] Русский оригинал статьи: *Левинсон А.* Держатель нормы. Юрий Александрович Левада (1930-2006) // Отечественные записки. 2006. № 6.

лок на междисциплинарность и «требование тотального охвата», посвящает методам Левады/Дубина/Гудкова ровно одну, довольно загадочную, фразу: «В их мысли и работах фундаментальное эмпирико-критическое осознание того, что любое высказывание в социальных науках должно быть верифицируемо при помощи данных, опросов и других количественно измеримых источников, сливается с другим основополагающим теоретическим убеждением: принципом понимающей социологии, социологии объясняющей, по которой видно, что эти авторы проработали и продуктивно развили Макса Вебера, Ханса-Георга Гадамера и Эдмунда Гуссерля»[2].

Таким образом, непосвященному читателю остается совершенно непонятно, зачем же ему читать Леваду (а также его учеников) – по крайней мере, если, помимо стойкой этической позиции, такой читатель интересуется еще и собственно научной стороной деятельности ученого. К сожалению, такой недостаток присущ не только текстам, представленным немецкому читателю, но и многим посмертным статьям о Леваде, которые мне довелось читать в российской периодике[3]. Мне такая позиция представляется контрпродуктивной: отсутствие содержательной и, главное, критической проработки – это скорее признак отсутствия реального интереса, нежели дань уважения.

---

[2] *Sapper M.* Dialogstörung. Warum Levada & Co. nicht gelesen werden // Osteuropa. 2007. № 10. S. 102.

[3] Ограничусь здесь перечнем наиболее содержательных статей, в которых, однако, исторический рассказ и изложение работ Левады тоже преобладают над их содержательным обсуждением, см.: *Гудков Л.* Социология Юрия Левады (опыт систематизация) // Вестник общественного мнения. 2007. № 4. С. 8-27. www.polit.ru/research/2007/09/13/gudkov.html; *Шляпентох В.* Звездное время Юрия Левады: история одного экзистенциального выбора // Новое литературное обозрение. 2007. № 87. С. 230-236. http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/sh13.html; *Дубин Б.* От традиции к игре: культура в социологическом проекте Юрия Левады // Там же. С. 237-247; http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/du14.html; *Он же.* Традиция, культура, игра в социологии Юрия Левады // Общественные науки и современность. 2007. № 6. С. 31-38; *Гудков. Л.* «Советский человек» в социологии Юрия Левады // Там же. С. 16-30.

Отказ от спора – верный путь к интеллектуальной мумификации. Я же, напротив, исхожу из того, что (особенно в области теоретической социологии) читать интересно тех, с кем хочется (и есть о чем) спорить. Поэтому, пользуясь любезным приглашением Льва Гудкова, ниже представляю уже русскому читателю некоторые (весьма фрагментарные) критические соображения о «методе Левады» и теоретических построениях его школы. При этом я отдаю себе отчет в том, что многие коллеги могли бы изложить подобные соображения гораздо лучше меня. Однако они предпочитают не делать этого публично. Причины такого отказа сами по себе достойны рассмотрения, и потому начну с некоторых наблюдений о статусе и возможности критической дискуссии в российских социальных науках, а также о том, существует ли вообще «школа Левады».

Сразу оговорюсь, что я ни в коей мере не считаю себя специалистом в области истории советской или постсоветской социологии. В настоящем тексте я опираюсь исключительно на опыт чтения (а также редактирования, издания и перевода на другие языки) текстов Левады и ряда его сотрудников и на сравнительно немногие устные выступления, которые мне доводилось слышать. Это важная оговорка, поскольку, в особенности в текстах давних сотрудников Юрия Левады, часто присутствует мотив особого статуса «устной социологии» советского времени и «общеизвестности» некоторых содержательных принципов работы, которые вместе с тем объявляются чуть ли не недоступными людям, лишенными «того» поколенческого опыта. Однако научное наследие, не эксплицируемое в письменном виде, лишено практической ценности для тех, кто не входит в узкий круг посвященных, оставаясь недоступным для открытого обсуждения и, в конечном счете, обреченным на увядание. Поэтому настоящий текст я прошу рассматривать, помимо прочего, как приглашение к содержательной дискуссии и более подробному изложению становления «левадовской школы».

О «школе Левады» и сложностях внутрироссийской и транснациональной дискуссии

Агиографическое отношение к Леваде вредно не только потому, что умалчивает о содержательной стороне его работы. Оно также равнозначно отказу от проблематизации общественной роли Левады и его школы. Это тем более прискорбно, что большое достоинство обсуждаемых авторов – в их способности к самокритике, точнее, в готовности рассматривать самих себя как часть исследуемой и критикуемой реальности. Представители Левада-Центра регулярно – и вполне оправдано – жалуются на отсутствие публичного обсуждения их идей. Но вполне возможно, что одной из причин такого положения дел является их сознательная установка на сопряжение критериев научности, этики и общественного влияния. Обращаясь сразу ко всем – к обществу в целом, к средствам массовой информации, «интеллектуальному» или «образованному сообществу» и, наконец, к другим социологам, они сознательно отказываются абсолютизировать автономию научной сферы. У такой установки есть свои минусы: в известном смысле она осложняет содержательную и доброжелательную критику, поскольку – особенно в условиях свертывания гражданских свобод и конкретно разгрома старого ВЦИОМ – такая критика почти неизбежно воспринимается как нарушение солидарности: становится труднее провести четкую грань между личными и/или политическими нападками и научным диалогом. Проблема эта, связанная в том числе и с общим климатом нетерпимости ко всему, что отдает «идеями 90-х», усугубляется тем, что и многие либерально настроенные авторы поддерживают смешение этических, политических и профессиональных критериев. Лев Гудков даже возвел такое смешение в ранг программной установки[4]. Про-

[4] Согласно Гудкову, раскрытие собственных ценностных предпочтений позволяет вернуться к научной объективности в условиях отсутствия коллективных конвенций, способных такую объективность обосновать. Оценочные термины становятся аналитическими понятиями, потому что в них «зафиксирован опыт существования в условиях репрессивного режима». (*Гудков Л.* Предисловие автора // *Он же.* Негативная идентичность. Статьи

тивникам либеральных и демократических ценностей (а ведь в российской социологии немало тех, кто определяет себя исключительно через такие политические категории, не соотнося с тем или иным научным подходом) в таких условиях легче отказаться от всякой содержательной критики.

Если в тексте Манфреда Заппера восхваление Левады как одновременно ученого и общественного деятеля вписывается в поиск морально стойких борцов с неправедным режимом (наподобие того, как за пределами России высказывания, например, Гарри Каспарова или покойной Анны Политковской могут восприниматься как истина в последней инстанции просто в силу их политической позиции), то в российском случае все сложнее. Научные институции (не только российские) испытывают вполне закономерную потребность в подчеркивании собственной легитимности и оригинальности через ссылку на уникальную фигуру отца-основателя. Поэтому в стремлении Льва Гудкова и других сотрудников Левада-Центра к систематизации и кодификации наследия Левады нет ничего удивительного: это позволяет обосновать претензию на теоретическую актуальность и закрепить за институтом особый статус – между социологией и общественной саморефлексией. Именно институциональное положение Левада-Центра позволяет осуществлять уникальное соединение социологии, социальной и культурной критики и присутствия в СМИ. Не будь ощущения угрозы, до сих пор сохранившегося после разгрома старого ВЦИОМа, возможно, посмертные отзывы коллег о Леваде были бы больше похожими на критические замечания о работах Пьера Бурдье, высказанные после его смерти рядом его коллег и учеников[5].

Остается ответить на вопрос, существует ли вообще в содержательном плане «школа Левады» и не является ли она кон-

---

1997-2002 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 17; *Он же.* Метафора и рациональность. М. 1994. С. 12 и 278 след.)

[5] *P. Bourdieu.* Sociologue / sous la direction de Louis Pinto, Gisèle Sapiro et Patrick Champagne; avec la collaboration de Marie-Christine Rivière. Paris: Fayard, 2004.

струкцией внешнего наблюдателя. Алексей Левинсон начинает свою статью о Леваде утверждением о том, что такой школы нет, а есть только группа сотрудников. Это неожиданное высказывание, ведь Гудков, Дубин и Левинсон в прошлом признавали себя учениками Левады[6]. Все они явно используют в качестве важных ориентиров в своей работе заданные Левадой теоретические рамки, а систематизирующими наследие учителя посмертными текстами, очевидно, встали на путь закрепления своего исследовательского коллектива в форме, которая соответствует даже довольно строгому определению «научной школы». Так, Фердинанд Колегар в 1974 г. определил «социологические школы» как «непрерывно работающие центры активности, организованные вокруг признанных «мастеров» и занятые методичной разработкой и передачей их учений», констатируя, что к тому времени существовало всего пять таких школ: «школа Дюркгейма во Франции, Чикагская школа Парка и Берджесса в Соединенных Штатах, Франкфуртская школа в Германии, связанная с именем Флориана Знанецкого Познаньская школа в Польше и руководимая Арношотом Блахой Брновская школа в Чехословакии»[7]. На сегодняшний день можно продолжить список, добавив, например, социоанализ, сознательно разработанный Пьером Бурдье именно как научная школа, или французский прагматизм, связанный с именами Люка Болтански и Лорана Тевено. От них следует отличать социологов, оказавших большое влияние на социальные науки своих стран как преподаватели, переводчики и/или теоретики, но не создавших крупномасштабного, долгосрочного и коллективного исследовательского проекта вроде «Человека совет-

[6] См., например: *Гудков Л., Дубин Б., Левинсон А.* От составителей // Левада Ю. Статьи по социологии. М. 1993. С. 5-12. Стоит ли уточнять, что, естественно, все они – гораздо больше, чем только ученики Левады? Но ведь то же самое можно сказать и о других упоминаемых мной социологических школах.

[7] *Kolegar F.* Рецензия на кн.:Martin Jay: The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. Boston, 1973 // Contemporary Sociology. 1974. № 5. P. 395.

ского», творчество которых не стало предметом опытов систематизации наподобие тех, которым сейчас подвергается наследие Левады.

В этом смысле, насколько я понимаю, на советскую социологию гораздо большее влияние, чем Левада, оказали, например, ленинградцы Владимир Ядов и Андрей Здравомыслов, привнесшие в институциональное пространство американские исследовательские методы и обучившие несколько поколений социологов[8]. Но полузапрещенный и ставший легендарным семинар, развитие функционалистской теории модернизации и масштабный проект изучения «человека советского» сделали именно Леваду основателем школы в строгом смысле слова. При этом несущественно, был ли «основатель» сам заинтересован в разработке своих построений как «теории» и «учения». Судя по всему, Левада был полностью лишен такого интереса, и в его случае систематизация происходит по инициативе учеников. Даже при жизни Левады почти все издания его работ отдельными книгами были инициированы его более молодыми сотрудниками. В посмертных изложениях его идей, опубликованных сотрудниками Левада-Центра, полностью отсутствует критика даже отдельных положений левадовской социологии, что позволяет говорить именно о кодификации.

Другая характерная черта, общая для группы Левады и семи упомянутых социологических школ, – однозначная установка на этическую направленность общественных наук, понимание социологии как инструмента критики и реформы общества – как правило, «своего» общества, социума своей страны. В этой связи имеет смысл обратиться к критериям рецепции российской социологии в других странах (опускаю здесь подробности о российском контексте, изложенные в немецком варианте статьи). Чтобы добиться международного признания, социологическое направление, особенно возникшее за пределами большой англоязычной, средней французской и маленькой немец-

[8] Напомним, что, как пишет Гудков, «ни у него, ни у сотрудников… не было серьезного опыта эмпирических социологических исследований». (*Гудков Л.* Социология Юрия Левады…).

кой научных метрополий, должно, прежде всего, соответствовать двум взаимосвязанным критериям. С одной стороны, необходим высокий уровень обобщения, т.е. абстрагирования от конкретного, чаще всего национального контекста, в котором почерпнут материал для исследований. С другой стороны, по содержанию и используемым когнитивным критериям это направление должно вписываться в интеллектуальную повестку дня «принимающей» страны.

Иначе говоря, чтобы быть прочитанной иностранными читателями, включая неспециалистов России, российская работа из области гуманитарных или социальных наук либо должна быть посвящена парадигмальной для международной историографии Западной Европе (и сказать о ней что-то оригинальное), либо должна заниматься созданием как можно более абстрактной теории на другом материале. Решающим здесь может стать выбор в качестве материала такой эпохи, страны или темы, которая привлекает интерес обществоведов и историков вне зависимости от национального происхождения и считается основополагающей: позднее западноевропейское Средневековье, эпоха Возрождения, Французская революция, классический русский роман. Наиболее успешной «экспортной продукцией» русской гуманитаристики не случайно оказались формалисты, Михаил Бахтин и тартуско-московская школа семиотики – авторы, в силу различных причин разработавшие крайне абстрактный теоретический язык, оказавшийся «применимым» к самым разным контекстам.

Рассматривая российскую социологию с точки зрения этих закономерностей, можно попытаться объяснить трудности вписания работ Левада-Центра в международный диалог. Производимые им исследования общественного мнения цитируются иностранным авторам в тех случаях, когда оказываются востребованными такого рода количественные данные – причем, как правило, упоминаются отдельные результаты опросов (например, число поддержавших лозунг «Россия для русских»). Что же касается теоретических работ сотрудников Левады, то они интересуют прежде всего тех, кто пытается на максималь-

но обобщенном уровне объяснить особенности российской действительности в негативно оценочном ключе, как патологии. Завоевать популярность у более широкой социологической аудитории им мешает то, что их тесты одновременно слишком локальны и слишком глобальны. Локальны потому, что их предметом становится российское общество и только оно, и они, очевидно, не очень заинтересованы в проверке и уточнении собственных концептуальных построений на материале других стран. Глобальны же потому, что общество это почти всегда рассматривается в целом, а его составляющие – элиты, интеллектуалы, государственные институты вроде армии и школы – изучаются (пусть даже очень подробно и масштабно) постольку, поскольку они выполняют некую функцию в развитии общества в целом. Такой макросоциологический и почти что телеологический в своем функционализме подход контрастирует с «теориями среднего уровня», задающими тон, например, в современной англоязычной социологии. Последние стремятся при помощи точечных исследовательских программ проверять локальные гипотезы о конкретных общественных явлениях, отказываясь от потенциально всеобъясняющих теорий наподобие модернизационной». Для того же, чтобы на рынке мирового научного внимания конкурировать с такими макротеоретиками, как Энтони Гидденс, Чарльз Тилли, Ульрих Бек, Пьер Бурдье или Люк Болтански, Леваде и его школе все же недостает как претензий на планетарный охват, так и оригинальности теоретических построений, по сравнению с такими классиками, как Толкотт Парсонс. В известном смысле это судьба большинства обществоведов в незападных странах: не располагая ресурсами для изучения собственного общества как всего лишь отдельного «кейса», им легко поддаться искушению оспорить применимость глобальных, «западных» теорий к собственному, совсем особому случаю. В этом смысле в российских дебатах о (не)возможности использования «их» понятий просто находит свое специфическое выражение общемировая проблема институциональной асимметрии. К этому (опять же, не только в России) добавляется слабость «своих» теорети-

ческих дискуссий, без которых вряд ли возможна полноценная рецепция за границей.

В России вновь и вновь можно услышать жалобы на невозможность здесь «настоящей» теоретической дискуссии в гуманитарных и социальных науках. Александр Филиппов регулярно утверждает, что спор о методе и теории здесь невозможен, потому что социальных наук в России просто нет[9]. Николай Копосов констатирует, что такие дискуссии иногда возникают, но в большинстве случаев «сводятся к обмену резкостями»[10]. Он это положение вещей объясняет «структурной деформацией отечественной культуры». Лев Гудков в связи с отсутствием содержательного обсуждения работ Левады сетует на «интеллектуальную неспособность социологического сообщества к рецепции сложных идей или на невозможность в России критической дискуссии, на бессмысленное следование интеллектуальным модам, эпигонство и т.п.»[11]

Действительно, такие дискуссии по-прежнему остаются рискованным делом – достаточно привести пример увольнения из Института социологии РАН Александра Бикбова за публикацию критической статьи о генезисе российской социологии[12]. Характерно, что споры о состоянии социологии зачастую ведутся не в профессиональных журналах, а в «общеинтеллектуальных» изданиях вроде «Логоса» или «НЗ» – гонорарных и относительно нейтральных по отношению к сложившимся школам, группам и институтам. Однако мне представляются неудовлетворительными эссенциалистские объяснения нехватки дискуссий «деформацией культуры» или первород-

---

[9] См.: *Филиппов А.* Теоретическая социология // Теория общества. Под ред. А.Ф. Филиппова. М. 1999. С. 7-33; *Он же.* Спор о методе невозможен // Неприкосновенный запас. 2004. № 3. С. 41-45.

[10] См.: *Иоффе Д.* Философия от истории или Филология от социальной хабитуалогии? [Беседа с Николаем Копосовым]. www.netslova.ru/ioffe/koposov.html.

[11] *Гудков Л.* Социология Юрия Левады… С. 8.

[12] *Бикбов А., Гавриленко С.* Российская социология: автономия под вопросом // Логос. 2003. № 1, 2.

ным грехом «homo sovieticus». Гораздо убедительнее указание на институциональные факторы и, в частности, бедность (в прямом смысле) российских обществоведов: работая одновременно в трех-четырех исследовательских проектах и/или преподавая сразу в нескольких университетах, мало кто может себе позволить вести спокойные теоретические дискуссии или подробно реагировать на тексты коллег[13]. К тому же содержательная критика зачастую приравнивается к соперничеству за деньги фондов. В такой атмосфере содержательные разногласия зачастую остаются невысказанными – не дай бог, они будут восприняты как личное нападение. Так, коллеги моего поколения в частных беседах нередко жалуются на излишнюю, по их мнению, публицистичность текстов Левада-Центра или их теоретическую неудовлетворительность, но мне как редактору пока ни разу не удалось подвигнуть кого-либо из них на письменное изложение подобных сомнений. В этих условиях проще говорить о великом моральном авторитете Левады, чем реагировать на его тезисы.

Такая ситуация способствует своего рода интеллектуальному солипсизму: собственные концепции редко удается оттачивать в споре с коллегами, находящимися за пределами собственного круга. Адресат социологических текстов остается неопределенным: вместо разговора с конкретным собеседником мы имеем (зачастую весьма резкие) обращения к «российской публике» или «социологическому сообществу». Наконец, постоянная «текучка» приводит к тому, что вместо монографий чаще всего появляются сборники. Это сильно осложняет в том числе и осмысление теоретических основ работ Левада-Центра, ни разу не изложенных в подробной и связной монографической форме. Поэтому позволю себе вкратце изложить некоторые противоречия этих методологических основ, какими они мне представляются на основе чтения текстов разных лет. Мое изложение не претендует на систематичность, однако выделен-

[13] *Соколов М.* Российская социология после 1991 года: интеллектуальная и институциональная динамика «бедной» науки // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2008. № 1. В печати.

ные ниже элементы «теории Левады» встречаются в стольких статьях разных лет и разных авторов его круга, что их вполне можно воспринимать как константы.

Цивилизационный дискурс и российская самобытность

Стержнем «левадовского метода» стала идея о «советском человеке» как «культурно-антропологическом типе». Это понятие позволяет Леваде навести мост между своими теоретическими текстами и эмпирическим изучением общественного мнения. Однако определение, а тем самым и методологическая функция «homo sovieticus» изначально является неоднозначной. То эта конструкция призвана служить исследователю своего рода идеальным типом, то он представляется (также идеалтипическим) «нормативным ориентиром» из перспективы самого общества. «… Человек советский, – пишет Левада, – не просто пропагандистский феномен. Он приобрел черты универсально значимого идеального типа, характерные черты которого определились в зрелый, «классический» период советского развития (примерно, в 30-е – 50-е годы)»[14]. В этом отношении «homo sovieticus» предстает преемником «человека революционного»[15] и предшественником «человека постсоветского»[16]. Иногда «человек советский» описывается как выражение культурной самобытности российско-советской цивилизации и сравнивается с «человеком Эллады и человеком Рима, человеком французского классицизма и человеком современного западного (европейски-американского) мира»[17]. Порой же он становится в один ряд с такими транснациональными и надвременными типами, как «авторитарная личность», возникшими как когнитивные конструкции, но не понимаемые их авто-

[14] *Левада Ю.* Советский человек и западное общество: проблема альтернативы // *Он же.* Статьи по социологии. М. 1993. С. 177-178.

[15] Там же. С. 179.

[16] *Гудков Л.* Социология Юрия Левады…

[17] Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993. С. 6.

рами как сознательно принятые обществом идеал-типические образы поведения.

В отличие от исследований авторитарной личности, доля «homo sovieticus» среди населения не устанавливается эмпирически[18]: общество заведомо объявляется складывающимся на основе данного «антропологического типа». Предметом эмпирического исследования, таким образом, становится не вопрос о существовании и относительном значении, «удельном весе» этого типа, а всего лишь его конкретные контуры. Определение «человека советского» укоренено в цивилизационном дискурсе, постулирующем особую стать Советского Союза (России). Это примечательно хотя бы потому, что подобный цивилизационный дискурс в российских дискуссиях обычно – но, как видим, необоснованно – ассоциируется с националистическими позициями либо с далекой от эмпирических исследований историософией.

Таким образом, концепция Левады изначально испытывает напряжение между идеал-типом и эмпирикой. Если человек советский – это идеал-типическая конструкция, общественный ориентир, то как он может обладать собственным «сознанием», поддающимся эмпирическому исследованию?[19] Складывается

[18] В этом ничего не меняет и указание на то, что «согласно нашим опросным данным, значительная часть населения Союза СССР осознавала себя прежде всего как «советские люди»» (*Левада Ю.* Советский человек и западное общество… С. 183), поскольку «советский человек» как «антропологический тип» в данных построениях представляет общество в целом: других типов просто нет. Левада указывает на то, что доминирующим может стать и мнение меньшинства, если оно навязывается большинству как образец (См.: Советский простой человек… С. 7). Механизмом такого внедрения миноритарных оценок в теории Левады служит сознательное стремление «homo sovieticus» к посредственности, его приспособленчество. Но остается непонятным, зачем такое стремление абсолютизировать, объявляя его атрибутом некого «антропологического типа».

[19] В этом отношении крайне любопытен рассказ Бориса Грушина о сознательном отстаивании понятия «массовое сознание» группой исследователей общественного мнения из Института конкретных социальных исследований в противовес официальной марксистско-ленинской догме верховенства сознания классового. (*Грушин Б.* Генеральный проект «Общественное мнение»

впечатление, что мы имеем дело с некоторой рационализацией метода количественного изучения общественного мнения, ставшего доступным команде социологов-теоретиков: единственный предмет, поддающийся изучению методами демоскопии, возвышается, становясь атрибутом некого «антрополигического типа».

Понятие тоталитаризма призвано разрешить это противоречие, представляя советское общество парадигматическим, но географически локализованным «случаем» определенной структуры сознания и поведения. «По мысли Левады, – пишет Гудков, – этот тип человека должен находиться в ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность» и т.п., а не этнических образов или характеров, поскольку этот тип имеет парадигмальное значение для целых эпох незападных вариантов модернизации и разложения тоталитарных режимов»[20].

Такое концептуальное соединение национально специфической и транснациональной моделей проблематично, поскольку исходит из наличия на Западе разнообразия личностных структур, в то время как в советском/российском случае постулируется доминирование некой единой модели. В любом случае подобный подход требует проведения сравнительных исследований. Если «homo sovieticus» действительно представляет весь незападный мир, по крайней мере «тоталитарную» его часть, то это (ключевое для всей конструкции) утверждение следует доказать эмпирическим путем. Однако подобных компаративных исследований, насколько мне известно, «школа Левады», во-

---

(ПОМ). Институт философии и ИКСИ Ан СССР (1967-1974) // Вестник общественного мнения. 2006. № 55-62). Вопрос в том, что делать с этим понятием в условиях, когда отпала необходимость борьбы с марксистским подходом: теперь проблематичной представляется сама (унаследованная от отвергнутого подхода) идея наличия общего «сознания» у некого, пусть меняющегося по составу, коллектива людей. Характерно, что широкое распространение в научной литературе (а не эзотерике) это понятие, насколько мне известно, получило только в посткоммунистических странах.

[20] *Гудков Л.* Социология Юрия Левады…

преки ей же сформулированному требованию[21], так и не произвела. Сотрудники Левада-Центра изучили самые разные аспекты российского общества, но не вышли за его рамки. Попытки вписать российский «случай» в международный ряд, как правило, делаются лишь в сносках и кратких отступлениях, оставаясь на удивление общими. В отличие от многих российских коллег, в данном случае россиецентричность исследовательской перспективы трудно списать на ограниченный горизонт авторов этих текстов. Стоит ли напомнить, что Юрий Левада посвятил свою первую социологическую работу Китаю, Алексей Левинсон и Леонид Седов по специальности – историки Юго-Восточной Азии, Лев Гудков – блестящий знаток германской социологии, а Борис Дубин – один из наиболее продуктивных в России переводчиков и критиков восточно- и западноевропейской литературы? И, тем не менее, почти все что они (в контексте разговора о российском обществе) пишут о других странах, сводится к подчеркиванию уникальности России[22]. Так, Левада пишет: «Конечно, процессы модернизаци-

[21] Там же: «Другим (теоретико-методологическим) требованием было помещение рассматриваемого явления в нескольких социальных пространствах – соотношения центра и периферии (их различного функционального значения), России и ближнего зарубежья, России и западноевропейских стран, России и США, России и ООН, внутрироссийских и мировых событий и т.п.» Характерно здесь то, что в качестве элементов для сравнения опять же названы только бывший Советский Союз, Запад или же весь мир, но не упомянуты незападные страны, хотя по теории Левады они наряду с Россией должны рассматриваться как общества «запоздалой модернизации», придающие концепции «человека советского» универсальное значение.

[22] Отдельные «международные» наблюдения озвучивает Алексей Левинсон, сравнивая Россию с Индонезией («…Меня занимает внешняя сторона вещей». www.nir.ru/sj/sj/sj2-02lev.html). Он же вкратце обращается к другим азиатским странам в статье «Демография террора» (Неприкосновенный запас. 2002. № 5. С. 45-50). Гудков особенно интересуется параллелями между Россией и Германией (см. в особенности статью «Тоталитаризм» как теоретическая рамка: попытки ревизии спорного понятия» // Гудков Л. Негативная идентичность… С. 362-446). Однако эти попытки сравнения остаются изолированными или фрагментарными и отступают на задний план, по

онного типа, особенно в условиях поздней модернизации, нигде не свободны от осложнений и трансформаций (недавние примеры – мусульманские общества Ближнего и Среднего Востока)». Однако, продолжает он, «на этом фоне Россия отличается масштабами инертной массы и многообразием конструкций парадигмы противостояния»[23]. Трудно поверить, что это утверждение основано на подробном изучении хотя бы тех же мусульманских обществ, парадигмы антизападничества в которых при пристальном взгляде обнаруживают удивительное богатство.

Потому вряд ли стоит удивляться тому, что Дубин и Гудков в своих текстах о России прибегают к шпенглеровскому понятию «псевдоморфоза»[24], постулирующему абсолютную взаимную непроницаемость цивилизаций[25]. Вполне закономерно и

сравнению с подчеркиванием особого статуса России. Мне неизвестны какие-либо исследования Левада-Центра, посвященные изучению хотя бы других постсоветских стран со степенью детализации, сравнимой с текстами о России, или хотя бы ссылки на подобные исследования других авторов в любых других «незападных» странах. Известным исключением можно считать статьи Бориса Дубина о восточноевропейском идентитарном дискурсе, которые, однако, относятся скорее к области истории литературы (см., например: *Дубин Б.* Европа – «виртуальная» и «другая». Глобальное и локальное в самоидентификации восточноевропейских интеллектуалов после Второй мировой войны // Он же. Интеллектуальные группы и символические формы. М.: Новое издательство, 2004).

[23] *Левада Ю.* Советский человек и западное общество… С. 181.

[24] Например: *Гудков Л., Дубин Б.* Своеобразие русского национализма. Почему в нем отсутствует мобилизующее, модернизационное начало // Pro et contra. 2005. № 2. С. 11; *Дубин Б.* Война, власть, новые распорядители // Интеллектуальные группы…

[25] Шпенглер заимствовал это понятие из минералогии, где оно применяется к горным породам, приобретающим облик другой породы, не меняя при этом своей внутренней структуры. В «Закате Европы» он назвал Россию главным примером цивилизации, перенявшей западные формы лишь внешне: возможность изменения внутренней «цивилизационной» сути для него была заведомо исключена. Интересно, что мода на национал-консерватора Шпенглера, характерна для России начала 1990-х и во многом сформировавшая впоследствии «культурологию», не прошла и мимо авторов, проти-

то, что все вышеперечисленные авторы говорят о «западном обществе» в единственном числе, противопоставляя его России. Последняя же не ставится в один ряд с другими незападными обществами, или, по крайней мере, делается это далеко не последовательно. Лев Гудков даже возводит это традиционное противопоставление в ранг методологического принципа, объявляя – правда, с серьезными оговорками – подходы западных социальных наук неприменимыми к России[26]. При последовательном применении такого принципа российская самобытность становится едва поддающимся фальсификации символом веры. И действительно, почти каждое указание на сопоставимость России с другими странами по тем или иным конкретным параметрам отметается со ссылкой на несущественность такого сравнения для целого. Такая позиция неизбежно сопряжена с идеализацией «Запада» как царства «нормы», выступающего эталоном для России[27]. Интересно, что наиболее проницательную критику подобного подхода можно найти у

воположных ему как по идеологии, так и по исследовательской перспективе.

[26] См.: *Гудков Л.* Предисловие автора // Он же. Негативная идентичность. С. 5-6. Автор здесь проводит различие между понятиями, имеющими «фантомный и идеологический характер» (к котором он относит, например, «стартификацию» и «средний класс») и «более эффективными» понятиями (такими, как аномия и монополия на насилие). Тем не менее главным аргументом против применения отвергаемых понятий остается их западное происхождение. При этом утверждение автора о том, что «западные» понятия возникли в «нормальных обществах» Запада, вряд ли является оправданным: достаточно указать на центральное для возникновения «западных» понятий значение этнографических, культурно-антропологических и исторических работ Бенедикта Андерсена, Пьера Бурдье, Клиффорда Гирца или Эрнеста Гелнера, посвященных Северной Африке или Юго-Восточной Азии. Вряд ли «инакость» этих регионов так уж сильно уступает российской. Да и такие понятия, как «средний класс», в некоторых случаях оказались вполне продуктивными для описания процессов деколонизации или революций в «незападных» странах.

[27] Обоснованию различия между Россией и «нормальными» странами служит и теория Бориса Дубина о перманентном чрезвычайном положении, о «чрезвычайном» как «привычном». См.: *Дубин Б.* О привычном и чрезвычайном // Интеллектуальные группы…; *Он же.* Война, власть…

самих обсуждаемых авторов. Так, Левада пишет: «…Мифологема противостояния «Запада» и России по определению претендует на то, чтобы быть абсолютной, универсальной, неизменной. Как и любая иная мифологема, она не исходит из эмпирического материала, но накладывается на него и тем формирует культурный код восприятия реальности»[28]. Как подчеркивает Левада, это относится и к тем, кто отказывается воспринимать отношения с Западом как конфронтационные: «Либеральные и прочие модернизаторские течения, вплоть до новейших, отстаивая идею разнообразия исторического развития, прогресса, общечеловеческих ценностей и т.д., тем не менее, оказывается в зависимости от того же культурного кода, воспроизводя в своих концепциях схемы противостояния в трансформированном и «разбавленном» благими намерениями виде»[29].

Гудков с откровенностью, заслуживающей самого высокого уважения, пишет об интеллектуальной атмосфере 1970-х и 80-х гг., в которой (и в противовес которой) возникла его наиболее сложная теоретическая работа.

«Вся умственная работа в интеллигентских кругах укладывалась в рамки невротического сравнения своей реальной жизни и смутно представляемой, но казавшейся разумной и упорядоченной жизни «там», в «нормальном обществе». При этом одной отказывалось в осмысленности и полноте (это была отложенная жизнь, пребывание вне событий), другая, напротив, обретала признаки идеальности, плодотворности, рафинированности переживаний и мыслей»[30].

Эта идеализация, как мне кажется, так и осталась непреодоленной в социологии Левады и его сотрудников, в том числе и потому, что «Запад» как идеал-типическая конструкция остается главным ориентиром их аналитической работы и продолжа-

[28] *Левада Ю.* Человек советский… С. 180.

[29] Там же. С. 181.

[30] *Гудков Л.* Метафора и рациональность. М., 1994. С. 6.

ет восприниматься как «нормальное общество», т.е. как абсолютная норма[31]. Задачей социологического анализа в таком случае становится доказательство недомодернизации России, давая ей разглядеть саму себя в зеркале «homo sovieticus».

Одним из проблематичных последствий данной позиции становится осложнение международной научной коммуникации. По только что описанной логике социальные исследования в России проводятся не с целью проверить понятия универсальных социальных наук на прочность, совершенствовать их, опираясь на полученные эмпирическим путем результаты и впоследствии возвращать в оборот теоретической дискуссии. Напротив, речь идет о науке о России и для России, адресатом которой является не международное социологическое общество (естественно, существующее в значительной мере как идеал), а российское общество. Такому представлению в точности соответствует постулат Бориса Дубина о том, что «любой серьезный социологический проект, включая концептуальные разработки самого высокого уровня абстракции, всегда обращен к окружающему социолога обществу и к его настоятельным сегодняшним проблемам»[32].

Подобное же представление побуждает Алексея Левинсона назвать Леваду «совестью нации»[33]; оно же обусловливает раздражение Гудкова и Дубина «интеллектуальным сообществом», неспособным адекватно воспринять их дискурс[34]. Иными словами, пусть не научное, а более широкое (т.е. не профессионально социологическое) «интеллектуальное» сообщество внутри страны является более значимым адресатом, чем сообщество коллег-профессионалов, но транснациональное.

Конечно же, в подобном восприятии социальных наук как

---

[31] Об этом же пишет Соня Марголина в статье из цикла текстов о Леваде в журнале «Osteuropa». См.: *Marrgolina S.* Dialogstörung als Norm. Levada & Co. als einsame Rufer in der Wüste // Osteuropa. 2008. № 1. P. 9.

[32] *Дубин Б.* От традиции… С. 238,

[33] См.: *Левинсон А.* Держатель нормы…

[34] Например, см.: *Гудков Л.* Социология Юрия Левады…

средства критики своего общества нет ничего специфически российского – в той или иной степени оно распространено во всем мире. Однако оно ставит под вопрос статус «homo sovieticus» как «антропологического типа», имеющего универсальное теоретическое значение. К тому же такая социология, которая обращается в первую очередь к собственной стране, закономерно вызывает ограниченный интерес у иностранных коллег. Этим, похоже, обусловлен тот факт, что теоретические тексты Левады, Дубина и Гудкова за пределами России востребованы прежде всего в контексте стремления объяснить загадочную «особость» России, но не в более отвлеченной социологической дискуссии.

Функционализм и западные образцы

Насколько удается судить по основным теоретическим текстам, «левадовский» подход основными своими чертами обязан структурному функционализму, укорененному в американской теории модернизации 1950-х гг.[35] Леваде интересен макроуровень, общество в целом, а компонентами последнего являются социальные группы (такие, как элиты, интеллигенция) или подсистемы. Эти группы исследуются на предмет того, разрабатывают ли они «ценности» и «ориентиры», становящиеся образцами для других групп. Признаком развитого или «модернизированного» общества являются, с одной стороны, высокий уровень функциональной дифференциации между разными группами и, с другой стороны, преобладание ценностей, считающихся «современными» и «продвинутыми»: в самом широ-

[35] Именно так еще в советское время Леваду воспринимали американские социологи. К примеру, Х. Кент Гейгер в своей рецензии на сборник работ советских социологов писал: «В теоретической части американских читателей впечатлит (или озаботит – у кого какие пристрастия) концептуальная виртуозность, продемонстрированная Юрием Левадой в статье о «социальной структуре», предлагающей функционалистское описание на уровне обобщения, сопоставимом с Парсонсом или Эйзенштадтом». *Geiger H.K.* Рецензия на кн.: Murray Yanowitch, Wesley A. Fisher (eds.): Social Stratification and Mobility in the USSR. White Plains / N.Y., 1973 // Contemporary Sociology. 1975. № 2. P. 163.

ком смысле это универсализм, ориентация на успех и специализация.

Толкотт Парсонс, воспринимаемый и выступающий к тому времени как классик функционализма, активно обсуждался в советской социологии 1960-х гг., в чем, очевидно, не последнюю роль сыграл Юрий Левада. Сам Парсонс был весьма заинтересован в контактах с Советским Союзом, поскольку считал его «модернизацию» (главным образом посредством бюрократизации и индустриализации) признаком конвергенции с Соединенными Штатами[36]. В 1964 и 1967 он посетил СССР и выступал на семинаре Левады.

Повторяю, что я не специалист по истории советской идеологии, но счел нужным указать на роль Парсонса и других теоретиков модернизации, поверивших в сближение СССР и США, поскольку они позволяют вписать метод Левады в международный и советский контекст. Проект изучения «человека советского» в какой-то степени был советским кейс-стади, продолжающим «модернизационные» проекты вроде «Становления современного человека» Алекса Инкельса и вместе с тем не представлял собой радикального разрыва с советскими общественными науками. Последние еще с 1960-х гг. пытались при помощи количественных исследований изучать формирование (городской) советской идентичности и, соответственно, растворение старых – этнических и социальных – форм самоидентификации. Иными словами, обществоведы пытались эмпирическим путем проверить на соответствие реальности офи-

[36] Об этих контактах см.: *Engerman D.C.* To Moscow and Back. American Social Scientists and the Concept of Convergence // Nelson Lichtenstein (ed.): American Capitalism: Social Thought and Political Economy in the Twentieth Century. Philadelphia 2006. P. 47-68. – С российской точки зрения (очевидно, с неточностями): *С. Белановский* [интервью]: «Юрий Левада прожил долгую и богатую событиями жизнь. Он был одним из первых социологов советского поколения и прославил себя в области социологической теории» // Русский журнал. 17.11.2006. www.viperson.ru/wind.php?!D=397403&soch=1.

циальные идеологические декларации[37]. Интеллектуальному оплодотворению американской социологией 50-х и 60-х функционализм левадовского типа обязан как минимум двумя характерными чертами: отсутствием систематического интереса к специфике микроуровня общества и продолжающейся идеализацией Запада.

Американская социология, по крайней мере, с начала 1960-х гг. пыталась высвободиться из смирительной рубашки «системы Парсонса», рассматривающей индивидов прежде всего как более или менее успешных носителей нормативно определяемой роли. Разнообразие и неопределенность человеческого действия подчеркивали, в первую очередь, исследования Эрвина Гофмана по социальному взаимодействию в повседневных ситуациях, не прорывая при этом полностью с верой Парсонса в заданные обществом роли[38]. Похожие соображения, пусть во фрагментарной форме, изложены в статье Левады «Игровые структуры в системах социального действия»[39], которую сам он объявил своим главным теоретическим текстом. Кратко говоря, Левада писал о том, что действия, имеющие «игровую» структуру, создают своего рода пространство свободы, внутри которого общесоциальные нормы могут по-разному сопрягаться с прагматическими мотивами, предоставляя, таким образом, выбор между разными путями смыслообразования и различными возможностями действия, каждая из которых может быть воспринята как рациональная.

Однако подобное уточнение функционализма остается заявкой, поскольку не сопряжено с эмпирическим изучением реальных микросоциологических ситуаций, а просто постулирует наличие определенных игровых структур в советском обществе, точнее, выводит их из собственного опыта или же из ре-

---

[37] Среди прочих здесь можно назвать и некоторые работы НИИ Культуры при Министерстве культуры РСФСР, и зарождавшуюся с начала 1970-х гг. в Институте этнографии «этносоциологию».

[38] *Goffmann E.* Interaction Ritual. Essays in Face to Face Behaviour. Chicago, 1967.

[39] *Левада Ю.* Статьи по социологии. М., 1993. С. 99-119.

зультатов опросов общественного мнения. О сложности человеческого действия, не поддающейся статистическому подсчету, этот метод не способен сказать ничего особо «научного»: ведь действия людей определяются множеством факторов, помимо звучащих в специфической ситуации опроса высказываний о собственных мотивациях и ценностях. Но эти факторы остаются в «мертвом углу» социологического зеркала, отображающего лишь макросоциальные трансформационные процессы[40]. Таким образом, метод, которому авторы ставят в заслугу «твердую» эмпирическую базу, оказывается именно как метод достаточно бедным, поскольку питается только из источника опросов общественного мнения, скудность которого компенсируется (внушительным, но не производным от используемого метода) богатством воображения и жизненного опыта толкователей. Собственный жизненный опыт становится источником «типичных» примеров, иллюстрацией и подтверждением которого воспринимаются количественные данные[41]. Именно поэтому авторы «школы Левады» постоянно прибегают к «репрезентативным» случаям, цитатам и персонажам, именно этим обусловлены бесконечные перечисления с «и т.д., и т.п.», особенно в текстах Льва Гудкова и Бориса Дубина.

По той же причине поколенческий фактор в восприятии «левадовских» работ играет гораздо большую роль, чем следовало бы ожидать, исходя из заявки на «количественную» объективность. Ведь еще одной особенностью является уже упомянутый взгляд на «Запад» как постоянный ориентир и точку

---

[40] Так, для объяснения соответствия опросных данных официальным результатам думских выборов в таких регионах, как Ингушетия, где выборы, очевидно, не были честными, Борис Дубин вынужден прибегнуть к весьма огрубленному понятию «приспособление». См.: *Babich D.* Suspiciously Accurate // Russia Profile, 21.2.2008, www.russiaprofile.org/page.php?pageid=Politics&articleid=a1203604061.

[41] Это всегда происходит при интерпретации статистического материала и, в частности, при первичной классификации «сырых» опросных данных, как экспериментальным путем доказали Люк Болтански и Лоран Тевено, см.: *Boltanski L., Thévenot L.* Finding One`s Way in Social Space: a Study Based on Games // Social Science Information. 1983. № 4-5. P. 631-680.

сравнения. Эта установка, конечно же, вырастает из опыта поколений, социализированных в советское время. Теоретическое же обоснование он получает опять же через американскую теорию модернизации, определившую якобы торжествующую во всем мире «современность» через идеализированное описание общества Соединенных Штатов 1950-х гг.[42] И действительно, США, особенно непосредственно послевоенных десятилетий, в текстах Левады и его сотрудников регулярно выступают своего рода нормативной планкой для оценки России: так, например, Левада для классификации стратификационных процессов обращается к классическому исследованию супругами Линд «анонимного» американского города «Миддлтаун», опубликованного в 1929 г. (!).

Дубин противопоставляет скудость, по его мнению, литературных и интеллектуальных журналов в постсоветской России с их разнообразием в США 1960-х гг. При этом он умалчивает о том, что кризис данной формы периодического издания сегодня в Германии или Соединенных Штатах отмечается отнюдь не реже, чем в России, и не обсуждает различия между, с одной стороны, географически централизованными издательскими ландшафтами таких стран, как Франция или Россия, и, с другой, децентрализованными пространствами США или Германии[43]. Гудкову, в свою очередь, США служат нормативной планкой для критического анализа российского высшего образования[44].

Роль, аналогичную статусу США как воплощению современного общества, в области этики и в особенности преодоления тоталитаризма играет (Западная) Германия[45]. Однако и в том, и в другом случае речь идет не просто о сравнении России

---

[42] См.: *Gilman N.* Mandarins of the Future. Modernization Theory in Cold War America. Baltimore, 2004; *Behrmann G.C.* Globale Modernisierung – Ein American Dream? // Welttrends. 2004. № 44. S. 86-99.

[43] См.: *Дубин Б.* Интеллектуальные группы…

[44] См.: *Гудков Л.* Кризис высшего образования в России: конец советской модели // Он же. негативная идентичность… С. 687-736.

[45] См.: *Гудков Л.* Тоталитаризм…

с какой-то одной другой страной: поскольку Левада и его сотрудники исходят из существования единого западного общества, любая позитивная черта, наличествующая где-нибудь на Западе, записывается на счет всего западного общества. К примеру, участие Хосе Ортега-и-Гассета в западноевропейской дискуссии об этическом значении Второй мировой войны позволяет Гудкову и Дубину рассматривать его наряду с Теодором Адорно, Карлом Ясперсом и Жан-Полем Сартром как доказательство большей этической зрелости послевоенного «Запада», по сравнению с постсоветской Россией, хотя испанское общество тех лет вряд ли представляет собой образец стремительного осмысления и преодоления авторитарного прошлого[46].

Таким образом, России приходится состязаться не с одним «конкурентом», а со всеми сразу, а такой вызов любой отдельно взятой стране заведомо не по плечу. Такая перспектива заставляет игнорировать позитивные изменения в отдельно взятых областях, поскольку от них целое не приближается к идеалу. В результате развитие общества рассматривается не как набор пересекающихся сфер и уровней действия, а (метафорически и антропоморфно) как выбор определенного «пути». В таком случае, естественно, помимо якобы единого «западного» пути, остается только (очевидно тупиковый) «собственный» путь. Подобная перспектива также осложняет восприятие работ Левада-Центра международным социологическим сообществом, которое, хоть и интересуется наследием советских образцов поведения, все меньше изучает общественные системы отдельно взятых государств и «пути развития» и все больше – глобализацию и транснационализацию.

[46] Здесь я ссылаюсь на совместное выступление Льва Гудкова, Бориса Дубина и Алексея Левинсона на московских Банных чтениях 2 апреля 2005 г., озаглавленное «Молитва перед зеркалом: к структуре и функциям российского интеллектуального канона».

Заключение

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что в настоящей статье я рассмотрел только некоторые из (ключевых, как мне кажется) аспектов «макротеоретического» обоснования работ «школы Левады». Мои замечания вовсе не отменяют исключительной ценности того огромного множества конкретных исследований, проведенных «под шапкой» проекта «Человек советский» или смежных проектов, таких, как недавнее исследование российских политических элит. Они также не имеют ничего общего со звучащими иногда со стороны «качественников» призывами объявить всю количественную социологию (или конкретно опросы общественного мнения) «вне закона». Однако мне представляется полезным задаться вопросом, насколько для обоснования ценности этих результатов необходима та теория, которую можно получить путем «систематизации» наследия Левады. Вполне возможно, что ключом к наиболее плодотворному развитию этого наследия может стать именно отказ от теоретических схем наиболее высокого уровня обобщения. В любом случае мне кажется, что после появления множества некрологов и мемуарных текстов уже пора перейти к содержательной дискуссии. Юрий Левада это заслужил.

Если говорить о жизни простых людей, где в 70-е–80-е годы она была лучше… (в % к числу опрошенных)

	В СССР		На Западе		На одном уровне		Затруднились ответить	
	2000	2008	2000	2008	2000	2008	2000	2008
Система образования	70	66	14	11	4	8	12	16
Система здравоохранения	56	52	28	23	3	8	13	17
Система трудоустройства	78	61	11	14	3	8	9	17
Социальное обеспечение	51	44	29	28	3	8	17	20
Положение в области науки	64	55	16	14	6	14	14	18
Положение в области культуры и искусства	61	54	16	14	6	13	15	19
Положение в области соблюдения гражданских прав	35	29	41	37	4	10	20	24
Жизнь простых людей в целом	49	38	29	30	6	10	16	23

N=1600

«Вестник общественного мнения» № 4 (96) июль-август 2008

Л. Гудков

ПРОБЛЕМЫ СОЦИОЛОГИИ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ*

Мы думаем о том, что мы думаем.
Мы думаем о наших мыслях,
можем их анализировать.
Мы иногда знаем, когда мы знаем,
и знаем, когда мы не знаем.

Ю. Левада. Лекции по социологии

Предварительные замечания

После смерти Ю.А. Левада был почти единодушно признан «безусловным моральным авторитетом» и наиболее ярким или даже самым крупным ученым в российской социологии. Однако работы Левады, как и прежде, остаются мало известными. Если в советское время отсутствие отклика можно было в какой-то мере объяснить недоступностью его сочинений (Леваду почти не печатали, а то, что публиковалось, выходило в ведомственных или малотиражных сборниках, ссылки на его работы старательно вычеркивались), то с конца 1980-х годов никаких ограничений уже не существовало: Левада много печатался, и не только в специальных изданиях. Однако его работы (особенно ранние – времен запрета на профессиональные публикации – 1972-1985 гг.) сегодня почти не цитируются, не входят в учебные курсы по социологии или культурологии, а значит – не обращаются в качестве значимых теоретических и концептуальных конструкций, образцов анализа или интерпретации социальной реальности. Можно объяснять это непониманием, хотя, как мне кажется, более серьезные причины заключаются в неприятии его научной и человеческой позиции, оказавшейся явно маргинальной по отношению к правилам игры, принятым

* Настоящая статья представляет собой переработанный и уточненный вариант публикации «Социология Юрия Левады: опыт систематизации» (см. «Вестник общественного мнения». 2007. № 4).

в отечественной науке. Отсутствие интереса к идеям и исследованиям Левады обусловлено инерцией академического конформизма, когда-то острой, сегодня почти стертой, раздраженной реакцией на независимость человека, не желавшего каяться в своих научных «грехах». Его дистанцированное отношение к российской социологической среде принимали за высокомерие, подозревали в претенциозности или упрекали в неблагодарности. Но так или иначе, «за Левадой» оказалось записанным главным образом экстранаучное значение, а не его концепции или эмпирические разработки[1].

В любом случае мне не хотелось бы затрагивать здесь подобные темы. Для отечественной социологии, на мой взгляд, гораздо важнее разобрать тот круг социологических проблем, которые притягивали внимание Ю.А. Левады, чем перебирать обстоятельства исследовательской работы в СССР или в постсоветской России.

Теоретические работы Левады 1970-1980-х годов написаны, действительно, предельно сжато, практически без примеров или разъяснений. Однако стиль его работ тех лет лишь отчасти обусловлен соображениями «проходимости» и цензуры, а также неопределенностью своего положения. Более адекватным объяснением, как мне кажется, было бы указание на предельную сосредоточенность мысли автора на проблемах, которые в

[1] Поэтому мне трудно принять, например, утверждения В.Э. Шляпентоха [*Шляпентох* 2007, с. 230-236], выдвигающего историю с «Лекциями по социологии» на первый план в *научной* биографии Ю.А. Левады. По тем же причинам я далек от позиции М. Габовича, протестующего против «курения фимиама» и нарождающегося «культа Левады» [*Gabowitsch* 2008, s. 33-52]. То, что несколько некрологов и памятных материалов о Леваде, появившихся в печати и Интернете, воспринимаются как «иконизация», на мой взгляд, свидетельствует не просто о неадекватности понимания ситуации в российской социологии или о кажущейся «чрезмерности» реакции на его смерть, а о том, что задеты очень важные точки профессиональной самоидентичности социологов. Самому Леваде, как мне представляется, навязывание любой патетической роли было крайне неприятным («Я – не любитель ораторствовать и у меня желания что-то вытащить из кармана и удивить публику никогда не бывает <…> Никаких деклараций у меня приготовлено не было, и я их вообще не люблю» [*Левада* 2005б]).

принципе исключены из отечественной социальной науки, остающейся, по сути, эпигонской: это – общая теория социологии и ее главные составляющие – аналитические возможности концептуального схватывания разных типов человека и соответствующая им организация социальных форм. Левада постоянно размышлял над проблемами этого рода и предлагал свои решения без каких-либо оговорок и скидок на особые обстоятельства, обусловленные «спецификой отечественной ситуации».

Но и поздние его работы, написанные уже во времена ВЦИОМ и Левада-центра, хотя и кажутся более ясными и «заземленными», «эмпирическими», содержащими огромное количество цифр и других иллюстраций фактического материала из массовых опросов, очень не просты.

В данной статье речь не идет об «аутентичности» воспроизведения левадовской работы, а лишь о вынужденной схематизации его идей и способов понимания действительности, его интерпретации текущих процессов в России. Мне не хотелось бы создавать у читателя ложное представление о систематическом характере его теоретических разработок или навязывать кому-то мысль о наличии особой, «стройной» теории общества или методологии познания посттоталитарного социума. Никакого «общего плана» своей работы у Левады, видимо, не было. Он следовал тому, что ему было «интересным». Однако внутренняя свобода мысли не означает, что нельзя говорить об определенной логике его социологических исследований, обусловленной спецификой познавательного интереса (характером тех задач, которые он ставил перед собой или своими сотрудниками).

Задачи социолога в ситуации социального разлома. Особенности социологического подхода Ю.А. Левады

Своеобразие левадовского способа работы состоит в стремлении обнаружить многообразие мотивов и образцов действия, признании сложности социальной материи в конкретных, российских обстоятельствах и ситуациях «сейчас идущей жизни», выявлении такой же равноценности российской реальности,

что и в других зонах мировой истории. Такая фокусировка исследовательского интереса была совершенно понятна для тех, кто жил в условиях советского принудительного единомыслия, тотальной организации социальной и индивидуальной жизни людей. Для Левады, как и для многих других социологов, недопустимость сведения социологического объяснения индивидуального или массового поведения к формальным институциональным или даже неформальным групповым нормам и правилам была совершенно очевидной.

Первоначальный пафос советской социологии был окрашен искренним стремлением к описанию реальности «самой по себе», освобожденной не только от догм или клише пропаганды, но и от жесткой системы официальной регламентации и нормативного управления. То, что дало толчок для критики структурного функционализма в конце 1960-1970-х годах со стороны представителей радикальных или гуманистических, этнометодологических направлений социологии (одномерность социальной системы, трактовка ее как бесконфликтной или лишенной источников развития), было вполне очевидным для исследователя тоталитарного общества, в котором центральные институты власти, управления, устрашения впервые начали «давать сбой». Социальная действительность стала обнаруживать свою сложность, противоречивость, многомерность. Анализ природы тоталитарных режимов, а именно такого рода задачи возникают у Левады уже в его ранних работах (начиная с его занятий идеологией христианского социализма и гуманистической этикой, социологией религии) и остаются в центре исследовательского интереса ученого до конца жизни, требовал новых понятийных средств описания и объяснения структуры личности человека и его взаимодействия с общественными системами. Именно поэтому стала очевидной необходимость владения средствами структурно-функционального анализа (для объяснения устойчивости институциональной структуры и ее воспроизводства), с одной стороны, а с другой – поиск возможностей исследования гетерогенности человека как потенциального источника изменения. Последнее (удивление перед

сложностью структуры человека) было характерно не только для Левады. Это можно считать общей чертой того времени – резкое расширение временных и тематических горизонтов исследовательской работы, однако проявлявшееся, в первую очередь, в семинарской работе различных научных коллективов, поскольку цензура и формальные рамки советских учреждений накладывали свои ограничения на научную жизнь[2].

Определенность этической позиции Левады, приоритетность моральных принципов перед любыми другими ценностями и мотивами делали его независимым от средового «прогрессизма», соблазняющего многих своим безответственным и бездумным утопизмом, или от столь же распространенного интеллигентского релятивизма, за которым чаще всего скрывался прагматически расчетливый, конформистский меркантилизм[3]. Сохраняющаяся трезвость оценки людей при неизменном интересе к ним, любопытство по отношению к самодостаточной жизни не совместимы ни с нетерпением, рождающимся из не-

[2] Сегодня, спустя десятилетия, отчетливо видно, как одновременно в самых разных областях науки шел процесс осмысления гетерогенности сознания, глубины культурной памяти и сохранения архаических пластов в современном сознании. Речь идет не только о семиотических работах В.В. Иванова и В.Н. Топорова, но и о исторических трудах А.Я. Гуревича, анализе структуры сознания у М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского, многозначности структуры текста у Ю.М. Лотмана, о разборе символического поведения и характера «бессознательного» у Ф.В. Басина, о социологии личности И.С. Кона и многих других. Еще в большей степени подобные вопросы (например, проблема двоемыслия) затрагивались в литературных произведениях той эпохи.

[3] Этическая проблематика (соотношение «злого» и «доброго» начал в человеке) остается одной из скрытых сквозных тем его «Лекций по социологии», начиная уже с первых отсылок к Достоевскому и влиянию религии, роли мифологии и «ядру личности». Именно ясность и твердость этической позиции Левады (близкая к кантовской) позволили ему идти на формальные компромиссы, требуемые от руководителя научного подразделения в советское время, не теряя возможности научной работы (ср. внешнюю, отстраненную оценку подобного поведения, данную Д. Шалиным: «Это пример разумного, «формального конформизма», неизбежного в условиях несвободы».

обоснованных и очень примитивных упований на ближайшее будущее, ни с надеждами на отдаленные перемены, равно как и со столь же плоским безудержным отчаянием, последовавшим после неудачи «демократии» в России. Тяжесть и безнадежность восприятия жизни в какой-то степени снимались такими анестезирующими средствами, как отстранение от наблюдаемого: «Я вам сказал, что я загораживаюсь тем, что я – наблюдатель, я – скептик, моя задача исследовать. А жить и переживать… это сложнее задача». Одиночество, следующее из принятия такого рода позиции, было совершенно осмысленным и, видимо, экзистенциально мотивированным. Оно открывало ему пространство внутренней свободы, ощущаемой окружающими, устанавливало дистанцию по отношению к событиям внешнего мира. «Небо звезд», которое он время от времени упоминал, было для него не чужой цитатой, а действительно единственно значимой перспективой видения и оценки реальности. Разумеется, эти принципы никогда им не декларировались, но прочитывались окружающими ежечасно в его повседневном поведении или отношении к работе, к собственным текстам, в подходе к анализу социального материала. Вместе с тем эта высота означала не только неизбежное одиночество, но и суровость, даже жестокость отношения к себе. Только такая позиция открывала возможность «объективного» изучения тоталитарного общества и человека этого общества, оценки его будущего.

Именно эта точка зрения (или, иначе говоря, характер отношения к себе и окружающему) вызывает «непонимание» у его читателей. Такая позиция цензурировалась, вытеснялась, не принималась социологическим окружением, поскольку, с одной стороны, выходила за рамки конвенциональных средств интерпретации российских перемен с их плоским государственничеством или транзитологизмом, а с другой – воспринималась как отказ от прямого участия в политике, а у более внимательных наблюдателей – как глубокий пессимизм Левады в отношении современного состояния российского общества. Но и то, и другое суждение неверны. «Незаинтересованное рассмотрение», разведение (но не отключенность от актуальных про-

блем) научной деятельности и политического действия требуют что-то вроде феноменологической пропедевтики, воздержания от практических оценок и смешения их с познавательными ценностями. Нельзя связывать проблемы исследования («понимания») с прямой включенностью в ситуацию действия. Как и во многих других отношениях, даже близкие и симпатичные ему люди с трудом воспринимали тезис, что понимание – это тоже действие, причем более существенное, нежели участие в тех или иных гражданских акциях.

Парадоксы такого рода сам Левада выделял в качестве метки или симптоматики реально существующих социологических проблем, более того – он разворачивал их уже в виде коллизии социальных взаимодействий, противоречия в структурах идентичностей, ролевых или ценностно-нормативных конфликтов, столкновения групповых и институциональных интересов. Парадокс для него был не частным концептуальным или методологическим недоразумением, а указанием на многообразие социальных определений, источниками которого являются гетерогенность или многослойность социокультурных систем и механизмов регуляции социального действия.

Круг интересов. Тематика занятий сектора Левады

Отдел в ИКСИ, который возглавлял Ю.А. Левада, назывался Сектор изыскательского проекта «Методология исследования социальных процессов». Под его руководством осуществлялась интенсивная коллективная работа по освоению круга идей и методологии западной социологии[4]. В рамках работы

[4] За рамками настоящей статьи остаются занятия Левады социологией религии, особенно – мифологическим сознанием (его разбор принципиальной структуры и функций мифа, истории, традиции как важнейших компонентов конструкции «вертикальных» институтов, т.е. таких, которые легитимированы сакральными представлениями) и социальной организацией религиозного и идеологического воздействия на массы. В этом ряду особенно примечательным оказывается его анализ социальной основы мышления и политических мифов (в том числе таких, как «величие нации», «всеведение фюрера» и иерархическая структура нацистского режима), тоталитарной пропаганды и культа в фашизме и нацизме, а также более ранние работы,

сектора действовали три параллельных методологических семинара – общий, на котором по понедельникам с двух часов слушались доклады приглашенных гостей («варягов») или своих, членов сектора, главным образом тогдашних аспирантов Левады Л.А. Седова или И.С. Кона (вначале в штате было всего несколько человек, потом он увеличился за счет окончивших аспирантуру); культурантропологический (его вел Д. Сегал) и логико-социологический (последний, впрочем, был нерегулярным, им руководил А.И. Ракитов при участии Ю.А. Гастева). Главное внимание уделялось изучению доминирующих на тот момент социологических школ – структурно-функциональной парадигмы Т. Парсонса (последний был предметом студий не только Левады, но и Л.А. Седова, Н.Н. Стрельцова, В.В. Пациорковского, Г.Е. Беляевой), символического интеракционизма, социальной и культурной антропологии, в меньшей мере – «понимающей» социологии М. Вебера (здесь главное место принадлежало М.А. Виткину), еще меньше – Г. Зиммелю (хотя Левада, безусловно, знал некоторые его работы) и др. О «немцах» с докладами выступали Ю.Н. Давыдов (социология М. Шелера), П.П. Гайденко и др. О продуктивности этой работы можно судить хотя бы по тому, что за время существования отдела (с октября 1966 по май 1972 г.) были заслушаны более 150 докладов и проведена одна конференция (по проблемам аномии в апреле – мае 1971 г.)[5]. Когда в связи с ликвидацией сектора подводились итоги его деятельности, в качестве отчета о пятилетней работе были представлены, среди прочего, коллек-

---

такие как «Современное христианство и социальный прогресс», статьи «Христианство», «Фашизм», «Традиция», «Структура социальная» и другие в «Философской энциклопедии». Учитывая, что в те же годы он неоднократно обращался к кибернетике, системным моделям общества, процессам модернизации, природе массовой и элитарной культуры, переход к проблематике, с одной стороны, массового общества, с другой – тоталитаризма, имеющего уже прямое отношение к исследованиям советского «общества-государства», вполне обоснован и закономерен.

[5] См. список протоколов научных докладов, сделанных на семинаре Ю.А. Левады в 1966 –1972 гг. [Новое и старое в теоретической социологии 2001, с. 227-234].

тивная монография по структурно-функциональному анализу (она так и не была опубликована), сборник статей «Логика и социология» (та же судьба) и 17 сборников переводов работ зарубежных авторов по социологии и смежным дисциплинам[6]. Из аспирантов и младших научных сотрудников левадовского сектора, подготовивших диссертации под его руководством, следует назвать Т.Б. Любимову (проблема ценностей в социологии), А.Г. Левинсона (социокультурная модель города), Д.Б. Зильбермана (типология культур), А.А. Голова и других, но до разгона защититься никто не успел. Лишь две блестящие защиты – Б.Г. Юдина и Ю.А. Гастева – успели состояться до момента обострения ситуации в институте. Д.Б. Зильберман, самый одаренный (по словам Левады, гений), не смог закрепиться в Москве и вынужден был эмигрировать. В США началась его вполне успешная карьера молодого университетского профессора, но вскоре нелепо оборвалась – он погиб, сбитый пьяным водителем.

Но история левадовского сектора в ИКСИ – это отдельная тема, требующая своего историка. Здесь мне важно указать лишь на самый общий круг ведущихся разработок, источники, школы западной социологии, которые были в поле постоянного внимания Левады и как самостоятельного ученого, и в качестве научного руководителя социологического проекта. Левада ушел из ИКСИ в ЦЭМИ, не дожидаясь разгрома социологии, учиненного М.Н. Руткевичем. В Институте осталась лишь самая посредственная публика. В ЦЭМИ Левада оказался в круге дискуссий экономистов, позднее ставших идеологами реформ. С некоторыми неизбежными перерывами продолжал работу левадовский семинар.

[6] Были опубликованы только первые два выпуска «Структурно-функционального анализа в современной социологии» [Информационный бюллетень… 1968], третий [Информационный бюллетень… 1969] был уже отпечатан, но отправлен под нож. А.Г. Левинсон и я храним по экземпляру этого выпуска, которые были вынесены нами из помещения институтского ротапринта.

Теоретические работы 1973-1984 гг.

Занятия теоретическими проблемами социологии у Левады не имели самоценного, эскапистского характера, как это было у многих в советское время (системы знания западной науки – социологии, истории, антропологии, философии, культурологии – для искренне увлеченных людей того времени представляли собой как бы вневременный и прекрасный, платоновский мир свободы, истины, идеальных сущностей, «третий мир» в смысле К. Поппера или кастальской игры Г. Гессе). Напротив, они были мотивированы внутренним, личностным, в этом смысле – ценностным, высокозначимым интересом к настоящему и поиском надежных и адекватных средств, позволяющих понять особенности тоталитарных режимов (советского в первую очередь) и их последствия в самых разных отношениях – человеческом, институциональном и др. Помимо освоения соответствующих предметных социологических конструкций, осуществлялась критическая переоценка концепций и понятий с точки зрения их необходимости и эффективности для анализа или объяснения социальной реальности этих обществ.

Теоретически проблема, стоящая перед Левадой, – если смотреть на нее глазами социолога знания, – заключалась в том, чтобы создать адекватные для анализа советской реальности инструменты[7]. Дело в том, что выработанные западной социологией объяснительные ресурсы были ориентированы на описание наиболее «рационализированных», технологических и институционализированных, «формальных» структур взаимодействия, отождествляемых с «современностью», т.е. на анализ социальной, экономической, правовой организации об-

[7] «Наука начинается всегда там, где кончается сфера деятельности здравого смысла, где обычный здравый смысл нам ничего больше сказать не может… Человека всегда интересовало и интересует, в основном, как нужно жить, что является нормой в социальных отношениях, что – отклонением от нормы, что добро, зло, красота, правда и т.д. Все это ценностные категории, и в отличие от изучения природы отношение человека к обществу всегда было заинтересованным, ценностным, нормативным…» [*Левада.* Лекции по социологии. 1969, т. 1, с. 31].

ществ, завершивших процессы модернизации (которая в основном совпадала с «вестернизацией»). Для других обществ – незавершенной или догоняющей, неклассической, в том числе тоталитарной модернизации – эти категории принимали характер утопических, идеологических, мифологических и т.п. образований, т.е. служили не средствами описания положения вещей, а оказывались компонентами ценностных ориентаций, групповой идентичности (массовой или элитарной), легитимации власти, обоснования статуса или претензий на власть. Это касалось не только таких общих категорий, как «рациональность», «целенаправленность», «эффективность», «индивидуализм», но и предметных конструкций – бюрократии, урбанизации, социального развития, понятия «культура» и т.п.[8] Автоматическое перенесение западной терминологии на действительность тоталитарных обществ-государств неизбежно приводит к ложной идентификации разнородных социальных феноменов, в результате которой мы либо имеем дело с мнимыми сущностями, а не с «фактами», либо – в лучшем случае – с негативной идентификацией[9], когда фиксируется лишь степень несходства

[8] Ср.: «Интересна проблема «статусной» метаморфозы подобных конструкций – превращения, скажем, рациональной модели в некий идеологический или мифологический фантом, или, наоборот, редукции какой-нибудь мифологемы утопического сознания до положения позитивно-ограниченной рабочей модели». Сочинения того времени составили большую часть первого раздела сборника «Статьи по социологии» (с. 24-199).

[9] Следуя этой логике, мы сегодня можем говорить лишь о том, что и «город российский» оказывается не «городом» в европейском смысле, поскольку он не соответствует модели «самоуправляющейся хозяйственной и правовой коммуны», и бюрократия – не «веберовская», далекая от идеальности функционирования профессионально обученного и ответственного прусского чиновничества, и нет «гражданского общества». И принципы социальной стратификации иные, чем в Европе, и «демократия» у нас «суверенная», и т.п. Выходом из этой неразрешимой антиномии может быть лишь понимание того, что язык социологического описания не универсален, что он рождается в определенных социальных обстоятельствах, выступающих в качестве личных проблем исследователей, и дело не в том, чтобы отказаться от общепринятой терминологии, а в том, чтобы понимать логику ее возникновения, детерминацию понятийной работы и границы социологического об-

или отличий от нормативного образца.

Остановимся на этих моментах подробнее. Сложность аналитической работы заключалась в том, чтобы, отрефлексировав условия возникновения самой теоретической категории и социальную – групповую, институциональную – обусловленность ее использования, контекст ее функционирования, иметь возможность видеть различия ее функций, а следовательно, и особенности структуры самого «человека» как главного элемента общественной системы. Иначе говоря, дилемму соотношения «модели и реальности» следует обсуждать, отталкиваясь от «поздних» ситуаций, в которых «история совпадает с абстракцией (предельно абстрактной моделью)» [Левада. Статьи по социологии. 1993, с. 84], т.е. либо разделяя субъектов действия, описания и объяснения, либо реконструируя генезис понятия и контекст актуального социального поведения[10]. Понятно, что проблематичным это становится сравнительно редко, лишь в особых условиях, как правило, только там, где «исторический перелом как бы вынес на поверхность, обнажил, освободил от наслоений фундаментальные элементы и скрытые пружины всей человеческой деятельности» [Там же, с. 79]. Отсюда берет начало концепция «перелома», «аваланша», распада, играющая важную роль в описаниях «советского человека». Особенность таких исторических ситуаций заключается в том, что «проблемой становится сам человек». В этих условиях «эксплицирование человеческих, антропологических предпосылок социально-экономических систем и процессов приобретает принципиальное значение» [Там же, с. 71].

Этому заключению предшествовала чрезвычайно важная в теоретико-методологическом плане, очень богатая по своему

разования понятий. Заимствованию подлежат не сами средства описания, а принципы их образования.

[10] «Один из самых надежных способов выявить особенности социологического метода в изучении общества состоит, очевидно, в том, чтобы проследить, как этот метод *формировался*, т.е. выявить «внутреннюю логику» *истории* социологической мысли» [*Левада.* Лекции по социологии. 1969, т. 1, с. 30].

эвристическому потенциалу аналитическая работа по концептуальному моделированию процессов урбанизации и репродуктивных систем обществ, изложенная в нескольких статьях, но очень конспективно (что отчасти объяснялось соображениями проходимости текста через редакцию)[11]. Урбанизация в данном случае была взята не столько как пример феноменологии социально-географических процессов определенного типа, сколько как повод представить общую структурно-функциональную модель социального анализа – подход к обществу как к системе организации и воспроизводства сложного общества, а также к пониманию условий его трансформации (= модернизации)[12].

В этих статьях Левада отрабатывал основной методологический принцип социологического исследования: анализируя социальную реальность или описывая морфологическую структуру той или иной социальной системы (различного уровня – институционального, группового, социетального), исследователь должен выявлять не только функциональное значение от-

[11] «Урбанизация как социокультурный процесс» (1974), «К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации» (1976), «О построении модели репродуктивной системы» (1980). Первые из указанных работ написаны при участии А.Г. Левинсона и В.М. Долгого.

[12] «Собственная культура города, а в каком-то смысле и структура всего общества могут быть представлены как производные данного социокультурного процесса» [*Левада.* Статьи по социологии. 1993, с. 24]. «Формируя пространство человеческого общения, город становится фокусом всего пространства общества. Именно с городом появилась пространственная организация общества в макромасштабах (и сами эти масштабы, разумеется). Характерный показатель такой организации – разделение социокультурных функций центра и периферии общества, а в связи с этим и поляризация определенных линий коммуникации в обществе, появление новой меры социальной дистанции, иерархии и т.д. Другая сторона того же процесса – формирование категорий и мер социального времени <…> Функциями города <…> являются организация социального пространства общества и социализация его временных характеристик. Городская организация общества может поэтому рассматриваться как его морфология, а процесс урбанизации – как морфогенезис общества». «Наиболее общая функция города – она же наиболее фундаментальная – воспроизводство данного типа общественной структуры (или, как принято говорить в культурной антропологии, «поддержание культурного образца»» [Там же, с. 30].

дельных ее компонентов (их роль в обеспечении целого), но и связывать их с различными наборами культурных смыслов, фиксируемых и воспроизводимых разными элементами институциональной системы и разными способами «записи». Различные по времени способы культурной записи не исчезают, но уступают ведущее место иным типам хранения социальной памяти (традициям, способам социализации, организации социального поведения, ценностно-нормативным системам институтов), подвергаясь при этом переоценке, перекодированию, «переупаковке». Только так они могут сохраняться в культуре. Но это же значит, что имеет место не только вытеснение прежних значений, но и взаимовлияние разных культурных слоев. Иначе говоря, адекватная интерпретация социальной реальности требует принять во внимание и расчет не только само «явление», но и, как говорят феноменологи, «способ данности» этого явления, т.е. подвергнуть теоретической, исторической, генетической рефлексии описательный и объяснительный аппарат исследователя, направленность его теоретико-познавательного интереса, это во-первых, а во-вторых, рассматривать то, как конституировались сами субъективные смыслы действующих в конкретной ситуации (структура и генезис семантики «явления»). Изучению подлежат не только наблюдаемые особенности социального поведения, но и институциональные рамки этого поведения, их генезис (исторические пласты ценностей и норм, определяющих их состав и структуру), доминирующий тип социализации, степень дифференциации и специализации институциональной системы, характер интеграции.

Знаменателен один из промежуточных выводов: «Город, фокусировавший на ранних стадиях своего развития функции сохранения и интеграции общества, затем функции адаптивные (активное взаимодействие общества и среды в системе производства), ныне становится сосредоточием функций целеполагания, наиболее активной и сложной из всех… В современных условиях «поддержание образца» предполагает сохранение приоритета целеполагания, а это последнее служит необходимой предпосылкой самосохранения общества. Отсюда и про-

грессирующее изменение самого соотношения «центра» и «периферии» в фокусируемой городом общественной структуре» [*Левада.* Статьи по социологии. 1993, с. 33]. В переводе с языка структурно-функциональной парадигмы это означает, что общество с подавленной или деградировавшей политической системой (системой целеполагания) не имеет перспектив в будущем, что тоталитарный или авторитарно-патерналистский режим может сохраняться все с большим трудом, становясь все более и более архаическим, т.е. не имеющим шансов на завершение модернизации. «Повсеместное распространение городского образа жизни, городской иерархии ценностей и т.д. становится реальностью; без сомнения, оно является конкретной перспективой общемирового масштаба. Поскольку современные формы урбанизации при соответствующем развитии транспортных и коммуникативных систем не связаны только с концентрацией огромных масс населения, производства, застройки и т.д., поскольку получают развитие многообразные и всепроникающие «рассеянные» ее продукты» [Там же].

Типологически центральные функции общества Левада разделяет (вслед за Т. Парсонсом) на а) инструментальные (целевые ориентации, реализация поставленных целевых задач); б) нормативные (фиксирование нормативно-ценностной системы); в) символические (поддержание механизмов, интегрирующих систему как целое). Различие социокультурных систем предполагает разное социоморфное представление центральных функций (различия определяются в первую очередь шкалой «наличие специализации элементов системы – диффузность функций или отсутствие дифференциации функций»). Чем более жесткой («аскриптивной») является система, тем более выражена ее пространственная «центр-периферическая» структура: центр приобретает исключительно символический характер, нормативные функции воплощаются в управленческой иерархии, а инструментальная деятельность вытесняется на исполнительскую периферию. Этот тип характерен для традиционных или традиционализирующихся обществ, изменяющихся лишь под внешним воздействием или вследствие слома

внутренних механизмов, путем адаптации к происходящим переменам, а не путем динамического развития, инноваций, усложнения и специализации своих структурных элементов. Ему противостоит другая возможность развития социальной морфологии, обусловленная «возникновением специфических средств записи культурного текста. В такой модели нормативные функции центра универсально значимы и доступны… Инструментальные же функции иерархизированы, распределены по различным агентам социального действия (индивиды, группы, организации) вплоть до верхнего, социетального уровня организованности общества. Функции центра связываются здесь с «вертикальным» строением культурного текста»[13], способного «вместить в принципе неограниченный объем информации». Тем самым в такой организации общества введен принцип ценностного или идейного плюрализма, а значит, сняты ограничения на какие-либо интеллектуальные или смысловые ресурсы, что, собственно, и является предпосылкой интенсивного инновационного процесса в любых областях социальной и культурной деятельности. Известную завершенность этот подход получил в статье «О построении модели репродуктивной системы (проблемы категориального аппарата)», вышедшей через четыре года после «урбанизационного цикла»[14].

Понятно, что такое схематическое моделирование социокультурных систем представляет собой попытку транспортировать парсоновскую парадигму на материал обществ с запаздывающей или догоняющей модернизацией, где институты, относимые (в соответствии с процедурами аналитических таксоно-

[13] К проблеме изменения социального пространства-времени в процессе урбанизации [*Левада* 1993б, с. 44].

[14] «Лишь представляя временную организацию РС <репродуктивной системы> как сложную, многоуровневую систему, можно отобразить в концептуальной модели ту структуру, которая создаст возможность фиксировать определенные состояния как прошлые («привязанные» к соответствующим осям отсчета) и как актуально значимые. Такая структура позволяет обеспечить активное и многократное обращение к культурному содержанию прошлого, интерпретацию и переоценку этого содержания, а тем самым его постоянную актуализацию» [*Левада.* Статьи по социологии. 1993, с. 59].

мий) к разнофазовым эпохам и состояниям, присутствуют в действительности «одновременно», т.е. выполняют разные функции для разных групп. Чрезвычайно высоко оценивая вклад Т. Парсонса в общесоциологическую теорию[15], Левада вместе с тем довольно критически относился к тому, что он называл в частных разговорах его «рационалистическими упрощениями», склонностью к плоскому рационализму и утилитаризму: конструирование социальных систем (структур социального взаимодействия) из очень ограниченного набора типов действия. Парсонс в своей теории социального действия использовал лишь два веберовских типа рационального действия: целерациональное действие и ценностно-рациональное, ограничившись в своей трактовке рациональности только этими вариантами.

Строго говоря, сам М. Вебер не считал исчерпывающей ту типологию социальных действий, которую он представил в первой главе своей работы «Хозяйство и общество» и которой обычно ограничиваются социологи (учебники никогда не выходят за ее пределы): целерациональное (у Парсонса – «инструментальное»), ценностно-рациональное, традиционное и аффективное действия. Но для прагматических задач его социологических исследований этой схемы было достаточно, хотя в своих методологических работах он указал на другие возможности идеально-типического конструирования. Более того, его концепция процесса рационализации (неразличения *формальной* и *содержательной* рациональности, а именно *действий рационализации*, ее условий и факторов, т.е. систематического развертывания идей под воздействием определенных социальных интересов) предполагает или даже скорее требует введения разнообразных конструкций рационального действия, не сводимого к чистой инструментальности.

Для Парсонса, как и многих других современных социологов, ориентированных на изучение современных западных об-

[15] Левада считал Т. Парсонса одним из немногих социологов XX в., наделенных «божественной искрой».

ществ, рациональность различалась лишь содержательно, по предмету рационального действия, а не по своей структуре[16]. Идентификация инструментальности с рациональностью (за образец берутся прежде всего экономическое поведение и соответствующая конструкция человека – «homo oeconomicus») задавала совершенно определенную логику рассуждения: модернизация (самого разного рода) означала не просто прогрессирующую технизацию и специализацию функциональных подсистем общества, но и повышение уровня человеческой свободы, моральный и гуманитарный прогресс и т.д., т.е. все то, что стоит за различными идеологическими утопиями, в том числе – и марксизмом, а значит, и советским тоталитаризмом. Поэтому вполне логичным выглядят следующие шаги Левады-теоретика: критика рациональности экономического человека (включая и экономический детерминизм)[17].

Статьи этого цикла (сюда входят «Социальные рамки экономического действия» (1980), «Проблема экономической антропологии у К. Маркса» (1983) и «Культурный контекст экономического действия» (1984)) завершились самой важной в этом плане работой, переводящей социологическую теорию действия в другой концептуальный горизонт: «Игровые структуры в системах социального действия» (1984).

Свой разбор Левада начинает с фиксации «общих мест» рассуждений об экономическом действии как специфическом идеале действия как такового, его понятности, мотивационной

---

[16] Отчасти такое ограничение поля интереса может быть оправдано тем, что в сложившихся и относительно устойчивых обществах завершенной модернизации (США, Европы) образцы рациональности давно институционализированы, а значит – благодаря процессам массовой социализации – стали всеобще значимыми (разумеется, в пределах, в которых можно говорить о «всеобщности») вместе с этикой достижения, моральной и правовой культурой, принципами гуманизма, правами человека и т.п. Именно отсюда критики этого общества выводят его «одномерность».

[17] Слово «критика» в данном случае следует понимать именно в кантовском смысле: аналитическое исследование семантического и функционального потенциала понятий, связанных или вытекающих из идеи инструментальной рациональности.

прозрачности, результативности и проч.

Он указывает на то, что с экономической (внутренней) точки зрения экономическое действие, характеризующееся предельной рациональностью, целенаправленностью, способностью к оптимизации и квантификации, представляется «естественным» (= обусловленным «потребностями» и подобными квазиприродными императивами) и «беспредпосылочным» по отношению к социальной системе.

«Это значит, что его *нормативно-ценностные параметры* (курсив мой. – *Л.Г.*) остаются вне поля внимания. Между тем для социологического анализа – предполагая последний достаточно зрелым методологически – рассмотрение таких предпосылок (рамок, контекста) представляет специфическую и постоянную проблему»[18]. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы проблематизировать характеристики «очевидности» такого типа действия, представив их как «социальное содержание различных типов человеческих действий и общественных структур, т.е. раскрыть символический смысл эквивалентно-обменных отношений и соответствующих мотиваций». Такая процедура снятия иллюзии самоочевидности оказывается возможной только тогда, когда демонстрируется, что эффект самособой-разумеющности в соотношении «цель – средства» возникает в результате нормативного ограничения средств для достижения поставленных целей или не менее нормативного санкционирования самих целей относительно используемых средств. Определенно рациональным в данном социально-историческом контексте и данных обстоятельствах признается лишь строго санкционированный выбор цели, выбор средств. Соответственно адекватным их соотношение может расцениваться в данной ситуации только с учетом предполагаемых последствий их выбора и наступления ожидаемых последствий действия. Но такая санкция (групповая, институциональная) возможно лишь тогда, когда сами «исходные» культурные параметры (нормы и ценности, задающие символические значе-

[18] См. [*Левада.* Статьи по социологии. 1993, с. 88].

ния трансакции) рассматриваются как неизменные, как «небо неподвижных звезд» по отношению к описываемым группам и институтам, что допустимо лишь в качестве аналитических посылок, а не фактического положения вещей. Другими словами, «естественность» структуры экономического действия – продукт довольно поздней идеологизации экономических отношений, с одной стороны, и однозначно трактуемой «культуры» – с другой. Многократно предпринимаемые попытки представить «модель» или «структуру» культуры неизменно оборачивались неудачей, приводя либо к диалектическим играм и сочетанию мнимых сущностей с понятиями теоретического плана, либо выведению за рамки культуры большей части смысловых проявлений и образований.

Поэтому Левада принимает важнейшую посылку: «В самой культурной подсистеме собственные нормативные регуляторы отсутствуют». А это значит, что никаких внешних, социальных механизмов структурирования культурных значений (жесткого и однозначного влияния институтов или групп) не может быть. Соответственно «культуру методологически правильнее было бы представлять не как функционально-организованный механизм» или фиксированный текст, жесткую семантическую структуру, «а как систему значений, приобретающих действенность и смысл (организованность) только в процессе их использования; в этом плане культура аналогична языку» [*Левада.* Статьи по социологии. 1993, с. 90]. Аналогии с языком (речь и словарный запас, контекст высказывания, контекст понимания, языковой этикет и социально-культурная стратификация и подобные различения) заставляют утверждать, что «семантический потенциал («поле») определенной культуры в принципе должен быть существенно большим, чем ее функционирующая часть. Он включает не только явные, но и латентные, не только функционально-полезные, но и дисфункциональные структуры, а также структуры, различающиеся временными параметрами своего действия, и т.д. <…> Потенциальный арсенал культурных значений и структур формируется исторически, временные параметры таких структур по оп-

ределению несводимы к рамке социально-организованных систем. <…> Отсюда неизбежность противоречивого многообразия культурных структур, способных оказывать воздействие на социально-организованные системы деятельности. Отсюда также и неизбежность активного выбора действующим субъектом (индивидуальным или организованным) культурных ориентиров собственного поведения из набора потенциальных альтернатив» [Там же, с. 89-90].

Задача следовательно, сводится к тому, чтобы получить концептуальные, теоретические возможности фиксировать то действие, которое совершает актор, «выбирая» ориентиры поведения из множества (логически) возможных. Совершенно очевидно, что для этой цели непригодны все прежние нормативно или идеологически заданные жесткие привязки мотива и результата действия, которые в социальных и экономических дисциплинах обозначались обычно как «потребности», обусловленные социально или биологически, «императивы» существования и т.п. Но точно так же оказываются непригодными и другие общепринятые конструкции действия, принятые в социологии для обозначения связи ценности и нормы, ролевого поведения, мотива или принятых форм действия, выводимого из рамок традиции или обычая, аффективного состояния. Все эти конструкции оказываются слишком «элементарными», не схватывающими принцип и схему подобного действия. Для описания сложных форм поведения приходится ad hoc нагромождать сочленения отдельных простых действий или их сочетаний, вводить неверифицируемые сущности в конструкцию поведения, вроде генетически обусловленных механизмов, паттернов, архетипов или каких-то других внесоциологических ключей, позволяющих связывать инструментальные, нормативные и символические компоненты действия и решать таким громоздким образом задачи временного (в категориях социального и символического времени) и пространственного описания действия.

Левада предложил новый подход к теории действия, разработав схему сложного действия, где актор сам связывает раз-

ные плоскости значений – символические, нормативные, институциональные, временные, пространственные – в единую структуру действия. Он назвал ее «игра». Игра – это субъективная (акторская) проекция культурных значений на плоскость социального действия, позволяющая действующему и его партнерам «самостоятельно» структурировать ситуацию и свое поведение (предвидеть, организовать свое поведение, придать ему смысл в *ограниченных рамках* контекстуального целого, устанавливаемых самими игроками или принимаемыми ими в качестве общепринятых правил). Концепция игры была выходом из того тупика, в который, казалось, попал структурный функционализм, критикуемый за недоучет конфликтного потенциала, возможностей развития общества, посылку тождества индивида и социальной системы и др.

Очень многое в критике радикальных социологов порождено явным недоразумением, их весьма плоским пониманием структурного функционализма как предметного описания общества, как теории общества, а не как социологической парадигмы (т.е. теоретического конструирования аналитического языка социологии). Но некоторые моменты этого подхода действительно требовали расширения теоретических инструментов анализа и описания. В первую очередь это относилось к проблеме таксономии социального анализа, поскольку связь действия (социальной структуры) с культурной системой трактовалась излишне жестко. Функционализм требовал четкого и однозначного закрепления культурных значений за поведением (через социальные роли, предписываемые нормативные значения и ценности). При этом неизбежно терялась многозначность социального поведения и сознания, возможность выбора действующим различных сценариев и вариантов действия[19], исче-

[19] Решение, которое в этой кризисной ситуации предложили этнометодологи (Г. Гарфинкель, А. Сикурел и их многочисленные последователи), – исходить из процедур индексации реальности, используемых самими действующими, – было внешне очень эффектным ходом, но в теоретическом плане совершенно ложным, поскольку проблемы и рабочие задачи исследователя (интерпретация и описание форм социального взаимодействия) здесь

зала временная (историческая, мифологическая) глубина и гетерогенность культуры, а социальная система приобретала ненужную одномерность. Поведение индивида даже в современных, высокодифференцированных обществах, не говоря уже о меняющихся обществах, странах запаздывающей модернизации или таких, где идут процессы разложения и деградации институциональной системы, не сводится к внешнему соблюдению институциональных правил и норм. В таких случаях концепт «ценностных ориентаций», связывающий разноуровневые личностные значения, не позволяет эффективно фиксировать противоречащие друг другу и имеющие разное происхождение императивы действия («диспозиции потребностей», ценностей, ролевых наборов и проч.). Возникают не просто ролевые или нормативные конфликты (описание и объяснение которых представляет собой довольно простые в социологическом отношении задачи, решаемые с помощью набора таких понятий, как «институциональные дисфункции», «латентные функции» и какие-то подобные этим ad hoc изобретаемые инструменты), но и принципиально иные формы или механизмы регуляции (обозначаемые, например, в качестве феноменов двоемыслия, неврозов, массовых комплексов). Они описаны в художественной литературе, в психоанализе, социальной психологии, но социология с ними не умеет работать.

Нужны были другие аналитические средства, которые бы связывали институциональные, групповые, культурные и личностные компоненты объяснения поведения. Однако такой подход тянул за собой тезис о разнородности структур регуляции личности и, соответственно, ставил под вопрос идею линейного характера социализации и одномерности сознания. Идея такого рода, как принято считать, была выдвинута З. Фрейдом, но получила у него уж слишком метафизически-

---

перекладывались на самих действующих. Именно поэтому практика применения их подхода была очень успешной в ситуациях микросоциального взаимодействия, но оказалась абсолютно стерильной для развития теории социологии. Теоретическая бесплодность этого направления стала причиной ухода этнометодологов с социологической сцены.

инстинктивное толкование, которое социологи много раз пытались переинтерпретировать, сделав разноуровневые регуляции индивидуального сознания проекцией разных социальных образований (групповых норм и представлений, институтов), усваиваемых в процессе социализации и интернализации.

Для тоталитарного общества подобные проблемы казались незначимыми, неважными, поскольку социальный контроль обеспечивался предельной степенью насилия, принуждения и устрашения; для современных же обществ, озабоченных завершением формирования дифференцированной и специализированной системы институтов, эти вопросы долгое время представлялись второстепенными, мелкими, не заслуживающими внимания. Лишь поле работ И. Гофмана, и особенно после долгого периода моды на этнометодологию и микросоциальные исследования стало более ясным значение внеинституциональных форм действия, связывающих различные нормативные и ценностные порядки.

Левада несколько раз подходил к решению этой задачи. На ранних стадиях работы это было связано с пересмотром просвещенческой конструкции человека как обусловленной воздействиями среды (в какой-то мере следы этой конструкции можно обнаружить и в структурно-функциональной концепции человека), критической оценкой возможности инструментального воздействия на «природу» человека (а соответственно, и новой точкой зрения на сформировавшегося «советского человека», «человека нового общества», «человека будущего» или массового, тоталитарного, тотально управляемого человека).

Уже в «Лекциях по социологии» Левада вводит идею разновременности отдельных элементов личностной регуляции, индивидуального сознания. Подвергнув критическому анализу романтические и социально- или зоопсихологические подходы к игре, Левада фиксирует важнейшие элементы этой структуры закрытого (или «возвратного», как я бы сказал), т.е. обращенного к самому себе действия, задающего смысл и значения поведения в неопределенном поле возможных ситуаций и альтернатив: *ценностно-ролевая идентификация* («свои – чужие»),

«сюжетная» идентификация *(смысл и значение отдельных компонентов поведения внутри целого)* и, наконец, *дифференцированное восприятие всего «целого»* (сюжет обозримого фрагмента действительности, наделяемого смыслом и значением – «война», «экономическая конкуренция», «кокетство», «спортивное состязание», «защита диссертации» как доказательство ученого достоинства, «зрительская демократия», «соперничество супердержав» и проч.). «Игровая структура действия как замкнутая культурно-обособленная форма – категория идеально-типическая; никакой из видов признанного и институционализированного игрового поведения ей полностью не соответствует. В то же время нельзя обнаружить такую форму или сферу человеческой деятельности, которая не испытывала бы влияния игровых структур и которая не могла бы – в определенных узлах – при соответствующих условиях трансформироваться в игровую. Культурно-замкнутое пространство игрового действия не только существует параллельно или на «полях» обычной, «открытой» пространственной структуры общества; оно может появляться (или проявляться) в любой точке такой структуры, более того, служить средством ее организации… Структура игрового действия, вынесенная за пределы (идеально-типической) игры «как таковой», превращается в своего рода рамку, накладываемую на некоторый «поток» событий с явной или неявной целью его упорядочить, т.е. представить в виде какой-то регулярности, рациональности, целостности. Игровая структура в качестве рамки может быть сопоставлена с концептом «предвосхищающей схемы» в когнитивной психологии, где такая схема считается средством подготовки индивида к принятию информации определенного вида. Однако задача – и соответственно структура – игровой рамки более сложна, поскольку она организует не познание, но целый комплекс поведения. *Наиболее общие признаки игровой рамки – представление цепи деятельности как конечной и рациональной* (даже в модели чисто случайной, азартной игры можно усмотреть рациональность методологии «черного ящика»), *упорядоченная и обозримая связь действия и эффекта (достигае-*

мые цели достижимы, возникающие проблемы разрешимы, жертвы вознаграждены и т.д.), наконец, как уже отмечалось, – «человеческие» масштабы всех подобных процедур) (курсив мой. – *Л.Г.*). <…> Само применение подобных рамок означает непременное – явное или неявное – обособление определенных сторон реальности («культурный барьер»), формирование замкнутого социокультурного пространства-времени <…> игрового действия. «Вездесущность» игровых структур объясняется тем, что «замкнутые» фигуры действия – одно из универсальных средств упорядочения, структуризации событийного потока человеческого существования (а лишь будучи упорядоченным, оно выступает как «жизнь», т.е. как предмет целостного осмысления, ориентирования, проигрывания). Ведь игровое упорядочение («замыкание») социальной деятельности не только формирует ее структуру в соответствии с человеческими масштабами и желаниями (как индивидуальными, так и социально-организованными на любых уровнях), но и позволяет постоянно реализовывать эти желания, получая соответствующее мотивационное подкрепление (игра может рассматриваться как очевидный пример «внутренне мотивированного действия»» [Левада. Статьи по социологии. с. 110-112]. Концепция идеально-типической конструкции сложного (сложносоставного, закрытого) социального действия как условия для работы с антропологическими представлениями в эмпирических социальных науках стала методологическим регулятивом в последующей исследовательской деятельности Ю.А. Левады. Для более тщательной и типологической проработки (например, типологии «игровых структур») уже не осталось времени. Но сам ход оказался очень продуктивным в исследованиях такого «аморфного» объекта, как «общественное мнение», т.е. коллективных представлений, меняющихся в разных «режимах» функционирования власти и общества. Благодаря «игре» проблема человека как базового института приобрела в условиях социального разлома особое значение, уже не только теоретическое, но и моральное, практическое, став условием осмысления возможностей выхода из тоталитарного режима, состояния

«общества-государства».

Теоретические работы 1970-1984 гг. сделали возможной последующую эмпирическую исследовательскую деятельность[20]. Поэтому Левада очень рано оценил открывающиеся возможности новой, практически ориентированной интеллектуальной работы. Еще в сентябре 1987 г., преодолевая скептицизм и недоверие, даже эмоциональное сопротивление своих сотрудников, он убеждал их, что горбачевская перестройка – это не рокировка номенклатурных старцев, а начало нового исторического периода, требующего принципиально других форм работы, других точек зрения и практического участия. В ситуации «горной лавины» (а в 1988-1991 гг. он воспринимал происходящее именно в таких категориях) поза «теоретика», вздымающего очи горе, была для него не просто смешной, но и отталкивающей[21]. Еще неясны были перспективы и пределы воз-

[20] В этом отношении Левада был одним из немногих, кого социальные перемены 1990-х годов не застали врасплох.

[21] Лет десять назад, когда ВЦИОМ еще располагался на Никольской улице, один молодой американский преподаватель социологии задал Ю.А. Леваде вопрос: как бы он определил теоретико-методологические основания своей социологии, к какой школе он себя относит? Вопрошающий был демонстративным сторонником Н. Лумана). Левада засмеялся и переадресовал вопрос мне. Я ответил, что это что-то вроде соединения структурно-функционального анализа и «понимающей» социологии культуры. Левада подумал и сказал, что если нужны какие-то дефиниции, то пусть будет так. Его равнодушие к школьной социологии и классификациям имело, как мне кажется, несколько причин. Первая – отвращение к внешней витринной стороне своей деятельности (и своей личности; это не скромность, а экзистенциально укорененное отношение к природности, случайности своего существования); вторая, связанная с первой, – он очень торопился «схватить» принципиальные особенности происходящего, зафиксировать какие-то общие черты постсоветской системы, не отвлекаясь на «мелочи» академического теоретического оформления своих взглядов. Вначале это было связано с тем, что мы предполагали (основываясь на предшествующем опыте его сектора в ИКСИ), что предоставившийся нам шанс общей работы во ВЦИОМе продлится не более 3-4 лет, но потом, по мере того как перед ним открывалась вся глубина и масштабность поставленной задачи, сроки работы он соразмерял уже не с социальным временем, а с отпущенным ему временем жизни, отсчитывая его с конца. Третья причина – Левада действи-

можного, но Левада уже задумывался об «общем деле». В качестве такого поначалу виделся проект издания интеллектуального журнала[22] (идеи такого рода мы обсуждали осенью 1987 г.), но уже очень скоро он получил предложение от Т.И. Заславской, открывавшее возможности собственно эмпирического изучения постсоветской (посттоталитарной) реальности.

Ни у Левады, ни у сотрудников его бывшего сектора в ИКСИ или тех, кто позднее, уже на семинаре, присоединился к его кругу, не было серьезного опыта эмпирических социологических исследований. Но были энтузиазм первооткрывателей, пыл вновь собравшихся вместе близких людей, общие идеи и горячее желание их проверить или разобраться в том, что такое «советское общество-государство». Проблема теоретического рода заключалась в том, что материал исследований был исходно ограничен показателями массовых опросов «общественного мнения», а не институционального или группового поведения. Соответственно анализ социальных фактов или ценностных структур можно было осуществлять только через призму общих коллективных представлений и их динамику. Таких проблем социология прежде не знала, поскольку организация социальных наук в западных странах была принципиально иной.

Преимущества «вциомовской» работы были очевидны: от-

тельно был лидером, но не авторитарным учителем. В коллективной работе он задавал ценностный и эмоциональный тон, но никогда и никому не навязывал конкретных схем анализа и объяснения, не «разжевывал» своих идей, рассчитывая (иногда без должного основания) на то, что другие «схватят» его замысел и подходы. Многие интересные вещи он лишь «накалывал», наносил на свою внутреннюю «карту проблем», не успевая их систематически развертывать.

[22] В частности, была опубликована серия статей о бюрократии, инициированная Левадой. В основе ее лежали результаты неформального домашнего семинара, доклады и сообщения, которые делались его участниками. Но окончательный вид, общая редакция, концептуальная рамка, естественно принадлежали Ю.А. Леваде. Позднее во ВЦИОМе состоялась небольшая международная конференция, посвященная данной тематике, был реализован ряд проектов (массовых опросов).

крывалась возможность систематического отслеживания массовых реакций, анализа их состава, интенсивности и т.п. Ни у кого из тех, кто был озабочен большими социологическими проблемами, таких средств научной работы не было (особенно, учитывая перспективы и масштабы предполагаемой работы). Обычно крупные социологи в лучшем случае участвовали в отдельных монографических исследовательских проектах. «Общественным мнением» и его динамикой занимались «демоскописты», маркетологи, но не социологи. Недостатки или, точнее, методические границы открывающихся возможностей (первоначально не столь очевидные) тоже довольно скоро стали ощутимыми: оценивать социальные процессы можно было только в кривом зеркале общественного мнения, организованных коллективных представлений, специфически «искажавших» или преломлявших фактические взаимосвязи и отношения. Но в тех условиях эти ограничения никого не смущали (отчасти в силу отсутствия соответствующих знаний и туманных представлений о социальной реальности).

Итак, исходным моментом для социологической работы Левады[23] оказывается ситуация крупномасштабного общественного кризиса тоталитарного режима, когда, с одной стороны, «обнажаются» скрытые ранее институциональные механизмы и структуры групповых отношений, а с другой – в этих же условиях разложения старого порядка – вместе с открытыми конфликтами различных группировок во власти, относительным идеологическим плюрализмом и временной автономностью СМИ – начинает формироваться и проявляться совершенно новый институт – «общественное мнение»[24]. Соответственно,

[23] Регулярно появлявшиеся в «Мониторинге общественного мнения» статьи Левады были собраны в отдельную книгу «От мнений к пониманию». В названии воспроизведен придуманный им девиз ВЦИОМ, затем Аналитического центра Левады. Работы последних шести лет, появлявшиеся в журнале нашего центра – «Вестнике общественного мнения», собраны им в книге «Ищем человека». По проблематике «советского человека» Левада опубликовал, помимо прочего, более 25 статей.

[24] «Общественное мнение не может служить или казаться средством конкретного социального действия. Чтобы стать общественной силой, общест-

рассматривать вопросы изучения трансформации общества (или воспроизводства прежних социальных структур)[25] можно

венное мнение должно быть организовано, причем не только «извне» (гражданские свободы, СМИ, политический плюрализм, лидеры-идолы и т.д.), но и «изнутри», в смысле самого «языка» общественного мнения (символы, стереотипы, комплексы значений и средств выражения)» [*Левада.* От мнений к пониманию. 2000, с. 216-217]. «Наиболее общей функцией общественного мнения как института принято считать поддержание социально одобряемых норм поведения массового человека в массовом обществе. Он беден и тем удобен для массового общения» [Там же, с. 218]. «В поле общественного мнения человек находит: а) «язык» выражения (оформления, формирования) своих оценок и взглядов; б) группу «своих»; в) кодекс общепринятых нормативных стандартов такого выражения; д) «зеркало», показывающее соответствие поведения человека этим стандартам» [Там же, с. 220]. «Общественное мнение непосредственно оперирует не с «вещами» и явлениями социальной жизни, а с представляющими их знаками или символами… Глубина или объем памяти этой коммуникативной структуры весьма ограничен. Никакая теория, идеологическая или религиозная система в ней не может уместиться, поэтому общественное мнение оперирует с приметными символами таких систем. Подобная роль символов иногда вырабатывается долгим историческим опытом, иногда приписывается им искусственно» [*Левада.* Ищем человека. 2006, с. 187].

[25] «Две ключевые проблемы подхода к анализу возможных перспектив интересующего нас феномена – понимание исходного, нынешнего его состояния (т.е. «массового» человека в современной российской ситуации) и адекватная характеристика механизма или, по крайней мере, парадигмы его возможных трансформаций. Приходится преодолевать соблазн «простейших» вариантов – например, экстраполяции нынешнего образца в отдаленное будущее, конструкции желаемого (утопического) социально-антропологического типа, рационального процесса совершенствования наличного человеческого материала, воспроизводства в отечественных условиях стадий и форм развития, пройденных ранее другими общественными системами, а также различных вариантов реверсивных (попятных) или циклических трансформаций. Какие-то элементы подобных вариантов можно обнаружить в том числе и с помощью массовых опросов. Но никакого единого механизма изменений – будь то экономический (в духе концепций экономического или технологического детерминизма – даже при самом фантастическом технико-экономическом прогрессе в наступившем столетии), нравственный, глобализующий или иной – обнаружить не удается и, скорее всего, не удастся. Остается внимательное рассмотрение действующих, а также ушедших в прошлое и формирующихся «фигур» общественных перемен с

только с учетом структуры и специфики функционирования самого общественного мнения. А это значит, что одновременно должны решаться несколько однопорядковых задач – анализ динамики массовых реакций, выявление их структуры и функций, устойчивых и переменных компонентов. Методологическая проблема заключалась прежде всего в том, чтобы обеспечить единство социологической интерпретации различных в содержательном плане феноменов, соединить их общими теоретическими и концептуальными «стыками» и «переходами», удержав тем самым социологическое видение проблематики. Ключом, объединяющим разные плоскости исследовательских задач и содержательных интерпретаций, могла в этих обстоятельствах быть только концепция социального типа «человека», связывающая разные теоретические ресурсы описания и объяснения (стереотипы и комплексы общественного мнения, идентификация с институтами, группами, соответственно, определение общих рамок действия, представления о времени и пространстве, включая будущее и прошлое, набор ценностей, механизмы адаптации или изменений – в ходе смены поколений или «героических» усилий «элиты», фобии, страхи, коллективные ритуалы). Такой моделью стал «советский человек», или, позднее, генетически непосредственно связанный с ним «постсоветский, российский» («обыкновенный», «средний») человек.

«Советский человек» понимается Левадой как идеально-типическая конструкция человека, представляющая сложный набор взаимосвязанных характеристик, которые связывают и социальную систему (институционально регулируемое поведение), и сферу символически-смыслового производства (социокультурные образцы, паттерны поведения и ориентаций). Они подкреплены соответствующими механизмами социального контроля, а значит, набором различных санкций и гратификаций. По мысли Левады, этот тип человека должен находиться в

помощью имеющегося эмпирического и мыслительного материала» [Там же, с. 274].

ряду таких моделей, как «человек играющий», «человек экономический», «авторитарная личность», а не этнических образцов или характеров, поскольку этот тип имеет *парадигмальное значение* для целых эпох *незападных вариантов модернизации и разложения тоталитарных режимов.*

Речь идет о *нормативном образце*, длительное время оказывавшем влияние на поведение значительных масс тоталитарного общества. Было бы слишком большим упрощением полагать, что навязываемый пропагандой, поддерживаемой различными репрессивными структурами и институтами социализации (школой, армией, СМИ), этот образец человека принимался «обществом» и усваивался в полном соответствии с интенциями власти[26]. Воздействие этого рода было неоднозначным, поскольку сам образец представлял собой сочетание неоднозначных, различных по происхождению элементов и комплексов, а его трансляция осуществлялась не только через официальные каналы и структуры социализации, но и через неформальные отношения (групповое принуждение, коллективное заложничество, конформистское единомыслие, общность фобий и предрассудков). Это и структура массовой идентификации и коллективной интеграции, обеспечивающей солидарность с властью, и утверждение общих ценностей, и набор массовых самооценок и мнений о самих себе, а также принудительное, демонстративное изображение того, что хотела бы видеть власть, декларативное принятие ее требований и одновременно лукавое, или рабское, подыгрывание ей. Несмотря на то что нереалистичность этих требований осознавалась людьми, сам по себе образец фиксировал и организовывал их надежды, ожидания, ориентации.

Влияние этого образца человека не сводилось только к прямому синхронному воздействию. В долгосрочной перспективе следует учитывать более сложные последствия его принятия, отвержения или трансформации отдельных составляющих (на-

[26] Такова идея оккупационной власти, разделяемая многими критиками коммунизма.

пример, последствия подавления разнообразия, кастрации социальной, культурной и интеллектуальной элиты, состояние безальтернативности власти, отсутствия политического выбора, нарастания апатии и аморализма в обществе и др.).

Основу образца составляют:

исключительность или *особость* «нашего» (советского, русского) человека, его превосходство над другими народами, или, по меньшей мере, – несопоставимость его с другими;

его *«принадлежность» государству* (взаимозависимость социального инфантилизма – ожиданий «отеческой заботы от начальства» – и контроля над собой, принятие произвола властей как должного);

уравнительные, антиэлитарные установки;

соединение превосходства с ущемленностью (комплекс неполноценности).

Важно отметить, что каждая из этих характеристик представляет собой механизм управления антиномическими по своему происхождению или сфере бытования ценностным значениям, сочетание взаимоисключающих самоопределений или норм действия, придающих всему образцу неустранимый характер двоемыслия. Функциональная роль этого образца, собственно, и заключается в том, чтобы соединить несоединимое: официозный пафос героического служения и самопожертвования и принудительный аскетизм («жила бы страна родная и нету других забот», как утверждалось в песне из фильма конца 1950-х годов), политику форсированной модернизации «сверху», проводимую исключительно в интересах властной группировки, обживание репрессивного режима и системы, претендующей на тотальный контроль над повседневной жизнью общества, состояние искусственной бедности, оборачивающейся индивидуальной незаинтересованностью в результатах работы, имперскую спесь и дефектность этнической идентичности (комплексы национальной неполноценности).

Ю.А. Левада следующим образом определяет основные черты советского человека: принудительная самоизоляция, го-

сударственный патернализм, эгалитаристская иерархия, имперский синдром. Такой набор характеристик свидетельствует «скорее об определенной принадлежности человека системе ограничений, чем о его действиях. Отличительные черты советского человека – его принадлежность социальной системе, режиму, его способность принять систему, но не его активность». Советский человек – «это *массовидный* человек («как все»), деиндивидуализированный, противопоставленный всему элитарному и своеобразному, «прозрачный» (т.е. доступный для контроля сверху), примитивный по запросам (уровень выживания), созданный раз и навсегда и далее неизменяемый, легко управляемый (на деле – подчиняющийся примитивному механизму управления). Все эти характеристики относятся к лозунгу, проекту, социальной норме, и в то же время – это реальные характеристики поведенческих структур общества»[27].

«Правильный» советский человек не может представить себе ничего, что находилось бы вне государства. Для него негосударственные медицина, образование, наука, литература, экономика, производство и т.д. – или просто невозможные вещи, или – как это стало уже в постсоветские времена – нелегитимные, или дефектные институции. Он целиком принадлежит государству, это государственно зависимый человек, привычно ориентированный на те формы вознаграждения и социального контроля, которые исходят только от государства, причем государства не в европейском смысле (государства как отдельного от общества института), а пытающегося быть «тотальным», т.е. стремящегося охватывать все стороны существования человека, играть в отношении него патерналистскую, попечительскую и воспитательную роль. Но одновременно он знает, что реальное государство его обязательно обманет, «наколет», не додаст что-то даже из того, что ему «положено по закону»,

[27] Хотя Левада считает, что «советский человек» в полном виде представлен лишь в одном поколении советских людей, рождения примерно 1920-х годов, практически ушедшем в настоящее время, тем не менее, этот тип охватывает гораздо больший период времени, чем это казалось нам в начале 1990-х годов.

будет всячески стараться выжать из него все, что можно, оставив ему минимальный объем средств для выживания. Поэтому он считает себя вправе уклоняться от того, что от него требует власть (халтурит, поворовывает, избегает разного рода повинностей). По-настоящему он озабочен только тем, что может быть важным для собственного благополучия или для его семьи.

Такого рода ассиметрия отношений государства и человека (подданного) означает, что полнотой дееспособности, символической значимости, права обладает только власть или вышестоящее начальство, тогда как сам человек лишен права голоса, способов выражения своих интересов, представлений. «Власть лучше знает, как надо для всех». Но это поверхностный взгляд. Более глубокое понимание этого человека заключается в том, что как власть пытается манипулировать населением, так и население, в свою очередь, управляет государством, пользуясь его ресурсами, покупая его чиновников для своих нужд. Это симбиоз принуждения и адаптации к нему. Генетически это человек мобилизационного, милитаризированного и закрытого репрессивного общества, интеграция которого обеспечивается такими факторами, как внешние и внутренние враги, а значит, признание (хотя бы отчасти) оправданности требований лояльности власти, «защищающей» население от них, привычность государственного контроля (отсутствие возмущения или недовольства) над поведением обывателей во всех сферах жизни, привычка последних к самоограничению (принудительный аскетизм потребительских запросов и жизненных планов).

В отличие от европейского массового человека, этот тип разделяет эгалитаристские нормы, но понимает их как нормы антиэлитарные, снижающе-уравнительные установки (ориентация не на возвышение и приближение к образцу, пусть даже в качестве подражания высшим слоям, «сливкам общества», культивирующим особый тип достоинства, на присвоение образцов «аристократии» или «меритократии», а на понижение запросов, санкционирование «общепринятого» в качестве вульгарного или примитивного – «будь попроще и люди потянутся

к тебе». Доминирующие латентные мотивы этого эгалитаризма – зависть, рессантимент, в свое время идеологически оправдываемый и раздуваемый большевиками, но сегодня все чаще принимающий формы цинизма, диффузной агрессии, вызванной последствиями вынужденной или принудительной коллективности. Результат – массовость без присущей западной культуре сложности и дифференциации. «Простота» в самоопределениях – это вовсе не открытость миру и готовность к его принятию, а примитивность социального устройства, отсутствие посредников между государством и человеком. «Человек советский» вынужден и приучен следовать и принимать в расчет только очень упрощенные, даже примитивные образцы и стратегии существования, но принимать их в качестве безальтернативных («немногое, но для всех»)[28].

Ориентация на «простоту» является результатом культурно признанной и социально (нормативно) одобряемой стратегией выживания, минимизации запросов, сочетаемой с завистью, рессантиментом, с одной стороны, и пассивной мечтательностью и верой, что в будущем жизнь каким-то образом улучшится – с другой. В случае недостаточной значимости этих компонентов их «дополняют» угрозы репрессий, распространяющихся уже не только на индивида, попавшего под подозрение, а на всех, связанных с ним (действует механизм нормативного коллективного принуждения или заложничества – «все в ответе за каждого», парализующего возможность становления активной и ответственной личности западного типа – важнейшей предпосылки модернизации), причем это заложничество охватывает все сферы взаимоотношений – семейные, рабоче-профессиональные, учебные и проч. Однако тотальным претензиям власти (или коллектива) на полноту контроля противостоит не менее сильная ответная реакция – тенденция к партикуляристскому разграничению социального и культурного про-

[28] См. перечисление типов социальных «игр» советского человека («забота», «сопричастность», «согласие», «работа», «единодушие» и др.) в разделах «Искушение простотой» и «Игра на проигрыш» [*Левада.* Статьи по социологии. С. 24-26, 30-32].

странства и образованию отдельных частных зон доверия, неформальной регуляции, правил поведения, систем коммуникации. Различные *внутренние и внешние барьеры* социального действия приобретают здесь особую, конститутивную для структуры общества роль, включая и неприятие субъективности, своеобразного, подозрительность к другим, отчужденность, различные формы дистанцирования или вытеснения всего непонятного или сложного. Так как основой ориентации в мире и понимания происходящего являются самые примитивные (самые общие и стертые, доступные всем) символические модели поведения[29], то схемами интерпретации и оценки социальной, политической, экономической или исторической реальности для обычного человека («большинства», «такого, как все») могут выступать только недифференцированные в ролевом плане, а значит *персонифицируемые* отношения. Персонификация в социологическом смысле выступает симптомом блокировки универсализма, а значит, признаком традиционализма или его современных аналогов. Неизбежные социальные различия закрепляются в виде статусных различий, общественная жизнь приобретает характер множества закрытых для непосвященных пространств действия, изолированных друг от друга, внутри которых удерживается относительная гомогенность льгот и привилегий. Поэтому эгалитаризм советского или российского человека имеет очень специфический характер –

[29] «Символы упрощают реальность, избавляют человека от необходимости самостоятельно в ней разбираться, поэтому служат инструментами «автоматизации» социальных действий. Только так можно привести в действие сложные цепи межчеловеческих взаимодействий, которые не способно переработать никакое индивидуальное сознание, тем более за время перехода к необходимому действию. Огромное большинство повседневных и массовых акций «запускается» с помощью триггерных символических структур» [*Левада.* Ищем человека. С. 188]. Подробнее о мифах как регуляторах массового сознания (общественного мнения), периодизации советских и постсоветских символов и мифов см. в статье «Люди и символы» [Там же, с. 187-201].

это «иерархический эгалитаризм»[30].

Определяя общественное мнение как социальный институт (как структурированный процесс массовых реакций, полученных в массовых опросах), Левада методологически определяет три плоскости анализа (интерпретации) материалов опросов:

1. *Символический план* или уровень значений социального поведения. В массовых представлениях выделяются различные атрибуты «общественного мнения» – стереотипы и символические компоненты (символ = знак знаков), осуществляется разбор идеологических клише, ценностных комплексов, опорных моментов массовой памяти, что используется в актуальной социально-политической борьбе с группами, партиями и властными кланами. Символы структурируют смысловое пространство общества, что в функциональном плане является более важным, чем обеспечение «собственно материальных интересов»: вне символической системы референций реальные события или изменения не воспринимаются или проходят незамеченными массовым человеком, поскольку не получают своего значения, не вписываются в общую картину реальности[31]. Символические компоненты определяют характеристики массовых надежд, «истину и правду», параметры общественного

[30] «…фактор, структурирующий вертикально советское общество, – мера допущенности к властным привилегиям и сопутствующим им информационным, потребительским и прочим дефицитам» [*Левада.* Статьи по социологии. С. 19].

[31] Наиболее полно проблематика функций символических компонентов рассматривается Левадой на примерах разложения имперского комплекса и его радикалов (неполноценности, ущемленности и проч.); символики и мифологии власти, «поиска поводыря» общественным мнением (тема «Элита и масса»), «обрядоверии» и двусмысленности массовой религиозной идентификации. Здесь Левада продолжает свои давние изыскания по мифологическому сознанию, опираясь в теоретическом плане прежде всего на идеи Э. Дюркгейма и М. Вебера. Определяющее значение для него имеет различие мифа и ритуала, ритуала и церемониала, типы ритуалов и церемониалов, воспроизведение архаической, мифологической основы ритуала в современных условиях, когда исчезли базовые значения «сакрального», но остались их функциональные суррогаты и аналоги (державный стиль, телевизионные инсценировки, электоральные акции и проч.).

«доверия», конституирующие узловые моменты мотивации социального поведения. Сюда же можно отнести выявление и последующий разбор Левадой функций мифологических форм в организации и структурировании общественного мнения[32], а также значения иерархии, социальной стратификации и т.д.

2. *Нормативный план* – здесь наиболее важны работы Левады по фиксации партикуляризма этических правил и предписаний, резко расходящихся с декларируемым универсализмом ценностей, права и т.п. Диагностируя подобные расхождения, Левада говорит не столько о кризисе нравственности или об ослаблении социального контроля, сколько об одновременном обесценивании норм, производном состоянии от действия многообразных и противоречащих друг другу нормативных порядков, характерных для социального перелома и гетерогенных экономических отношений. Он подчеркивает, что не всякое сочетание разнородных императивов ведет к аномии, а лишь такое, в котором подавлены, т.е. неразвиты, механизмы универсалистских регулятивов. Поэтому речь при анализе российской действительности должна идти не столько об эрозии морали российского человека и общества, сколько об институционализированном лицемерии (двоемыслии) или о массовом цинизме, оказывающихся следствием вынужденной адаптации к патернализму власти, к репрессивному режиму советского типа, в котором не остается места для морального выбора или личной ответственности. Разложение нормативной системы исследуется, прежде всего, на материале коррупции, «человека коррумпированного» (в особенности – внутренней, личностной коррупции, игры человека в подкуп с самим собой); отдельная тема – сервильность и деградация элиты, лишающая общество

[32] «Дефинитивная функция символа – обозначать некий предмет – не единственная и даже часто не основная. Обращение к символическим конструкциям упрощает отношение человека к социальной реальности, избавляет его от самостоятельных усилий понимания, оценки и проч., используется как доказательство лояльности по отношению к какой-то традиции, идеологии, социальной группе или институту» [*Левада.* Ищем человека. С. 197].

идеальных образцов и ориентиров[33].

3. *Прагматический* (или инструментальный) *план* – охваты-

[33] «Феномен коррупции представляется довольно сложным и – по крайней мере, потенциально – всепроникающим… Регулярное экономическое поведение в принципе строится по универсально применимым образцам. Коррупционная сделка, в отличие от такого образца, всегда строится на краткосрочных, моментальных и сугубо партикулярных интересах участников… Она всегда нарушает или обходит общепринятые нормы и чужие интересы... Коррупционная сделка играет роль дополнительного механизма (триггера, включателя), который приводит в движение, направляет или тормозит какие-то потоки социально востребованных благ, услуг, действий... Коррупционная сделка всегда организована «вертикально», потому что по своему определению она предполагает «нормативный переход», нарушение установленной нормы, запрета, привычки. Адресатом коммерческого или политического соблазна может быть, естественно, только группа, не имеющая устойчивых склонностей или соответствующих антипатий, – та самая середина, «болото» – которая может создать необходимый перевес, особенно в ситуации «сумеречного» массового выбора при отсутствии устоявшихся политических симпатий, неясности ориентиров. Популистская политика, столь часто востребуемая в электоральные и кризисные периоды – рассчитанная на соблазн (или запугивание), на использование массовых, чаще всего не слишком возвышенных страстей, – типичный пример массового политического подкупа. Одна из особенностей его механизма в том, что он направлен не столько на какое-то множество людей, сколько на создание такой общественной атмосферы (восторга или страха – не столь важно), в которой с большей вероятностью люди склоняются к требуемому от них варианту поведения. Массовый подкуп, как экономический, так и политический, как и любая иная коррупционная сделка – трансакция «о двух концах»… Если одна сторона («сверху») стремится подкупить, то вторая («снизу») надеется «откупиться» от излишних претензий, сохранить что-то свое и т.д. – по всем правилам «лукавого двоемыслия»… Все и всяческие формы коррупционных сделок и связей приобретают большой размах и значение преимущественно в переломные эпохи и в пограничных средах общественных отношений – там, где ослаблены «обычные» взаимосвязи между личными и официальными, корпоративными и государственными, локальными и центральными интересами. Коррупция неизбежно растет – и обращает на себя внимание – в переходных исторических ситуациях, когда длительное время сосуществуют разные нормативно-ценностные системы, когда «старые» уже дискредитированы, а «новые» не утвердились достаточно прочно. Причем, что особенно важно, это относится не только к внешним (правовым, полицейским) системам социального контроля, но и к «внутренним» (нравственным, личностным) регуляторам поведения».

вает данные различного рода, касающиеся массовых свидетельств людей о своем собственном поведении или поведении других (потреблении, доходах, самочувствии, эмоциональном состоянии, мобильности, политических установках и голосовании, образовании, статусе и проч.). Важнейшие выводы, которые делает Левада, разбирая показатели этого условного плана, сводятся к следующему: поведение действующих лиц в рамках сохраняющихся или лишь внешне модифицированных институтов носит вынужденный характер, будь то очень узкий коридор возможностей, открывающихся перед «власть предержащими», или принудительная адаптация к изменениям большинства населения, не имеющего представления о «новом» (ценностях, целях, стандартах жизни). И у тех, и у других имеет место чаще всего выбор снижающихся вариантов поведения. У причастных к власти, политиков – это склонность к самым примитивным моделям политического действия (главным образом, это беспринципная борьба временщиков и имитаторов прежнего стиля господства за самосохранение), проведение консервативной политики, это сервильность элиты, обслуживающей власть, ее самостерилизация, неспособность на инновационную политику или постановку новых целей национального развития. У массы, привязанной к государству, – это всегда тактика приспособления к произволу власти; стратегия выживания, основанная на удовлетворенности жизнью, обеспечиваемой низким (или даже снижающимся) уровнем запросов, отсутствием повышающих представлений. Левада описывает рациональность сохраняющейся пассивной адаптации населения, фиксируя изменения в массовых ценностных ориентациях, появление других моделей или стандартов образа жизни, не сопровождающихся, однако, изменениями нравственных и личностных характеристик человека.

При таком подходе важнейшее методологическое значение приобретает сам концепт «игры», игровые структуры сложного социального действия. Понятие «игровой структуры действия» связывает разные плоскости анализа – символическую (область культурных представлений, ценностей и мифов) с нормативной

(институциональными или групповыми предписаниями, моральными представлениями о должном и допустимом) и практическими мотивами повседневного поведения (семейного, группового, политического, экономического). Применительно к задачам эмпирического исследования (интерпретации его результатов) использование данного понятия предполагает наложение этой схемы на материал, позволяет увидеть и выделить разные содержательные фрагменты реальности, структурируемые с позиций действующего. Благодаря фиксации модальных барьеров разного типа (внутренних, внешних: разделение на «свое/чужое», «мы/они», «участие/неучастие», «далекое/близкое», «нормальное/экстраординарное», «показываемое/обязывающее к ответственности») возникает относительно замкнутое смысловое единство – «сюжетность», устанавливается пространство действия, организованность реальности для действующего. Только *внутри* этих зон смысловой субъективной или коллективной упорядоченности становятся значимыми в теоретическом отношении групповые или частные интересы, системы гратификации, надежды или страхи, и проч. Только внутри них можно говорить об эмоциональных балансах, фобиях, массовых комплексах, фрустрациях, рамках референтности, а значит, выявлять представления о качестве жизни, релятивной депривации, потолке запросов, политических ожиданиях и установках.

Но существуют и другие важные особенности работы Левады как социолога. Каждая из больших, выделяемых Левадой проблем (анализ структуры общественного мнения или динамики массовых реакций), предполагала включение нескольких систематических рамок ее рассмотрения. Эти рамки (система пространственно-временных координат или рамки соотнесения) задавались несколькими внутренними методическими приемами или «требованиями» к последовательной работе. Прежде всего, необходимо включать в анализ несколько уровней временных состояний (домодерное прошлое, особенности

российского процесса модернизации[34], время перемен последних лет, локальное время анализируемых изменений – реакции на актуальные события). Таким образом, рассматриваемое явление помещалось в оптическое поле, конституированное различными типами времени – не только социальным (измеряемым институциональными ритмами выполняемых функций или групповыми действиями), но и культурным (изменения ценностных и символических структур, проявляющиеся в реконфигурациях антропологических типов и характеристик). Это придавало самому предмету необычайную «объемность», возбуждая тем самым продуктивное воображение читателя, получающего возможность самостоятельно прослеживать цепочки смысловых следствий и связей. «Параметры социальных событий как во времени, так и в пространстве не могут ограничиваться непосредственными последствиями, намерениями участников, региональными масштабами конкретного конфликта и т.п. Определяющим служит значение событий, их место в процессах более широкого плана. В данном случае такими параметрами служат *историческое время и общемировое, глобальное пространство*» [*Левада* 2006, с. 115][35]. Кроме того, Левада

[34] В данном случае это не схема и не результаты процесса, а лишь указание на общую направленность изменений.

[35] В другом месте Левада пишет: «Одна из весьма важных особенностей российской истории – наслоение разновременных социальных, социокультурных, социально-политических структур. Отсюда многослойность, как бы протяженность во всех направлениях – «вдаль» (территория для России всегда имела социальные и исторические измерения) и «вглубь» социального и человеческого материала, испытывающего воздействие преобразующих и разрушающих факторов. В этой толще меркнут и гаснут, трансформируются любые импульсы перемен, на любой тип действия находится соответствующая форма противодействия, преимущественно пассивного, адаптивного. В итоге «понижающий трансформатор» работает на всех уровнях, приспосабливая импульсы перемен, откуда бы они ни исходили, к существующему образу жизни и сознания. Это относится и к «массе» (многочисленные «низовые», по характеру жизни наиболее косные слои) и к разнообразным группам элиты – консервативным, прогрессистским, эгоистическим и проч. И, разумеется, к бесконечной российской «глубинке», отнюдь не только пространственной. Поэтому, в частности, в России никогда не были воз-

увеличивал возможности анализа указанием на потенциал структурно-мифологической интерпретации, что предполагало учет таких игровых структур общественного мнения, как, например, идентификационные композиции – грехопадения, жертвы, героизма, сотворения мира – преодоления хаоса, противостояния «своих» (светлого начала) «чужим» (значениям злого и пугающего), установления внутренних и внешних барьеров и проч.

Другим (аналогичным в методическом смысле) требованием было помещение рассматриваемого явления в несколько социальных пространств – соотношение центра и периферии (их различного функционального значения), России и ближнего зарубежья, России и западноевропейских стран, России и США, России и ООН, внутрироссийских и мировых событий[36].

можными эффективные (соответствующие каким бы то ни было замыслам и планам) изменения «сверху» – каждая волна перемен, навязанных волей власти или стечением обстоятельств, переходя от одного временного слоя к другому, от центра к периферии, трансформировалась многократно, создавая как очаги молчаливого сопротивления, так и многообразные формы мимикрии и приспособления к переменчивым обстоятельствам. Сопротивление любым переменам (независимо от их направленности) в России всегда опиралось прежде всего на эту инерцию социального и человеческого «материала», в меньшей мере – на чье-то заинтересованное или привычное противодействие… Позднейшие фольклорно-политические вариации «хотели как лучше, и т.д.» разрабатывают ту же извечную модель» [*Левада*. Ищем человека. С. 276].

[36] «Запоздалая или «догоняющая» модернизация нигде и никогда не напоминала в XX в. плавный эволюционный процесс освоения достижений мирового прогресса на благо населения новых или обновленных государств. Использование определенных (прежде всего военно-промышленных или просто «оружейных») достижений западной цивилизации традиционными общественными системами, выход на поверхность новых национальных, клановых, религиозных разделений и амбиций, массовое нетерпение, а иногда еще и революционный авантюризм, – все эти факторы неизбежно придавали общественному развитию, если рассматривать его в глобальных масштабах ушедшего столетия, конвульсивный и болезненный характер. Практически все «догоняющие» страны и регионы воспроизводили не «рациональную», а «иррациональную» составляющую европейской модели, т.е. скорее ее катаклизмы, чем ее преимущества. Вопреки всем расчетам про-

«Человек советский» в условиях деградации советских институтов

Модель «советского человека», описанная по результатам первого исследования 1989 г., в ситуации краха советского режима, нуждалась не просто в дальнейшей проверке (насколько устойчивы ее элементы в отдельности и в целом сама система), но и в выяснении ряда вопросов: как ведет себя этот человек в ситуации рутинизации исторического перелома, разложения закрытого, уставшего от постоянного режима мобилизации общества, не имеющего позитивных ориентиров и целей, общества с негативной идентичностью. Поэтому усилия и самого Левады, и исследователей, группировавшихся вокруг него, были сосредоточены на изучении разных институциональных условий сохранения «человека советского» и разных состояний, в которых он проявлялся (человек энтузиастический, обыкновенный, ностальгический, ограниченный, коррумпированный,

---

грессистов и социалистов утопического периода (XIX в.) новые национальные консолидации и разграничения приобрели больший вес, чем классовые или идеологические. Одна из ошибок либералов и социалистов <заключалась> в том, что они считали нацию пережиточной, традиционной структурой, которая отмирает или теряет значение в модернизационных процессах. На деле же современные национальные консолидации, разграничения, символы, противопоставления, затрагивающие массовые переживания и комплексы, – неизбежные продукты модернизации на определенных («формирующих») ее этапах. Точно так же как транснациональные образования на более поздних этапах. В Европе ситуация стала изменяться в пользу новой интеграции лишь к концу XX в., но положение во многих «догоняющих» странах (Азии, Африки) скорее осложнилось. Новые государства, избавляясь от колониализма, утверждают себя самым простым способом – противопоставлением «Западу» (а сейчас еще и «глобализму»)… Другая важная черта «догоняющих» обществ – неравномерность, разрыв во временных технических, экономических, социальных, политических, нравственных процессов. Отсюда парадоксальные сочетания разнопорядковых структур. Вопреки иллюзиям экономического детерминизма во многих странах традиционные диктатуры или деспотии в условиях привнесенного или милитаризованного экономического роста укреплялись, а то и уступали место не менее деспотическим и диктаторским «освободительным» режимам. Все эти «завихрения» прогресса Россия испытала, освоила, и – по всей видимости – до сих пор не преодолела» [*Левада.* Ищем человека. С. 275].

протестный и др.)[37]. К этому примыкает разбор некоторых механизмов, посредством которых обеспечивается целостность его идентичности: комплекс жертвы, структура исторической памяти, символы прошлого и исторические рамки самоопределения, феномены негативной мобилизации, астенический синдром, функции разнообразных «врагов» и динамика фобий, значение имитации большого стиля для поддержания основных ценностных образцов, роль институтов насилия и их трансформация, специфика существующей системы образования и др.

Крах советской системы, вызванный невозможностью воспроизводства высшего уровня управления, не затронул кардинальных оснований этого общества-государства. Распад системы выражался, прежде всего, в «верхушечной» борьбе различных фракций, второго и третьего эшелонов номенклатуры. Предопределенность кризисов в подобных тоталитарных режимах вызвана отсутствием институционально упорядоченных и урегулированных правил передачи власти, точнее – их принципиальной недопустимостью, невозможностью для власти, которая сама по себе конституирует социальный порядок, контролирует население, не будучи в свою очередь ничем ограниченной. Поэтому каждый цикл тоталитарных режимов определяется сроком жизни очередного диктатора (или, как пишет Левада, «короткими рядами традиции»). Попытки ограничения террора в условиях тоталитарного режима оборачиваются замедлением вертикальной мобильности и скрытыми процессами децентрализации, латентной апроприации властных позиций, что создает сильнейшие напряжения на нижележащих уровнях управления. В этом плане дефекты в репродуктивных структурах власти неизбежно вызывают периодические политические кризисы, поколенческие смены кадрового состава управляю-

[37] После 2000 г., когда вышла книга «От мнений к пониманию», Ю.А. Левада опубликовал, помимо прочего, более 20 статей по проблематике «советского человека». Работы последних шести лет по этой тематике, регулярно появлявшиеся в журнале нашего центра «Вестник общественного мнения», собраны им в книге «Ищем человека» [*Левада* 2006].

щего верха. Раскол в верхнем эшелоне управления ведет к разрушению партийно-государственной монополии, появлению, условно говоря, «дефектных» или «маргинальных» лидеров (вроде Горбачева или Ельцина) и общему параличу и разложению номенклатуры. Однако дисфункции верхов или даже распад *системы* институтов не должны отождествляться с крахом самих институтов: значительная часть базовых институтов сохранилась или подверглась минимальным, почти косметическим изменениям, переименованиям и т.п. А это значит, что воспроизводятся основные условия существования человека, постепенно привыкающего к переменам, «обживающего» их на свой лад. Именно характер и особенности массовой адаптации (протекающей без изменения ценностей, символов, участия, структур мотивации) указывают на подавление процессов социально-структурной, функциональной дифференциации, нейтрализацию условий для автономизации ведущих групп общества и их ценностей. Попытки восстановить централизованный государственный контроль в прежнем объеме без сопутствующих социальных механизмов (террора тотальной, т.е. не имеющей каких-либо зон ограничений, политической полиции, насаждения единой идеологии, атмосферы страха) невозможны, поскольку без обращения к ним нельзя подавить или сдержать постоянно возникающие неформальные (теневые, серые, сетевые) связи и структуры обмена ресурсами между различными группами и институтами, обеспечивающие процесс существования целого или функционирования его важнейших подсистем. Быстрое расползание коррупции свидетельствует не столько о падении социальной морали, сколько о необходимости институционального согласования частных, групповых и институциональных интересов (потребности в рамках соотнесения различных систем действия). Поэтому коллизии такого рода оказывают разлагающее воздействие на саму систему централизованного государственного контроля, но одновременно становятся залогом массовой адаптации к переменам.

До определенного момента растущие напряжения в узловых точках системы компенсируются привычным двоемыслием

«советского человека», но лишь до известного предела, пока серьезно не затронуты надежды на «доброго царя» или попечительскую роль государства. Государственно-патерналистские установки оказываются значимыми для большей части населения страны, поскольку в условиях падения экономики и жизненного уровня у основной массы нет достаточных ресурсов для независимого от государства существования. Неудовлетворенность фактическими результатами этой деятельности государства становится почвой социального протеста и дискредитации властей, однако среда, где сохраняется потенциал социального протеста, отличается консерватизмом и неспособностью к самоорганизации, это недовольство социально уязвимых, государственно-зависимых групп (бюджетников и пенсионеров). Иначе говоря, институциональные рамки «советского человека» сохраняют по инерции свою значимость, хотя уже далеко не в той мере, как это было в советское время.

Позднее (уже после анализа путинского режима) Левада несколько пересмотрел и скорректировал основные свои выводы. Суть поправок и уточнений сводилась к тому, что «советский человек» потерял значение *образца* для массовых ориентаций и идентификации. «Советский человек» уже не воспринимается как носитель каких-то ценностных качеств и свойств, как субъект новых отношений и, соответственно, лучшего будущего. С началом эрозии образца общество утратило представление о своем будущем, чувство направленного времени, пусть даже в форме казенного оптимизма или рутинной уверенности в завтрашнем дне.

Однако то, что первоначально казалось фактором разрушения системы[38], составляло и образовывало «подсознание» «советского человека» (теневые, а потому аморфные, плохо артикулируемые значения социальности, касающиеся значений насилия как символического кода поведения, репрессивного кон-

[38] «В обстановке общественного кризиса латентные компоненты каждой антиномии <составляющей структуру образца «хомо советикус»> выступают на поверхность и превращаются в мощный дестабилизирующий фактор» [*Левада.* Статьи по социологии. С. 24].

троля, недоверия к другому, страху перед ним, готовности к обману, агрессии и проч.), все это стало выходить на первый план, обретая уже не негативные, а *позитивные* определения и смыслы коллективной солидарности (значения «наших», «своих», «русских» в противопоставлении «чужим»). Именно они – структуры негативной мобилизации и идентичности – оказались механизмом нейтрализации или стерилизации потенциала гражданской солидарности, самостоятельности, демократии «участия» (а не «зрительства»), ответственности, и обеспечили условия сохранения и воспроизводства базовых институтов власти.

Несмотря на разрыв между декларируемым и реальным уровнем изучаемых характеристик, значение советского «архетипа» сохраняется. «Тенденции реставрации (или реанимации) ряда характерных черт «человека советского» (чуждого рациональному расчету, окруженного врагами, тоскующего по «сильной руке» власти и т.д.) действуют после общепризнанного крушения идеологических структур и соответствующих им пропагандистских стереотипов, присущих советскому периоду. Это подкрепляет предположение о существовании некоего исторического «архетипа» человека, «архетипа», уходящего корнями в социальную антропологию и психологию российского крепостничества, монархизма, мессианизма и проч. <…> Чем дальше уходит в прошлое его <советского человека> собственное время, тем более привлекательным представляется оно массовому воображению. Демонстративная ностальгия, естественно, служит, прежде всего, способом критического восприятия нынешнего положения. Ее побочный продукт – поддерживание в различных группах общества, вплоть до социально-научной среды, идеализированных моделей советского прошлого…» [*Левада.* Ищем человека. С. 264].

Отдельной темой, занимающей все больше и больше места в размышлениях Левады (уже после проведенного им анализа последствий путинского режима), становятся «источники изменений». Существуют ли они и откуда можно ждать импульсов дифференциации и усложнения социальной и культурной

системы? В первые годы после краха советской системы среди более образованной части российского общества были довольно широко распространены представления о том, что новое поколение, социализированное уже в других условиях, окажется носителем совершенно иных ценностей, будет характеризоваться другой этикой, мотивироваться иначе, чем их родители и деды. Отчасти такие ожидания подкреплялись данными социологических исследований, свидетельствующих о том, что молодежь не просто более образовано, но и ориентирована на другие стандарты потребления, что она не испытывает обычных для старшего поколения страхов. Однако эти предположения оказались скорее набором иллюзий, а не прогнозами, основанными на теоретическом знании и фактическом материале. Разрушение прежних образцов не сопровождалось какой-либо позитивной работой по пониманию природы советского общества и человека, выработкой других ориентиров и общественных идеалов. Возобладали эклектические тенденции имитации прежних символических структур: ностальгия по былому величию, идеализация прошлого, прежде всего – мифологизация победы во Второй мировой войне, дореволюционного времени, обрядово-магическая сторона религиозного «возрождения» и проч. Но замена одних символов другими не меняет структуры общества и характера идентификации людей, их ценностных ориентаций, установления внутренних и внешних барьеров. Главный итог этих пятнадцати лет заключается в том, что общество притерпелось, массовый человек приспособился, адаптировался к вынужденным изменениям, но оказался не в состоянии понять их или изменить условия своего существования.

Заключение

Если суммировать все наблюдения и выводы из анализа разнообразного материала, проведенного Левадой, то российская модель или версия «человеческих» последствий «догоняющей» модернизации может получить гораздо большее теоретическое значение, нежели просто один из многих примеров

социетальной неудачи[39]. По сути, Левада показал, что крах тоталитарной системы советского типа (как и многих других) не является основанием для суждений о предопределенности перехода к современному обществу и завершения процессов модернизации, начатой несколькими столетиями ранее. Напротив, тоталитарный режим был лишь одной из модификаций «вертикально» организованного общества («власть» как «осевой» или конституирующий общество институт) и блокировкой модернизационного развития, или контрмодернизацией. Большевики, провозглашая необходимость модернизации общества и обличая старый порядок как архаический, нелегитимный в силу неспособности обеспечить форсированное развитие страны, в действительности создали лишь еще более жесткую, репрессивную и примитивную по своему устройству социальную систему, оказавшуюся неспособной к развитию, к социальной, структурно-функциональной дифференциации. Но точно так же конец этой системы не означает изменения структуры общества, а лишь реконфигурацию ее составляющих. «Надежда на спасительную руку государства не покидает людей, не умеющих найти силы в самих себе» [*Левада.* Ищем человека. С. 246].

Переход общества от «возбужденного» к обычному, повседневному состоянию сопровождается переоценкой и символических значений социального действия, и его прагматики. В «героические времена» общественных переломов массовые надежды вспыхивают и трансформируются по законам мифологии, лидеры идеализируются, оппоненты демонизируются до образов чудовищ и заклятых врагов, в период рутинизации идет обратный процесс «заземления» и деидеализации. «Расставание общества (как и отдельного человека) со своими иллюзиями, как показывают исторический опыт и современные

[39] Если под успехом понимать только европейские формы современного общества – с демократией, свободным рынком, высоким уровнем благосостояния населения, развитой системой социального обеспечения, образования, культуры, толерантностью, отказом от милитаризма, открытостью миру, интенсивным развитием технологий и т.д.

наблюдения, простым не бывает. Так, расставание общества (прежде всего его интеллектуально-политизированной элиты) с иллюзиями коммунизма заняло десятилетия, происходило в несколько этапов, с романтикой перестройки прощались не столь долго, но тоже не просто. Трансформацию ожиданий и символов последующего периода еще предстоит изучать обстоятельно. Во всех случаях пути трансформации прагматических и символических компонентов расходились. Уровень практических действий и ожиданий шаг за шагом снижался, фантастические ожидания прорыва к новой жизни, изобилию, мировому уровню и т.п. низводились до некоторого улучшения или даже до просто сохранения достигнутого ранее. (В любом случае отсчет от воображаемого будущего заменялся отсчетом от наличных обстоятельств, происходило «приземление» образца.) Такова, в принципе, *прагматическая* составляющая рутинизации» [Там же, с. 372].

Принять подобную, лишенную всяких сантиментов и иллюзий позицию российскому образованному человеку, в том числе социальному исследователю, не просто трудно, а нестерпимо. Именно поэтому профессиональное сообщество отдает честь Ю.А. Леваде, но делает вид, что ничего не слышало, ничего не произошло. В этом, собственно, и заключается тот феномен «двоемыслия» и примитивизации, о котором писал Левада. В более широком смысле речь идет о периферийном, отсталом и полузакрытом обществе, не могущем (не желающем) расстаться с собственным традиционализмом. Каковы бы ни были трансформации его внешних форм, оно остается «вертикально» интегрированным, инертным, завистливым по отношению к динамически развивающимся модерным странам. Поэтому «перед нами – не просто ряд исторических примеров, но парадигма, своего рода стандарт преобразующих процедур. Этот стандарт сохраняется не только массовой инерцией, но и действием вполне определенных рудиментарных социально-политических структур – военных и карательных, которые выступают хранителями и инкубаторами традиционно-советских поведенческих типов. Шансов на преодоление этой парадигмы

в обозримом будущем – скажем, на два ближайших поколения или дольше – не видно. Протяженность российской социальной реальности «вглубь» принципиально отличает ее от «одновременной» реальности американской, немецкой, польской, эстонской и т.д.» [*Левада.* Ищем человека. С. 276].

«Мир России» № 3. 2008

Б. Дубин

ОТ ТРАДИЦИИ К ИГРЕ: КУЛЬТУРА В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ ЮРИЯ ЛЕВАДЫ

Понятие культуры разработано в социологической теории довольно слабо. Для большинства теоретиков оно не относится к основополагающим и если даже используется, то, как правило, имеет сугубо вторичное, остаточное значение, производное от «общества», «социальной системы», «структуры», «процесса» или «группы»[1]. Чаще всего и культура при этом фигурирует на правах системы – как «система культуры», «культурная система», то есть, в терминологии Ю. Тынянова, как нечто «готовое». Именно так она аналитически трактуется, например, в наиболее развитой социологической концепции высокого уровня – общей теории действия Т. Парсонса и его соратников-единомышленников (Э. Шилза и др.)[2].

Между тем – и Юрий Левада в своих теоретических работах не раз об этом обстоятельстве напоминал – становление «культуры» как предмета специализированного исследования в ис-

[1] Проект понимающей социологии культуры, с опорой на идеи М. Вебера и Г. Зиммеля предложенный в конце 1970-х – начале 1980-х гг. группой немецких социологов – Ф. Тенбруком, В. Липпом, Х.-П. Турном и др. (см. о нем: *Гудков Л.* Культуры социология // Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. С. 150-151), насколько можно судить сегодня, к сожалению, не изменил эту ситуацию.

[2] См.: *Парсонс Т.* О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000. С. 462-463. Стоит напомнить, что переводы Г. Беляевой и Л. Седова, включенные в этот сборник, вышли из отдела Института социологии, которым в конце 1960-х гг. руководил Левада, а сам он всегда называл Парсонса среди нескольких авторов (Дюркгейм, Вебер, Зиммель), на идеях которых он и его сотрудники учились социологии; см., например, его интервью в кн.: Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999. С 90. Из позднейших социологов-теоретиков для Левады был значим И. Гофман; кроме того, Левада был, кажется, одним из первых, кто в середине 1970-х обратился в СССР к работам К. Гирца (он реферировал в ИНИОНе его статью об идеологии как культурной системе).

торическом аспекте происходило едва ли не одновременно с аналогичным обращением к понятию «общество» как самостоятельному, специальному плану социальной реальности, т.е. с самим рождением социологии как научной дисциплины. Левада ставил оба эти внутринаучных феномена в контекст крупномасштабной «исторической декомпозиции» европейских обществ при разворачивании многообразных процессов модернизации[3]. Принятие наукой данного многообразия социальных структур в их пространственно-временном движении и взаимопереплетении как исходного факта и повлекло за собой аналитическое расчленение общих представлений о действии (взаимодействии) на социальные и культурные аспекты («коллективные представления», «символические формы» и проч.). Таким образом, сами социальные науки, их зарождение и развитие вводились, по мысли Левады, в рамки тех социокультурных процессов, которые они делали своим предметом. Любой серьезный социологический проект, включая концептуальные разработки самого высокого уровня абстракции, всегда обращен к окружающему социолога обществу и к его настоятельным сегодняшним проблемам.

Развернем и сформулируем это немного иначе, в типологическом плане. До тех пор, пока социум живет более или менее единой традицией, а человек в нем, в жестких разделениях и перегородках этого социума, прикреплен к тому социальному (равно как и географическому) месту, где родился, генерализованных понятий общества и культуры не возникает, как не возникает, скажем, у эскимосов, имеющих несколько сотен слов для обозначения разновидностей снега, абстрактного понятия «снег». Человек в таком социуме (пахарь, воин, ремесленник, жрец) «знает свое место». Совершенно в иной ситуации обнаруживает себя индивид Новейшего времени: непредуказанность траектории и временного распорядка его существования, постоянный поиск и осуществление себя, можно сказать, «тре-

[3] См.: *Левада Ю.* Статьи по социологии. М., 1993. С. 41, 89 (далее при цитировании – СС с указанием страницы).

бует» все более обобщенных, гибких ориентиров действия и критериев оценки – генерализованных ценностей и норм. Чем и вызывают все большую активность групп, производящих, совершенствующих, распространяющих, поддерживающих подобные образцы поведения, мысли и чувства (взрывная динамика литературного и печатного производства, художественных рынков, форм публичного музицирования и вообще публичного времяпрепровождения на переходе от Нового времени к Новейшему не раз становилась предметом исследования историков и социологов). Институты науки по-своему реагируют на эту расширяющуюся вселенную актуальных обстоятельств, вырабатывая многообразные средства их представления и понимания в историческом столкновении, взаимосоотнесенности, борьбе.

1

Для истории и социологии науки в ретроспективном анализе важно, какие именно проблемы тот либо иной теоретик считает ключевыми, в концепциях и категориях какой степени обобщенности эти проблемы осознает и закрепляет. Одной из таких принципиальных категорий для Ю. Левады к середине 1970-х гг. и стала «культура».

В позднейших интервью он, вспоминая о том времени, указывает на тогдашнюю «попытку *культурно* обоснованной социологии» и в беседе с Г. Батыгиным упоминает в этой связи обращение – свое и коллег – к «культурологии»[4]. В более развернутом виде данный пункт представлен в интервью 1990 г. Д. Шалина, опубликованном уже после смерти Левады: «…я мало что писал, потому что охоты не имел. Кроме того, нужно было выбирать некоторую плоскость, в которой я мог бы построить свои интересы <…>. Нельзя было публиковаться по социологии, но она меня не так стала интересовать в чистом виде <…>. Нашлись такие интересные пересечения, культуро-

[4] Российская социология шестидесятых годов… С. 89-90 (курсив мой. – *Б.Д.*).

логия, еще чего-то»[5]. далее он говорит о «более или менее абстрактной культурологии», которой стал заниматься, и в качестве наиболее серьезного в теоретическом смысле, что тогда напечатал, называет «статью об игровых системах», т.е. «Игровые структуры в системах социального действия» (1984).

В основе проекта теоретической социологии, намеченного Юрием Александровичем Левадой, если в ретроспекции реконструировать его предельно кратко, лежала проблематика *сложного* по структуре – *культурно* обусловленного, *символически* опосредованного – *социального действия*. Аналитически выделялись разные уровни его смысла, включая не предъявленные впрямую пласты значений – уровень исторических героев и мифологических санкций (ср. известный пример Левады с призраком Гамлета-отца, когда предельный уровень значимости может быть предъявлен только через модальный барьер, как «другая реальность», «тень», – СС, 59). Разбирались наиболее усложненные, самоцельные, самодостаточные варианты действия и взаимодействия (в первую очередь, игра, искусство) и сравнительно упрощенные их разновидности – инструментальные, экономические, подлежащие расчету, калькуляции затрат, оптимизации средств. Ставился вопрос о различных моделях и цивилизационных типах личности, характерном наборе «установок и ценностных ориентаций, когнитивных и поведенческих рамок человека как носителя, субстрата определенной системы социальных институтов» – таковы «человек Эллады и человек Рима, человек французского классицизма и человек современного западного (европейско-американского) мира»[6]. Прорабатывалась тематика макросоциальных форм пространственной и временной организации общества с его центром и периферией, сложной системой социальных и культурных времен, механизмов воспроизводства и источников изменения этих форм – репродуктивная система социума, «коллективная

[5] http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/levada_90.html.

[6] Советский простой человек. опыт социального портрета на рубеже 90-х. М.: Мировой океан, 1993. С. 6.

память» и «коллективное воображение». Говоря в 1984 г. об исключительной сосредоточенности современной культурологии на прошлом, Левада подчеркивал нужность «перспективных координат культурных ориентаций, выносящих точки отсчета и оценки за пределы современности» (СС, 97); позднее он вернулся к этой проблематике в соображениях об «инерционном тупике» 2000-х гг., развитых в статье 2004 г. «Исторические рамки «будущего» в общественном мнении» (ИЧ, 62-75).

При этом в десятилетие между первой половиной 1970-х и первой половиной 1980-х гг., когда были сформулированы основные и важнейшие для последующей работы теоретические идеи Ю.А. Левады[7], главной социальной и социологически значимой проблемой, к которой так или иначе стягивались все перечисленные как к своего рода смысловому центру, нервному узлу, для него стала, как представляется, проблема *воспроизводства социальной системы.*

2

Подчеркну несколько важных характеристик тогдашнего социума, которые, как я предполагаю, могли подтолкнуть социолога к размышлениям о репродуктивных возможностях социальных систем, и в частности советской системы. Эта система все чаще стала представать и представлять себя – притом не

[7] Недавние суждения некоторых журналистов и мемуаристов о том, что Леваду в тот период будто бы заставили «замолчать», «отойти в сторону», «уйти в тень», огорчительно поспешны, резко упрощают ситуацию и совершенно не соответствуют действительности: регулярно собирались коллективные семинары, не прекращалась собственная работа, ее результаты даже выходили в открытую печать (человеком подполья Левада никогда не был). Статьи тех лет, которые по большей части публиковались в малотиражных, не привлекавших внимания сборниках, в том числе – изданных ротапринтом, позже были собраны в уже упоминавшейся книге Ю. Левады «Статьи по социологии». Другие аббревиатуры названий авторских сборников, используемые далее в статье: МП (Левада Ю. От мнений к пониманию: Социологические очерки 1993-2000. М.: Московская школа политических исследований, 2000); ИЧ (Левада Ю. Ищем человека: Социологические очерки, 2000-2005. М.: Новое издательство, 2006).

только в средствах массовой информации и пропаганды, но и в сознании многих обычных людей, если не их большинства, – реальной и нормальной, сложившейся прочно и рассчитанной надолго. С одной стороны, правящие круги СССР отошли от политики тотального противостояния Западу, безудержной гонки вооружений: во внешней политике была объявлена эпоха «разрядки» и мирного сосуществования. С другой стороны, система как будто бы отказывалась от массовых репрессий внутри страны и поддерживавшегося несколько десятилетий режима чрезвычайности в ежедневной жизни. Не случаен в этом контексте переход от риторики всемирной революционной миссии социализма и упора на коммунистическую перспективу в будущем к подчеркиванию значимости настоящего.

Страна становилась по преимуществу городской, население – в целом образованным (на среднем уровне) и, на среднем же уровне, благополучным, система коммуникаций оснащалась современными массмедиальными технологиями (телевизор). Выросло поколение, не знавшее исторических потрясений и катастроф (революций, войн, массовых репрессий). Стремление власти, институтов пропаганды и воспитания придать сложившемуся порядку черты нормальной и устойчивой цивилизации выразилось, среди прочего, в формулировках о «новой исторической общности людей, советском народе» и о сформировавшемся особом социально-антропологическом субстрате этой общности – «советском человеке»[8]. Уверения себя и других в стабильности и долговечности строя символически воплотились также в безальтернативности типа и фигур власти, несменяемости тогдашнего руководства[9].

---

[8] Не обсуждаю сейчас, как эти идеологические постулаты соотносились с окружавшим людей бытом. Отмечу только устойчивый интерес Левады к феноменам двойного сознания (позднейшая статья «Человек лукавый», 2000. – МП, 508-529) и к скрытым механизмам дефицита, второй реальности черного рынка (совместная с А. Левинсоном статья ««Похвальное слово» дефициту» (Горизонт. 1988. № 10. С. 26-38)).

[9] Подробнее см.: *Дубин Б.* Лицо эпохи. Брежневский период в столкновении различных оценок // Мониторинг общественного мнения. 2003. № 3 (65);

3

Соответственно, предметом теоретического внимания Левады стали механизмы временной организации системы. В частности – способы хранения, поддержания и предъявления (ретроспективного указания на актуальность) ее «прошлых», ненаблюдаемых, но значимых состояний и характеристик. Отсюда интерес Левады к механизмам *традиции*, сформулированный, впрочем, уже в энциклопедической статье конца 1960-х гг. (СС, 21-23). В той статье отмечалось, что в более развитых, современных обществах область значимости традиционного ограничена определенными зонами – этническими отношениями, семейными установлениями, военными и им подобными организациями. Для всего же социума работа традиции дополняется действием других, менее «близких» и «наглядных», но зато более универсальных способов воспроизводства социальной структуры – например, правовых. Иными словами, традиция в этих обществах, в отличие от обществ собственно традиционных, уже *частична*, а не тотальна, сферы ее авторитетности, настоятельности, необсуждаемости и проч. поразному очерчиваются для разных групп. Другая важная особенность заключается в том, что традиция здесь подлежит *интерпретации*, в том числе – специализированной, но не только, а потому может опустошаться до чисто внешнего (церемониального, имитационного) ее соблюдения или исключительно словесных заверений в будто бы верности – заветам, авторитетам и т.п.

Проблема подобного перехода от «содержательных» символов к «пустым» очень интересовала Леваду. Например, она рассмотрена на эмпирическом материале в поздней статье о символических структурах общественного мнения (ИЧ, 188 и далее). Здесь, в частности, вводится понятие «социального мифа»: оно как раз и характеризует такие идеологические или утопические (по К. Маннхейму) конструкции, которые воспро-

---

Берелович А. Семидесятые годы XX века: реплика в дискуссии // Там же. 2003. № 4.

изводят «на советском и современном материале структуру и некоторые функции первоначальных, культовых образцов» (ИЧ, 190-191). Иными словами, упомянутое выше «опустошение» – не просто отклонение от «правильной» работы социального механизма, «сбой» системы. Оно может быть рассмотрено в генерализованном плане – как социокультурный и социально-исторический процесс в его движении от традиции и культа через идеологию и церемониал к игре. Обозначение коллективных действий как игры, не раз подчеркивал Левада, не лишает их опасности, серьезности и даже трагедийности – такого рода угрожающим играм посвящена статья Левады о погромах 2002 г. в Охотном ряду и на Тверской улице в центре Москвы, рядом с Государственной Думой и в нескольких шагах от Кремля[10].

Еще раз подчеркну: Левада – не историк и не культуролог. Его интересует специфическая социологическая реальность – способы организации взаимодействия людей и сообществ, механизмы поддержания этих форм, линии и факторы их трансформации, перерождения, распада. Он – социолог, он видит и думает социологически. И занимает его в данном случае не смысловая конструкция традиции, ее генезис и проч., а ее *работа и функция* в рамках деятельности социальных групп, институтов, движений.

Так, например, он обращает особое внимание на апелляцию к традициям в программах и ритуалах новейших националистических и фашистских движений, отмечая здесь «использование традиционных форм для легитимизации по существу нетрадиционных отношений» (СС, 22)[11]. Позже Леваду будет занимать характерное переворачивание этой коллективной практики – столь же парадоксальное сращение «старого» и «ново-

[10] См.: Левада Ю. В какие игры играют толпы // Мониторинг общественного мнения. 2002 № 4. С. 59-61 (в сборник 2006 г. статья не вошла).

[11] Статья «Фашизм» (СС, 123-135) относится к тому же времени, что и статья «Традиция», она также написана для заключительного, более свободно, чем было принято написанного и потому наиболее содержательного пятого тома Философской энциклопедии (вышел в 1970 г., готовился в конце 1960-х).

го» в такой предельной ситуации, как террористический акт 11 сентября 2001 г.[12] Здесь, напротив, самые современные средства западной техники (не только гражданский авиалайнер и новейшие средства уничтожения, но и массмедиа – прежде всего телевидение с его технологиями создания информационных поводов, фабрикаций сенсаций и «звезд», их промоушена и проч.) были использованы агрессивными исламскими радикал-националистами против Запада. И все это легитимировалось верностью «традициям ислама» и необходимостью прибегнуть к крайним средствам их «защиты».

4

При этом проблема, которая стимулировала рассматривающиеся здесь разработки Левады, состояла для него, по-моему, даже не столько в *поддержании образца системы*, сколько в *выборе целей и стратегий действия*, оптимизации путей к достижению значимых результатов. Коротко говоря, задача ему виделась не в том, чтобы хранить, а в том, чтобы двигаться (еще раз напомню приведенное выше соображение о «перспективных координатах культурных ориентаций»).

Само разграничение названных планов принадлежит, конечно, аналитику, но в категориях анализа здесь концептуальными средствами закрепляется ход более общего социально-исторического процесса – разделения деятельности по сохранению образцов взаимоотношений (Левада относил ее к «программе культуры») и деятельности по достижению целей (по Леваде – «программе опыта»)[13]. В публичных и приватных спорах 1960-1970-х гг. вокруг идеологически перегруженного понятия «культура» – о «физиках» и «лириках», о «двух культурах» (на книгу Ч.П. Сноу под этим названием есть ссылка в статье 1998 г. – МП, 307) – Левада не принимает какую-то одну из двух навязываемых позиций, а предлагает более сложный взгляд на предмет разногласий.

---

[12] Статья 2002 г. «Отложенный Армагеддон?» (ИЧ, 91-114).

[13] СС, 52 и далее.

Подавление импульсов к оптимизации социальной системы (поисков нового, взвешивания вариантов, выбора оптимального) ведет, в коечном счете, и к сбою ее воспроизводства (функции хранения и поддержания целого). В основе современных обществ, в их функциональных центрах, ведущих институтах – от механизмов рынка до структур образования – лежат именно функции целеполагания, достижения целей, оптимизации работы системы в ее отношениях с другими системами (при этом обобщенные *критерии* выбора и оценок оптимальных решений, разумеется, входят в программу культуры – *современной* культуры). А это значит, что система, перестающая откликаться на вызовы настоящего и ставить перед собой новые задачи, строить планы, выбирая оптимальные стратегии, вырождается в церемониал, замкнутую в себе игру по формальным правилам. Таков один из импульсов обращения Левады в первой половине 1980-х гг. к понятию игры. Относящиеся к этому пункту идеи его статьи 1984 г. об игровых структурах действия (СС, 99-119) будут позднее развиты в соображениях о символе и ритуале (или церемониале), сформулированный уже в 2000-е гг. – в статье «Люди и символы» 2001 г. (ИЧ, 188-191); даты обеих работ представляются мне, добавлю, глубоко значимыми.

Однако и десимволизация социального действия, свертывание или вырождение программы культуры до всего лишь оперативной ориентировки в текущем дне и до чисто реактивной адаптации к его требованиям разрушает общество как систему. Дезактуализация прошлого, потеря социальной способности (и прежде всего – со стороны продвинутых групп интеллектуалов) его снова «спрашивать» и заново интерпретировать «ответы» превращает культуру в почтенный, но малопосещаемый музей или парадную выставку-галерею «генералов» (по формулировке Ю. Тынянова). То есть деградация социума идет как со стороны возможной оптимизации системы (при отказе от нового), так и со стороны памяти о прошлом (при музеефикации прошлого). В обоих планах действия – а Леваде принципиально важна эта многомерность, всегда проблематична сопряженность разных планов действия, уровней его рационализа-

ции – аналитик фиксирует здесь неспособность к новому, отказ от сложности, а значит, и от движения, от времени (исторического времени действия, которое всегда в настоящем, но связано с прошлым и с будущим, с проекциями «в обе стороны» от современности). В этом, мне представляется, смысл обращения Левады к категориям цикла или, точнее, циклов социального времени и ритмов их последовательности, смены. В «застывающей» системе искались точки возможной динамики; в неизменности бесконечного, казалось, повторения настоящего продумывался выход из заколдованного круга, «инерционного тупика».

5

Если традицию можно аналитически представить как одну из предельных форм организации действия (и общества как системы взаимодействий), то другим пределом для социологического анализа выступает, по Леваде, игра. Традиция безальтернативна (не содержит отсылок ни к чему «внешнему», «другому»), наглядна и настоятельна («делай так!»), тотальна (включает весь склад коллективной жизни), действия расчленены в ней на практику и осмысление. Соответственно, здесь нет выделенной системы обучения, чего-то аналогичного школе, как не отделена от повседневной жизни традиционных сообществ и область высших санкций поведения, сферы сакрального (распространенный обычай хоронить предков семьи под порогом семейного дома – выражение такой неразрывной близости «этого» и «того» мира). Подобные характеристики позволяют социологу *условно*, в данных аналитических рамках, рассматривать традицию как относительно простую, элементарную форму (принцип) социальной организации.

Игра же выступает для социолога сложной, может быть, даже предельно сложной формой социального взаимодействия, структурой его организации. Но при этом несет в себе многие – разумеется, функционально трансформированные и содержательно переосмысленные – черты элементарной структуры. Прежде всего – замкнутость, безотсылочность: «…норматив-

ные рамки и целевые ориентации <…>, соответствующие мотивы и интересы [которые] ничем, кроме самой игры, не определяются… непреложность системы игровых правил, обязанностей, долгов» (СС, 100). Однако замкнутость игровой структуры связана в данном случае с тем, что сама она сложна, разнопланова. Она включает несколько уровней значения, одни из которых обосновывают или санкционируют другие, разрешают или запрещают переход к ним, служа символическим барьером либо оператором действия.

Так, процесс воздействия искусства не ограничивается коммуникацией в смысле передачи информации: акт рецепции непременно включает в себя план не только сообщения, но и приобщения. Левада цитирует болгарского поэта Атанаса Далчева: «Поэзия не общение, а приобщение. Приобщение к Идее, Красоте, Истине. В этом разница между письмом и поэмой» (СС, 94). Иначе говоря, передается не только содержание (содержимое) коммуникации, но процесс не сводится и к акту интеграции с воображаемым идеальным сообществом в сопричастности к общему символическому достоянию. Смыслом акта (если он удался!) выступает сопряжение двух этих планов, которое собственно и создает для реципиента факт его социальности и культурности.

В более общем смысле Левада представляет подобным образом структуру социального действия как такового (его «полную» структуру, не редуцированную до чисто экономической, калькулируемой). Она включает в себя не только инструментальные компоненты (средства достижения цели, формы эквивалентного обмена) и не только образцы поведения (нормативные санкции авторитетных групп, их иерархические определения реальности). Действие опосредовано символами, которые включают действующего в систему культуры, опосредуют переход к другому уровню (типу) санкций или содержат «отсылку к «правилам игры» другого порядка» (СС, 93), – символы действуют (значат) от «имени» обобщенных ценностей, уже связанных с конкретным авторитетом (лицо) или с обиходом какой-то одной группы (властью, интеллигенцией). Только та-

кое многомерное сопряжение является клеточкой полноценной структуры действия. Стяжение же действия к одному из этих идеально-типических полюсов превращает его либо в ритуал (игру, церемониал), либо в чистый обмен[14].

Левада выделяет для своих целей такие уровни значений в игре, как операционный (целевой, инструментальный, система правил), поведенческий (динамика действий и состояний, последовательность их чередования и смены – формы организации пространства и времени), социологический (ролевая структура, формы институционализации игры). Среди институциональных форм игрового действия – «зрительской игры» – Левада сосредоточивается на двух осевых, а именно на спорте и театре. Их сопоставительный анализ позволяет ему вычленить матричную многоплановую структуру игрового действия. В ней соединены целевой и ролевой планы, причем именно ролевой («театр») выступает условием, пусковым устройством (триггером) или своего рода пропуском, дающим право на переход к другому, инструментально-целевому уровню значений («спортивное достижение», «победа», «результат»). Коротко говоря, театрализованное начало в спортивном состязании объединяет зрителей вокруг спортивного зрелища-состязания, и в этом акте *символического* единения с командой и с другими болельщиками они усваивают, утверждают, поддерживают собственно *инструментальные* аспекты действия, которые, как уже говорилось, являются для современного общества и современной культуры основополагающими. Состязательность (дос-

[14] Так, например, проституция упраздняет символическую иерархию, в том числе кокетство, ритуалы ухаживания, смыслового градуирования действий и распределения их по временной оси – как стадий кристаллизации и нарастания чувства, игры отсрочек и уступок, кульминации и т.п. Но тем самым упраздняется и аффект, служивший целью или стимулом приключения. Исключение воображаемого барьера (символически *преодолеваемого* в любовной игре, но при этом всегда *присутствующего* в данном преодолении) разрывает акт коммуникации и как бы отменяет факт социальности – фигуру «значимого другого» и себя в отношении к нему, лишает происшествие значения и смысла. Аффект *не обменивается* на деньги, а деньги – на аффект; цена не образует ценности (только наоборот).

тижительность) здесь выступает производной от солидарности, а солидарность подкрепляется наглядным результатом объединенных усилий – достигнутой победой[15].

Отсюда непременная зрелищность, демонстративность не только спорта, но и всей новейшей, современной культуры (идеологические критики модерна и модерной культуры вводят для их характеристики оценочную категорию «нарциссизма» – не случайно рождение в XIX в. выставки и музея, фотографии и магазинной витрины). Культура как символическое воплощение современности, ее, говоря старым философским языком, «духа» конституирована и внутренне организована именно постоянной обращенностью к различным и обобщенным партнерам, наличным и воображаемым, чем и отличается от форм традиционной, замкнуто-сословной или корпоративной организации. Систематическая культивация начал и правил социальности, солидарного и вместе с тем состязательного взаимодействия, с одной стороны, и столь же систематическая культивация открытости, публичности, обращенности поведения ко многим и разным «другим» составляют в их сопряженности смысловое ядро проекта «модерна» и обосновывающей его программы «культуры». Отсюда роль «внешнего», визуально представленного в модерную эпоху, когда, что показательно, и создаются, распространяются, укореняются общедоступные, технологичные *визуальные* средства массовых коммуникаций[16].

Проблематика зрелища, зрительской игры очень занимала Леваду в связи с общемировыми процессами утверждения массовой культуры в качестве всеобщей, а также с первыми проявлениями массового общества, массы в Советском Союзе первых лет перестройки, с одной стороны, и в связи с феноменом

---

[15] См.: *Дубин Б.* Состязательность и солидарность. Рождение спорта из духа общества // Отечественные записки. 2006. № 33 (6). С. 100-120.

[16] См. об этом: *Дубин Б.* Визуальное в современной культуре // Дубин Б. Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры. М.: Новое издательство, 2004. С. 31-37 (см. также указанную тут литературу).

«зрительской» или «телевизионной демократии» в позднейшей России, с другой. В подобном феномене чисто зрительского, телевизионного участия в социальной и политической жизни Левада видел новый тип социальной активности, важный для современных обществ, «особый вид социальной игры – одно из главных достижение XX века, вероятно, сопоставимое по значению с открытиями рисунка и письменности, не говоря уже о театре, спорте и прочем» (МП, 313).

В этом смысле, маловразумительные и бесплодные дискуссии о «материальной» или «духовной», «высокой» или «низкой» культуре и т.п. Левада относил к «архаическим» фазам и зачаточным формам рефлексии над культурой[17]. Вести их всерьез и продолжать в сегодняшней ситуации он считал занятием абсолютно непродуктивным[18]. Для него это были ритуалы иг-

[17] «На более зрелых этапах развития социологического анализа культуры возникает проблема разработки адекватных методологических средств изучения *собственно культурных* структур и процессов» (СС, 98; курсив мой. – *Б.Д.*). Далее в качестве обнадеживающего примера Левада приводит отечественные теоретические разработки начала 1980-х гг. по социологии литературы, вошедшие в сборник обзоров и рефератов «Проблемы социологии литературы за рубежом» (М.: ИНИОН, 1983).

[18] Теоретически несамостоятельной считал Левада и распространившуюся в 1970-х гг., отчасти под влиянием структурализма и семиотики, трактовку культуры как системы – «невольный продукт реификации (овеществления) инструментов исследования», – замечал Левада и продолжал: «Ни эмпирические, ни методологические соображения не позволяют приписать онтологический статус реальной, то есть функционирующей, «работающей» системы чему-либо иному, кроме организмов и организаций («организованностей») различного порядка, обладающих определенными механизмами функциональной связи, реальными носителями таких связей и т.д.» (СС, 90). С другой стороны, понятие «культурных потребностей» («общественно-необходимых потребностей»), внедрившееся в тогдашнюю практику управления культурой, и ведомственный жаргон обслуживавших эту сферу групп специалистов-социологов Левада расценивал как экономизацию представлений о социальном действии и культуре, начальственную «редукцию сложности», которая отрицает и исключает принципиальную избыточность (по выражению Левады, «сверхнеобходимость») образцов культуры, неотменимость, равно как и непредрешенность, личного выбора субъекта из этого многообразия. Эти полемические контексты авторской мысли, кото-

ры в науку. Сетования на размывание границ между элитарным и массовым, на разрушение образцов «высокой культуры» или подрыв «национальных устоев» – продукты не распада мира, а разложения интеллигентской идеологии. Левада сосредоточивался на другом – на *изменении механизма воздействия* образцов (МП, 320), разрушении «госкультуры», по его выражению, росте взаимной отчужденности людей и групп («пассивный индивидуализм»), нарастании общественного безразличия и цинизма в России.

6

Существенное развитие и коррективу тема преемственности и перемен, источников и механизмов изменения, форм институционализации ценностей и идей развития получила во второй половине 1980-х гг., в контексте социально-политических трансформаций, начатых в стране по инициативе М.С. Горбачева и его сподвижников. В этих общественных условиях Левада в 1988-1989 гг. обратился к понятию «социального перелома», или, как он еще его называл, «аваланша»[19]. Тем самым он не только зафиксировал первые крупномасштабные сдвиги в советском социуме («всеобщее отрицание прежнего»), но и предложил видение их как *динамической структуры* со своей логикой, составными моментами, множественными параметрами и разновременно действующими факторами, включая инициирующие стимулы различной мощности и скорости действия (проблемы лидерства и поддержки, роль «интеллигенции»[20]) и силы общественного торможения – среди таковых, в частности,

---

рые по обстоятельствам времени невозможно было тогда представить в открытом и полном виде (критика семиотики была бы немедленно апроприирована официозом), необходимо понимать и учитывать: теория – такое же социальное действие (взаимодействие).

[19] См.: Динамика социального перелома: возможности анализа (СС, 159-176).

[20] См.: *Левада Ю.А.* Проблема интеллигенции в современной России // Куда идет Россия?..: Альтернативы общественного развития. М.: Интерпракс, 1994. С. 208-214.

он выделил «бюрократию»[21].

Применительно к интеллигенции Левада не разделял иллюзий, распространенных среди образованного слоя в советские и постсоветские времена. Реальное существование интеллигенции для него закончилось в 1920-х гг., далее начался «фантомный период» (СС, 157), когда группа утратила идентичность, сохранив (или присвоив ей не принадлежащее) имя. В данном контексте Левада подчеркивал маргинальное положение диссидентства и любых других форм противостояния власти и официозу в советское время – подавляющее большинство тех, кто относил себя к интеллигенции, приняли адаптивную тактику обслуживания власти и заданных ею форм коллективного существования.

Так или иначе, в настоящее время хранение, поддержание и распространение культуры все больше становится функцией больших, анонимно действующих институциональных систем, с которыми не связывается ничего личного, героического, даже просто образцового. К тому же в постсоветских условиях эти системы, базировавшиеся на печатных текстах и нормах письменной культуры (от школ до библиотек), переживают глубочайший распад, а связывавшие себя с ними образованные слои утрачивают престиж и авторитетность: характерна ничтожная привлекательность роли учителя в качестве будущей профессии для нынешней российской молодежи и поколения ее родителей. Соответственно, наиболее остро это ощущают именно вчерашние претенденты на роль культурной элиты: их культурная монополия и обосновывавшая ее государственная поддержка радикально сократились. Преобладающая же часть населения России перешла к регулярному просмотру телевизора по 3-4 часа ежедневно (и по 4-5 часов в выходные дни). Телевидению в России доверяют больше, чем другим современным социальным институтам, в особенности – институтам, новым для российского обихода (партии, законодательная и исполни-

[21] См.: Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений (СС, 136-155).

тельная власть, профсоюзы, добровольные общественные объединения). На него, его каналы, фигуры ведущих столь же часто брюзжат, как и на все остальное, но при этом, что характерно, продолжают регулярно и подолгу смотреть на экран. Телесмотрение здесь выступает формой символической интеграции распадающегося сообщества россиян в воображаемое целое – некое «общество телезрителей»[22]. Перед нами именно тот случай, который Левада много лет назад описывал исключительно как теоретическую модель: символический посредник превращается в «границу действия», так что действие «тем самым приобретает черты специфически символического (игра, ритуал)» (СС, 70).

Отсюда исследовательской интерес Левады к среднему человеку (согласному быть «как все») и к массовой культуре, отвечающей этим его настроениям и «средним» же вкусам. Левада подчеркивал простоту образцов массовой культуры. В основном символы, транслируемые массовыми каналами коммуникации, относятся к разделению на «своих» и «чужих», «высших» и «низших». Примитивность подобных образцов и поддерживаемых с их помощью социальных размежеваний самым прямым образом определяет их устойчивость и эффективность (усвояемость). Если на протяжении 1990-х гг. такими символами были лозунги, противопоставлявшие *прошлое* и *настоящее* (власть и ее демократическое окружение против коммунистов и мобилизуемой ими пассивной массы), то к концу десятилетия и особенно в новом столетии на авансцену выдвинулись символы стабильности и единства внутри страны, а риторические фигуры противостояния стали переноситься на «враждебное окружение» России от стран Балтии до США. Соответственно, в работе огосударствленных медиа, цензурируемых как извне, так и изнутри, сегодня опять наблюдаются по-

[22] Подробнее см.: *Гудков Л., Дубин Б.* Общество телезрителей: массы и массовые коммуникации в России конца 90-х годов // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 31-45; *Дубин Б.* Масс-медиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной реальности // Вестник общественного мнения. 2006. № 3 (83). С. 33-46.

пытки придать актуальность идеям «особого пути» России и некий позитивный, ей одной ведомый смысл – все большей исключенности страны из общего мирового порядка (статья «Человек советский как человек «особенный»» – ИЧ, 312-321).

Для Юрия Левады все это определяло социологическую значимость проблематики «человека» – «обыкновенного», «среднего человека» с его лукавством и самоограничением, недовольством и ностальгией, двоемыслием и недоверчивостью, заставляло сосредоточиваться на исследовании механизмов репродукции этого человеческого типа при очевидной невоспроизводимости репрессивно-тоталитарного порядка, который сформировал данную социально-антропологическую модель, и на изучении адаптивных по своим установкам «элит», данный порядок поддерживавших. В этом, как представляется, смысл еще одного, совсем недавнего обращения Ю.А. Левады к категориям элиты и массы в развернутой и принципиальной статье, ставшей для автора последней[23].

«Новое литературное обозрение» № 87. М. 2007

[23] См. работу «Элитарные структуры в постсоветской ситуации», представляющую собой первую главу коллективной монографии: *Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю.* Проблема «элиты» в сегодняшней России. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007.

А. Здравомыслов

ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ «СОЦИОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО КРИЗИСА»*

Дорогому Юре
на память о разном,
в основном хорошем
и добром
17.01.2000 Андрей

* * *

На наш взгляд, наиболее существенный вклад в разработку вопросов социологической теории представляют собой публикации Ю.А. Левады [32]. Сейчас можно сказать, что его публикации в «Мониторинге» задают стандарт теоретического мышления российским социологам и, возможно, социологам всего постсоветского пространства (по крайней мере в рамках сайентистской артикуляции социологического знания). Анализ этих публикаций позволяет сделать вывод о том, что в данном случае теоретическая деятельность не остается совершенно свободной от политических пристрастий. Первая постперестроечная книга, вышедшая под руководством Ю.А. Левады [33], была слишком явно нацелена «против». Против «советского человека», «социалистического образа жизни» и господствовавшего ранее мировоззрения. Эта позиция не может быть охарактеризована иначе как попытка взять реванш за прошлое, расквитаться с утопизмом и догматизмом «тоталитарной системы».

* Андрей Григорьевич Здравомыслов был уже болен, когда я обратилась к нему с просьбой о воспоминаниях. Он охотно согласился и, одновременно, указал мне на свою книгу «Социология российского кризиса». Написать воспоминания он не успел. Предлагаю читателям фрагменты из его книги и дарственную надпись на ней вместо заглавия.

Ссылки нумерованы по книге А.Г. Здравомыслова.

Т. Левада

Однако опыт изучения общественного мнения, анализ ошибок в прогнозировании динамики массового политического поведения (ошибка прогноза исхода выборов в первую Государственную Думу 1993 года) привел и к серьезной коррекции исходных постулатов. Характеризуя итоги многолетней работы по проекту «Человек», Ю.А. Левада так оценил изменение собственной позиции «Тогда многим казалось, что крушение официальных институтов принуждения и идеологической обработки, присущих советской системе, высвободят человека нового по отечественным масштабам или нормального по мировым, – способного действовать в рамках демократии. Действительность оказалась более сложной, ломка старой общественной системы – длительной и более противоречивой.

В этих условиях приобрели самостоятельное значение проблемы положения человека в системе социальных институтов, возможностей квазиполитической мобилизации, различных уровней адаптации к изменившимся условиям официальности и повседневности, утверждения сферы приватности, формирования новых групповых рамок деятельности, механизмов идентификации, комплексов и фобий… Достигнутая в результате перемен… открытость по отношению к внешнему миру оказалась противоречивой и болезненной – причем в человеческой сфере не менее, чем в экономической и социальной» [34].

Результат критического осмысления новых реалий позволил перейти от генерализирующей абстракции «70-летней истории тоталитаризма» к попытке предложить несколько ключевых периодов советской эпохи, в рамках которых по-своему складывались ключевое взаимодействие массового сознания и сознания элитных группировок. Ю.А. Левада выделяет в динамическом развитии «человека советского» раннесоветский период, позднесоветский период, период перестройки и возникновение новой ситуации [35].

Дальнейшая конкретизация в понимании сложившейся ситуации связана, на наш взгляд с более основательным поворотом в том направлении, которое обозначено в наиболее серьезных публикациях Ю.А. Левады. Необходимо без предвзятости

оценить динамику советского периода. Социолог просто не имеет права игнорировать *специфику каждого из политических переворотов, означавших для миллионов людей личную и социальную драму, а подчас и трагедию*. В ходе этих переворотов политика превращается в «социальность», в новую социальную среду, в преобразование не только социальной структуры, каналов социальной мобильности и социализации, но и экзистенциальных смыслов человеческого существования (эта совокупность процессов схвачена в творчестве А. Платонова). К сожалению, «официальная пропаганда» нынешних средств массовой информации постоянно навязывает мысль о тождественности трагедии и фарса. Столь поверхностный взгляд на собственную историю не может не формировать и поверхностного взгляда на самих себя – на людей, якобы лишенных не только исторических корней в предшествующих поколениях, но и необходимых универсальных свойств личности, включая человеческое достоинство.

(Стр. 220-221)

* * *

Разумеется, вопрос об империи применительно к СССР остается весьма спорным. Ю.А. Левада заметил в одной из своих публикаций, что если это и была империя, то весьма своеобразного свойства: периферийные структуры здесь обладали значительными преимуществами в сравнении с центром. Идея социального выравнивания, положенная в основу национальной политики советского общества, имела своим эффектом более высокие темпы развития «окраин» государства по сравнению с темпами развития самого центра. В конце концов эта политическая линия и породила достаточно мощный слой региональных элит, выступивший с претензиями на самостоятельность и суверенитет в ходе горбачевской перестройки.

(Стр. 220)

* * *

Свой подход к рассмотрению кризиса предлагает Ю.А. Левада [13], взгляды которого серьезно эволюционировали со времени выпуска известной коллективной монографии «Простой советский человек». Одну из главных задач социологического анализа на современном этапе он видит в выявлении социальных типов переходного периода, которые и выступают в качестве *субъектов* кризисного развития. Эти типы, как явствует из текста статьи, не являются вечными продуктами неизменной советской (тоталитарной) системы. Прежде всего в силу того обстоятельства, что сама система не оставалась неизменной. Она неоднократно претерпевала преобразования, надо полагать, на основе тех конфликтов, которые развертывались между участниками политической и социальной жизни, в результате ожесточенной борьбы между ними. В первом приближении Ю.А. Левада выделяет *четыре этапа истории российского общества* («со времен далеко зашедшего распада и хаоса 1917-1918 годов»): *раннесоветский период, позднесоветский период, период перестройки и постперестроечный период.* В каждом из этих периодов общество оказывается структурировано по своему. Но автор не ставит перед собой задачи дать полную характеристику этих периодов. Он ограничивается выделением в каждом из них двух наиболее существенных слоев – «верхнего» и «нижнего» или сознания политической и культурной элиты и массового сознания. <…>

Перестройка характеризуется тем, что изменилась политическая и публичная сцена в стране, но изменения сцены оказалось недостаточным для того, чтобы выдвинулись новые актеры. «Правящая политическая элита, провозгласившая себя устами М. Горбачева, инициатором обновления, на деле оказалась парализованной и все более расколотой, шаг за шагом теряющей бразды правления. В конечном счете это привело к трагическому одиночеству этого лидера, что было лишний раз подтверждено во время президентских выборов 1996 года… «Прорабы перестройки», выдвинувшиеся на волне демократизации и гласности, (сводившейся к разоблачениям преступле-

ний сталинского режима), оказались трибунами, не имеющими доступа к реальной власти, то есть, к механизмам выдвижения кадров. Это привело к тому, что перестройка оказалась в значительной степени верхушечным переворотом, не получившим поддержки за пределами столиц и в массовом сознании. Трагедия ее в том, что она в принципе завершила советский период нашей истории, но не создала предпосылок для управляемых и постепенных перемен. Когда все же «процесс пошел», он приобрел характерные для всех переломных ситуаций отечественной истории черты *обвала* – лавины, похоронившей благие намерения и самих субъектов скоротечной перестройки» [13. с. 12].

В постперестроечный период, вновь оказавшийся, с точки зрения автора, «господством хаоса», выяснилось, что в результате всех преобразований в выигрыше оказались две социальные группы, интересы которых взаимно переплелись – административная верхушка и новый бизнес. Союз этих двух сил стал складываться на предыдущем этапе, когда с помощью закона о кооперации были открыты шлюзы для коммерциализации хозяйственных кадров и сращивания государственной бюрократии с приватизированным ею же самой бизнесом. Можно сказать, что именно этот союз стал доминирующей экономической и политической реальностью российской жизни 90-х годов. На фасаде же общественной жизни были провозглашены лозунги демократии и рыночных отношений. Это несовпадение декларации и реального положения дел и стало источником хаотического состояния. Эта коллизия привела к углублению кризиса, который стал, по словам Левады, *кризисом «высокого» категориального порядка* [см. 13. С. 13]. Он породил атмосферу, в которой на поверхность всюду выходят переходные, химерные, временные типажи, неспособные к длительному существованию и воспроизводству. «Это относится и к «вороватому» (как его называет Гайдар) российскому капитализму, на всех его министерских, банковских или «челночных» уровнях, так и к цинично-лицемерному политическому лидерству, которое характерно едва ли не для всех политических направлений» [13.

С. 10]. Опираясь на данные мониторинговых опросов, проводимых ВЦИОМ, Ю.А. Левада подчеркивает, что власть к 1997-1998 гг. «утратила устойчивую массовую опору, не став демократической ни по способу своих действий, ни по характеру поддержки, она стала беспомощной… В этих условиях коридоры власти заполнились чиновниками на час, циничными дельцами и авантюристами, ориентированными на собственную выгоду и карьеру. Если для советских времен… было характерно универсальное «назначение сверху», то после распада правящей иерархии карьерное продвижение в самых различных сферах стало обеспечиваться личной ловкостью… Это одно из новых и весьма важных правил игры на современном политическом поле» [13. С. 12-13]. Таково, по оценке Ю.А. Левады, положение в верхах.

Что же касается массовых слоев населения, то их сознание характеризуется тремя более или менее устойчивыми характеристиками – *«терпением», «мобилизацией» (в период выборных кампаний) и «двоемыслием».* Особенно важным представляется «потенциал двоемыслия». «В условиях тотального отчуждения человека от государственных институтов, – объясняет этот феномен Ю.А. Левада, – неизбежно возникает противопоставление критериев сделанного «для себя» и «для чужого» (чуждого, враждебного, по отношению к которому оправданы любой обман и лукавство)… Место коллективного заложничества, характерного для времен тоталитаризма («все отвечают за одного»), занимает механизм лукавого двоемыслия. Наиболее явное проявление этого сейчас – повсеместное и даже ставшее неизбежным укрывательство доходов и уклонение от уплаты налогов. Подобный механизм на время может служить средством защиты человека или фирмы от «всевидящего глаза» власти, прикрытием негласной сделки между ними. В перспективе же – средством разложения всех участников сделки» [13. С. 13].

Достаточно трезвый анализ ситуации высокого категориального кризиса Ю.А. Левада завершает следующим выводом. *«Из действующих в настоящее время на российской общественной сцене социальных типов нет ни одного, который бы об-*

ладал устойчивостью и мог бы жить перспективными интересами. Безоговорочно доминируют краткосрочные ориентации – выжить, сохранить статус, получить немедленный выигрыш и др. Поэтому нет и стабильных, институционализированных социально-антропологических типов» [13. С. 15].

Подводя итоги излагаемой позиции, следует сформулировать несколько вопросов. Во-первых, анализ взаимодействия социально-политической ситуации и социально-культурных типов, выдвигаемых данной ситуацией, представляет более основательные перспективы анализа вхождения в кризис в сравнении с категорией тотального отчуждения и даже с выявлением социальных механизмов экономики. Однако очевидно и то, что взаимодействие ситуации и социальных типов образует своего рода порочный круг, ибо выдвигаемые социальные типажи воспроизводят вновь ситуацию, их породившую. Было бы очень важно проанализировать в принципе, как же осуществляется прорыв порочного круга: «социально-политическая ситуация» и «выдвижение (отбор) социально-культурных типов» на политическую арену!

Возможно следует более детально проанализировать параметры устойчивости этой связи, выдвинув допущение, что сам механизм отбора соответствующих социальных типов может в один прекрасный момент сломаться. В этом случае аудитория, наблюдающая сцену, сама превратится в действующего актера. Во всяком случае, именно это и произошло в 1917 г. Конечно, с точки зрения «правильного» распределения ролей в этом случае наступает «хаос», но c`est la vie! Реальная жизнь не умещается в театральную метафору.

Можно предположить и иные варианты прорыва порочного круга: кто-то из действующих лиц начинает играть «не по правилам». Возможно, что это случай М. Горбачева, судьба которого драматична, как и вся перестройка, но вряд ли его положение может быть охарактеризовано в качестве позы «трагического одиночества». Впервые в российской истории человек покинул высшие властные позиции не на смертном одре и не в изоляции (как Н. Хрущев), а получил возможность заниматься

определенными видами общественной деятельности, путешествовать по свету, писать книги, руководить фондом своего имени! Может быть, это образец для последующих крупных политиков? Проблема Горбачева состояла в том, что он не смог вынести фактического раскола в партии и не институционализировал своевременно этот раскол. Кроме того, он не смог учесть, что ко времени обострения конфликта между российскими и центральными властями массовое сознание в значительной степени иррационализировалось. Интуиция главного противника М. Горбачева в борьбе за власть – Б. Ельцина – позволила ему уловить основное направление иррационализации и опереться на поддержку массовых умонастроений. Горбачев же оставался рациональным политиком в то время, когда на политическую арену уже вышли иррациональные силы в виде оборотней, ряженых и скоморохов.

Что касается трех черт массового сознания – терпения, мобилизационности и двоемыслия, то, как известно, терпение многими авторами возводится в черту русского национального характера. В социологическом плане признание в терпении тесно связано с использованием возможностей приусадебного участка и сильно выраженной тенденцией к деиндустрализации народного хозяйства. Что касается двоемыслия, то и оно никогда не было чуждо даже русскому крестьянину, который должен был учитывать переменчивость погодных условий в ходе всего цикла сельскохозяйственных работ. В современной социологической литературе получила признание идея амбивалентности как нормы социальных отношений, которая проистекает из конфликтного характера значительного числа социальных позиций и ролей. Что касается возможностей возврата к мобилизационному обществу, то выборы 1996 г., возможно, были последним всплеском в этом направлении. Эти выборы «раскручивали» молодые политики, сумевшие хорошо учесть конъюнктуру и использовать финансовые ресурсы в нужных направлениях. Можно сделать предположение, что следующие выборы – 1999 и 2000 гг. – пройдут не без напряжения, но, скорее всего, рациональная мотивация участия в выборах со сто-

роны электората будет обозначена более четко. Скорее всего, к этому времени более отчетливо определится и тип политического и хозяйственного лидера, связанный не с личной пронырливостью и ловкостью, а с умением накапливать доверие к себе и к институтам власти. *Наиболее сложной задачей политика постельцинской эпохи станет умение мобилизовать культурный ресурс общества.* Политики этого типа получили возможность действовать на политической арене после августовского (1998 г.) финансового кризиса.

Последнее мое замечание касается проблемы отчуждения, без которой наше поколение, кажется, не может обойтись при анализе экономического, политического, словом, системного кризиса. Фатально ли тоталитарное отчуждение человека от государственных институтов в российском обществе? Если это так, то преодоление «системного», «тотального», «высокого категориального кризиса» имеет в России очень небольшие перспективы. Конечно, инициатива сближения власти и общества остается на стороне государства, но и массовое сознание как бы должно быть более подготовлено к восприятию той истины, что без усилий государства, поддержанных населением, народам, ни одно общество не преодолевало еще кризисное состояние.

(Стр. 21-25)

* * *

Второй этап освоения парсонсианства был связан с подготовкой и редактированием книги о структурно-функциональном анализе. Эта работа делалась в ИКСИ АН, где я работал в качестве старшего научного сотрудника в секторе методологии, которым руководил Ю.А. Левада. Я редактировал весь перевод с английского на русский, переписывал этот перевод, делал его более адекватным и профессиональным. Бюллетень этот сейчас представляет библиографическую редкость. В него вошли 6 статей, в том числе три статьи Парсонса: «Современное состояние и перспективы систематической теории в социо-

логии» (1945), «Система координат действия и общая теория систем действия» из книги «Социальная система» (1956) и «Новые тенденции в структурно-функциональной теории» (1964). Кроме того, в сборник вошла известная статья Р. Мертона «Явные и латентные функции» (в переводе Ю.А. Асеева). Эти четыре работы и составили первую книжку сборника.

Во вторую книжку вошли как представители структурно-функционального направления – Ч. и З. Лумисы, К. Дэвис и У. Мур, А. Гоулднер, Дж. Хоманс, так и критики этого направления – Я. Уайтекер, П. ван ден Берге, А. Франк, Д. Мартиндейл, Дж. Рекс, Э. Нагель, Р. Миллс. К этому изданию мною было написано небольшое Предисловие, имеющее в виду подготовить идеологически ангажированного читателя к восприятию текстов, включенных в сборник

Просматривая сборник сейчас, я лишь удивляюсь той огромной работе, которая была проделана в секторе Ю.А. Левады, и еще раз высказываю убеждение в том, что переиздание этого сборника лучших теоретических работ конца 60-х годов было бы весьма полезно для развития социологии в России.

(Стр. 261-262)

* * *

Вопрос: Как вы думаете, какие школы сложились в советской социологии и можно ли говорить о школах?

Здравомыслов: Видите ли, мне кажется, что в полном смысле школ у нас, к сожалению не сформировалось. Дело в том, что кризис социологии в начале 70-х годов, когда происходила чистка Института социологии Академии наук, разрушила возможности формирования школ. На мой взгляд, это была спланированная акция, предпринятая партийными инстанциями. Интуитивно они верно поняли политическую опасность. Все это произошло потому, что партийная номенклатура осознала, что в социологию пришли очень неглупые люди с большим интеллектуальным потенциалом, и если дать им возможность со-

вместного действия и совместной организации, то это скоро приведет к непредсказуемым последствиям. Тем более что 1968-й год в Чехословакии показал такую перспективу. Поэтому всех тех, кто в социологии уже заявил о себе к этому времени, под разными предлогами дезавуировали и изменили их статус. Наиболее известным был скандал с Левадой Ю.А., который, кстати говоря, до того был секретарем партийной организации Института социологии Академии наук. Он прочел и опубликовал «Лекции по социологии» в Московском университете на факультете журналистики. Эти лекции были выдержаны в традициях структурного функционализма, и Академия общественных наук по заданию отдела науки ЦК КПСС выступила с их критикой. При этом критика носила в основном кулуарный характер, в том смысле, что широкой огласке она не предавалась. Было собрано расширенное заседание кафедры философии Академии Общественных наук при ЦК КПСС. Допуск был по особому списку. Меня, например, на это заседание не пригласили. Ю.А. Леваду осудили, но не посадили, как вы знаете. Один высокопоставленный партийный чиновник сказал мне: «мы же его не посадили!». Это значит, что такой вариант тоже обсуждался. Но его просто отстранили от позиции и сделали старшим научным сотрудником в ЦЭМИ АН. Таким же образом группа Лапина была переведена в другой институт; Шубкин уволен из Института социологии АН; Ядов и Фирсов были уволены или вынуждены были уйти из социологических отделов здесь, в Ленинграде. В этом процессе особенно активную роль играл директор Института социологии М.Н. Руткевич.

А меня вот «произвели» в ст. н. сотрудники КИЛ без всякого особого скандала. Но я не мог преподавать, потому что совместительство запрещалось в моем статусе, не мог нигде проявлять себя как лидер направления, хотя у меня было достаточно идей для того, чтобы поставить кафедру, школу, направление, иметь аспирантов и т.д.

Эти возможности – преподавать, иметь учеников, развивать школу – были предоставлены уже «семидесятникам», т.е. более

позднему поколению, которое было гораздо лояльнее по отношению к власти. Однако, на мой взгляд, за редким исключением, такого багажа идей у них, увы, не было. Несмотря на это или благодаря этому они были поддержаны.

(Стр. 319-320)

Литература

[32] Левада Ю.А. Новый русский национализм. Амбиции, фобии, комплексы. // Мониторинг, 1994, № 1; Он же Комплексы общественного мнения // Там же. 1996, № 6, 1997, № 1; Он же. социальные типы переходного периода попытка характеристики // Там же. 1997, № 2.

[33] Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х гг. // Под ред. Ю.А. Левады. М.: Мировой океан, 1993.

[34] Ю.А. Левада Наши десять лет // Мониторинг, 1997, № 6, С. 14.

[35], [13] Социальные типы переходного периода // Мониторинг, 1997, № 2.

Ю. Левада

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ У ГОРИЗОНТА СТОЛЕТИЙ

Смена века: событие или дата?

Горизонт, как известно – понятие сугубо условное и субъективное, в каждый данный момент он определяется позицией наблюдателя, его положением над уровнем моря; видимое до этой границы зависит от наличных средств и опыта наблюдения. Это относится к горизонту времени, особенно в том случае, когда перед нами, как сейчас, самый крупный из доступных простому глазу, вековой рубеж. (Два-три поколения, которые вписываются в столетие, могут быть предметом живой памяти, тогда как одновременно отмечаемый рубеж миллениума – всего лишь предмет хронологических спекуляций.) Несомненно реальна мера человеческого или социального действия, смены поколений, политических эпох или пиков популярности; каждый такой отрезок времени – измеряется годами или месяцами – обладает собственным ритмом и структурой, у них «свой век». Век как столетие кажется совершенно искусственной, навязанной извне мерой, которая никакого отношения к реальным процессам не имеет. Но в любых реально происходящих социальных процессах принимают участие внимание, воображение и воля людей. Одна из их функций – задавать структуру времени, не только занятого конкретными делами и планами, но и «пустого». В «вековом» случае структурообразующими служат воображение, ожидание и проч. – не столько практического, сколько идеологического (социально-мифологического) порядка. В человеческом (социальном, массовом) восприятии именно события мифологизированные, именуемые «историческими» – победы, катастрофы, прорывы, интриги, разочарования, жертвы и проч. придают некий смысл потоку событий.

Смена века представляется сменой такой рамки – или даже самого типа рамки. Притом по-разному заметной. Грань XVIII–XIX вв. определили, а отчасти и смазали, революционные пе-

революции во Франции и менее заметный в Северной Америке, наполеоновские войны и сама фигура парвеню-завоевателя. Переход от XIX в. к XX в. в Европе ожидался в атмосфере напряженности и некоторой фантастичности: за порогом «века прогресса», каким он (XIX в.) казался, видели одновременно и катастрофу традиционных ценностей (нравственности, красоты, религии, социального порядка), и осуществление утопий, социальных и технических.

Конец XX в., самого катастрофического века на людской памяти, обозначат, должно быть позже – то ли падением коммунистической системы, то ли объединением Европы. Но смена веков не кажется катастрофой (может быть, потому что все катастрофы уже произошли?), скорее она воспринимается как карнавально-фестивальное событие.

Впервые к определению смены веков допущено общественное мнение. Но прежде всего не как «эксперт», а как участник, действующее начало процесса.

В экспертном же качестве, т.е. в роли «понимающей стороны», интерпретатора, ценителя событий векового масштаба, общественное мнение весьма ограничено в своих возможностях. Оно неизбежно оказывается близоруким, поскольку, как правило, принимает злобу последних лет или месяцев за событие века, шаблонно, поскольку оперирует заданным набором стереотипов, пристрастно, так как находится под влиянием текущих настроений, и т.д. Но именно эти характеристики общественного мнения представляют важный предмет исследовательского интереса.

XX век – первый массовый

Очевидно, что уже по масштабам массового участия в социально-значимых акциях и процессах уходящее столетие не сравнимо ни с каким из предшествующих – тотальные войны, многомиллионные армии, всеобщие мобилизации, жертвы войн и геноцида, технические и социально-организационные средства массового уничтожения, массовое стандартизованное производство, ориентированное на массовое потребление, всеобщая

грамотность («бумажная», потом и «электронная»), всеохватывающие СМИ, всеобщие выборы и референдумы, всеобщая вакцинация, массовая культура и т.д. Дело не просто в количественных параметрах таких процессов. Более существенно то, что в каждом из них люди оказываются предельно обезличенной, как бы гомогенизированной массой пассивных участников, зрителей и жертв (эти позиции нередко сочетаются). Социальная иерархия, профессиональные и т.п. рамки не устраняются, соответствующие разделения даже становятся глубже, но они могут действовать только через массовые процессы, как необходимое дополнение к ним. А также как условие воздействия (влияния и манипулирования) на такие процессы.

Накануне и в начале XX века широкое распространение имели настроения панического испуга перед «восстанием масс» (Х. Ортега-и-Гассет), пришествием «грядущего Хама» (Д. Мережковский), а с другой стороны – надежды на «трудящиеся массы», на тех, которым «нечего терять, кроме своих цепей». В социально-психологической литературе массы иногда уподобляются толпе, описанной в XIX в. Г. Ле Боном или Г. Тардом. Сейчас можно сказать, что ни такие опасения, ни такие надежды не оправдались. В исключительных, предельных ситуациях массы могут выступать как толпа, управляемая лишь собственными групповыми эмоциями (где-нибудь в Уганде, на палестино-израильской границе). Однако практически все массовые процессы, характерные для XX в., оказались управляемыми – и через социальные организации, и через специфические средства массового воздействия (массовая пропаганда и реклама с помощью масс-медиа). При ближайшем рассмотрении и действия современных «толп» находятся в зависимости от идеологических и психологических установок систем массового воздействия.

Специфическая особенность управления массовыми процессами в том, что их объектом служит не отдельный человек, а статистическая совокупность. Нельзя повлиять на политическое или потребительское поведение отдельного человека (как нельзя и предсказать его), но можно с достаточно большой эф-

фективностью воздействовать на поведение многих тысяч и миллионов людей (равно как и изучать и предсказывать его с помощью выборочных опросов и проч.).

Средоточием управления массовыми процессами выступили государства, их промышленные, военные, политические организации и проч. В XX в. во всем мире происходило не «отмирание», а всестороннее укрепление государственных организаций с их специфическими институтами, бюрократией и т.д. Причем консолидация наций в государстве и выяснение отношений (границ и сфер влияния) определили содержание всех основных политических процессов столетия – войн, соглашений, процессов деколонизации, формирования надгосударственных и межгосударственных институтов и проч. Иллюзорными оказались представления о «борьбе классов» как главной движущей силе истории (равно как и лозунги наподобие «уничтожения эксплуататорских классов и классов вообще»). Классы как социально-профессиональные группы не исчезли, но отношения между ними развивались в национально-государственных рамках и преимущественно в относительно мирных формах.

Если XVII в. считался «веком разума», XVIII в. – веком Просвещения, а XIX в. – веком Прогресса, то XX в. был по преимуществу «веком наций» (причем этот последний символ явно лишен позитивно-ценностной окраски). Две мировых войны и все процессы национального самоутверждения на периферии Европы и в постколониальном мире проходили под этим знаком. В XIX в. катаклизмы кровавых войн, переворотов, восстаний, колониальных экспедиций и проч. могли «списываться» (задним числом) как условия или теневые стороны всепобеждающего «прогресса», в XX в. таких универсальных оправданий не существовало. Эксцессы социальных утопий (которые были сочинены под знаменами того же прогресса в XIX в., но реализовать их пытались в XX в.) могут иметь свои объяснения, но не оправдания.

В XX в. потерпели крушение все грандиозные социальные конструкции, предполагавшие некий план рациональной, оп-

тимальной, справедливой и т.п. – как казалось его разработчикам – организации, который должен быть навязан обществу. Это относится не только к двум экстремальным (по способам осуществления) проектам – коммунистическому и фашистскому, но и целому ряду промежуточных или переходных форм, характерных для «третьемирского» развития. Соответственно исчерпала себя и утратила смысл характерная для утопических идеологий мифологизация социальных процессов и конфликтов. Остаются конфликты крупных или мелких сил, интересов, амбиций и проч., но попытка представить их в мифологическом обличье («мировое добро» против «мирового зла» ил что-нибудь в этом роде) бесперспективна.

Играя парадоксами, О. Уайльд утверждал более ста лет назад, что существуют только две трагедии – первая, когда человеческие желание не исполняются, а вторая, когда они исполняются, и только вторая трагедия – настоящая. XX в. показал, каким кошмаром оказывается осуществление «снов золотых», навеянных человечеству столетием ранее. В данном случае важно отметить наличие массовой «компоненты» во всех процессах, событиях, катаклизмах уходящего столетия.

Догмой государственной жизни XX в. во всех странах (за малым исключением) стало то всеобщее-равное-тайное избирательное право, которого долго опасались как либеральные политики, так и радикальные революционеры, называвшие себя «пролетарскими»: и те и другие считали, что голос темных, неискушенных в политике и поддающихся давлению масс исказит расклад общественных сил и помешает осуществлению рациональных программ. Сейчас это право повсеместно служит основой выборов, плебисцитов, референдумов – как демократических, так и манипулируемых. Всеобщие голосования перестали быть опасными с тех пор, как ими научились манипулировать. В отечественной истории первые всеобщие и альтернативные выборы (в Учредительное собрание 1917 г.) оказались опасными для власти, следующие, уже безальтернативные (в Верховный совет СССР в 1937 г.) – средством ее демонстративной массовой поддержки.

Всеобщие альтернативные выборы – особенно если они происходят на дуалистической основе – придают государственно-политическое значение соотношению большинства и меньшинства. А точнее – тем нескольким процентам колеблющихся избирателей, от которых зависит баланс голосов или мнений. Коллизии вокруг этой «решающей середины» разворачивались в последнее время – в разных условиях – на выборах в Югославии, в США. Это показывает, что сам механизм массового выбора далеко не безупречен.

Диктаторские режимы в XX в. – это режимы насилия над массами с помощью организованных масс (массовых партий, движений, систем массовой поддержки). А сами диктаторы выступают как лидеры, вознесенные и возлюбленные массами, – одновременно помыкающие ими и нуждающиеся в их поддержке. Подобных функций лидеры XIX в. (наполеоны и наполеончики) не знали.

Массовый век существенно изменил способы деятельности политических и других социальных элит. Появилась публичная элита (масскоммуникативная). В XIX в. определились роли парламентских и правительственных лидеров, в XX в. – массовых политических кумиров, представленных через СМИ, особенно через ТВ (теледебаты, интервью, а также «нечаянное» попадание в кадр как важнейшее средство утверждения политического деятеля массового типа). Отсюда и страх перед «экранной» критикой, столь явно присутствующий в российской политической жизни 2000 г.

Характерный для XX в. образец масс был задан прежде всего новым типом войн – двумя мировыми войнами и их дополнениями (к числе последних относятся, несомненно, гражданские войны в России и в Китае). Это тип «тотальной» войны, охватывающей своим воздействием, в принципе, все население и все сферы жизни общества. Собственно военная всеобщая мобилизация дополнялась экономической, политической, идеологической – выражаемой, в частности, в мобилизации общественного мнения.

Другой узел массовых процессов, характерный для уходя-

щего века – массовое производство с его обновляющимися технологиями. Созданная им (в развитых странах) возможность реально решать проблемы нищеты и голода не путем «дележа», а путем умножения социальных благ нанесла решающий удар эгалитаристским устремлениям и смогла превратить социалистические иллюзии в реальность социальных программ и гарантий. В XX в. впервые в производственную и – шире, «внедомашнюю» – деятельность включилось большинство женщин, что изменило функции семьи, брака, воспитания детей.

Необходимое дополнение и, одновременно, предпосылка массового производства – система массового потребления, ставшая реальностью в этом столетии. Она означает не только возможность всеобщего удовлетворения определенного уровня запросов в отношении питания, одежды, жилища, транспорта и проч., но и возможность потребительского выбора.

И, наконец, итоговый, наиболее очевидный и быстро развивающийся феномен массового века – системы массовой информации, увенчанные Интернетом, позволяющие связать воедино всю планету и оказывать сильнейшее воздействие на поведение человека.

Вероятно, оправдано считать XX в. самым противоречивым; все новые его феномены неоднозначны по своему воздействию. Век, сформировавший предпосылки для всеобщего благополучия, в то же время создал средства всеобщего уничтожения, – притом, не только технические, но социальные. Все гуманитарные идеи и начинания, вместе взятые, уступают по силе воздействия тому заряду взаимного отчуждения, страха и ненависти, который был накоплен конфликтами этого столетия.

Давление «середины»

Выделим лишь два наиболее характерных узла коллизий, порожденных появлением масс и массовых процессов на авансцене общественной жизни. Один из них связан с давлением «средних» массовых критериев на различные формы политической, социальной, культурной и проч. деятельности, которое

создает угрозу подмены «серьезной» политики – примитивным популизмом, «высокого» искусства – массовым и т.д. Второй – с конфликтами так называемой (неудачно называемой) «запаздывающей» модернизации. Обе угрозы достаточно серьезны.

Конечно, массовая аудитория политики или культуры неизбежно питает «свой», доступный ей (и потому воздействующий на нее) уровень политических акций или обещаний, попкультуры, поп-литературы и т.д. Сам по себе этот уровень ниже, примитивнее по сравнению с аналогичными формами, адресованными элитарным или сословным группам специфически (т.е. в данной области) грамотных людей. В массовом веке неизбежно появляются деятели, которые действуют на примитивно-массовом уровне, связывают с ним свой успех, карьеру. Вопрос в том, насколько самодостаточными являются «массовые» формы, насколько они могут влиять на «высшие», профессиональные уровни (а отнюдь не на искусственно конструированный «средний балл»). В «нормальных» условиях массовые формы деятельности занимают свои ниши, но никак не воздействуют на высшие, профессиональные уровни.

Возьмем, для пояснения, сопоставление «высокой» и популярной науки. Понятно, что школьная, газетная, телевизионная грамотность приводят к небывалому распространению именно упрощенных, вульгаризованных представлений о различных научных феноменах. Воображаемый «средний бал» научных знаний оказывается существенно ниже, чем в те времена, когда монополией на знание обладали специалисты высокого класса, – но такое сравнение никакого смысла не имеет. «Высокая», профессиональная наука не страдает от популярной, потому что имеет свою институциональную базу, кадры, традиции, технологические связи и т.д. Распространить подобную модель на культуру, на политику нельзя. Массовая культура, как и массовая политика – это не упрощенный вариант соответствующих «больших» феноменов. Массовая литература – не школьный пересказ Л. Толстого, а особый социокультурный институт со своей аудиторией, своими «творцами», своей системой критериев и т.д. И аналогичным образом, массовая поли-

тика в XX в. – это не популярно-пропагандистское изложение правительственных решений и дипломатических уверток, а особая система социальных ролей, установок, способов участия и проч., рассчитанных на формирование и использование определенных массовых интересов, оценок, страстей. Всего этого просто не существовало столетием ранее.

Социальные, национальные, национально-религиозные, индепендентские, синдикалистские, сектантские, мессианистские, феминистские, экологические и т.п. движения со своими лидерами, доктринами, фанатичными и скептическими последователями – специфический феномен массового века. Одна из новых ролей в этом круговороте – массовый политик, ориентированный не на сложившуюся институциональную систему, а на внимание массовой аудитории (активных и «зрительских» участников соответствующего действия). Другая роль – это собственно роль массового участника, зрителя, слушателя. Дополняют систему разнообразные посредники, медиаторы, интерпретаторы, в том числе масскоммуникативные.

Системы массовой коммуникации создают собственную аудиторию и возможности манипулирования ею. Но в разных общественных условиях эта аудитория имеет свои особенности. Различны также возможности и само содержание тех приёмов, которые принято именовать манипулированием. Ведь любое воздействие на массовое сознание и поведение (если оставить в стороне пугающие фантазии на психотропные темы) происходит только через собственные структуры такого сознания, т.е. через установки, ориентации, механизмы социальной мобилизации и проч.

Советский опыт массовой мобилизации

Советская система выработала устойчивые образцы массовой организации, массовой мобилизации, массового пропагандистского воздействия в интересах жестко диктаторского режима. В этом плане советское общество послужило своего рода экспериментальной лабораторией, результаты деятельности которой получили широкое распространение – от нацистского

рейха до третьемирских «освободительных» диктатур, не говоря уже о структурно-близких режимах «соцлагеря». Отметим некоторые черты этого образца.

Массовые организации (от партийной до, скажем, писательской) как средство управления массами.

Система массового информационного давления через монопольные СМИ (газеты-радио-кино плюс литература, музыка, театр «направленного» действия).

Регулярные пароксизмы массовой ненависти и принудительного массового энтузиазма. Поддержание мобилизационной ситуации требовало постоянного напряжения «борьбы» против внутренних и внешних врагов. Кроме борьбы «всенародной» с главными (назначенными главными) противниками режима, в каждой области, в каждой сфере деятельности, в каждой научной дисциплине назначались «свои» уклонисты, извратители и т.п., разоблачение, осуждение, изгнание которых служило средством проверки кадров на «преданность» линии руководства.

Создание культа «образцовых героев» в разных сферах – при полнейшем пренебрежении к реальным людям (в польском варианте эта черта представлена в «Человеке из мрамора» А. Вайды).

Непременный образ абсолютно непогрешимого руководящего центра («великого вождя», «мудрости партии», «всепобеждающего учения»).

Никакого массового участия в управлении государством не существовало. Была отработанная – и принятая обществом – маска массовости, народности, позволявшая правящей верхушке говорить от имени «интересов народа». И – что особо важно – массы, воспитанные в обстановке абсолютной безальтернативности, с готовностью принимали эту мифологию и были готовы демонстрировать преданность вождю и партии, когда от них это требовали – во время ритуальных выборов, торжественных демонстраций и всенародного проклятия «врагов народа» или «поджигателей войны».

Неточно было бы характеризовать режим советского типа

как популистский. Демонстративное обращение к «народу», постоянные ссылки на действия «от имени народа», регулярное натравливание полуграмотных низов на «премудрых и заумных» («антинародное» творчество и т.п.) не составляют популизма, во всяком случае, в его западном, латиноамериканском и проч. виде. Популистские политики зависят от массовой поддержки, от массовых настроений, гонятся за ней, опасаются ее потерять. Советское руководство никогда от массовых настроений не зависело, а механизм всеобщего голосования решилось использовать лишь тогда, когда было уверено во всеобщем единогласии (или безгласии).

Советская система – когда она стабилизировалась, после гражданской войны – не испытывала никакого страха перед массовым недовольством. Искусственно создаваемая атмосфера страха перед «врагами» нужна была как средство насаждения массового доносительства и страха оказаться жертвой карательных «органов».

В этом режиме не было «диктатуры большинства» над меньшинством (которая провозглашалась декларациями революционного периода), поскольку не допускалось существования какого бы то ни было меньшинства. Была ничем не ограниченная власть правящей иерархии над «всеми» - распыленными и беспомощными единицами.

Советское общество – одна из химер модернизации XX в. Оно испытывало все рычаги массового принуждения, не пройдя периода, который У. Ростоу назвал «массовым потреблением».

Правда, зона направленного влияния советской системы на массовое сознание (поддержание соответствующих стереотипов поддержки, страха, ненависти и т.п.) ограничивалась преимущественно активной, организованной частью городского населения. Далее начиналась зона простого принуждения (налоги, хлебосдача), подкрепленная карательными мерами.

«Массовый разум» и «массовый человек»

В судьбах и трагедиях XX в. общественное мнение занимает значительное место – не просто как зеркало, но как организатор, как фактор сплочения человеческих множеств, формирования иллюзий, увлечений, кумиров, оправдания (реже – осуждения) массовых преступлений.

Можно полагать, что в понимании событий этого века свое место когда-нибудь займет и критика массового разума («критика» в том смысле, который ей придавался в классический период – как анализ возможностей, пределов, условий существования).

Специфический персонаж, главный герой XX в. – массовый человек. джинн, выпущенный из бутылки в XX столетии, оказался не героем, не великаном, не борцом, а «средним», «массовым» человеком, который оказал значительное, формообразующее влияние на все процессы и перемены, от производства до войн, от системы ценностей и социальной мифологии до спорта и досуга. Именно этот персонаж является характерным предметом изучения в репрезентативных опросах общественного мнения.

Он – массовый производитель и массовый потребитель все большего количества и разнообразия благ. Он умеет работать и понимает необходимость работы, но больше ценит досуг, семью, малые бытовые радости жизни. Он не герой и – в обычных условиях – не поклонник героев. Он гордится тем, что он обычный, простой человек. он не верит в пользу утопий и переворотов, но надеется на постепенное улучшение жизни собственной и своих детей. Он пошловат, приземлен, узко практичен в своих интересах; его прототип в годы «героических» страданий клеймили как обывателя, мещанина и т.п. Именно он (а не воинственные «контрас» или поэтизированные «белые стаи») является главным и эффективным противником бунтов и революций XX в. Он технически грамотен, освоил бытовую технику, автомобиль, в ближайшие годы 100-процентно освоит компьютер с Интернетом, верит в научно-технический и медицинский прогресс. Но не ждет от него чудес, меняющих пред-

ставления о жизни и счастье. Он практически космополит, способный жить, учиться, работать, отдыхать в любой точке земного шара; что, впрочем, не мешает ему испытывать определенную привязанность к отечеству. Обычно он не любит деспотов и деспотизма, но в экстраординарных ситуациях может создавать их и становиться их жертвой. Он в известном смысле задает тон, служит образцом для подражания со стороны других.

Но он не составляет большинства в мире, вызывает ненависть обделенных (или считающих себя таковыми, в том числе и обделенных чувством собственной значимости). Нет нужды обращаться к глобальной географии, чтобы рассмотреть реальную пестроту маргинальных человеческих типов, пытающихся бросить вызов массовому человеку. Весь этот набор можно встретить в нынешнем, глубоко маргинальном российском обществе.

Рамки массовых ожиданий

Как и следовало ожидать, распространенные представления о наступающем столетии оказываются довольно примитивными. В них обычно используется один из двух приемов: либо допускается, что «там», за воображаемой гранью веков, примерно то же, что и здесь (продолжение известного), либо предполагается, что «там» все иначе (отрицание известных порядков, реализация «запредельных» надежд, всеобъемлющая катастрофа или что-то в этом роде). Сейчас явно преобладают ожидания первого, «актуалистического» типа. Ждут дальнейших улучшений там, где они наметились, верят в технику и медицину (между прочим, довольно оптимистически смотрят на генную инженерию, вопреки преобладающему тону СМИ), но не в утопии и перевороты.

Какие проблемы, на Ваш взгляд, наиболее остро будут стоять в XXI в. (в % от числа опрошенных, в мире и в России)

	В мире	В России
Загрязнение окружающей среды	55	37
Распространение СПИДа и других смертоносных эпидемий	36	34
Распространение наркомании	23	33
Исчерпание природных ресурсов	25	22
Международный терроризм	17	16
Природные катастрофы и климатические катаклизмы	22	11
Падение уровня рождаемости	15	29
Нищета и голод в отдельных странах	14	15
Глобальный экономический кризис	8	11
Локальные вооруженные конфликты	8	14
Угроза новых мировых войн	16	8
Опасные изменения в генетике человека	10	4
Перенаселение	6	1
Угроза войны с космическими пришельцами	1	1

Стоит обратить внимание на явное разделение преимущественно «наших» и преимущественно «общих» (точнее, «чужих») проблем. Наркомания, падение рождаемости, экономический кризис, локальные конфликты – то, что беспокоит прежде всего нас; причины не требуют пояснения («глобальный экономический кризис» для нас – это август 1998-го). Загрязнение среды, природные катастрофы, мировые войны, опасность генетических изменений, перенаселение – это скорее «их» проблемы. Общими (одинаково важными) остаются СПИД, терроризм, нищета и голод. Довлеет дневи злоба его…

«Неприкосновенный запас» №1 (15). 2001

АВТОРЫ КНИГИ

Алексеев Андрей Николаевич – к. филос. н., ведущий н. с. Социологического института РАН

Вишневский Анатолий Григорьевич – д.э.н., академик РА естественных наук, руководитель Центра демогр. и эколог. человека Института нар. хоз. прогнозирования РАН

Габович Михаил – Принстонский университет

Головаха Евгений Иванович – д. филос. н., проф., зав. отделом истории, теории и методологии социологии НАН Украины

Гофман Александр Бенционович – д. соц. н., проф., зав. сектором социологии культуры Института социологии РАН

Гудков Лев Дмитриевич – д. филос. н., директор Левада-Центра

Добрынина Екатерина – журналист

Долгий Владимир Викулович – историк, независимый исследователь

Докторов Борис Зусманович – д. филос. н., проф., независимый исследователь

Дубин Борис Владимирович – зав. сектором социально-политических исследований Левада-Центра

Заславская Татьяна Ивановна – д.э.н., проф., академик РАН, со-президент Интерцентра

Здравомыслов Андрей Григорьевич – д. филос. н., проф.

Ковалёв Александр Дмитриевич – сотрудник и аспирант сектора Ю.А. Левады в 1967-1972 гг.

Колбановский Варлен Викторович – к. философ. н., ведущий н.с. Института социологии РАН

Кон Игорь Семёнович – д. филос. н., проф., академик РАО, главный н.с. Института этнологии и антропологии РАН

Кузьминов Ярослав Иванович – д.э.н., проф., ректор ГУ Высшей школы экономики

Лапин Николай Иванович – д. филос. н., проф., чл. корреспондент РАН, зав. отд. и руководитель Центра Института философии РАН

Левада Тамара Васильевна – жена Ю.А. Левады

Левинсон Алексей Георгиевич – к. искусствоведения, зав. отд. социокультурных исследований Левада-Центра

Макаров Сергей Владимирович – сотрудник и референт по распространению журнала Левада-Центра в 1993-2008 г.

Назимова Алла Константиновна – к.э.н., доцент

Олейник Антон Николаевич – к.э.н., доцент ГУ Высшей школы экономики

Осипов Геннадий Васильевич – директор Института социально-политических исследований РАН, президент РАСН, академик РАН

Ослон Александр Анатольевич – к. техн. н., Президент ФОМ

Павлов Алексей Терентьевич – д. филос. н., проф. МГУ

Петренко Елена Серафимовна – к. филос. н., директор по исследованиям ФОМ

Прусс Ирина Владимировна – журналист, член редколлегии журнала «Знание – сила»

Ракитов Анатолий Ильич – д. филос. н., проф. ИНИОН РАН

Русинов Владимир Юрьевич – сын Ю.А. Левады

Сапов Григорий – н.с. ЦЭМИ РАН

Седов Леонид Александрович – к. ист. н., независимый исследователь

Стороженко Вячеслав Петрович – гл. н. с. ЦЭМИ РАН

Фирсов Борис Максимович – д. филос. н., гл. н. с. Европейского Университета в Санкт-Петербурге

Чертихин Владимир Елисеевич – д. филос. н., проф.

Шалин Дмитрий Николаевич – д. филос. н., проф. кафедры социологии Университета Невады (Лас-Вегас), директор Центра демократической культуры

Шанин Теодор – проф., директор Московской Высшей школы социальных и экономических наук, Президент Интерцентра

Шейнис Виктор Леонидович – д.э.н., проф., гл.н.с. ИМЭМО РАН

Шляпентох Владимир Эммануилович – проф. департамента социологии Мичиганского Университета США

Шохин Александр Николаевич – д.э.н., проф., председатель Российского Союза промышленников и предпринимателей

Ядов Владимир Александрович – д. филос. н., проф., руководитель Центра исследований социальной трансформации Института социологии РАН

Ярославский Леонид Владимирович – инженер

Ясин Евгений Григорьевич – д.э.н., проф., научный руководитель ГУ Высшей школы экономики

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕВАДА (1930–2006 г.)

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1952 г. окончил философский факультет МГУ и поступил там же в аспирантуру. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию «Об особенностях народной демократии в Китае». В 1955–1956 гг. работал зав. отделом редакции журнала «Наука и жизнь»; в 1956–1960 гг. – младший научный сотрудник Института китаеведения АН СССР. В 1960–1966 гг. – старший научный сотрудник, а в 1966–1968 гг. зав. сектором Института философии АН СССР (в 1966 г. защитил докторскую диссертацию «Социологические проблемы критики религии»). В начале 1960-х создал методологический семинар, объединивший ученых-гуманитариев из разных научных сфер, просуществовавший до 1990-х гг. Во второй половине 1960-х читал курс социологии на факультете журналистики МГУ, в 1969 г., после выхода печатного варианта курса «Лекций по социологии», подвергнутого резкой критике партийных идеологов, был уволен оттуда «за идеологические ошибки в лекциях». В 1968–1972 гг. – зав сектором Института конкретных социальных исследований АН СССР; в 1972–1986 гг. – старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института АН СССР, в 1986–1988 гг. – ведущий научный сотрудник Института экономики и прогнозирования НТП АН СССР. С 1988 по 1992 г. руководил отделом теоретических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 1992 г. возглавил ВЦИОМ (после попытки государственных структур в 2003 г. поставить ВЦИОМ под свой контроль все сотрудники перешли на работу в Аналитическую службу ВЦИОМ (с 2004 г. – «Левада-центр»)).

С 1994 г. – главный редактор журнала «Мониторинг общественного мнения: Социальные и экономические перемены».

С 2003 года – «Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии».

В российской печати, (помимо журнальных статей и коллективных трудов), опубликованы:

Левада Ю.А. **Социальная природа религии**. – М. Наука. 1965.

Левада Ю.А. **Лекции по социологии**. – М., 1969. – 117 с. (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 5 (20)).

Содерж.: Предмет социологии; Особенности социол. точки зрения; Общество как система; Общество и культура; Соц. структура и соц. группы; Малые группы.

Левада Ю.А. **Лекции по социологии**. – М., 1969. – Вып. II. – 181 с. – Библиогр.: с. 175-179. (Информ. бюллетень / Науч. совет АН СССР по проблемам конкр. соц. исследований. Сер.: Метод. пособия. № 6 (21)).

Содерж.: Соц. структура личности; Личность и соц. роли; Социализация личности; Ориентации личности; Соц. действия и соц. процессы; Социология и демография; Процесс урбанизации; Общество и наука; Наука и общество.

Левада Ю.А. **Статьи по социологии** / Сост. Гудков Л., Дубин Б., Левинсон А. – [М.: Фонд Макартуров], 1993. – 192 с. – Библиогр. осн. работ Ю.А. Левады: 1955 – 1993: с. 190-192.

Содерж.: Время парадоксов: Социол. размышления; Традиция; Урбанизация как социокульт. процесс (в соавт.); К проблеме изменения соц. пространства-времени процессе урбанизации (в соавт.); О построении модели репродукт. системы: (проблемы категориал. аппарата); Соц. рамки экон. действия; Проблемы экон. антропологии у К. Маркса; Культур. контекст экон. действия; Игр. структуры в системах соц. действия; Фашизм; Бюрократизм и бюрократия: необходимость уточнений; Интеллигенция; Динамика соц. перелома: возможности анализа; Совет. человек и зап. общество: проблема альтернативы.

Левада Ю.А. **От мнений к пониманию**: Социол. очерки, 1993 – 2000. – М.: Моск. школа полит. исследований, 2000. – 574 с.: табл. – (Б-ка МШПИ).

Содерж.: Векторы перемен: социокульт. координаты изменений; Обществ. мнение в год кризис. перелома; Факторы и ресурсы обществ. мнения в условиях «постмобилизацион. общества»; Факторы переменные и постоянные: сводный мониторинг 1994-1995; Пирамида обществ. мнения в электорал. «зеркале»; Социально-пространств. структура: центр и регионы; Росс. электорал. пространство; «Человек политический»: сцена и роли переход. периода; Факторы и фантомы обществ. доверия; Соц. типы переход. периода: попытка характеристики; Масс. протест: потенциал и переделы; 1988-1998: десятилетие вынужд. поворотов; Обществ. мнение на переломе эпох: ожидания, опасения, рамки (к социологии полит. перехода); Элита и «масса» в обществ. мнении: проблема соц. элиты; Комплексы обществ. мнения; Человек, толпа, масса; Еще раз к проблеме соц. элиты; «Средний человек»: фикция или реальность; Индикаторы и парадигмы культуры в обществ. мнении; Феномен власти: парадоксы и стереотипы восприятия; Показатели соц. настроений в «норме» и в кризисе; Проблема эмоционал. баланса общества; Человек советский пять лет спустя: 1989-1994; Возвращаясь к феномену «Человека советского»: проблемы методологии анализа; Человек в поисках идентичности: проблема соц. критериев; Человек советский десять лет спустя: 1989-1999; Человек приспособленный; Человек недовольный: протест и терпение; Человек лукавый: двоемыслие по-российски; Человек ограниченный: уровни и рамки притязаний; Наши десять лет: итоги и проблемы (околоюбилейные размышления).

Левада Ю.А. **Ищем человека**: Социол. очерки, 2000 – 2005. – М.: Новое изд-во, 2006. – 383 с.: табл. – (Новая история).

Содерж.: Три «поколения перестройки»; Поколения XX века: возможности исследования; Заметки о «проблеме поколений»; Время перемен: предмет и позиция исследователя; Исто-

рич. рамки «будущего» в обществ. мнении; Свобода выбора? Постэлекторал. сопоставления; Отложенный Армагеддон? Год после 11 сентября в обществ. мнении России и мира; Уроки «атипичной» ситуации: попытка социол. анализа; Восстание слабых: о значении волны соц. протеста 2005 года; Двадцать лет спустя: перестройка в обществ. мнении и в обществ. жизни: неюбилейные заметки; Парадоксы и смыслы «рейтингов»: попытка понимания; Сегодняшний выбор: уровни и рамки; Механизмы и функции обществ. доверия; Люди и символы: символич. структуры в обществ. мнении; Варианты адаптивного поведения; «Истина» и «правда» в обществ. мнении: проблема интерпретации понятий; Фактор надежды; Человек в коррупти вном пространстве; Координаты человека: к итогам изучения «человека советского»; «Человек советский»: реконструкция архетипа; Перспективы человека: предпосылки понимания; «Человек ностальгический»: реалии и проблемы; «Человек советский» в эпоху перемен; «Человек советский» как человек особенный; «Человек советский» и его рамки самоопределения; Функции и динамика обществ. настроений; О «большинстве» и «меньшинстве»; «Человек обыкновенный» в двух состояниях.

Левада Ю.А. **Лекции по социологии** / Левада Ю.А. Лекции по социологии; Семенов Ю.Н. Киноискусство и массовая аудитория; отв. ред. Голубицкий Ю.А. – М.: Вече, 2008 (Вехи отеч. социологии). – с. 11-216.

Научно-публицистическое издание

Воспоминания и дискуссии
о Юрии Александровиче Леваде

Составитель – Тамара Васильевна Левада.

В книге использованы фотографии
из личного архива Ю.А. Левады.

Подписано в печать 15.05.2010 г.
Формат 60x90 1/16. Усл. печ. л. 29,5
Тираж 150 экз. Заказ № 585

Издатель Карпов Е.В.
121357, Москва, ул. Верейская, д. 29

Отпечатано в типографии
ООО «Бизнес континент»
101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 4
Тел. 8 916 570 46 01